



Японский  
СЭЛИНДЖЕР  
и американский  
МУРАКАМИ  
в одном флаконе!

Рут Озеки

Моя  
рыба  
будет  
жить

*Сказка  
о временном  
существовании*



Японский  
СЭЛИНДЖЕР  
и американский  
МУРАКАМИ  
в одном флаконе!

Рут Озеки

Моя  
рыба  
будет  
ЖИТЬ

*Сказка  
о временном  
существо*

## Annotation

Рут Озеки — американка японского происхождения, специалист по классической японской литературе, флористка, увлеченная театром и кинематографом. В 2010 году она была удостоена сана буддийского священника. Озеки ведет активную общественную деятельность в университетских кампусах и живет между Бруклином и Кортес-Айлендом в Британской Колумбии, где она пишет, вяжет носки и выращивает уток вместе со своим мужем Оливером.

«Моя рыба будет жить» — это роман, полный тонкой иронии, глубокого понимания отношений между автором, читателем и персонажами, реальностью и фантазией, квантовой физикой, историей и мифом. Это увлекательная, зачаровывающая история о человечности и поисках дома.

- 
- [Рут Озеки](#)
    - [Часть I](#)
      - [Нао](#)
        - [1](#)
        - [2](#)
        - [3](#)
        - [4](#)
      - [Рут](#)
        - [1](#)
        - [2](#)
        - [3](#)
        - [4](#)
        - [5](#)
        - [6](#)
      - [Нао](#)
        - [1](#)
        - [2](#)
        - [3](#)
        - [4](#)
        - [5](#)

- 6
- 7
- PyT
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Hao
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- PyT
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Hao
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- PyT
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- [Нао](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
- [Часть II](#)
  - [РуТ](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
  - [РуТ](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
  - [РуТ](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
  - [РуТ](#)

- [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
  - [Рут](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Рут](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Письма Харуки № 1](#)
- [Часть III](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)

- 2
- 3
- 4
- 5
- Рут
  - 1
  - 2
  - 3
- Нао
  - 1
  - 2
  - 3
- Рут
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- Нао
  - 1
  - 2
  - 3
- Рут
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Тайный французский дневник Харуки № 1
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- [10](#)
  - [Рут](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
  - [Нао](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
  - [Рут](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
- [Часть IV](#)
  - [Нао](#)
  - [Рут](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Нао](#)
  - [Рут](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
- [Эпилог](#)
- [Приложения](#)
  - [Приложение А: Моменты дзэн](#)
  - [Приложение В: Квантовая механика](#)
  - [Приложение С: Мысли-скитальцы](#)
  - [Приложение D: Названия храмов](#)
  - [Приложение E: Кот Шредингера](#)
  - [Приложение F: Хью Эверетт](#)
- [Благодарности](#)

- [notes](#)
  - [Примечания](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
    - [14](#)
    - [15](#)
    - [16](#)
    - [17](#)
    - [18](#)
    - [19](#)
    - [20](#)
    - [21](#)
    - [22](#)
    - [23](#)
    - [24](#)
    - [25](#)
    - [26](#)
    - [27](#)
    - [28](#)
    - [29](#)
    - [30](#)
    - [31](#)
    - [32](#)
    - [33](#)
    - [34](#)
    - [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)

- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)

- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)

- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [Примечания переводчика](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)

- [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
-

# **Рут Озеки**

## **Моя рыба будет жить**

Для Масако, отныне и  
навсегда

# Часть I

Древний будда как-то сказал:

Существуя во  
времени, стоя на горной  
вершине,

Существуя во  
времени, движась в  
океанских глубинах,

Существуя во  
времени, восьмирукий  
демон с тремя головами,

Существуя во  
времени, золотой  
шестнадцатифутовый  
Будда,

Существуя во  
времени, посох монаха  
или мухобойка  
учителя<sup>[1]</sup>,

Существуя во  
времени, столб или  
фонарь,

Существуя во  
времени, любой Дик или  
Джейн<sup>[2]</sup>,

Существуя во  
времени, вся земля и  
бесконечное небо.

*Догэн*

*Дзэндзи*<sup>[3]</sup>.

*Существуя во  
времени*<sup>[1]</sup>.

# Нао

## 1

Привет!

Меня зовут Нао, и я — временное существо. Ты знаешь, что такое временное существо? Ну, если ты дашь мне минутку, я объясню.

Временное существо — это кто-то, кто существует во времени: ты, я, любой, кто когда-либо жил или будет жить. Я, например, сижу сейчас в кафе французских горничных на Акибахаре, в Городе Электроники, и слушаю печальный французский шансон, который играет где-то в твоём прошлом, которое одновременно — мое настоящее. И я думаю о тебе — как ты там, где-то в моём будущем? И если ты это читаешь, ты, наверно, тоже думаешь обо мне.

Ты думаешь обо мне.

Я думаю о тебе.

Кто ты и что ты сейчас делаешь?

Может, ты свисаешь с поручня в нью-йоркском сабвее или отмокаешь в горячей ванне в Саннивэйле?

Загораешь на пляже в Пхукете, или тебе полируют ногти в педикюрном салоне в Абу-Даби?

Ты женского пола или мужского? Или где-то посередине?

Может, твоя девушка готовит тебе вкуснящий ужин, а может, ты ешь холодную китайскую лапшу из картонки?

Может, ты свернулся калачиком, отгородившись спиной от храпящей жены? Или ждешь, когда, наконец, твой возлюбленный выйдет из ванной, чтобы страстно заняться с тобой любовью?

У тебя есть машина? И девушка сидит у тебя на коленях? Может, твой лоб пахнет кедром и свежим морозным воздухом?

На самом деле, это не так уж важно, потому что к тому времени, как ты это прочтешь, все уже будет по-другому, и ты где-то — да нигде в особенности — лениво перелистываешь страницы этой книги, записок о моих последних днях на земле, и думаешь, стоит ли читать дальше.

И если ты решишь, что не стоит — эй, никаких проблем, потому что по-любому ты не тот, кого я жду. Но если ты решишь продолжать, тогда знаешь что? Ты — временное существо моего типа, и вместе мы будем творить волшебство!

## 2

ТЬфу. Это было тупо. Надо, чтобы получалось лучше, а то ты уже наверняка недоумеваешь, что за глупая девица могла написать такое.

Ну, я могла.

Нао могла.

Нао — это я, Наоко Ясутани. Это мое полное имя, но ты можешь звать меня Нао, как и все остальные. И мне надо бы рассказать о себе побольше, если мы собираемся и дальше общаться!..



Правда, тут мало что изменилось. Я все еще сижу в кафе французских горничных на Акибахаре, в Городе Электроники, и Эдит Пиаф начала очередной грустный шансон, и Бабетта только что принесла мне кофе, и я уже отпила глоток. Бабетта — моя горничная, а еще она — мой новый друг, а мой кофе — «Блю Маунтин», и я пью его черным, что необычно для девчонки-подростка, но это — единственный способ пить хороший кофе, если, конечно, у тебя есть хоть капелька уважения к горьким бобам.

Я отогнула носок<sup>[2]</sup> и почесала под коленкой.

Я расправила складки юбки, чтобы лежали ровно.

Я заправила волосы (они у меня до плеч) за правое ухо, где у меня пять дырочек, но теперь я скромно позволяю им опять упасть на лицо, потому что отаку<sup>[4]</sup>-саларимен, что сидит за соседним столиком, ужасно на меня пялится, и мне это противно, но одновременно смешно. Я в своей форме из средней школы, и по тому, как он меня разглядывает, понятно, что у него неслабый фетиш насчет школьниц, а если так, то какого он приперся в кафе французских горничных? Нет, правда, он что, тупой?

Но догадки не всегда верны. Все меняется, все возможно, и кто знает — может, я тоже перемену свое мнение о нем. Может, в следующую минуту он наклонится неловко в мою сторону и скажет что-то настолько неожиданно-красивое, что нахлынувшая нежность

смоеет первое впечатление: сальные волосы и противный цвет лица, и я даже снизойду до разговора с ним, и, в конце концов, он пригласит меня на шопинг, и если сможет убедить меня, что безумно влюблен, я пойду с ним в торговый центр и он купит мне миленький кардиган, или кейтай<sup>[5]</sup>, или сумочку, хотя денег у него явно не слишком. А потом мы, наверно, пойдем в какой-нибудь клуб, будем пить коктейли и завалимся в конце концов в лавочку<sup>[3]</sup> с огромным джакузи, и, после того, как мы примем ванну, только я начну расслабляться, он обнажит свое истинное лицо, и свяжет меня, и наденет пакет из-под моего нового кардигана мне на голову, и изнасилует, и через несколько часов полиция обнаружит мое обнаженное безжизненное тело с неестественно вывернутыми конечностями на полу рядом с кроватью «под зебру».

А может, он просто попросит задушить его понарошку моими трусиками, пока он кончает от их чарующего аромата.

А может, ничего из этого не случится, кроме как в моем воображении, и в твоём, конечно, тоже — ведь я уже тебе говорила, вместе мы творим волшебство, по крайней мере, на какое-то время. Или пока мы в нём существуем.

### 3

Ты все еще здесь? Только что перечла, что я тут написала про отаку-саларимена, и хочу извиниться. Это было пошло. Не слишком хороший способ начать.

Я не хочу, чтобы у тебя сложилось неверное впечатление. Я не глупа. Я знаю, что Эдит Пиаф на самом деле звали вовсе не Пиаф. И я не озабоченная, и не хентай<sup>[6]</sup>. Я вообще не фанат хентая, так что если ты как раз фанат, то отложи, пожалуйста, эту книгу и не читай дальше, ладно? Тебя ждет разочарование, только время потратишь зря, потому что эта книга — точно не интимный дневник девицы с отклонениями, набитый розовыми мечтами и извращенскими фетишами. Это совсем не то, что ты думаешь, потому что моя цель — записать перед смертью удивительную историю жизни моей сточетырехлетней прабабушки, буддийской монахини.

Ты, наверно, думаешь, что монахини — это не так уж интересно, но тогда моя прабабушка — исключение, и совсем не в извращенском

смысле. Конечно, наверняка есть много извращенских монахинь... ну, может быть не так уж много, но священников-извращенцев уж точно хватает, священники-извращенцы — они повсюду... но мой дневник точно не о них и не об их странных повадках.

Этот дневник расскажет историю жизни моей прабабушки Ясутани Дзико. Она была монахиней и писателем, «новой женщиной»<sup>[7]</sup> эпохи Тайсё<sup>[8]</sup>. Еще она была анархисткой и феминисткой, и любовников у нее было полно, и мужчин, и женщин, но извращенскими делишками она никогда не занималась. Конечно, по ходу дела я могу упомянуть пару свиданий, но все, что я напишу, будет исторически верно и должно будет помогать женщинам поверить в свои силы, а всякой дурацкой мутоты о гейшах здесь не будет. Так что если ты любитель клубнички, пожалуйста, закрой эту книгу и отдай ее жене или коллеге — сэкономишь себе кучу времени и усилий.

## 4

Мне кажется, в жизни важно иметь четкую цель, как ты считаешь? Особенно, если времени осталось немного. Потому что если четкой цели нет, то время у тебя может закончиться, и ты обнаружишь себя на парапете очень высокого здания, или в кровати с упаковкой таблеток в руках, думая при этом: «Блин! Я все запорол. Если б только у меня с самого начала были четкие цели!»

Я тебе все это говорю, потому что вообще-то не собираюсь тут надолго задерживаться, и с тем же успехом ты можешь знать об этом заранее, чтобы не делать преждевременных выводов. Выводы — это отстой. Это как ожидания. Ожидания и преждевременные выводы способны похоронить любые отношения. Так что давай мы с тобой в эту сторону двигаться не будем, о'кей?

Правда в том, что совсем скоро я собираюсь окончить свое пребывание во времени, или, может, не стоит говорить «окончить», потому что это звучит, будто я и в самом деле достигла цели, сдала экзамен и заслуживаю двигаться дальше; а факты таковы: мне только что исполнилось шестнадцать, и не достигла я ровно ничего. Ноль. Зеро. Что, звучит жалко? Это я не нарочно. Просто хочу быть точной. Может быть, вместо «окончить» мне надо было сказать, что я

собираюсь бросить время. Вылететь из времени. Оборвать свое существование. Я считаю моменты.

Раз...

Два...

Три...

Четыре...

О, я знаю! Давай считать моменты вместе<sup>[9]</sup>?

## Рут

### 1

Вспышку Рут уловила самым краешком глаза — блик отраженного солнечного света блеснул из-под перепутанной массы бурых водорослей, извергнутых океаном во время прилива. Она было решила, что это блестит дохлая медуза, и чуть не прошла мимо. Последнее время берег буквально заполонили медузы — чудовищные алые жгучие создания, будто раны на прибрежном песке.

Но что-то заставило ее остановиться. Она наклонилась, поворошила носком кроссовка кучу водорослей и потыкала туда палкой. Распутав змеящиеся стебли, она смогла раздвинуть их настолько, что стало ясно: блестела вовсе не медуза, а какой-то предмет из пластика — пакет. Ничего удивительного. Океан кишит пластиком. Она еще поворошила водоросли, пока не докопалась до угла, за который можно было ухватиться. Пакет оказался тяжелее, чем она ожидала, — выдавший виды пластиковый пакет для заморозки, весь покрытый морскими желудями, будто сыпью. Наверное, он провел в море немало времени — так она подумала. Внутри пакета просвечивало что-то красное — чей-то мусор, конечно, выкинутый за борт или брошенный после пикника или пляжной вечеринки. Океан вечно выплевывал что-то на берег, а потом заглатывал обратно: рыболовные снасти, поплавки, пивные банки, пластмассовые игрушки, тампоны, кроссовки «Найк». Пару лет назад это были отрезанные ноги. Люди постоянно натыкались на них по всему побережью острова Ванкувер после прилива. Одну нашли прямо здесь, на этом берегу. Никто не мог объяснить, что случилось с остальными частями тел. Рут не хотелось даже думать о том, что могло разлагаться там, внутри пакета. Она забросила его повыше на берег, намереваясь забрать на обратном пути, чтобы донести до дома и выкинуть.

### 2

— Что это еще такое? — Услышала она голос мужа из прихожей.

Рут готовила ужин: она резала морковь и была в состоянии предельной концентрации.

— Это, — повторил Оливер, не услышав ответа.

Она подняла глаза. Он стоял в дверях кухни, помахивая потрепанным пакетом для заморозки. Рут оставила пакет на крыльце, думая выкинуть попозже, но отвлеклась.

— Ой, брось это, — сказала она. — Это мусор. На берегу подобрала. Не заноси в дом, пожалуйста.

И почему она должна объяснять?

— Но там что-то есть, внутри, — сказал он. — Тебе разве не хочется посмотреть?

— Нет, — сказала она. — Ужин почти готов.

И все равно он притащил пакет в дом и возложил на кухонный стол. С пакета сыпался песок. Но такой уж он был — стремление знать было неотъемлемой частью его натуры: разбирать вещи на составные части, а потом вновь собирать их в единое целое — иногда. Морозилка у них была вечно забита свертками с трупиками птиц, землероек и других мелких животных, которые приносил кот, — они лежали там в ожидании, пока их препарируют и набьют чучело.

— Там не один пакет, — доложил он, бережно расстегивая первый и откладывая его в сторону. — Там их много, один в другом.

Кот, привлеченный бурной деятельностью, вспрыгнул на стол, намереваясь помочь. Коту на стол было нельзя. Вообще-то у кота было имя, Шрёдингер, которое никогда не использовалось. Оливер звал его Пестицидом, иногда сбиваясь на Песто. Кот вечно был занят нехорошим — потрошил белок посреди кухни, аккуратно раскладывая крошечные блестящие внутренности, кишки и почки, прямо перед дверью спальни, так, чтобы Рут могла наступить на них посреди ночи, направляясь босиком в туалет. Они выступали командой, Оливер и кот. Когда Оливер шел наверх, кот шел наверх. Когда Оливер шел вниз поесть, кот шел вниз. Когда Оливер шел наружу пописать, кот шел наружу пописать. В настоящий момент Рут наблюдала, как они изучают содержимое пластиковых пакетов. Она поморщилась, ожидая, что вот-вот вонь от чьего-то подгнившего пикника или еще чего похуже забьет аромат их ужина. Чечевичный суп. На ужин был чечевичный суп и салат, и она только что добавила розмарин.

— Как ты думаешь, это возможно — препарировать мусор на крыльце снаружи?

— Ты сама его подобрала. И потом, мне не кажется, что это мусор. Слишком аккуратно упаковано. — Он продолжал свои криминалистические изыскания.

Рут втянула носом воздух, но ощутила лишь запах песка, соли и моря.

Внезапно он рассмеялся.

— Глянь, Песто, — сказал он. — Это ж для тебя! Коробка для ланчей Hello Kitty!

— Я тебя очень прошу! — сказала Рут, начиная испытывать отчаяние.

— А внутри там что-то есть...

— Я серьезно! Я не хочу, чтобы ты открывал это здесь. Просто вынеси на...

Но было уже поздно.

### 3

Он аккуратно разгладил пакеты, сложил их стопочкой по размеру от большего к меньшему, потом рассортировал содержимое на три части: небольшая стопка писем, написанных от руки; пухлый томик в выцветшем красном переплете; массивные антикварные наручные часы с матовым черным циферблатом и флуоресцентными стрелками. Рядом — коробка для ланчей Hello Kitty, которая сохранила все эти предметы от разрушительного воздействия океана. Кот нюхал коробку. Рут подхватила его поперек живота и спустила на пол, а затем переключила внимание на предметы на столе.

Письма, похоже, были написаны на японском. Заглавие на обложке красной книги отпечатано на французском. Пометки на тыльной стороне часов трудно было разобрать, так что Оливер извлек свой айфон и открыл приложение-микроскоп, чтобы изучить гравировку.

— Мне кажется, это тоже японский, — проговорил он.

Рут перебирала стопку писем, пытаясь разобрать выцветшие иероглифы, выписанные синими чернилами.

— Почерк старомодный и беглый. Красивый, но я не могу разобрать ни слова. — Она отложила письма и взяла у него часы.

— Да, — сказала она. — Это японские цифры. Но не дата. Йон, нана, сан, хачи, нана. Четыре, семь, три, восемь, семь. Может, серийный номер?

Она приложила часы к уху, надеясь услышать тиканье, но часы были сломаны. Она отложила их в сторону и взяла в руки ярко-красную коробку для ланчей. Из-за этого оттенка красного, просвечивающего сквозь исцарапанный пластик, она было приняла пакет для заморозки за ядовитую медузу. Сколько же коробка плавала в море, пока ее не выбросило на берег? Края крышки были снабжены резиновым ободком. Рут взяла книгу, которая оказалась на удивление сухой; обтянутая тканью обложка была потертой и мягкой на ощупь, уголки истрепались от небрежного обращения. Она поднесла книгу к носу и вдохнула едва ощутимую затхлость, запах заплесневелой бумаги и пыли. Посмотрела на название.

— *À la recherche du temps perdu*, — прочитала она. — Марсель Пруст.

#### 4

Им нравились книги, в особенности старые, дом был ими переполнен. Книги были повсюду: они теснились на полках, груды возвышались на полу, на стульях, на ступеньках лестницы, но ни Оливер, ни Рут не возражали. Рут была писателем, а писатели, уверял Оливер, просто обязаны держать кошек и книги. И в самом деле, покупка книг послужила для нее своего рода компенсацией после переезда на остров, затерянный где-то в самой середине Десолейшн-Саунд<sup>{4}</sup>, где публичная библиотека состояла из одной маленькой комнаты над общественным залом собраний и была вечно забита детьми. Помимо обширной коллекции литературы для юношества и пары бестселлеров для взрослых, собрание библиотеки практически полностью состояло из книг по садоводству, изготовлению консервов, здоровому питанию, альтернативной энергии, альтернативной медицине и альтернативному воспитанию. Рут скучала по изобилию и разнообразию городских библиотек, их простору и тишине, и, когда они с Оливером переехали на маленький остров, они договорились,

что она сможет заказывать любые книги, какие только захочет, — что она и делала. Она это называла предварительными исследованиями, но в итоге большинство книг прочитывал Оливер, а она — только пару или тройку. Ей просто нравилось, когда вокруг были книги. Но в последнее время она стала замечать разбухшие от влажного морского воздуха страницы и чешуйниц, поселившихся в переплетах. Открывая книгу, она часто ощущала запах плесени, и это ее печалило.

— «В поисках утраченного времени», — произнесла она, переводя заглавие, набранное золотыми литерами на красном корешке. — Никогда не читала.

— Я тоже, — сказал Оливер. — И я не думаю, что осилю ее на французском.

— Угум, — согласилась она. Но все же открыла обложку, из любопытства — сумеет ли она понять хотя бы первые несколько строк. Она думала увидеть потемневшие от времени страницы фолио, текст, набранный старомодным шрифтом, и была совершенно застигнута врасплох. Фиолетовые чернила, подростковый почерк, скачущий по странице, — это выглядело как насмешка, надругательство, и от шока она чуть не выронила книгу.

## 5

Машинописный текст предсказуем и не несет отпечатка личности — информация передается глазу читателя механически.

Рукописные строки, напротив, сопротивляются глазу, медленно обнажая смысл, — они интимны, как прикосновение к коже.

Рут взгляделась в страницу. Выписанные фиолетовым слова были в основном английскими, с редкой россыпью японских иероглифов, но она воспринимала не столько смысл слов, сколько чувство, ощущение — мрачное, эмоциональное, идущее от личности автора. Пальцы, сжимавшие фиолетовую гелиевую ручку, точно принадлежали девочке, подростку. Ее почерк, эти петлястые строки, захваченные бумагой, отражали ее настроения и тревоги, и в тот же миг, как ее взгляд упал на страницу, Рут совершенно точно знала, что кончики пальцев у девочки были розовыми и влажными, и что она беспрерывно обкусывала ногти.

*«Привет!»* — прочла она. — *«Меня зовут Нао, и я — временное существо. Ты знаешь, что такое временное существо?..»*

## 6

— Флотсем, — сказал Оливер. Он изучал морские желуди, облепившие поверхность внешнего пакета. — Поверить не могу.

Рут взглянула на него поверх страницы:

— Ну конечно, это флотсем. Или джетсем<sup>{5}</sup>. — Она ощущала, как книга теплеет у нее в ладонях, и ей хотелось продолжить чтение, но вместо этого она услышала свой голос: — Какая, собственно, разница?

— Флотсем имеет случайное происхождение, предметы, которые находят плавающими в море. А джетсем — это то, что было выброшено в море нарочно. Это вопрос намерения. Так что ты права, это может быть и джетсем. — Он положил пакет обратно на стол. — Думаю, начинается.

— Что начинается?

— Дрейфующий мусор, — проговорил он, — начинает покидать круговое Тихоокеанское течение...

Глаза у него азартно блестели; видно было, что он взбудоражен. Она отложила книгу на колени:

— Что такое круговое Тихоокеанское течение?

— Существует двенадцать больших круговых мировых течений, — сказал он. — Два из них движутся от берегов Японии и разделяются, достигая побережья Британской Колумбии. Более слабое, Алеутское течение, направляется на север, к Алеутским островам. Более сильное идет на юг. Его еще называют иногда Черепашьим течением, потому что морские черепахи пользуются им во время миграции от Японии к Байе.

Руками он показал большой круг. Кот, заснувший было на столе, явно почувствовал его волнение: один зеленый глаз приоткрылся, чтобы понаблюдать.

— Представь себе Тихий океан, — сказал Оливер. — Черепашье течение идет по часовой стрелке, а Алеутское — против. — Руки его то двигались по кругу, то описывали арки, показывая движение воды в океане.

— А это не то же самое, что Куроисио?

Он уже рассказывал ей про Куроисио. Другое его название — «Черный поток», оно несет теплые тропические воды от побережья Азии и к северо-западному окоему Тихого океана. Но теперь он помотал головой.

— Не совсем, — возразил он. — Круговые течения масштабнее. Они могут состоять из нескольких течений поменьше. Представь себе кольцо из змей, каждая из которых кусает за хвост следующую. Куроисио — одно из четырех или пяти течений, составляющих Черепашье.

Она кивнула. Закрыв глаза, она представила себе змей.

— Каждое круговое течение обращается с определенной скоростью, — продолжал он, — и период обращения называется «тоном». Красиво, правда? Как музыка сфер. Самый долгий период обращения составляет тринадцать лет, что задает основной тон. У Черепашьего течения — полутон, шесть с половиной лет. У Алеутского — четверть, три года. Флотсем, который перемещается по кругу в водах мирового течения, называется дрейфующим мусором, или дрифтом. Дрифт постоянно остается в орбите, считается частью памяти течения. Количество мусора, постоянно покидающего орбиту, позволяет определить период полураспада дрейфта... Сколько тот или иной предмет может провести в орбите течения...

Подобрав со стола коробку Hello Kitty, он повертел ее в руках.

— Все эти вещи — из японских домов, смытых цунами в океан? Люди уже давно строят предположения, гадают, когда их выбросит на наше побережье. Я думаю, это просто произошло раньше, чем думали.

# Нао

## 1

Столько всего нужно написать. С чего же начать?

Я написала моей Дзико смску с этим вопросом, и вот что она написала в ответ:

現在地で始まるべき

[10]

Ну хорошо, дорогая моя старушка Дзико. Я начну прямо здесь, в «Милом фартучке Фифи». «Фифи» — это кафе с горничными, одно из тех, что высыпали вдруг на каждом углу на Акибахаре<sup>[11]</sup> пару лет назад. Но у «Фифи» есть изюминка — она оформлена в стиле французского салона. Декор интерьера — в розовых и красных тонах, с акцентами золота, черного дерева и слоновой кости. Столики — круглые и уютные, со столешницами под мрамор и ножками под резное черное дерево; стулья — в том же стиле, с пухлыми розовыми сиденьями. Темно-красные бархатные розы выются по обоям, а окна задрапированы атласом. Потолок позолочен, и с него свисают хрустальные канделябры и маленькие голенькие пупсы «кьюпи»<sup>[6]</sup>. — они парят в углах, как облачка. Еще есть прихожая и гардероб с журчащим фонтаном и статуей обнаженной дамы, подсвеченной пульсирующим красным лучом.

Не знаю, насколько это оформление аутентично, — никогда не бывала во Франции. Но думаю — и я практически уверена, что права, — в Париже вряд ли много похожих кафе с французскими горничными. Это не важно. Атмосфера в «Милом фартучке Фифи» очень шикарная и одновременно уютная, будто тебя запихнули внутрь огромной клаустрофобной валентинки; а горничные, с их выпирающими декольте и в форме с кружевами, тоже смахивают на хорошенькие валентинки.

К сожалению, сейчас здесь довольно пусто, если не считать нескольких смахивающих на отаку<sup>[12]</sup> личностей, занявших столик в углу, и пары пучеглазых американских туристов.

Горничные, выстроившиеся рядом, имеют надутый вид. Они теребят кружево своих коротеньких нижних юбок; выглядят они скучающими и разочарованными, будто надеются, что вот-вот появятся новые, более интересные клиенты и станет повеселее.

Атмосфера было оживилась немного, когда один из отаку заказал омурайс<sup>[13]</sup> с рожицей Hello Kitty, нарисованной поверх кетчупом. Горничная по имени Мими (как гласит ее бейджик) покормила его с ложечки, преклонив колени и дуя на каждую порцию, прежде чем сунуть ему в рот. Американцы просто тащились от этого зрелища, которое, надо признать, было дико смешным. Хотелось бы мне это тебе показать. Но вот он доел, Мими унесла грязную тарелку, и теперь опять скучно. Американцы только кофе пьют. Муж пытается развести жену, чтобы она позволила ему заказать омурайс Hello Kitty, но она для этого слишком зажатая. Я перехватываю ее шепот, что омурайс — это слишком дорого, и нельзя сказать, что она не права. Цены здесь сумасшедшие, но мне кофе достается бесплатно, потому что Бабетта — мой друг. Я дам тебе знать, если жена вдруг чуток расслабитя и передумает.

Раньше так не было, конечно. Бабетта говорит, что, когда кафе с горничными были «Нинки № 1!»<sup>[14]</sup>, клиенты выстраивались в очередь и ждали часами, только чтобы получить столик, а горничные все были самые миленькие девушки в Токио, и голоса их заглушали шум и гам Города Электроники, когда они кричали: «Окайринасаймасае, даннасама!»<sup>[15]</sup>, — мужчины от этого чувствуют себя важными и богатыми. Но сейчас мода прошла, и горничные больше уже не *то самое*, и единственные клиенты — это иностранные туристы, или отаку<sup>[16]</sup>-провинциалы, или жалкие, отсталые хентаи с устарелым фетишем на горничных. Горничные тоже теперь не такие уж милашки, потому что сейчас можно сделать гораздо больше денег, будучи медсестрой в медицинских кафе или плюшевым пушистиком в Бедтауне<sup>[17]</sup>. Французские горничные — это уж точно нисходящий тренд, и все это знают, так что никто не старается слишком сильно, не лезет из кожи вон. Девушки. Можешь сказать, что это — депрессивное окружение, но меня лично расслабляет, когда никто вокруг не лезет вон из кожи. Вот когда все стараются чересчур, это — депрессивно, но самое депрессивное — это когда все стараются, и думают, что у них и в самом деле получается. Конечно, раньше здесь так и было: бодро

звенят колокольчики и смех, очередь клиентов огибает квартал, и милашечки-горничные лебезят перед владельцами кафе, а те расхаживают вокруг в дизайнерских темных очках и винтажных «левайсах», прямо черные принцы или моголы игровых империй. Им было откуда падать, этим чувакам.

Так что я совсем не против. Мне эта обстановка вроде как даже нравится, потому что я знаю: для меня всегда найдется свободный столик здесь, в «Милом фартучке Фифи», и музыка тут о'кей, и горничные теперь меня узнают и, как правило, оставляют в покое. Может, им стоит сменить название на «Унылый фартучек Фифи». О, а это здорово! Мне нравится!

## 2

Моей старушке Дзико очень нравится, когда я рассказываю ей о современной жизни со всеми деталями. Она теперь редко где бывает, потому что живет в храме в горах в жуткой глуши, и вообще удалилась от мира, и тот факт, что ей сто четыре года, тоже играет роль. Уже не раз писала, что это — ее возраст, но на самом деле это только догадка. Мы не знаем точно, сколько ей лет, а она уверяет, что не помнит. Когда ее спрашиваешь, она отвечает:

— Дзуйбун нагаку икасарете итадаите оримасу не<sup>[18]</sup>.

Это не ответ, так что спрашиваешь еще раз, и она говорит:

— Со десу не<sup>[19]</sup>. Я так давно не считала...

Так что ты спрашиваешь, когда ее день рождения, и она говорит:

— Хмм, что-то я не припомню, как меня рожали...

А если ты решишь приставать к ней дальше и спросишь, сколько она уже живет, она ответит:

— Всегда была, сколько я себя помню.

Ну да, Ба, спасибо большое, объяснила!

Все, что мы знаем наверняка, — это то, что нет никого старше ее, кто мог бы помнить, а семейный реестр сгорел вместе с муниципалитетом во время бомбежки во Вторую мировую. Пару лет назад она, наконец, остановилась на ста четырех, и с тех пор так оно и остается.

Так вот, как я говорила, моя старушка Дзико очень любит детали, и ей нравится, когда я рассказываю ей обо всех этих звуках, и запахах,

и красках, и огнях, и рекламе, и людях, и модах, и газетных заголовках, которые составляют шумный океан Токио, и поэтому я натренировала себя слушать и запоминать. Я ей рассказываю все, про культурные тренды и про газетные статьи, которые я читаю, — про школьниц, которых насилуют и душат в лавотелях. Ты можешь рассказывать Ба всякие такие штуки, она не будет против. Я не имею в виду, что все это ее радует. Она не хентай. Но она понимает, что в жизни случается всякое, и просто сидит рядом, и слушает, и кивает головой, и перебирает бусины дзюдзу<sup>[20]</sup>, благословляя всех этих несчастных школьниц, и извращенцев, и всех созданий, которые страдают в этом мире. Она монахиня, так что это — ее работа. Честное слово, иногда мне кажется, что главная причина, по которой она до сих пор жива, — это персонажи моих рассказов, за которых ей можно молиться.

Я ее спросила как-то, почему ей нравятся подобные истории, и она мне объяснила, что, когда проходила посвящение, она обрила голову и приняла обеты босацу<sup>[21]</sup>. Одним из обетов было спасти всех существ в мире, что в общем и целом значит, что она согласилась не достигать просветления, пока все остальные не просветлятся до нее. Это вроде как пропускать всех в лифт впереди себя. Если подсчитать, сколько существ пребывает на этой земле в любое время, а потом прибавить тех, которые рождаются каждую секунду, и всех тех, которые уже умерли, — и не только людей, а еще всех животных и другие формы жизни вроде амёб и вирусов, и, может, даже растений, всех, которые жили или когда-либо будут жить, плюс вымершие виды — начинаешь понимать, что до просветления может быть очень и очень далеко. И что, если лифт заполнится и двери закроются, а ты все стоишь снаружи?

Когда я спросила об этом Ба, она потеряла свою блестящую голову и сказала:

— Со десу не. Это очень большой лифт...

— Но Ба, это то же займет вечность!

— Что ж, значит, нам надо стараться еще сильнее.

— *Нам?!*

— Конечно, милая моя Нао. Ты должна мне помочь.

— Ну уж нет! — сказала я Ба. — Я не какой-то там гребаный босацу...

Но она лишь причмокнула губами, и заклацала четками, и по тому, как она посмотрела на меня через эти свои толстые линзы в черной оправе, думаю, может, она благословляла меня тоже в ту минуту. Я не против. Я почувствовала себя надежнее, вроде как знала: что бы ни случилось, Ба сделает так, чтобы я попала в тот лифт.

Знаешь что? Вот прямо в эту секунду, пока писала, я поняла кое-что. Я так ее никогда и не спросила, куда же идет этот лифт. Я сейчас напишу ей смску и спрошу. Я дам тебе знать, как она ответит.

### 3

О'кей, вот теперь я точно собираюсь рассказать тебе удивительную историю жизни Ясутани Дзико, знаменитой анархистки-феминистки-романистки-ставшей буддийской монахиней эпохи Тайсё, но сначала мне нужно объяснить тебе про книгу, которую ты держишь в руках<sup>[22]</sup>. Как тебе, наверно, уже ясно, это не похоже на типичный дневник невинной школьницы с пушистыми зверьками на блестящей розовой обложке, с замочком в форме сердца и золотым ключиком в комплекте. И когда книга впервые попала тебе в руки, вряд ли тебе пришло в голову: «О, вот милый, невинный дневник, написанный интересной японской школьницей! Вот здорово, надо бы почитать!» Потому что, когда книга оказалась у тебя, твоим предположением было, что это философский шедевр *À la recherche du temps perdu* знаменитого французского писателя Марселя Пруста, а не пустячный дневник, написанный никому не известной Нао Ясутани. Так что здесь мы доказали прописную истину: не суди книгу по обложке<sup>[23]</sup>!

Надеюсь, разочарование не слишком сильно. Содержимое той книги Марселя Пруста было извлечено, но не мной. Я купила ее уже в таком, уже выпотрошенном виде в маленьком бутике на Харадзюку<sup>[24]</sup>, где торгуют хэнд-мейдом. Они там продают сделанные в одном экземпляре вещички вроде связанных крючком шарфиков или чехлов для кейтаев, бисерных фенечек и другие крутые штуки. Делать что-то своими руками — это последний писк в Японии, и все подряд вяжут спицами и крючком, изучают бисероплетение и пепакура<sup>[25]</sup>, но у меня руки не из того места растут, так что мне придется покупать самодельные вещи, чтобы не выпасть из тренда. Девчонка, которая

делает эти дневники, — суперзнаменитый крафтер, она контейнерами покупает старые книги со всех концов мира, а потом аккуратно вырезает все отпечатанные страницы и вставляет на их место чистые листы. Делается это настолько аутентично, что подмена вообще не заметна — можно подумать, буквы просто соскользнули со страницы и упали на пол, как кучка дохлых муравьев.

В последнее время в моей жизни происходят гадостные вещи, и в тот день, когда я купила дневник, я прогуливала школу, меня взяла тоска, и я решила пройтись по магазинам в Харадзюку, чтобы немного взбодриться. Увидев книги на витрине, я сначала не поняла, в чем дело, но потом девушка-консультант показала мне подмену и, конечно, не купить это было невозможно. И это было недешево, но мне так понравилось ощущение от потертой обложки, и сразу стало понятно, что писаться в ней будет здорово, — это как настоящая опубликованная книга. Но лучше всего то, что это идеальная мера безопасности.

Не знаю, бывали ли у тебя когда-нибудь проблемы с людьми, которые тебя бьют, крадут твои вещи и используют их потом против тебя, но если бывали, то ты поймешь, что эта книга — совершенно гениальная штука. Скажем, один из моих тупых одноклассников решит забрать у меня дневник, прочесть и запостить в интернете или что-нибудь еще. Но кто станет охотиться за старой книгой под названием *À la recherche du temps perdu*, верно? Мои тупые одноклассники просто подумают, что это домашнее задание для дзюку<sup>[26]</sup>. Они даже не поймут, что это значит.

На самом деле я тоже не знала, что это значит, поскольку мои познания во французском сводятся к нулю. Там продавалось много книг с разными названиями. Некоторые были на английском, например, «Большие надежды» и «Путешествия Гулливера», что, в общем, годится, но я подумала, что лучше будет купить книгу с названием, которое я вообще не смогу прочитать, — вдруг, если я буду знать название, это станет помехой моему собственному креативу. Книги на других языках там тоже были — на немецком, на русском и даже на китайском, но в итоге я выбрала *À la recherche du temps perdu*, потому что сообразила: это, верно, французский, а французский — это круто и утонченно; кроме того, по размеру книга идеально вписывалась в мою сумочку.

Как только я купила книгу, мне, конечно, захотелось начать в ней писать, так что я пошла в ближайшую касса<sup>[27]</sup> и заказала «Блю Маунтин», потом достала мою любимую фиолетовую гелиевую ручку и открыла книгу на первой чистой кремовой странице. Отпила горький глоток и стала ждать, когда придут слова. Я ждала и ждала, отпила еще кофе, и опять ждала. Ничего. Болтать я умею, и, думаю, тебе уже ясно, что обычно у меня со словами проблем нет. Но в этот раз, хотя мне было что сказать, слова не шли. Это было странно, но я решила, что вся эта история со старой-новой книгой меня просто подавляет, и что рано или поздно это пройдет. Так что я допила кофе, почитала парочку манга и, когда уроки в школе должны были закончиться, пошла домой.

На следующий день я попробовала опять, но случилось то же самое. И потом каждый раз, стоило мне достать книгу и увидеть название, в голову мне начинали лезть всякие мысли. То есть Марсель Пруст должен бы быть довольно важной фигурой, если даже такие, как я, о нем слышали. Даже если я сначала не знала, кто он, собственно, такой, — думала, он знаменитый шеф-повар или там французский дизайнер. Вдруг его призрак до сих пор цепляется к обложке, разъяренный проделками ловкой девчонки, которая вырезала его слова? И вдруг этот призрак мешает мне, чтобы я не вздумала писать в его великой книге всякие глупости, которые пишут обычно школьницы, — ну, там, о мальчиках, которые мне нравятся (не то чтобы у меня они были), или про модные вещи, которые я хочу (список бесконечен), или про мои толстые ляжки (на самом деле с ляжками у меня все в порядке, а вот коленки свои я ненавижу). В общем-то призрак старины Марселя можно понять — он вправе беситься, если думает, что у меня нет мозгов и я стану писать в его великой книге подобную лажу.

И даже если бы призрак был «за», вряд ли бы у меня возникло желание использовать его книгу для подобных банальностей, не будь даже это мои последние дни на земле. Но поскольку это *в самом деле* мои последние дни на земле, я тоже хочу написать что-то значительное. Ну, может, не такое уж значительное, потому что я ничего значительного не знаю, но что-то стоящее. Я хочу оставить после себя что-то настоящее.

Но о чем таком настоящем я могу написать? Конечно, можно описать весь тот отстой, который со мной происходит, или чувства по отношению к так называемым друзьям, но что-то не хочется. Каждый раз, когда я думаю о моей тупой бессмысленной жизни, прихожу к выводу, что я просто зря трачу время, и я такая не одна. Все, кого я знаю, заняты тем же, кроме старушки Дзико. Просто тратят время, убивают время, чувствуют себя отстойно.

И что вообще это значит — тратить время? Если ты потратил время, утрачено ли оно навсегда?

И если время утрачено навсегда, что это значит? Не то, что ты умрешь из-за этого раньше, правда? Я хочу сказать, если нужно умереть раньше, за дело приходится браться самому.

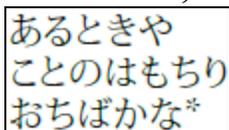
## 5

Короче, все эти отвлекающие размышления насчет призраков и времени всплывали в моем сознании каждый раз, как я пробовала писать в книге старины Марселя, пока, наконец, я не решила, что необходимо понять название. Я спросила Бабетту, но она мне помочь ничем не могла, потому что, конечно, она никакая не французская горничная, а вылетевшая из школы бывшая старшеклассница из префектуры Чива и все, что она знает по-французски, — это пара сексуальных фразочек, она подцепила их у того старпера, французского профессора, с которым одно время встречалась. Так что, когда я вернулась тем вечером домой, я погуглила Марселя Пруста и узнала, что *À la recherche du temps perdu* означает «В поисках утраченного времени».

Странно, правда? Только представь, вот я сижу в кафе французских горничных на Акибе и думаю о потерянном времени, а сто лет назад во Франции сидел старина Марсель Пруст и писал (и написал) целую книгу на ту же самую тему. Так что, может, его призрак, обитающий в обложке, и взломал мой мозг, а может, это просто сумасшедшее совпадение, но в любом случае, ты понимаешь, насколько это круто? Мне кажется, совпадения — это потрясающе, даже если они ничего не значат, но вдруг? Вдруг все-таки значат! Я не говорю, что все происходящее имеет смысл и цель. Чувство, скорее, такое, будто мы со стариной Марселем на одной волне.

На следующий день я опять пришла в «Фифи» и заказала маленький чайник лапсанг сучонга — я его иногда пью для разнообразия вместо «Блю Маунтин». И пока я сидела там, потягивая чай с дымком, отщипывая по кусочку от французского пирожного и ожидая, когда Бабетта устроит мне свидание, я задумалась.

Как вообще ищут утраченное время? Это интересный вопрос, и я написала Дзико смску, как делаю всегда, когда сталкиваюсь с философской дилеммой. А потом мне пришлось очень, очень долго ждать, но, наконец, мой кейтай издал тоненький писк, означающий, что она написала ответ. И вот, собственно, что она написала:



あるときや  
ことのはもちり  
おちばかな\*

[28]

Что примерно означает:

Для сущих во времени  
Рассыпаны слова...  
Разве это опавшие листья?

Я не сильна в поэзии, но когда я читаю этот стих старушки Дзико, у меня перед глазами встает образ огромного старого гинкго, который растет рядом с ее храмом<sup>[29]</sup>. Листья — маленькие зеленые веера — по осени становятся ярко-желтыми; опадая, они укрывают землю и все вокруг плотным золотым ковром. И тут я сообразила, что это огромное старое дерево — временное существо, и Дзико тоже временное существо, и я могу представить себе, как ищу утраченное время под деревом, перебирая опавшие листья, которые суть рассыпанные золотые слова.

Идея насчет временного существа происходит из книги под названием «Сёбогэндзо», которую написал лет восемьсот назад древний учитель дзэн Догэн Дзэндзи, то есть он будет постарше Дзико и даже Марсея Пруста. Догэн Дзэндзи — один из любимых писателей Дзико; ему повезло: его книги до сих пор что-то значат для людей и продолжают жить своей жизнью. К сожалению, всё, что

написала Дзико, давным-давно не переиздавалось, так что на самом деле я никогда не читала ее слов, но она рассказывала мне кучу историй, и я стала думать о том, что слова и истории — это тоже временные существа, и вот тогда у меня появилась идея использовать великую книгу Марселя Пруста, чтобы записать историю жизни старушки Дзико.

Дело не только в том, что Дзико — это самый значительный человек из всех, кого я знаю, хотя в этом, конечно, тоже. И не в том, что она ужасно старая и жила еще в те времена, когда Марсель Пруст писал свою книгу о времени. Может, это и так, но дело не в этом тоже. Причина, по которой я решила написать о ней в *À la recherche du temps perdu*, в том, что она — единственный известный мне человек, который на самом деле понимает время.

Старушка Дзико суперосторожна со временем. Она делает все очень, очень медленно, даже когда просто сидит на веранде, наблюдая за стрекозами, которые выписывают ленивые круги над садовым прудом. Она говорит, что делает все очень, очень медленно с целью растянуть время, чтобы его у нее было побольше, и она смогла бы жить подольше, а потом она смеется, чтобы ты понял, что это шутка.

То есть она прекрасно понимает, что время — это не то, что можно растянуть, как жвачку, и смерть не собирается стоять в сторонке и ждать, когда ты закончишь делать, что ты там делаешь, прежде чем прибрать тебя. В том-то и шутка, и она смеется потому, что знает это.

Но, правда, мне не кажется, что это так уж смешно. Хотя я не знаю точно, сколько старушке Дзико лет, но у меня нет сомнений, что довольно скоро она будет мертва, даже если не успеет домести храмовую кухню или прополоть грядку с дайконом, или составить свежий букет для алтаря, и когда она умрет, это будет ее концом с точки зрения времени. Ее это совершенно не беспокоит, но меня — беспокоит, и еще как. Это последние дни Дзико на земле, и я не могу с этим ничего сделать, и я не могу сделать ничего, чтобы остановить ход времени или хотя бы его замедлить, и каждая секунда дня — это еще одна утраченная секунда. Она, наверно, со мной не согласится, но я вижу это именно так.

Я спокойно могу представить мир без себя, потому что во мне нет ничего такого, но сама мысль о мире без старой Дзико невыносима. Она совершенно уникальная и особенная, как галапагосская черепаха

или какое еще живое ископаемое, последний представитель вида, ковыляющий по иссохшей земле. Но, пожалуйста, не позволяй мне и дальше распространяться на тему об истреблении видов, потому что это ужасно депрессивно, и мне понадобится совершить самоубийство прямо сию секунду.

## 6

Ладно, Нао. Почему ты это делаешь? Типа, в чем смысл?

В этом-то и проблема. Единственная причина, которая приходит мне в голову, зачем вообще записывать историю жизни Дзико в эту книгу, это то, что я ее люблю и хочу ее помнить, но я не планирую оставаться здесь надолго, а как я смогу о ней помнить, если буду мертва, верно?

А кроме меня, кому это будет надо? Понимаешь, если бы я думала, что мир захочет узнать о старушке Дзико, я бы запостила ее рассказы в блоге, но, если вдуматься, я забросила это дело уже довольно давно. Просто поймала себя на том, что притворяюсь, будто кому-то в этом гребаном киберпейсе интересно, что я думаю, а на самом деле всем было глубоко фиолетово, и мне стало грустно<sup>[30]</sup>. А когда я умножила эту грусть на миллионы людей, которые сидят в своих одиноких комнатках, и неистово пишут, и постят на своих одиноких страничках, которые все равно ни у кого нет времени читать, потому что все пишут и постят, это вроде как разбило мне сердце.

Факты таковы, что в данный момент моя социальная жизнь не бьет ключом и люди, с которыми я общаюсь, не те люди, которым была бы интересна сточетырехлетняя буддийская монахиня, пусть даже она — *босацу*, который умеет пользоваться мейлами и смсками, и это только потому, что я заставила ее купить компьютер, чтобы мы могли оставаться на связи, когда я в Токио, а она — в полуразвалившемся храме на горе где-то в глубокой заднице. Нельзя сказать, что она без ума от новых технологий, но у нее неплохо получается для временного существа с катарактой и артритом в пальцах. Старушка Дзико и Марсель Пруст — оба существа из дооптоволоконного мира, а в наши дни это время утрачено безвозвратно.

Так что сижу я здесь, в «Унылом фартучке Фифи», плююсь на все эти пустые страницы и спрашиваю себя, зачем вообще так

напрягаться, как вдруг меня поражает сногшибательная идея. Ты здесь? Лучше присядь. Вот она:

*Я запишу все, что знаю о жизни Дзико, в книгу Марселя и, когда я закончу, оставлю ее где-нибудь, и ты ее найдешь!*

Ну, разве не круто?! Я будто тянусь к тебе сквозь время, и теперь, когда книга найдена, ты тоже тянешься ко мне, и мы соприкасаемся!

Мое мнение — это невероятно круто и прекрасно. Это как послание в бутылке, брошенное в океан времени и пространства. Абсолютно личное и настоящее тоже, прямиком из дооптоволоконного мира Дзико и Марселя. Это как блог наоборот. Антиблог, потому что он предназначен только для одного, совершенно особого человека, и этот человек — *ты*. И если ты уже на этом месте, то теперь, наверно, понимаешь, что я имею в виду. Ты правда понимаешь? Ты уже чувствуешь свою особенность?

Я тут подожду немного, вдруг ты ответишь...

7

Шутка. Я знаю, никак ты ответить не можешь, и теперь чувствую себя глупо — вдруг никакой такой своей особенности ты не ощущаешь? Я начала делать преждевременные выводы, да? Что, если ты подумаешь, что я просто дура, и выбросишь меня в мусор, как было со всеми этими девчонками, о которых я рассказывала Дзико, — убиты извращенцами, порезаны на куски и выкинуты на помойку только потому, что совершили ошибку, встречались не с тем парнем? Это было бы реально страшно и печально.

Или — вот еще одна пугающая мысль — вдруг ты вообще это не читаешь? Вдруг эта книга так и не попала к тебе в руки, потому что кто-то выкинул ее в мусор или отправил на переработку, как отходы? Тогда истории старой Дзико и вправду будут утрачены навсегда, и я зря теряю время, вещая изнутри помойного ящика.

Эй, там! Ответь мне! Я на помойке или нет?

Шутка. Опять.



Ладно, вот что я решила. Я не против риска, потому что с риском все еще интереснее. И не думаю, что старушка Дзико будет против,

поскольку как буддист она знает, что такое непостоянство, и что все меняется, и ничто не вечно. Дзико точно не станет беспокоиться, будут ее истории записаны или утрачены навсегда, и, может, я немножко переняла у нее этот настрой в стиле «будь что будет». Придет время, и я смогу просто все отпустить.

Или нет. Не знаю. Может, когда я допишу последнюю страницу, мне будет слишком стыдно бросать эту книгу валяться где попало, я струшу и вместо этого все уничтожу.

Эй, если ты это читаешь, то знаешь точно — я не тряпка! Хе-хе.

И, кстати, насчет всей этой фигни с обозленным призраком Марселя — я решила на этот счет не дергаться. Когда я гуглила Марселя Пруста, я так случайно взглянула на его продажи на Амазоне, и ты не поверишь, но его книги до сих пор печатают и, в зависимости от издания, рейтинг у старика где-то между 13,695 и 79,324. Это, конечно, не бестселлер, но не так уж и плохо для мертвеца. Так что за старину Марселя ты не переживай.

Я не знаю, сколько у меня уйдет времени на этот проект. Пара месяцев, не меньше. Пустых страниц много, и у Дзико много историй, а пишу я довольно медленно, но буду очень стараться, и, скорее всего, когда закончу последнюю страницу, старушка Дзико будет уже мертва, и мое время тоже придет.

Но я знаю, что описать жизнь Дзико во всех подробностях у меня точно не выйдет. Так что, если ты захочешь узнать о ней побольше, придется читать ее книги, если сможешь найти. Как я уже говорила, ее книги больше не издаются, и возможно, какая-то умелая девица уже вырезала все страницы и выкинула золотые слова в помойку к Прусту. Это было бы реально грустно, потому что у старушки Дзико рейтинга на Амазоне нет вообще. Я знаю, я проверяла — ее и самой-то на Амазоне нет. Хммм. Я еще подумаю об этом концепте с дневниками. Может, не так уж это и круто.

Кот забрался на письменный стол и планировал стратегическую высадку на колени к Рут. Когда он явился, она читала дневник; кот зашел сбоку, положил передние лапы к ней на колени и носом поддел снизу корешок книги, которая ему мешала. Оттолкнув книгу, он устроился у нее на руках и начал перебирать лапами и бодать ее в ладонь. Он был ужасно надоедлив. Вечно требовал внимания.

Почесывая коту лоб, она закрыла дневник и положила на стол, но, даже отложив книгу, она продолжала ощущать тревогу, будто немедленно нужно сделать... что? Помочь девочке? Спасти ее? Это было просто смешно.

Когда она еще только начинала читать дневник, первым импульсом было быстро дочитать до самого конца, но местами почерк был неразборчив, а текст густо пересыпан жаргонизмами и интригующими разговорными выражениями. С того времени, как Рут жила в Японии, прошли годы, и, хотя она до сих пор владела разговорным языком на приличном уровне, словарь ее устарел. В университете Рут изучала японскую классику — «Повесть о Гэндзи», драму *но*, «Записки у изголовья» — литературу, история которой насчитывала столетия и даже тысячелетия, но знакомство с японской поп-культурой было у нее самым поверхностным. Иногда девочка делала попытки объяснять, но по большей части подробностями себя не утруждала, так что вскоре Рут поймала себя на том, что постоянно сидит в интернете, изучая и проверяя информацию из дневника, а вскоре она уже выкопала свой старый словарь кандзи, и переводила, и царапала заметки об Акибе и кафе с горничными, отаку и хентаях. А еще была эта анархистская феминистская дзэн-буддийская монахиня.

Она опять склонилась к монитору и задала новый поиск на Амазоне, «Дзико Ясутани», но, как и предупреждала Нао, не нашла ничего. Она погуглила Нао Ясутани, и опять — ничего. Кот, раздраженный тем, что на него не обращают внимания и постоянно ерзают, спрыгнул с колен. Он терпеть не мог, когда человек сидит за

компьютером и использует пальцы, чтобы стучать по клавишам и водить мышкой, вместо того, чтобы чесать ему голову. По его мнению, это была пустая трата вполне пристойной пары рук, так что он удалился на поиски Оливера.

С Догэном ей повезло больше; его главный труд, «Сёбогэндзо», или «Сокровищница глаза истинной дхармы», имел рейтинг на Амазоне, хотя и далеко не такой, как у Пруста. Конечно, он жил в начале тринадцатого века, и Пруст был нам ближе почти на семьсот лет. Когда она запустила поиск на «временное существо», оказалось, что это выражение — часть названия одиннадцатой главы «Сёбогэндзо» в английском переводе, и ей удалось обнаружить несколько переводов, снабженных комментариями. Древний учитель дзэн обладал сложными и исполненными тончайших нюансов взглядами на время, которые она нашла поэтичными, но довольно туманными. *«Время — само по себе существо (сущность), и всякое существо — это время... По сути, все во Вселенной связано самым тесным образом, подобно моментам времени, непрерывным и разделенным».*

Рут сняла очки и протерла глаза. Отпила глоток чаю; в голове у нее все еще теснились вопросы; она даже не заметила, что чай совсем остыл. Кто такая эта Нао Ясутани и где она теперь? Конечно, она ни разу не сказала прямо, что собирается совершить самоубийство, но это явно подразумевалось. Может быть, она сидит где-то на краю кровати, стиснув в руках упаковку таблеток и стакан с водой? Или пресловутый хентай успел добраться до нее раньше? Или, может, она приняла решение не кончать жизнь самоубийством и все равно сгинула во время землетрясения или цунами — хотя в этом предположении смысла было немного. Цунами случилось в Тохоку, в Северной Японии. Нао писала в кафе с горничными в Токио. Но что она вообще делала в кафе с горничными? «Фифи»? Звучит как название борделя.

Она откинулась на спинку стула и стала глядеть в окно на крохотный кусочек горизонта между двумя высокими кронами. «Сосна есть время», — писал Догэн, — «и бамбук есть время. Горы есть время. Океаны есть время...» Темные тучи низко висели в небе, нижний край почти неразличим на фоне тусклого, недвижимого моря. Цвет орудийного металла. На той стороне Тихого океана лежали истерзанные берега Японии. «Если время исчезнет, горы исчезнут и

океаны исчезнут». Может, девочка где-то там, в этих бесконечных водах — труп уже разложился и волны разносят остатки?

Рут взглянула на пухлый красный томик, на потускневшие золотые буквы, оттиснутые на обложке. Он лежал поверх толстой неряшливой стопки заметок и страниц черновика, из которой во все стороны торчали разноцветные закладки и прочие материалы в измятом виде. Стопка являлась плодом ее почти десятилетней работы над воспоминаниями. Действительно, *À la recherche du temps perdu*. Не будучи в состоянии закончить очередной роман, она решила вместо этого написать о годах, которые она провела, ухаживая за матерью, страдавшей синдромом Альцгеймера. Сейчас, глядя на стопку, она ощущала только быстро подкрадывающуюся панику при мысли о собственном утраченном времени, о безнадежной путанице в черновиках, и о работе, которую следовало проделать, чтобы привести все это в порядок. О чем она только думала, тратя драгоценные часы на чью-то чужую историю?

Она взяла в руки дневник и быстро прошелестела по обрезу большим пальцем, пролистнув страницы до самого конца. Она сознательно не вчитывалась в текст; ей хотелось только посмотреть, шли ли записи до самого конца, или текст обрывался на середине. Сколько дневников она начала и бросила сама? Сколько незаконченных книг чахло в папках у нее на жестком диске? Но, к ее удивлению, хотя строки иногда меняли цвет от фиолетового к розовому, а потом к синему и вновь возвращались к фиолетовому, их бег был непрерывен; текст становился все мельче, будто концентрированное, и шел до самой последней, густо исписанной страницы. Бумага у девчонки кончилась быстрее, чем слова.

А потом?

Рут быстро захлопнула книгу и даже закрыла глаза, чтобы не дать себе сжульничать, заглянув на последнюю страницу, но вопрос остался, повиснув в воздухе, как ожог на сетчатке под закрытыми веками, в темноте ее сознания: *Что случилось в конце?*

## 2

Мюриел изучала колонию морских желудей на внешнем пакете, сдвинув очки для чтения на кончик носа.

— Я бы на твоём месте показала это Калли. Может, она сумеет прикинуть возраст этих тварей и можно будет подсчитать, сколько это пробыло в воде.

— Оливер думает, это первая волна дрейфующего мусора после цунами, — сказала Рут.

Мюриел нахмурилась.

— Думаю, это возможно. Но мне кажется, это было бы слишком скоро. Они там на Аляске и в Тофино только начали замечать предметы, то, что полегче, но мы-то расположены глубже к материку. Где, ты сказала, ты это нашла?

— На южном конце берега, под ранчо Япов. {7}

Никто на острове больше не называл так это ранчо, но Мюриел была старожилком и могла понять, о чем речь. Старая усадьба, одно из самых красивых на острове мест, когда-то принадлежала японской семье; они вынуждены были продать дом, когда их интернировали во время войны. С тех пор владение несколько раз переходило из рук в руки и теперь принадлежало чете пожилых немцев. С тех пор как Рут впервые услышала это прозвище, она упрямо продолжала его использовать. Японское происхождение дает мне на это право, говорила она, и нельзя позволять нью-эйджевской политкорректности коверкать историю острова.

— Тебе-то можно так говорить, — возражал Оливер. Его родные были выходцами из Германии. — Но насчет себя я сомневаюсь. Не слишком честно.

— Вот именно, — отвечала Рут. — Это было нечестно. Семью моей мамы тоже интернировали. Может, мне стоит подать иск на возвращение земли от имени моего народа. Эту собственность у нас отняли. Я могла бы просто пойти к ним, сесть на пороге и отказаться уходить. Вернуть собственность на землю и выкинуть немцев вон.

— А что ты имеешь против моего народа? — осведомлялся Оливер.

Таким уж был их брак, альянс стран Оси в миниатюре: ее родные пережили интернирование, его — бомбежки в Штутгарте. Одно из маленьких последствий войны, разыгравшейся до того, как оба они появились на свет.

— Мы — побочный продукт середины двадцатого века, — говорил Оливер.

— А кто — нет?

### 3

— Я сомневаюсь, что это — последствие цунами, — сказала Мюриел, откладывая пакет для заморозки обратно на стол и переключая внимание на коробку Hello Kitty. — Скорее, выброшено с круизного судна, следующего по Внутреннему проходу, или, может быть, японские туристы...

Песто, до того обвивавший себя вокруг ног Мюриел, теперь вспрыгнул к ней на колени и нанес прицельный удар лапой по толстой седой косе, свисавшей у нее с плеча, как змея. Кончик косы был перехвачен пестрой бисерной резинкой, которую Песто находил неотразимой. Висячие серьги ему тоже нравились.

— Мне по душе нарратив, в котором есть цунами, — сказала Рут, неодобрительно глядя на кота.

Мюриел перекинула косу за спину, вне зоны досягаемости кота, и, чтобы отвлечь, почесала ему белую полоску между ушами. Она взглянула на Рут поверх очков.

— Так себе идея. Не нужно позволять своим предпочтениям насчет нарратива влиять на исследование.

Мюриел была антропологом на пенсии; предметом ее изучения были помойные кучи. О мусоре она знала немало. Еще она была заядлым собирателем выброшенных на берег предметов, и отрезанная нога попалась как раз ей. Она гордилась своими находками: костяные крючки и наживки, кремневые наконечники копий и стрел, разнообразные колющие и режущие каменные инструменты. Большинство предметов были индейского происхождения, но у нее еще была коллекция старинных японских рыболовных поплавков, оторвавшихся когда-то от сетей на той стороне Тихого океана и выброшенных на побережье острова. Поплавки был размером с большие пляжные мячи — мутные полупрозрачные сферы из цветного стекла. Прекрасные, как беглые миры.

— Я — писатель, — сказала Рут. — Ничего не могу поделать. Мои предпочтения насчет нарратива — это все, что у меня есть.

— Тут я, конечно, поспорить не могу, — ответила Мюриел, — но факты есть факты, а установить происхождение объекта — это важно.

Она подхватила кота и опустила его на пол, потом кончиками пальцев коснулась замочков коробки.

— Можно? — спросила она.

— Угощайся.

По телефону Мюриел попросила разрешения осмотреть находку, так что Рут постаралась вновь запаковать предметы так, как они их нашли. Теперь у нее было ощущение, что в воздухе носится некая напряженность, но трудно было понять, откуда оно взялось. Формальность, с которой Мюриел высказала свою просьбу. Серьезная манера, с которой она откинула крышку. То, как она сделала паузу, почти церемониально, прежде чем достать из коробки часы и поднести их к уху.

— Они сломаны, — сказала Рут.

Мюриел взяла в руки дневник. Изучив корешок, потом обложку, она сказала:

— Вот где ты найдешь подсказки, — она раскрыла книгу на середине. — Ты уже начала читать?

Наблюдая, как Мюриел обращается с книгой, Рут ощутила нарастающее беспокойство.

— Ну... Да. Только пару страниц в самом начале. Не так уж и интересно. — Она взяла из коробки письма и протянула их Мюриел. — Это выглядит гораздо перспективнее. Они явно более старые и могут быть важнее с исторической точки зрения, как ты думаешь?

Мюриел отложила дневник и взяла письма из рук Рут.

— К сожалению, прочесть их я не могу, — добавила Рут.

— Почерк очень красивый, — сказала Мюриел, перелистывая страницы. — Ты показывала их Аяко?

Аяко была молодой японской женой устричного фермера, который жил на острове.

— Да, — ответила Рут, опуская дневник под стол, с глаз долой. — Но она сказала, что даже ей трудно разобрать почерк, и потом, ее английский тоже не слишком хорош. Но она расшифровала даты. Говорит, это было написано в 1944–1945 годах, и что мне надо попытаться найти кого-то постарше, кто жил во время войны.

— Удачи, — сказала Мюриел. — Язык действительно настолько изменился?

— Не язык. Люди. Аяко говорит, молодежь больше не может читать сложные иероглифы или писать от руки. Они выросли на компьютерах.

Под столом она ощупывала тупые уголки обложки. Один угол был обломан, и обтянутый тканью кусочек картона шатался, как выбитый зуб. Интересно, Нао тоже теребила пальцами этот уголок?

Мюриел качала головой.

— Ну да, — сказала она. — Везде то же самое. У детей в наше время ужасный почерк. Они в школе этому больше даже не учат.

Она положила письма на стол рядом с часами и пакетом, и обзрела весь набор еще раз. Если она и заметила, что дневника не хватает, говорить ничего не стала.

— Что ж, спасибо, что показала, — сказала она.

С усилием поднявшись на ноги, она смахнула с колен кошачью шерсть и прохромала в прихожую. Она набрала вес после замены бедренного сустава, и ей еще трудновато было вставать и садиться. На ней был потрепанный свитер индейской вязки и длинная юбка в крестьянском стиле из грубоватой ткани. Надев резиновые сапоги и потопав ими для надежности, она взглянула на Рут, которая вышла ее проводить.

— И все же это я должна была найти коробку, — проговорила она, натягивая дождевик поверх свитера. — Но, может, и к лучшему, что ты это нашла — по крайней мере, ты можешь читать по-японски. Удачи. Но не позволяй себе особенно отвлекаться...

Рут внутренне подобралась.

— ...Как там, кстати, твоя новая книга? — спросила Мюриел.

Вечерами, уже в кровати, Рут часто читала Оливеру вслух. Раньше, в конце хорошего рабочего дня, она прочитывала ему то, что только что написала; она обнаружила, что, засыпая с мыслями о сцене, над которой работала, на следующее утро она часто просыпалась с пониманием, куда двигаться дальше. Но с тех пор, как у нее случился хороший рабочий день или что-то новое, чем можно было бы поделиться, уже много воды утекло.

В тот вечер она прочла ему пару первых записей из дневника Нао. Когда она дошла до пассажа об извращениях, трусиках и кроватях под зебру, ей вдруг стало неудобно. Это не было смущением. Она никогда не стеснялась подобных вещей. Это чувство, скорее, относилось к

девочке. Ей хотелось защитить Нао. Но почему она должна беспокоиться?

— Про монахиню интересно, — заметил Оливер, не прекращая возиться с часами.

— Да, — сказала она, почувствовав облегчение. — Демократия Тайсё была интересным временем для японских женщин.

— Ты думаешь, она все еще жива?

— Монахиня? Сомневаюсь. Ей же было сто четыре...

— Я имею в виду девочку.

— Я не знаю, — ответила Рут. — Это безумие, но я вроде как за нее беспокоюсь. Наверно, нужно просто продолжать читать, и мы все узнаем.

#### 4

*Ты уже чувствуешь свою особенность?*

Вопрос девчонки повис в воздухе.

— Интересная мысль, — сказал Оливер. Он все еще копался в часах. — Ты чувствуешь?

— Чувствую что?

— Она говорит, что пишет это для тебя. Так ты чувствуешь себя особенной?

— Это просто смешно, — ответила Рут.

*Что, если ты подумаешь, что я просто дура, и бросишь меня в мусор.*

— Кстати, насчет мусора, — сказал Оливер. — Я тут последнее время думал о Больших мусорных пятнах...

— О больших чего?

— Большое Восточное и Большое Западное мусорные пятна. Ты наверняка о них слышала.

— Да, — сказала она. — Нет. То есть, вроде да.

На самом деле это было не важно, потому что ему явно хотелось рассказать. Она отложила дневник в сторону, на белое покрывало. Сняла очки, положила их поверх книги. Очки были ретро, в массивной черной оправе, и хорошо смотрелись на фоне вытертой красной обложки.

— В мировых океанах существуют, по крайней мере, восемь мусорных пятен, или континентов, — начал он. — В этой книге, которую я сейчас читаю, говорится, что два из них, Большое Восточное и Большое Западное пятна, находятся в Черепашьем течении; они сливаются у южной оконечности Гавайев. Большое Восточное пятно размером с Техас. Западное еще больше, в половину США.

— А из чего они состоят?

— Пластик, в основном. Вроде твоего пакета для заморозки. Бутылки из-под газировки, пенопласт, контейнеры для еды на вынос, одноразовые бритвы, промышленные отходы. Все, что мы выбрасываем и что не тонет.

— Ужас какой. Зачем ты мне все это рассказываешь?

Он встряхнул часы и поднес их к уху.

— Да, в общем-то, ни за чем. Просто пятна существуют, и все, что не тонет и не покидает орбиту течения, затягивается в центр мусорного пятна. Это произошло бы и с твоим пакетом, если бы его не выкинуло из течения. Он бы медленно дрейфовал по кругу, разлагаясь. Пластик размалывается на мелкие частицы, которые поедает рыба и зоопланктон. Дневник и письма растворились бы, так никем и не читанные. Но вместо этого пакет выбросило на берег под ранчо Япов, где ты смогла его найти...

— Что ты такое говоришь?

— Ничего. Просто это потрясающе, вот и все.

— Вроде как шанс, подаренный свыше?

— Может быть. — У него на лице появилось ошеломленное выражение. — Смотри-ка! Работает!

Секундная стрелка совершала свой круг, обегая крупные светящиеся цифры. Она взяла у него часы и застегнула на запястье. Это были мужские часы, но размер подошел.

— Как ты этого добился?

— Не знаю, — ответил он. — Думаю, просто завел.

## 5

Она прислушалась к мягкому тиканью часов в темноте, к размеренному дыханию Оливера. Потянувшись к ночному столику, она

нащупала дневник. Провела пальцами по мягкой ткани, нащупала оттиск потускневших букв на обложке. Они до сих пор хранили форму *À la recherche du temps perdu*, но обрели абсолютно иной смысл. Обрели внезапно, резко, когда страницы были вырваны из переплета чьими-то умелыми руками, заменившими Пруста на нечто совершенно новое.

Мысленно она могла в любой момент вызвать перед глазами неровные фиолетовые строки, складывавшиеся в солидные абзацы. Она не могла не заметить — с восхищением — свободу, с которой девочка выражала свои мысли. Никаких колебаний. Практически никаких сомнений в выборе слова, или фразы, или выражения. Всего пара вычеркнутых предложений и строк, и это тоже вызывало у Рут чувство, похожее на благоговение. Прошли годы с тех пор, как она садилась за новую страницу с подобной уверенностью.

*Я тянусь к тебе сквозь время.*

Дневник вновь источал тепло у нее в ладонях, и она знала, что это явление имеет мало общего с таинственной природой книги, и много — с переменами в ее собственном теле. Мало-помалу она привыкала к внезапным перепадам температуры. Руль в машине, который вдруг становился горячим и липким у нее в руках. Обжигавшая ухо подушка, которую она, проснувшись, находила на полу вместе с одеялом — во сне она сбрасывала их с кровати, будто в наказание за удушающий жар.

От часов на запястье, наоборот, исходила прохлада.

*Я тянусь к тебе сквозь время... ты тоже тянешься ко мне.*

Она поднесла дневник к носу и вдохнула, различая отдельные запахи: щекочущий ноздри затхлый аромат старой книги, резковатые нотки бумаги и клея, и еще что-то, что, как она поняла, могло быть только Нао: горечь, как от кофейных зерен, и сладкий фруктовый оттенок — должно быть, шампунь. Сделав еще один вдох, на этот раз — глубокий, она отложила книгу — нет, совсем не милый дневник невинной школьницы — обратно на столик у кровати, все еще размышляя о том, как именно нужно читать этот невозможный текст. Нао твердо заявила, что пишет только для нее, и Рут решила пока придерживаться этой линии. Это самое меньшее, что она могла сделать как читатель этих записок.

Ровное тиканье старых часов, казалось, становилось все громче. Как вообще можно искать утраченное время? Раздумывая над этим вопросом, она вдруг осознала, что подсказкой может стать темп. Нао писала дневник в реальном времени, проживая свою жизнь день за днем, момент за моментом. Быть может, если бы Рут замедлила темп, стараясь читать не быстрее, чем Нао писала, ей удалось бы полнее пережить опыт Нао. Конечно, даты в дневнике отсутствовали, и нельзя было точно сказать, насколько быстро или медленно появлялись записи, но были подсказки: менялись оттенки чернил, менялись наклон и плотность почерка; все это могло указывать на перемены настроения — или на разрывы во времени. Если она изучит дневник с этой точки зрения, то сможет разбить текст на гипотетические интервалы, даже пронумеровать их и соответственно подобрать темп. Если она почувствует, что записи идут потоком, то позволит себе читать дальше и будет делать это быстрее, но если станет понятно, что Нао писала медленно, ей тоже нужно будет замедлить темп или вообще остановиться. Так у нее не возникнет ложного впечатления о скорости развития событий в жизни Нао; кроме того, она не будет тратить слишком много времени. Она сможет сбалансировать чтение дневника и всю ту работу, которую ей еще предстоит проделать над собственными воспоминаниями.

План казался вполне разумным. Успокоившись, Рут взяла книгу с ночного столика и сунула под подушку. «Девчонка права, — подумалось ей. — Это абсолютно личное и настоящее».

## 6

В ту ночь ей снилась монахиня.

Сновидение обрело форму на склоне горы где-то в Японии; тишину нарушали только пронзительное стрекотание насекомых и свежий ночной ветерок, неустанно теревивший ветки кипарисов. Среди деревьев в лунном свете мягко поблескивали черепицей изящные изгибы храмовой крыши, но даже в полумраке было заметно, что здание едва держится и рискует вскоре обратиться в руины. Единственным освещенным местом внутри храма была комната, выходящая в сад; старая монахиня сидела, подогнув колени, за низким столиком, склонившись к сияющему квадрату монитора,

который отбрасывал серебристый свет на ее древние черты. Фигура, склонившаяся к компьютеру, была размыта темнотой, но Рут могла различить, что спина ее была согнута, будто вопросительный знак, а черная когда-то ряса казалась старой и поношенной. С шеи у нее свисал квадратный, сшитый из отдельных лоскутов кусок ткани, будто слюнявчик у младенца. Луна заглядывала в комнату из сада через раздвижные двери веранды. Бритая голова куполом отсвечивала в лунном свете, и, когда монахиня повернула голову, Рут уловила отблеск монитора на очках в квадратной массивной оправе, похожих на те, что носила она сама. Лицо монахини выглядело странно юным в неверном свете экрана. Она печатала что-то осторожно указательными пальцами, искривленными артритом.

*«Иногда вверх...»* — набирала она. Запястья у нее были согнуты, как сломанные ветви, а пальцы, тщательно выискивающие каждую букву, были похожи на крюки.

*«Иногда вниз...»*

Это был ответ на вопрос Нао о лифте. Она нажала ENTER и вновь опустилась на пятки, закрыв глаза и будто погрузившись в дремоту. Спустя несколько минут сбоку экрана выскочила иконка и прозвенел электронный колокольчик. Она выпрямилась, поправила очки и наклонилась к монитору. Потом начала печатать ответ.

*Вверх вниз, одно и то же. Но и разное.*

Она ввела текст и опять в ожидании уселась на пятки. Когда прозвенел колокольчик, она прочла входящее сообщение и кивнула. Потом подумала с минуту, потирая гладкую макушку, и начала печатать опять.

*Когда верх глядит вверх, верх — это низ.*

*Когда низ глядит вниз, низ — это верх.*

*Не-одно, не-два. Не одно и то же. Не разное.*

*Теперь понимаешь?*

На то, чтобы напечатать все это, у нее ушло немало времени, и, когда, наконец, она нажала ENTER, чтобы отправить сообщение, вид у нее был усталый. Она сняла очки, положила их на край низкого столика и протерла глаза своими скрюченными пальцами. Вновь надев очки, медленно разогнула спину и не торопясь встала. Убедившись, что ноги прочно стоят на полу, она двинулась, шаркая, через комнату к раздвижным бумажным дверям на веранду. Белые носки ярким пятном

выделялись на фоне пола; темное дерево поблескивало в лунном свете, отполированное бесчисленными ногами в бесчисленных носках. Она остановилась на краю веранды и посмотрела в сад, где старые камни отбрасывали длинные тени и где шелестел бамбук. Сделав глубокий вдох, затем еще один, она развела руки в стороны, словно ворона, расправляющая крылья перед полетом. Постояла так секунду, совершенно неподвижно, потом свела руки перед собой и начала размахивать ими вперед-назад. Рукава ее надувались и хлопали от ветра, и когда казалось уже, что она вот-вот оторвется от земли, она будто переменяла решение, завела руки за спину и сцепила пальцы, впечатывая их в спину, стараясь выгнуть позвоночник. Задрвав подбородок, она изучала луну.

Вверх, вниз.

Гладкая кожа бритой головы вновь отразила свет, и издалека, оттуда, где стояла Рут, казалось, будто две луны ведут беседу.

Время решает все. Где-то я прочла, что мужчины, родившиеся между апрелем и июнем, совершают самоубийство чаще, чем мужчины, рожденные в другое время года. Мой папа родился в мае, может, это все и объясняет. Не то чтобы он преуспел. Пока нет. Но он продолжает пытаться. Это только вопрос времени.

Я знаю, я обещала написать о старушке Дзико, но мы с папой поссорились, так что голова у меня вроде как не тем занята. Ну, это не была прямо настоящая ссора, но мы друг с другом не разговариваем. На деле это означает, что это я с ним не разговариваю. Он, наверно, даже ничего не заметил, в последнее время он редко замечает чувства окружающих, и я не хочу его расстраивать замечаниями типа: «Эй, пап, на случай если ты не заметил, мы тут поссорились, о'кей?». У него и так есть о чем подумать, и я не хочу добавлять еще один депрессивный фактор.

Уж точно мы не ссоримся из-за того, что на самом деле я не хожу в школу. Проблема в том, что вступительные экзамены в старшую школу я завалила, так что в хорошее место мне теперь не попасть и единственный вариант — идти в ремесленное училище, куда попадают тупые дети, что явно *не* вариант. Мне, в общем, плевать, получу я образование или нет. Я бы лучше стала монахиней и ушла жить в горы к старушке Дзико, но папа и мама говорят, что сначала я должна закончить старшую школу.

Так что прямо сейчас я — ронин, а это такое старинное слово для воина-самурая, у которого нет господина. В феодальные времена у каждого самурая должен был быть лорд или господин. Смысл самурая в том, что он служит господину, и если твоего господина убивали, или он совершал сеппуку<sup>[31]</sup>, или терял свои замки во время войны или как-то еще, то все. *Бах!* Смысла в твоей жизни больше не было, ты становился ронином и шатался, где придется, ввязывался в драки на мечах и вообще нарывался на неприятности. Ронины были довольно

стремными личностями, вроде тех бездомных, которые живут под брезентом в парке Уэно, плюс если бы кто раздал им острющие мечи.

И слепой заметит, что я не воин-самурай, но в наше время ронином называют всего лишь несчастного тупицу, который провалил вступительные экзамены и теперь должен брать дополнительные уроки на курсах и зубрить дома, пока не накачается уверенностью и энтузиазмом для новой попытки. Обычно ронин — выпускник старшей школы, и вот он живет с родителями, пока длятся его попытки поступить в университет. Стать, как я, ронином после средней школы довольно необычно, но лет мне больше, чем моим одноклассникам, и вообще-то теперь, когда мне стукнуло шестнадцать, в школу я могу совсем не ходить. Это если по закону.

Слово «ронин» пишется вот так:

浪人

— один иероглиф обозначает волну, другой — человека, что, в общем и целом, соответствует тому, как я себя ощущаю. Как маленькая человеческая волна, которую носит по бушующему морю жизни.

## 2

Вообще-то в том, что я провалила экзамен, моей вины нет. Со своим образованием я не могла попасть в хорошую японскую школу, сколько бы ни занималась. Папа хочет, чтобы я пошла в международную старшую школу. Хочет, чтобы я поехала в Канаду. У него пунктик насчет Канады. Говорит, это как Америка, только с медицинской страховкой и без пушек, и ничто не мешает тебе реализовать здесь свой потенциал, и не нужно беспокоиться о том, что думает общество, или что ты заболеешь, или что тебя застрелят. Я сказала ему не заморачиваться, потому что мне и так до крысиной задницы, что подумает общество, и у меня не наберется столько потенциала, чтобы время на него тратить. Но, конечно, насчет здоровья и пушек он прав. Здоровье у меня в порядке, и идея смерти мне не претит, но как-то не хочется, чтобы меня завалил какой-нибудь фрик-старшеклассник в плаще, торчащий на «золоте» и только что сменявший свой Хбох на полуавтоматический пистолет.

Мой папа был когда-то влюблен в Америку. Я не шучу. Это было, будто Америка была его любовницей, и любил он ее так, что мама

ревновала, честно. Мы раньше жили там, в городке под названием Саннивэйл. Это в Калифорнии. Папа был тогда таким крутым программистом, за такими хедхантеры охотились, и вот, когда мне было три, его нашли и предложили шикарную работу в Силиконовой долине, и мы все туда переехали. Мама была не в восторге, но в то время она делала все, что говорил папа, а я — я не помню ничего о той Японии, когда я была маленькой. Насколько я могу судить, моя жизнь началась и закончилась в Саннивэйле, что делает меня американкой. Мама говорит, сначала я вообще не понимала по-английски, но они отдали меня в ясли под началом симпатичной дамы по имени миссис Дельгадо, и я прижилась как рыба в воде. Так уж устроены дети. Моей маме пришлось труднее. Она так и не освоилась с английским, и друзей у нее было немного, но она с этим мирилась, потому что папа зарабатывал кучу денег и она могла покупать себе по-настоящему классные шмотки.

Так что все было зашибись, и мы плыли по воле волн, но вот происходило все это в стране чудес, которую позднее назвали «доткомовский пузырь», и когда этот пузырь лопнул, папина фирма обанкротилась, его уволили и наши визы больше не действовали, так что нам пришлось вернуться в Японию, что было полным отстоем, потому что папа не просто потерял работу, он еще и вложил хороший процент от своей шикарной зарплаты в акции компании, так что вдруг оказалось, что сбережений у нас тоже нет, а Токио — город недешевый. Это был полный и окончательный капец. Папа дулся, как отвергнутый любовник, мама была вся такая напряженная, мрачная и «я же говорила», но, по крайней мере, языком они владели свободно и могли считаться японцами. Я, напротив, была в полной попе, потому что думала о себе как об американке и, хотя дома мы всегда говорили по-японски, мой разговорный язык сводился к простейшим бытовым выражениям типа: «где мои карманные деньги», «передай джем» или «о, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня уезжать из Саннивэйла».

В Японии существуют специальные наверстывающие школы для детей-кикокусидзё<sup>[32]</sup> вроде меня, которые сильно отстали от японских сверстников после нескольких лет пребывания в тупых американских школах, пока их папы работали на свои компании за границей. Вот только папа не работал ни в какой компании, и его не переводили

обратно в японский офис. Его уволили. И нельзя сказать, чтобы я отстала от уровня сверстников — я ходила только в американские школы и была позади с самого начала. И мои родители не могли себе позволить дорогущую школу для кикокусидзё, так что в конце концов они просто сдали меня в государственную среднюю школу и мне пришлось повторять полгода в восьмом классе, потому что я перевелась в сентябре, а это середина учебного года в Японии.

Ты, наверно, давно уже не в средней школе, но если сможешь припомнить несчастного лузера, который перевелся к вам в середине восьмого класса из-за границы, может, в тебе проснется капелька сочувствия. Я вообще не имела понятия, как надо вести себя в японском классе, разговорный язык у меня был на уровне плинтуса, и к тому времени мне было почти пятнадцать — я была старше, чем мои одноклассники, и крупнее тоже, ото всей этой американской жратвы. Еще мы только что разорились, так что у меня не было карманных денег или всяких модных штучек, и, в общем, это была пытка. В прямом смысле. В Японии это называют «идзимэ»<sup>[33]</sup>, но это слово не передает всего, что делали со мной эти ребята. Я бы, наверно, была уже мертва, если бы старушка Дзико не научила меня, как развить себе суперпауэр. Идзимэ — это причина, по которой вариант со школой для тупых никак не катит, — мой опыт показывает, что тупые дети могут быть гораздо опаснее умных, потому что им нечего терять. Школа — это просто небезопасно.

Но Канада — это безопасно. Папа говорит, в этом разница между Канадой и Америкой. Америка быстрая, и сексуальная, и опасная, и щекочет нервы, и там легко обжечься, но Канада — это безопасно, а папа мой правда хочет, чтобы я была в безопасности, и в этом он похож на типичного папу, каким бы он был, если б у него была работа и он не пытался все время покончить с собой. Иногда мне становится интересно: может, он хочет моей безопасности, чтобы не чувствовать себя таким виноватым, когда наконец добьется своего.

### 3

Первая попытка была примерно год назад. Мы тогда шесть месяцев как уехали из Саннивэйла и жили в крохотной двухкомнатной квартирке на западе Токио — единственное, что мы могли себе

позволить, потому что цены на аренду были совершенно безумными, и это-то место мы смогли снимать только потому, что хозяин вроде был другом папы по университету и не давил на нас насчет «ключевых».<sup>{8}</sup>

Квартира, честно, была совершенно отвратительная, и все наши соседки были хостесс из баров, которые никогда не сортировали мусор и питались готовыми бэнто<sup>[34]</sup> из «7-илевен», а домой приходили пьяными часов в пять-шесть утра в сопровождении своих дружков. Завтрак у нас проходил под звуки их занятий сексом. Сначала мы думали, что это кошки на заднем дворе, но в основном это были хостесс. Точно никогда сказать было нельзя, потому что звуки они издавали совершенно одинаковые. Жуть.

Не знаю, можно ли передать это в письменном виде, но звучало оно вроде: «о... о... ооох», или: «оу... оу... оууууу...», или: «нет... нет... неееееет...», будто юную девушку пытается садист, человек методичный, и он чуток заскучал, но остановиться пока не готов.

Мама вечно притворялась, что этого не слышит, но по тому, как белела натянутая кожа у губ и как она начинала есть тост малюсенькими кусочками, отщипывая все меньше и меньше, пока, наконец, не откладывала полусъеденный ломтик, уставившись на него, было понятно, она слышит все. Конечно, она слышала! Нужно было глухим быть, чтобы не слышать этих глупых девиц, как они кричат, и стонут, и взвизгивают, будто котята в кипятке, а их голые задницы шлепают по нашим стенам и долбят в наш потолок. Иногда комочки пыли и дохлые насекомые падали с люминесцентной лампы прямо мне в молоко, я, типа, тоже должна была молчать? Папа, в общем и целом, тоже все это игнорировал, и только когда раздавался особо мощный БУМ! он чуть опускал газету, глядел на меня и вроде как закатывал глаза, а потом быстро отгораживался газетой опять, пока мама не засекала и не устроила ему втык за то, что, не в силах сдержаться, я фыркаю и молоко течет у меня из носа.

В то время папа уходил каждый день, чтобы искать работу, так что утром мы выходили из квартиры вместе. Обычно мы старались выйти пораньше, чтобы пойти длинным путем. Не то чтобы мы договаривались или планировали заранее. Просто, покончив с завтраком, мы бросали тарелки в раковину, чистили зубы и направлялись напрямиком к двери. Думаю, нам просто хотелось поскорее исчезнуть из поля зрения мамы, которая в те дни гнала

довольно токсичную волну. Не то что мы с папой когда-нибудь обсуждали этот феномен. Не обсуждали, но и рядом находиться нам не хотелось.

И всегда был этот момент: когда мы покидали безопасность квартиры и делали шаг на улицу, мы вроде как косились друг на друга, а потом отводили глаза. Я думаю — я уверена, что ощущали мы одно и то же: вину за то, что оставляли маму одну, и беспомощность перед миром, к которому совершенно не были готовы — который был для нас абсолютно нереальным. Мы оба выглядели смешно и знали это. Раньше, в Саннивэйле, папа был крут. На работу он ездил на байке, в джинсах и кроссовках Adidas, через плечо — стильная сумка-мессенджер. А теперь он одевался в уродский синий полиэстровый костюм и ботинки без шнурков, а в руках у него был дешевый кейс, и выглядел он старым и консервативным. А я должна была носить эту тупую школьную форму, которая была мне безнадежно мала, и как бы я ни старалась, я не могла найти способ выглядеть в этом симпатично. Другие девочки в моем восьмом классе все были очаровательные крошки и умудрялись выглядеть одновременно секси и супермило в этой форме, тогда как я выглядела (и сама ощущала себя) как огромная перезрелая вонючая дубина. От тех моментов, когда мы выходили из квартиры, у меня в памяти осталось это обреченное чувство нереальности, будто мы были плохие актеры в ужасных костюмах, и пьеса обречена на провал, но на сцену нужно идти все равно.

Длинный путь вел через все эти старые кварталы по соседству, по торговым улочкам и, наконец, мимо маленького древнего храма, затесавшегося между бетонными офисными блоками. Храм был особым местом. Там пахло мхом и благовониями, и были звуки — насекомые, птицы, даже лягушек иногда слышно, и почти можно было почувствовать, как все вокруг растет. Прямо посреди Токио, стоит только сделать шаг внутрь ограды, ты будто проникаешь в древнее пространство, заполненное влажным воздухом, которое каким-то образом сохранилось, как пузырек во льду, со всеми запахами и звуками, пойманными внутри. Я читала, как ученые в Арктике, или там в Антарктике, или где-то еще, где очень, очень холодно, бурят скважины в леднике и достают из самой глубины вмерзшие в лед образцы древней атмосферы, такой, какой она была сотни тысяч или даже миллионы лет назад. И хотя это круто, без вопросов, мне все

равно становится грустно при мысли об этих кусках льда, которые тают и испускают пузырьки древнего воздуха, будто маленькие вздохи, в отравленную атмосферу двадцать первого века. Глупо, я знаю, но именно такое у меня было ощущение от этого храма, как от замерзшего образца другого времени, и мне это очень нравилось, и я сказала об этом папе, а было это задолго до того, как я узнала Дзико, или провела лето у нее в горах, или что еще. Я даже не знала, что она существует.

— Так ты не помнишь, как мы навещали ее, когда ты была совсем маленькой?

— Нет.

— Мы заезжали к ней в храм, прежде чем уехать в Америку.

— Я не помню ничего до того, как мы уехали в Америку.

Мы шли дорожкой, ведущей вверх под деревянные ворота. Кошка спала на солнце у каменного фонаря. Пара вытертых каменных ступеней вела к затененному алтарю, где сидел Шака-сама, Господин Будда. Мы стояли бок о бок и глядели на него. Выглядел он мирно; глаза его были прикрыты, будто он собрался вздремнуть.

— Твоя прабабушка — монахиня. Ты это знала?

— Пап, я ж тебе говорила. Я даже не знала, что у меня есть прабабушка.

Я дважды хлопнула в ладоши, поклонилась и загадала желание, как учил папа. Я всегда желала одно и то же: чтобы он нашел работу, чтобы мы вернулись в Саннивэйл, а если уж ни то, ни другое не возможно, пусть хоть одноклассники перестанут меня пытаться. Прабабушки-монахини меня тогда не интересовали. Я просто пыталась выжить, каждый день.

После храма папа провожал меня до школы и мы говорили о разных вещах. О чем именно, не помню, да это и не было важно. А важно было то, что мы были вежливы и не говорили обо всем том, что делало нас несчастными, — это был единственный известный нам способ любить друг друга.

Когда до ворот школы оставалось совсем немного, он чуть замедлял шаг, и я чуть замедляла шаг; он торопливо оглядывался вокруг и, убедившись, что никто не смотрит, быстро обнимал меня и целовал в макушку. Самая обычная в мире вещь, но ощущение было, будто мы делаем что-то незаконное, будто мы были любовники или

что, потому что в Японии папы, как правило, не обнимают и не целуют своих детей. Не спрашивай, почему. Просто они этого не делают. Но мы обнимались, потому что мы были американцы, по крайней мере, в глубине души, а потом быстро отпрыгивали друг от друга на случай, если кто-то смотрел.

— Ты хорошо выглядишь, Нао, — говорил папа, усиленно пялясь куда-то поверх моей головы.

А я отвечала, разглядывая башмаки:

— Ага, ты тоже здорово смотришься, пап.

Мы отчаянно врали, но это было ничего, и остаток пути мы шли молча, потому что, если бы мы открыли рот после подобного вранья, полезла бы правда, так что мы молчали как рыбы. Пускай мы и не могли говорить друг с другом прямо, мне нравилось, что папа провожает меня до школы каждое утро, — это значило, что ко мне не начнут цепляться, пока он не помашет мне на прощание и не исчезнет за углом.

Но они ждали меня, я спиной чувствовала их взгляды, стоя у ворот, ощущая, как становятся дыбом волоски на руках и на шее, как учащается дыхание, а подмышки заливают пот. Мне хотелось вцепиться в папу и умолять его не уходить, но я знала, что этого делать нельзя.

## 4

В ту самую минуту, как он поворачивался спиной, они начинали движение. Тебе когда-нибудь доводилось смотреть эти передачи, где стая диких гиен движется, окружая антилопу гну или детеныша газели? Они собираются со всех сторон, чтобы отрезать самое убогое животное от стаи, и окружают его, все ближе и ближе, плотным кольцом, и, если бы папа случайно обернулся, чтобы помахать, он решил бы, будто у меня куча друзей, все весело окружают меня, выпевая приветствия на ужасном английском: «Гуддо монингу, дорогая переводная ученица Ясутани! Хелло! Хелло!» И папа бы успокоился, видя, что я популярна, и как все стараются сделать мне приятное. И вот одна гиена — не всегда самая большая, может, маленькая, но быстрая и злобная — бросается вперед, чтобы пролить первую кровь; это служит сигналом к нападению для остальной стаи, так что к тому

времени, как мы добираемся до дверей, я вся покрыта свежими порезами и синяками от щипков, и форма у меня в беспорядке и вся в дырочках от острых кончиков маникюрных ножниц, которые девочки держат в пеналах, чтобы обрезать посекавшиеся кончики волос. Гиены не убивают свою добычу. Они ее калечат, а потом едят живьем.

В общем и целом, так продолжалось весь день. Они проходили мимо моей парты и притворялись, будто их тошнит, или нюхали воздух и говорили: «Ийада! Гайдзин кусай!»<sup>[35]</sup>, или: «Бимбо кусай!»<sup>[36]</sup>. Иногда они практиковались со мной в английских идиомах, повторяя то, что слышали из американского рэпа: «Йо, торстожопая, покажи-ка мне, ты же шрюха, имеюто тебя даже в ухо, порижи-ка мне яйца, тебе это нуравится, оу йе» и т. д. Ну, ты представляешь. Моей стратегией было просто их игнорировать, или не двигаться, как мертвая, или притворяться, что они не существуют. Я думала, может, если я притворюсь достаточно сильно, это может стать правдой, и я либо умру, либо исчезну. Или, может, это станет правдой настолько, что мои одноклассники поверят в это и прекратят меня пытаться, но они не прекращали. Они гнали меня до самого дома, и я взбегала по ступенькам и запирала за собой дверь, часто дыша и вытирая кровь от множества мелких порезов под мышками или между ног — они кололи там, где следы были бы незаметны.

Мамы в это время практически никогда не было дома. Она как раз переживала медузный период, проводила весь день перед резервуаром с беспозвоночными в городском аквариуме, где сидела, стиснув пальцами старую сумочку от Гуччи, наблюдая сквозь стекло за кураге<sup>[37]</sup>. Я знаю, потому что она как-то взяла меня с собой. Это было единственное, что давало ей возможность расслабиться. Она прочла где-то, что наблюдение за кураге благотворно влияет на здоровье, поскольку снижает уровень стресса, но была одна проблема — другие домохозяйки тоже читали эту статью, и перед аквариумом всегда была толпа, и служащим приходилось раздавать раскладные стульчики, и, чтобы занять хорошее место, попасть туда надо было очень рано, и всё вместе это был один большой стресс. Я теперь думаю, у нее тогда точно был нервный срыв, но я помню, какой бледной и красивой она была, деликатный профиль выделяется на синем фоне аквариума, налитые кровью глаза следят за движениями розовых и желтых медуз,

как они парят в воде, подобно бледным пульсирующим лунам, а за ними тянутся их длинные щупальца.

## 5

Такой была наша жизнь сразу после Саннивэйла, и казалось, она длится вечность, хотя вообще-то это была всего пара месяцев. А потом как-то вечером папа пришел домой и объявил, что устроился в новый старт-ап, который разрабатывает линию программного обеспечения на основе эмпатической продуктивности, и что он будет у них главным программистом, и что хотя зарплату не сравнить с тем, что он получал в Силиконовой долине, по крайней мере, это была работа. Это было чудо!

Помню, мама была так счастлива, что начала плакать, а папа был весь такой скромный и ворчливый и повел нас всех есть жареного угря с рисом — это мое самое любимое блюдо в мире.

После этого папа продолжал уходить со мной вместе утром и возвращался поздно вечером, и хотя в школе надо мной все так же издевались, и у нас как будто все так же не было денег, это было о'кей — мы все чувствовали, что у семьи снова есть будущее. Мама прекратила ходить в аквариум и начала приводить в порядок квартиру. Она вычистила татами и расставила книги на полках, и даже начала кампанию против хостесс — подстерегала их в коридоре, когда они направлялись в бар, и устраивала разборки насчет сортировки мусора и шума.

— У меня дочь — подросток! — кричала она, что очень меня смущало — ну, типа, привет, мне уже шестнадцать и я знаю, что такое секс, но при этом я гордилась, что меня сочли дочерью, достойной защиты.

В тот год я впервые (сколько себя помню) встречала Рождество и Новый год в Японии, и папа с мамой старались убедить себя, что все в порядке и весь этот кошмар в нашей жизни был просто приключением, и я возбухать не стала, потому что была ребенком, и что я вообще знала? Мы вручили друг другу рождественские подарки, и мама сделала осечи<sup>[38]</sup>, и мы сидели кружком перед телевизором и ели сахарных креветок, маленьких вяленых рыбок, соленые молоки, маринованные корни лотоса и сладкие бобы, а папа пил сакэ, а во

время рекламных пауз он рассказывал нам истории о линии программного обеспечения, над которой он работает, и как компьютеры смогут научиться эмпатии и будут предугадывать наши нужды и чувства даже лучше, чем другие люди, и что скоро люди перестанут нуждаться друг в друге так, как раньше. Учитывая, что творилось в школе, мне показалось, что это звучит многообещающе.

Не могу даже себе представить, о чем там думал папа. Поверить не могу, что он воображал, будто все сойдет ему с рук. Может, он так и не думал. Может, он вообще не думал, может, он к тому времени уже достаточно двинулся, чтобы и вправду верить в свои истории. Или, может, он просто устал чувствовать себя лузером и придумал себе работу, просто чтобы передохнуть, ну и чтобы сделать нас счастливыми, хоть ненадолго. И ведь сработало. Ненадолго. Но скоро они с мамой начали ссориться по ночам, сначала шепотом, потом — все громче и громче.

Всегда из-за денег. Мама хотела, чтобы он каждую неделю отдавал ей зарплату, и она могла бы ей распоряжаться. Так это делается в Японии. Муж отдает жене все деньги, а она выделяет ему карманные, и он может тратить их на пиво, или на пачинко, или на что он там захочет, но остальное она прибирает к рукам — так надежнее. Когда они уехали в Америку, папа настоял, чтобы все было по-американски, где Мужчина, Хозяин Дома, принимает все Крупные Финансовые Решения, но после этой истории с акциями компании стало ясно, что мужественный американский путь ведет к катастрофе. Мама не собиралась допускать повторения событий и настаивала, чтобы он отдавал ей деньги, а он говорил, что положил их в банк, сделал высокодоходный бла-бла-бла вклад. Время от времени он вручал ей пачку банкнот по десять тысяч йен, но это было все. И так могло продолжаться еще какое-то время, но папа стал неосторожен, и за пару дней до моего шестнадцатилетия мама нашла у него в кармане корешки талонов из тотализатора и потребовала объяснений, и, вместо того, чтобы сознаться во вранье, он убежал на улицу, сел в парке, нажрался сакэ из торгового автомата, а потом отправился на станцию, купил билет на платформу и прыгнул под скоростной экспресс до Чуо, следующий в 12:37 в направлении Синдзюку. К счастью для него, поезд уже начал тормозить при подходе к станции, а машинист увидел, как он шатается на краю платформы, и успел вовремя ударить по

аварийным тормозам. Едва успел. Поезд даже переехал этот его глупый кейс. Прибыла транспортная полиция, сдернула папу с рельс и арестовала за нарушение порядка и препятствование проходу общественного транспорта по расписанию, но поскольку было неясно, прыгнул ли он сам или упал на пути из-за того, что напился, его не стали сажать в тюрьму, а отдали маме на поруки.

Мама приехала забрать его из участка, привезла домой на такси и засунула в ванну, а когда он вышел, весь мокрый и чуть протрезвевший, то сказал, что готов во всем признаться. Мама велела мне уйти в спальню, но папа сказал, что я уже достаточно взрослая и имею право знать, что за человек мой отец. Он сел напротив нас за кухонный стол, сжав побелевшие пальцы, и сознался, что он все придумал. Вместо того, чтобы ходить на работу и быть старшим программистом, он проводил дни в парке Уэно, изучая листки из тотализатора и подкармливая ворон. Он продал периферию от своего старого компьютера, чтобы раздобыть наличных для ставок на скачках. Время от времени он выигрывал, и тогда он зажимал немного денег, чтобы поставить опять, а остаток приносил домой маме, но последнее время он чаще проигрывал, чем выигрывал, и, наконец, наличные у него закончились. Не было никакого высокодоходного бла-бла-бла вклада. Не было программного обеспечения на основе эмпатической продуктивности. Не было вообще никакого стартапа. Был только счет на пять миллионов йен от транспортной компании, который они заставляют тебя оплачивать как «ответственного за инцидент с участием человека» — это вежливый способ указать, что ты пытался покончить с собой с помощью одного из их поездов. Папа поклонился так низко, что лоб его почти коснулся кухонного стола, и сказал, что очень просит прощения за то, что у него нет денег купить мне подарок на день рождения. Почти уверена, что он плакал.

Инцидент со скоростным экспрессом до Чуо произошел, когда папа напился первый раз в жизни, так что почти можно было поверить, что это вышло случайно. В конце концов мама решила так и сделать, и папа ей не возражал, хотя по его глазам я видела, что это неправда.

Моя Дзико говорит, все, что с тобой происходит, — это из-за твоей кармы. Карма — это что-то типа такой неявной энергии, которую ты вырабатываешь, когда делаешь что-то, или говоришь, или даже думаешь, а это значит, что надо следить за собой и не думать слишком много извращенских мыслей, а то они вернутся и укусят. И это касается не только этой жизни, а всех твоих воплощений, в прошлом и будущем. Так что, может, это просто папина карма в этой жизни — сидеть и кормить ворон в парке Уэно до самого конца, и, в общем, не стоит винить его за инцидент с участием человека и желание поскорее двинуться дальше к следующему воплощению. Ну, короче, Дзико говорит, если ты все время стараешься быть хорошим и вообще пытаешься измениться, то в один прекрасный день все хорошее, что ты сделал, отменит все плохое, что ты тоже сделал, и ты просветлишься, и запрыгнешь в лифт, и больше уже не вернешься — если, конечно, ты не как старушка Дзико, то есть не принял обет не лезть в лифт, пока туда не зайдут все остальные. Это-то и есть самое крутое в моей прабабушке. На нее спокойно можно положиться. Ей, может, и сто четыре года, и то, что она говорит, часто выносит мозг, но вообще моя Дзико надежна, как танк.

— Интересно насчет ворон, — сказал Оливер раздумчиво.

Рут закрыла дневник и посмотрела на мужа. Он лежал на спине; голова — на подушке, взгляд сфокусирован на пальцах ног. Рут изучала чистые линии его точеного профиля, удивляясь про себя. После всего, что она прочла — про жизнь Нао, про отца девочки, про ее ситуацию в школе — его мысли вращались вокруг ворон! Было так много всего, гораздо более важного и неотложного, что ей хотелось бы обсудить, и она уже почти так и сказала, но едва заметное колебание в его голосе заставило ее остановиться. Он не пытался ей досадить, скорее, наоборот. Рут сделала глубокий вдох.

— Вороны, — повторила она. — Да. Так что там с ними?

— Ну, — в его голосе звучало облегчение, — это забавно, что она упоминает их, потому что я как раз решил почитать о японских воронах. Местная разновидность называется *Corvus japonensis*, это подвид *Corvus macrorhynchos*, большеклювой, или джунглевой, вороны. Они довольно сильно отличаются от американской вороны...

— Это же Канада, — прервала она, хотя мысли ее уже текли в ином направлении. — У нас должны бы быть свои, канадские вороны.

Она представила себе отца Нао, как он сидит на своей скамейке. Каждое утро он вставал, надевал свой дешевый синий костюм, завтракал, провожал в школу дочь. Может, по пути в парк он выуживал из урны утреннюю газету, почитать на скамейке.

— В общем, да, — сказал Оливер. — Я как раз собирался сказать, разновидность, характерная для наших мест, называется *Corvus caurinus*, северозападная ворона. Почти идентична американской, но помельче.

— Уж конечно, у нас помельче, — проговорила она. Существовала ли особая скамейка, та, что нравилась ему больше других? Он, наверное, садился на эту скамейку, и читал газету, и изучал программу скачек. А в полдень, должно быть, бросал воронам крошки от сэндвича или остатки рисового колобка, а потом ложился на скамейку

подремать, прикрыв лицо газетой. Действительно ли он думал, что все сойдет ему с рук?

В этот момент Оливер замолчал.

— Я вообще не знала, что у нас есть ворóны, — быстро сказала она, чтобы показать, что она все еще слушает. — Думала, здесь только вóроны водятся.

— Ну да, — ответил он, — у нас есть и ворóны, и вóроны. Тот же род. Разные птицы. В этом-то и странность.

Он сел в кровати и подождал, пока ее внимание не переключилось полностью на него, потом продолжил:

— Помнишь тот день, когда ты вернулась с берега с этим мешком? Я был в саду и слышал вóронов. Они вились вокруг ели, всполошились от чего-то — шум, гам, крылья хлопают. Я посмотрел вверх и увидел, что все они гоняют птицу поменьше. Она все пыталась к ним присоединиться, но они продолжали на нее налетать, и в конце концов, она оставила их и села на забор, рядом, где я работал. Похожа на ворону, только крупнее, чем *Corvus caurinus*, с высоким выпуклым лбом и массивным загнутым клювом.

— Так значит, это была не ворона?

— Нет, ворона. Думаю, это была джунглевая ворона. Она долго там сидела и разглядывала меня, и я тоже смог хорошенько ее рассмотреть. Могу поклясться, что это была *Corvus japonis*. Вот только что она здесь делает?

Теперь он наклонился вперед, впившись в покрывало своими синими глазами, будто разгадка этой географической бессмыслицы притаилась где-то в складках простыней.

— Единственное, что приходит мне в голову, — она приплыла вместе с флотсемом. Вроде как часть дрефта.

— Это разве возможно?

Он провел руками по одеялу, разглаживая складки.

— Все возможно. Люди добирались сюда в выдолбленных бревнах. Почему бы и воронам сюда не попасть? Они могут ездить на дрейфующем мусоре, плюс у них есть преимущество — они летают. Это не невозможно. Аномалия, и только.

Он был аномалией, шутком, отклонением от нормы. «Жарит рыбу в особой сковородке» — так о нем иногда отзывались на острове. Но Рут всегда завораживали причудливые меандры его мыслей; иногда у нее еле хватало терпения следовать за их течением, но после она никогда не жалела. А его наблюдения — вроде тех, что касались ворон, — всегда были неожиданными и интересными.

Они повстречались в начале 1990-х в колонии художников в канадских Скалистых горах, где он в качестве резидента читал по приглашению организаторов курс под названием «Конец национального государства». Ее пригласили в колонию делать постпродакшн для фильма, которым она в то время занималась, а он был пламенным поклонником японского кинематографа пятидесятых, и вскоре они стали друзьями. Он являлся к ней в монтажную с упаковкой пива; они пили, а он говорил о монтаже, коллаже и ассембляже, о границах и о времени, пока она кропотливо собирала свой фильм, кадр за кадром. Он был художник-энвайронменталист<sup>[9]</sup>, делал публичные инсталляции (ботанические интервенции в урбанистический ландшафт, как он их называл) где-то на периферии арт-истеблишмента. Ее притягивала буйная, но плодотворная анархия его сознания. Она слушала его речи в пульсирующей темноте монтажной и вскоре переехала к нему в комнату.

После того как резидентство Оливера закончилось, их пути разошлись в противоположенных направлениях: она вернулась в Нью-Йорк, а он — на ферму где-то на островах Британской Колумбии, где он преподавал пермакультуру. Встретиться они хотя бы годом раньше, их роман, скорее всего, этим бы и закончился, но их застиг рассвет интернета, и у обоих был диалап-доступ к электронной почте; это дало возможность поддерживать дружбу в реальном времени. Телефонную линию он делил еще с тремя домами на острове, но он дожидался полуночи, когда никто больше телефоном не пользовался, чтобы отослать очередную депешу с заголовком вроде «Обращение От Отсталых Краин». Летом, когда жирные мотыльки бились о москитную сетку, сея пыльцу с крыльев, он писал ей об острове, о лесных ягодниках, отмелях, где водятся самые сочные устрицы, и как биолюминисценция подсвечивает каждую волну, а планктон, мерцая, вторит движению звезд над океаном. Он переводил экосистему Тихоокеанского региона — дикую и необъятную — в поэзию и

пиксели и отсылал ей на далекий Манхэттен, где она ждала, склоняясь к маленькому монитору, жадно впитывая каждое слово, и сердце билось у нее в самом горле, потому что к тому времени она была без памяти влюблена.

Той зимой они сделали попытку пожить вместе в Нью-Йорке, но к весне она вновь уступила неотразимому притяжению его разума, позволив его подспудным течениям увлечь себя через весь континент и принести к берегам его острова, зеленевшего в окружении фьордов и снежных вершин Десолейшн-Саунд. Неотразимому притяжению разума и канадской системы здравоохранения, потому что его вдруг поразила загадочная болезнь, похожая на грипп, а они были на мели и не могли позволить себе американскую страховку.

И, если совсем честно, ей нельзя было не признать свою роль в этом спонтанном дрейфе. Она хотела для него самого лучшего, чтобы он был здоров и счастлив, но, кроме этого, она искала убежища для себя и своей матери. Мать ее в то время страдала синдромом Альцгеймера. Диагноз поставили всего за несколько месяцев до смерти отца Рут, и та пообещала ему на смертном одре, что позаботится о матери, когда его не будет, но потом вышел ее первый роман, и она отправилась в авторский тур, и в результате дважды обогнула весь мир. Заботиться одновременно о слабоумной матери в Коннектикуте и хронически больном муже в Канаде было явно невозможно. Единственным выходом было собрать всю семью, которая у нее осталась, и всем переехать на остров.

План, казалось, был неплох, и когда пришел день переезда, Рут с легким сердцем променяла крошечную однокомнатную манхэттенскую квартирку на двадцать акров леса и два дома в Уэйлтауне. «Я всего лишь меняю один остров на другой, — говорила она нью-йоркским друзьям. — Велика ли разница?»

### 3

Разница, как она вскоре поняла, была велика. Уэйлтаун был собственно не городом, и даже не городком, а «населенным пунктом» — так, по определению, принятому в Британской Колумбии, называется «селение или местность, на территории которой проживает

пятьдесят или менее человек». При всем том это было второе по величине обитаемое место на острове.

Уэйлтаун начинал когда-то как китобойная станция — отсюда название, но китов поблизости давно уже не было видно. Большая часть популяции была истреблена в 1869 году, когда шотландец по имени Джеймс Доусон и его американский партнер Абель Дуглас zaloжили станцию Уэйлтаун и начали убивать китов с помощью нового орудия необыкновенной эффективности — гарпунного ружья. Гарпунное ружье представляло собой тяжелую винтовку с прикладом, которая стреляла особыми гарпунами с зарядами замедленного действия. Заряд взрывался внутри кита несколько секунд спустя после того, как гарпун пробивал его кожу. В тот год к середине сентября Доусон и Дуглас переправили более 450 баррелей жира — 20 000 галлонов — к югу от США. Главным источником жира в те времена была ворвань, и единственным способом добыть ее было срезать с еще живого кита. Когда технология добычи бензина и керосина из доисторических трупов вышла на коммерческий уровень к концу того же столетия, отряд Cetacea получил призрачный шанс на выживание. Можно сказать, что ископаемое топливо появилось как раз вовремя, чтобы спасти китов, но время для китов Уэйлтауна уже закончилось. К июню 1870-го, через год после основания станции, последние киты в этом районе либо были вырезаны, либо спаслись бегством, а Доусон и Дуглас прикрыли лавочку и тоже двинулись дальше.

Киты — временные существа. В мае 2007 года в ворвани пятидесятитонного гренландского кита, убитого эскимосскими охотниками у побережья Аляски, был найден стреловидный наконечник в три с половиной дюйма от снаряда, выпущенного из гарпунного ружья. Датировав фрагмент, исследователи смогли определить возраст кита — между 115 и 130 годами. Создания, способные жить — и выживать — настолько долго, должны иметь долгую память. Воды вокруг Уэйлтауна были в свое время смертельно опасны для китов, и те, кому удалось спастись, научились их избегать. Можно представить, как звучат в толще воды их прекрасные голоса: свист, щелканье, щебет:

«Держитесь подальше отсюда! Держитесь подальше!»

Время от времени китов видели с парома, обслуживавшего остров. Капитан в таких случаях глушил двигатель и по системе

внутреннего оповещения объявлял, что по правому борту в направлении два часа замечена стая касаток или горбатых китов, и все пассажиры бросались к правому борту и напряженно разглядывали волны, высматривая мелькнувший плавник, или фонтан, или гладкую черную спину, вдруг раздвинувшую волны. Туристы поднимали повыше камеры и мобильные телефоны, надеясь поймать хороший кадр, и даже местные не оставались равнодушными. Но по большей части киты держались подальше от Уэйлтауна, оставив этим местам лишь свое имя.

Имя, размышляла Рут, может быть призраком либо предзнаменованием — смотря по какую сторону времени ты стоишь. Имя «Уэйлтаун» было, скорее, фантомом прошлого, тусклой тихоокеанской зыбью, но имя «Десолейшн-Саунд» все еще висело где-то на грани, звуча одновременно призраком прошлого и предвестием будущего.

Ее собственное имя, Рут, часто служило предзнаменованием, отбрасывая длинную тень вперед, на будущее. Происхождение имени было неясным: библейская версия — «Руфь» — как принято считать, происходит от слова, означающего на иврите «спутник», в то время как английское слово *ruth* образовано от старинного *gwe*, что означает «раскаяние», «сожаление». Мама Рут не думала об английской этимологии, когда выбирала дочери имя, — Рут звали ее давнюю подругу. Но все равно Рут чувствовала временами, что имя ее подавляет, и не только в английском контексте. На японском имя звучало не менее проблематично. Японцы не могут произносить мягкое английское «р» или межзубное «т». На японском имя Рут звучало либо как «руцу», что значит «корни», либо «русу» — «не дома», «отсутствует».

## 4

Дом, купленный ими в Уэйлтауне, был выстроен на лужайке, расчищенной когда-то посреди густого леса. Коттедж поменьше стоял внизу, у начала подъездной дороги — здесь должна была жить ее мать. Со всех сторон росчисть окружал густой дождевой лес: дугласовы ели, красные кедры, большелистные клены, превращая в карликов и людей, и все их дела. Когда Рут увидела их впервые, она заплакала. Они

вздвигались вокруг, древние создания времени, смыкая кроны в ста футах, двухстах футах над головой. При росте пять футов и пять дюймов никогда в жизни она не ощущала себя настолько ничтожной.

— Мы — ничто, — прошептала она, вытирая глаза, — нас тут вообще как бы и нет.

— Да, — сказал Оливер. — Здорово, правда? И они могут жить до тысячи лет.

Она прислонилась к нему, задрав голову как можно выше, стараясь окинуть взглядом пронзающие небо верхушки деревьев.

— Они невозможно высокие, — сказала она.

— Не невозможно, — ответил Оливер, придерживая ее, чтобы она не упала. — Это вопрос перспективы. Если бы ты была этим деревом, я не доставал бы тебе даже до щиколотки.

Оливер был счастлив. Он был человеком деревьев и не видел смысла в аккуратных овощных грядках или бранных однолетниках вроде латука с его мелкими корешками. Когда они только переехали, он еще чувствовал себя неважно, легко уставал и страдал головокружениями, но, установив для себя режим ежедневной ходьбы, он вскоре уже бегал по проторенным им тропам, и Рут казалось, что это лес целил его, щедро делясь неисчерпаемой жизненной силой. Продираясь на бегу сквозь густой подлесок, он читал лесной нарратив, интригу, разыгрывающуюся между лесными родами, видел борьбу за власть и место под солнцем, как гигантские ели вступают в союз с микроскопическими грибными спорами ради взаимной выгоды. Он видел ход самого времени, видел, как разворачивается история, отпечатываясь в бесчисленных фракталах природы, а потом возвращался домой, задыхающийся, потный, и рассказывал ей о том, что видел.

Их дом был выстроен из местного кедра. Это было причудливое двухэтажное строение, возведенное хиппи в 1970-х годах, с далеко нависающей гонтовой крышей и просторным крыльцом над лужайкой, окруженной высокими деревьями. В описании агента по недвижимости значился вид на океан, но на деле углядеть воду можно было только из одного-единственного окна в кабинете Рут, откуда ей была видна узкая полоска океана в разрыве между двумя кронами, напоминавшем перевернутый тоннель. Агент указал им, что

обещанный вид откроется, если спилить деревья, но они так этого и не сделали. Вместо этого они посадили еще.

Рут совершила жалкую попытку одомашнить ландшафт, посадив вокруг дома европейские вьющиеся розы. Оливер посадил бамбук. Ужившись, два вида вскоре образовали совершенно непролазные заросли, и вскоре найти вход в дом стало практически невозможно — если не знать заранее, где он находится. Над домом нависла угроза полного исчезновения, а к тому времени и лужайка тоже как-то съежилась: лес неуловимо наступал — хвойная волна в замедленном действии, — угрожая поглотить их целиком.

Оливер не особенно беспокоился. Он смотрел на вещи со своей перспективы. Предвидя последствия глобального потепления для местных видов, он работал над созданием леса для нового климата на сотне акров рощи, принадлежавшей его другу-ботанику. Он высаживал рощицы древних видов, процветавших здесь когда-то в древности, — метасеквойи, гигантские секвойи, береговые виды того же семейства, род *Juglans* и род *Ulmus* и гинкго — растения, характерные для этих мест во время термального максимума эоцена, около 55 миллионов лет назад.

— Только представь! — говорил он. — Пальмы и аллигаторы вновь процветают на широте Аляски!

Это было его последней работой — ботаническая интервенция, которую он назвал «НеоЭоцен». Главным в проекте для него было сотрудничество со временем и пространством, а то, что исход интервенции не увидит ни он, ни кто-либо из его современников, его не беспокоило. Ему было все равно, что он так и не узнает, чем все кончилось. Терпение было частью его натуры, и он спокойно принимал выпавший ему жребий короткоживущего млекопитающего, шмыгающего туда-сюда между корнями гигантов.

Но для Рут терпение и смирение характерны не были, и ей хотелось, очень хотелось знать. Спустя всего несколько лет (пятнадцать, если точно — всего ничего по его счету, вечность — по ее) в окружении всего этого растительного буйства она ощущала растущую неуверенность в себе. Она скучала по рукотворной нью-йоркской среде. Только в городском пейзаже, среди архитектуры, на перекрестье прямых, она могла прочно, с уверенностью ощутить свое место в человеческом времени и истории. Как писателю ей было это

необходимо. Ей не хватало людей. Ей не хватало человеческой интриги, драмы и борьбы за место под солнцем. Ей нужны были представители ее собственного вида не для того, чтобы общаться, необязательно, достаточно бы просто быть среди них как наблюдатель в толпе или анонимный свидетель.

Но здесь, на едва обитаемом острове, человеческая культура еле теплилась — тонкая пленка на поверхности глубоких вод. В душном окружении шипастых роз и густых бамбуковых зарослей она все глядела в окно и чувствовала, будто попала в нехорошую сказку. Ее околдовали. Она уколола палец и погрузилась в глубокий коматозный сон. Годы шли, и моложе она не становилась. Она выполнила обещание, данное отцу, она заботилась о матери. Теперь ее мать была мертва, и Рут чувствовала, как ее собственная жизнь проходит мимо. Может, настало время покинуть это место, в котором она когда-то надеялась навсегда обрести дом. Может, настало время двигаться дальше.

## 5

«Покинуть дом» — это буддийский эвфемизм для отказа от мирской жизни и вступления на монашеский путь. Нечто, в общем, противоположное тому, что виделось Рут, когда она думала о возможности вернуться в город. Учитель дзэн Догэн использует выражение в «Преимуществах ухода из дома» — это название главы 86 из его труда «Сёбогэндзо». Именно в этой главе он хвалит молодых монахов за упорство на пути к пробуждению и объясняет гранулярную природу времени: 6 400 099 980 моментов<sup>[39]</sup> составляют один день. Цель его рассуждений — показать, что каждый из этих моментов дает возможность для волеизъявления. Даже щелчок пальцами, говорит он, предоставляет нам шестьдесят шесть возможностей для пробуждения и выбора действий, которые создадут нам благоприятную карму и возможность изменить жизнь.

«Преимущества ухода из дома» изначально появились в форме проповеди для монахов монастыря Эйхэй, основанного Догэном глубоко в горах префектуры Фукуи, вдали от упадка и морального разложения столицы. В «Сёбогэндзо» в конце этого текста стоит дата,

когда была прочитана проповедь: летний медитационный период седьмого года Кэнтё.

Все прекрасно и удивительно. Можно легко представить себе летнюю жару, обволакивающую горные склоны; пронзительный стрекот цикад сотрясает прозрачный раскаленный воздух; монахи сидят час за часом в дзадзэн, неподвижные на своих залитых потом подстилках, а комары кружат над их блестящими лысыми головами, и пот течет, как слезы, по юным лицам. Время, должно быть, казалось им бесконечным.

Все прекрасно, за одним исключением: седьмой год эпохи Кэнтё соответствует 1255 году грегорианского календаря, и во время летнего медитационного периода в тот год учитель Догэн, который предположительно должен был читать проповедь о преимуществах покинутого дома, был мертв. Он умер в 1253-м, двумя годами и множеством моментов раньше. У этого несоответствия есть несколько объяснений. Одно из них, самое вероятное — Догэн набросал заметки к проповеди за несколько лет до смерти и оставил записи и комментарии к ним, намереваясь придать им завершённую форму позднее; потом этот текст был включен в окончательную версию; а проповедь была прочитана наследником дхармы Догэна, учителем Коун Эдзё.

Но существует и другая возможность, а именно, что в тот летний день седьмого года Кэнтё учитель Догэн не был полностью мертв. Конечно, полностью жив он тоже быть не мог. Подобно коту Шредингера в мысленном эксперименте по квантовой механике, он был жив и мертв одновременно<sup>[40]</sup>.

Великие вопросы жизни и смерти — вот настоящая тема «Преимущества ухода из дома». Когда Догэн побуждает молодых монахов не прекращать, момент за моментом, вызывать в себе решимость оставаться на пути к просветлению, он просто имеет в виду: *Жизнь пролетает! Не тратьте зря ни единого момента вашей драгоценной жизни!*

*Побуждайтесь сейчас!*

*И сейчас!*

*И сейчас!*

Рут задремала прямо на стуле в кабинете на втором этаже. Башня из бумаги, олицетворение десяти лет ее жизни, возвышалась перед ней на столе. Буква за буквой, страница за страницей, она выстроила это здание, но теперь всякий раз, как мысли ее обращались к воспоминаниям, сознание сводило судорогой и ее охватывала неодолимая сонливость. Прошли месяцы, может, уже год с тех пор, как она добавила в свой труд хоть что-то. Новые слова отказывались приходить, и она едва могла вспомнить старые, те, что она уже записала. Она знала, что ей надо бы перечесть черновик, укрепить структуру, а потом начать редактировать, заполнять пропуски, но это было слишком для ее затуманенного мозга. Мир внутри страниц был смутным, как сон.

Снаружи Оливер рубил дрова; она вслушалась в ритмичный стук топора. Упражнения были ему полезны, и он уже несколько часов был на воздухе.

Она собралась с духом и решительно выпрямилась на стуле. Поверх стопки воспоминаний лежал пухлый красный дневник. Она взяла его в руки, чтобы отложить в сторону. Ощущение от книги было как от маленького ящичка. Она перевернула дневник. Когда она была еще совсем ребенком, ее удивляло, что каждый раз, как она открывала книгу наутро, она находила буквы аккуратно расположенными на тех же самых местах. Почему-то она ожидала, что буквы все перепутаются за ночь, свалившись со страниц, когда она закроет обложку. Нао описывала что-то подобное — пустые страницы Пруста и ее ощущение, что буквы свалились со страниц, как дохлые муравьи. Читая об этом, Рут ощутила вспышку знакомого чувства.

Отложив книгу с глаз долой на дальний край стола, она яростно уставилась на рукопись. Может, то же случилось с ее страницами. Может, начав читать, она только обнаружит, что ее слова исчезли. Может, это будет только к лучшему. Может, это станет облегчением. Истерзанная рукопись злобно тарацилась на нее в ответ. Пока ее мать была жива, проект казался хорошей идеей. Угасание ее было долгим, и все это время Рут документировала постепенное разрушение рассудка матери; она вела наблюдения и за собой, тщательно записывая собственные реакции и чувства. Результатом стала громоздкая кипа бумаги, маячившая у нее на столе. Она проглядела первую страницу и тут же отбросила ее. Написанное бесило ее своим тоном, приторно-

элегичным. Вызывало оскмину. Она была романистом. Ее интересовали чужие жизни. О чем она только думала, вообразив, что может написать мемуары?

Отрицать, что дневник Нао — это способ отвлечься, не имело смысла, и хотя она приняла решение замедлить темп чтения, добрую половину дня она все же проводила он-лайн, роясь в списках жертв землетрясения и цунами. Она нашла сайт People Finder и задала поиск на Ясутани. Таких было несколько, но ни одной Дзико или Нао, так что она стала просматривать описания, размещенные родственниками пропавших, в поисках совпадений. Информация о жертвах была скудной, только базовые факты: возраст, пол, место проживания, где их видели в последний раз, во что они были одеты. Часто присутствовали фотографии, снятые в более счастливые времена. Ухмыляющийся мальчишка в школьной кепке. Молодая женщина машет в камеру, стоя перед храмом. Отец в парке развлечений держит ребенка на руках. Под скудным слоем данных лежали трагедии. Все эти жизни, но среди них не было тех, что она искала. Наконец она сдалась. Ей не хватало информации о своих Ясутани, и единственным способом узнать побольше было чтение дневника.

Рут закрыла глаза. Она легко могла вообразить Нао, как та сидит одна в полутемной кухоньке и ждет, когда мать привезет отца домой из полицейского участка. Какими были для нее эти долгие моменты? Дневник давал смутное представление о ходе времени, о его фактуре. Ни один даже самый профессиональный писатель не смог бы передать словами течение проживаемой жизни, а Нао едва ли обладала подобным мастерством.

Застывшая в сумраке задрипанная кухня. Хостесс стонут и бьются о тонкие стены. Лязганье ключа в замке, должно быть, заставило ее вздрогнуть, но она осталась на месте. Шарканье ног в прихожей. Разговаривали ли ее родители между собой? Она услышала, как мать наполняет ванну, как отец раздевается в спальне. Она не двигалась. Не поднимала глаз. Не отрывала взгляда от пальцев, лежавших у нее на коленях, как маленькие мертвые вещи. Она слушала, как отец принимает ванну, как он, запинаясь, признается во всем под тяжелым взглядом матери. Подняла ли она украдкой взгляд на отца, и что сказали ей его покрасневшие щеки — что ему стыдно или просто жарко после ванны? Сколько моментов прошло между тем, как он

начал говорить, и тем, как ее мать встала и ушла из комнаты? Жужжание люминесцентной лампы — звучало ли оно громче обычного в наступившей тишине?

А потом в их общей с родителями спальне она натянула одеяло на голову? Или включила свет, чтобы почитать книгу или чтобы подготовиться к тесту, точно зная при этом, что провалится на следующий день? Может, она вышла в интернет и прогуглила «самоубийство, мужчины», пока родители позади нее спят — или притворяются, что спят, — на своих отдельных футонах, повернувшись друг к другу спиной? Если это был интернет, то она узнала, как и Рут, что в Японии самоубийство обошло как основная причина смерти для мужчин среднего возраста, так что ее отец попал прямо в точку. Стало ли это для нее утешением? Она сидит в одной пижаме, в темноте перед светящимся квадратом монитора, краем сознания улавливая дыхание родителей — то порознь, то в унисон; отец дышит громче и ровнее, несмотря на очевидное желание вовсе прекратить это занятие; дыхание матери мягче, но оно то прерывается внезапно паническим вдохом, то вовсе останавливается в приступе апноэ.

Что она чувствовала в этот момент?

Рут открыла глаза. Что-то изменилось. Она вслушалась: стая турпанов срывается с воды, стакато хохлатого дятла, шумная возня и карканье воронов; но ее насторожил не звук, а, скорее, его отсутствие — не хватало ритмичного стука Оливерова топора. Она ощутила растущий страх. Когда прекратился стук? Встав, она подошла к окну, из которого было видно поленницу. Мог он пораниться? Внезапный приступ головокружения — и ноги нет? Сельская жизнь полна опасностей. Каждый год на острове кто-то умирал, или тонул, или получал серьезную травму. Их сосед умер, собирая яблоки. Свалился с лестницы прямо на голову, и жена обнаружила его тело под деревом, среди рассыпавшихся плодов. Опасности были повсюду — лестницы, яблони, скользкие замшелые крыши, водосточные трубы, топоры, колуны, дробовики, охотничьи ножи, волки, пумы, сильный ветер, внезапно падающие ветви, неожиданная волна, плохая проводка, наркочилеры, пьяные водители, пожилые водители, самоубийство и даже убийство.

Она выглянула из окна. Внизу на подъездной дорожке стоял ее муж, на обеих ногах. С виду он был в порядке. Стоял он рядом с поленницей, одна рука в кармане, другая — на рукоятке топора, и, глядя на дерево, слушал воронов.

## 7

— Вернулась та джунглевая ворона, — сообщил он тем вечером в ванной. — Сводит воронов с ума.

Рут промычала что-то в ответ. Она чистила зубы электрической щеткой, и рот у нее был забит зубной пастой. Оливер вытянулся в ванне, перелистывая последний номер журнала «Нью Сайнс», а Песто взгромоздился на бортик рядом с его головой.

— Я тут читал о джунглевых воронах, — продолжал он. — Похоже, в Японии они стали большой проблемой. Они очень умны. Запоминают расписание сборщиков мусора, а потом ждут, когда домохозяйки выставят мусор наружу, разрывают пакеты и растаскивают то, что внутри. Едят котят и вьют гнезда из металлических вешалок на столбах электропередач — короткие замыкания обесточивают целые районы. Токийская электрическая компания утверждает, что из-за ворон происходят сотни блэкаутов в год, в том числе крупных, из-за которых останавливаются скоростные поезда. У них там есть специальный вороний патруль, который охотится за птицами и разбирает гнезда. Но вороны их перехитрили — они стали строить фальшивые гнезда. Детям приходится ходить в школу под зонтиком, чтобы защититься от атак с воздуха и прикрыться от помета, а дамы перестали носить в волосах блестящие заколки.

Рут сплюнула.

— Ты так весело об этом рассказываешь, — сказала она в раковину.

— Ну да. Мне нравятся вороны. Мне вообще нравятся птицы. Помнишь те случаи с совами в Стэнли-парке пару лет назад. Все эти джоггеры вдруг начали осаждать приемные врачей с порезами на голове, жалуясь, что на них совы напали? Врачи, наконец, догадались, в чем дело. В это время молодые совы становятся на крыло, и все это были птенцы, которые только начали постигать совиные премудрости. Тут кто-то заметил, что все эти бегуны были лысеющие парни средних

лет с хвостиками. Вообрази вид сверху: скачущие блестящие лысины и хвостики сзади, как у грызунов. Прямо рыболовные блесны. Для совенка совершенно неотразимо.

Рут встала и вытерла рот полотенцем.

— Ты — лысеющий парень средних лет, — указала она. — Тебе бы надо поосторожнее.

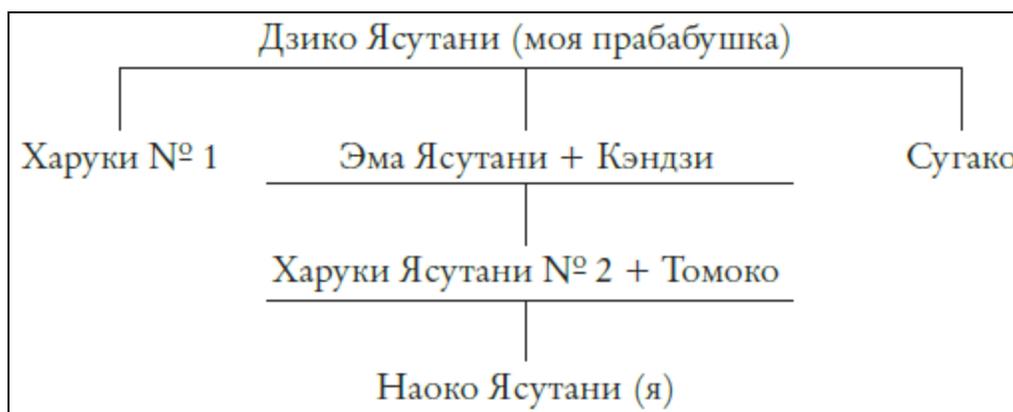
Она слегка постучала его по макушке по пути к двери. Кот сделал выпад лапой в ее сторону.

— Да, — ответил Оливер, возвращаясь к «Нью Сайнс». — Но как видишь, хвостика у меня нет.

# Нао

## 1

Дзико Ясутани — моя прабабушка с папиной стороны, и у нее было трое детей: сын по имени Харуки и две дочери, Сугако и Эма. Вот наше семейное древо:



Эма была моей бабушкой, когда она вышла замуж, Дзико усыновила ее мужа Кэндзи, чтобы он занял место Харуки, убитого во Вторую мировую. Не то чтобы кто-то мог заменить Харуки, но семье нужен был сын, чтобы имя Ясутани не исчезло.

Харуки был папин дядя, и Эма назвала папу в его честь. Харуки № 1 был пилотом-камикадзе, что, если подумать, довольно странно, потому что до войны он был студентом философского факультета в Токийском университете, а мой папа, Харуки № 2, очень любит философию и все время пытается себя убить, так что, думаю, можно сказать, самоубийство и философия — это семейное, по крайней мере, для всех Харуки.

Когда я сказала об этом Дзико, она мне напомнила, что вообще-то Харуки № 1 не хотел совершать самоубийства. Он был просто молодым парнем, любил книги и французскую поэзию, он даже не хотел драться на войне, но они его заставили. Они тогда всех заставляли драться на войне, хотел ты этого или нет. Дзико говорит, в армии Харуки терпел издевательства из-за любви к французской

поэзии, так что вот еще две семейные черты: интерес к французской культуре и быть жертвой издевательств.

Короче, из-за того, что Харуки был убит на войне, сначала его сестра, Эма, а потом и мой папа стали носить фамилию Ясутани, и в итоге сегодня я — Нао Ясутани. И, так на минуточку, когда я смотрю на семейное древо, мне сильно не по себе — ты только погляди, все зависит от МЕНЯ. И поскольку заводить детей я не собираюсь, это, типа, все. Капут. Финито. Сайонара, Ясутани.

Кстати, об именах — бабушку Эму назвали в честь Эммы Голдмен, героини Дзико. Эмма Голдмен была знаменитой анархистской дамой давным-давно, когда Дзико еще не выросла, и Дзико думает, что она была реально крута. Эмма Голдмен написала автобиографию под названием «Жить моей жизнью», и Дзико все подсовывает ее мне, чтобы я ее почитала, но я слишком занята — живу своей собственной жизнью или пытаюсь понять, как это дело прекратить.

Младшую дочь Дзико назвала Сугако, в честь Канно Сугако, еще одной героини Дзико и знаменитой анархистки. Она стала первой женщиной, повешенной в Японии за измену родине. Сегодня Канно Сугако назвали бы террористкой, потому что она пыталась подорвать императора бомбой, но стоит послушать, как Дзико о ней рассказывает, — сразу понятно, Ба на это не купишь. Дзико ее просто обожала. Они не были любовницами или там что еще, потому что Дзико была еще совсем ребенком, когда Сугако повесили, и, наверно, даже никогда ее не видела, но я думаю, она была по-своему в нее влюблена — как сейчас девчонки влюбляются в поп-див постарше себя или в женщин-рестлеров. Сугако написала дневник под названием «Размышления на пути к виселице», который мне тоже полагается прочесть. Название крутое, конечно, но почему этим дамам-анархисткам нужно было **СТОЛЬКО** писать?

Когда папа был маленький, бабушка Эма частенько брала его с собой на север, в храм старой Дзико, куда она переехала, когда стала монахиней, так что они сильно сблизились. Папа сказал, они брали меня с собой на поезде пару раз, когда я была еще младенцем, но потом мы переехали в Саннивэйл, и я больше не видела Дзико, пока папу не вытащили с рельс и я не узнала, что он за человек.

Инцидент со скоростным экспрессом до Чуо стал для нас поворотным моментом, хотя все мы притворялись, что ничего такого никогда не случилось. После Инцидента папа начал постепенно удаляться от мира и превращаться в хикикомори<sup>[41]</sup>, а до мамы наконец дошло, что, если кто-то в этой семье и добудет работу, это явно будет не папа. Она перестала ходить в аквариум созерцать медуз, обзавелась симпатичным костюмом и корпоративной стрижкой, обзвонила кучу однокурсников из университета и умудрилась устроиться на работу административным ассистентом в издательский дом, публиковавший академические журналы и учебники. Если ты хоть что-то знаешь про устройство японских компаний, тебе должно быть понятно, насколько это круто, потому что хотя должность и была для зеленых новичков и деньги платили отстойные, это было обалденно, потому что ей было тридцать девять, а никто не нанимает тридцатидевятилетних ОЛ<sup>[42]</sup>.

Теперь у нас имелся папа, прячущийся в квартире, и мама, которая приносила в дом плюшки, что оставляло проблему в лице меня. Новый школьный год начался в марте, и я каким-то образом смогла попасть в девятый класс, но идзимэ стало только хуже. До того мне удавалось скрывать маленькие шрамы и синяки от щипков на руках и ногах, но потом у нас сломалась ванна. Она всегда текла и вечно была покрыта черной плесенью, но, по крайней мере, ей можно было пользоваться, но когда сломался обогревательный элемент и хозяин не стал его чинить, хотя он вроде как был папиным другом, мы начали ходить в сэнто<sup>[43]</sup>.

Я знала, если мама увидит меня голой и крупным планом, разоблачение неизбежно. Так что в первый раз, как мы пошли, я вся была такая: «Ах, какой ужас! Ни за что не разденусь перед всеми этими бабушками!». И не то чтобы я притворялась. Наконец маму это задолбало и она оставила меня в раздевалке, я все-таки разделась и пошла за ней, прикрываясь спереди идиотским маленьким полотенцем и желая умереть. Я помню только, что старалась не глядеть ни на что, кроме собственных ног, и жутко краснела, стоило мне случайно увидеть чей-нибудь сосок. Если я и научилась чему-то в жизни, превратившись из ребенка техноппи среднего достатка из

Саннивэйла, Калифорния, в ребенка безработного лузера из Токио, Япония, так это тому, что человек может привыкнуть к чему угодно.

После того первого раза я старалась ходить мыться, пока мама была на работе. Ходить в сэнто с утра приятнее, потому что в ваннах мало народа и всегда можно найти местечко у крана и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В нашем районе в этот час в сэнто собирались в основном реально старые бабушки и хостесс из баров — они готовились к работе, и подсматривать было интересно и за теми, и за другими.

Это было здорово, правда. В Саннивэйле, Калифорния, у тебя немного шансов увидеть обнаженных дам, кроме как порнозвезд с журнальных обложек на заправке, а это нельзя назвать реалистичными впечатлениями. И на фото никогда не будет по-настоящему старых бабушек, потому что это, наверно, незаконно или вроде того, так что мне было очень интересно — с научной точки зрения. То есть понимаешь, хостесс стройные и кожа у них гладкая, и хотя грудь и талия и бедра у всех разной величины, все они молодые и выглядят, в общем, одинаково. Но бабушки... Блин! Вот они абсолютно разных размеров и форм, у одних грудь огромная и жирная, а у других — просто лоскутки кожи с сосками, похожими на дверные ручки, и животы, как пенка на молоке, когда ты ее сдвигаешь в сторону ложкой. Мне тогда нравилось играть в игру — мысленно собирать пары из бабушек и хостесс, представлять, какое молодое тело превратится в какое старое, и как эти симпатичные грудки увянут, став вот теми грустными старыми лоскутками, или как живот надуется или опадет и съжится. Странно это было, вроде как ты видишь время на убыстренной перемотке — знаешь, такой мгновенный буддизм?

Особенно меня зачаровывали хостесс и их гигиенические процедуры. Я иногда шла за ними в сауну и наблюдала, как они удаляют омертвевшую кожу с тел особыми кисточками и бреют лица крошечными бритовками пастельных цветов. Что они там брили? Нельзя сказать, чтобы у них борода росли. Когда они только заходили, сразу видно было, они только что проснулись — они постоянно зевали и говорили «доброе утро», даже если дело шло уже к вечеру, но вообще много они не разговаривали, и глаза у них были опухшие и налитые кровью от похмелья. Но всего через час, после бани, они были разогретые, розовые и душистые, и когда, обсушившись, сидели

в раздевалке в кружевном белье и накладывали макияж, они уже смеялись и болтали вовсю о своих вчерашних клиентах. Когда они начали меня узнавать, то даже стали поддразнивать насчет груди, которая тогда начала у меня расти, и ты, наверно, подумаешь, мне было стыдно — но стыдно мне не было. Я втайне даже была польщена, что меня заметили. Я ими восхищалась. Я думала, они храбрые и ведут себя как свободные женщины, и делают именно то, что хотят, и, наверно, поэтому мама решила, что это для меня не слишком здоровая среда. Теперь она заставляла меня ждать до после ужина, а это самое дурацкое время — сплошь занудные мамыши и их доставучие дети, а еще тетеньки средних лет с крашеными волосами, которым больше всех надо, и они любят разглядывать тебя и комментировать то, что никак их не касается. И уж конечно, одна из них заметила мои синяки, хотя я старалась держаться в дальнем углу и прикрываться по мере возможности, и очень громко сказала:

— Опа! Что это с тобой случилось, девочка? У тебя что, сыпь?

Сначала мама не обратила на это никакого внимания, но эта стерва прямо взяла и позвала ее:

— Окусан, окусан<sup>[44]</sup>! Что это у вашей дочери с кожей? Она вся в буцубуцу<sup>[45]</sup>. Надеюсь, это не заразно!

Мама подошла и встала рядом. Я сидела, скорчившись над тазиком, а она взяла меня за запястье и повернула руку, рассматривая внутреннюю сторону, где синяки были гуще всего. Ее пальцы впились мне прямо в кость, и это было побольнее, чем щипки одноклассников.

— Может, ей в воду-то лезть не надо, — продолжала вещать старая гримза. — Вдруг эта сыпь заразная...

Мама отпустила мою руку.

— Тондемонай<sup>[46]</sup>, — сказала она. — Это просто синяки после физкультуры в школе. Играли немного жестко. Верно я говорю, Наоко?

Я только кивнула и сосредоточилась на мытье, на том, чтобы меня не вырвало и чтобы не закричать и не убежать. Мама вернулась в ванну и не сказала мне больше ни слова, пока мы не закончили мыться, но потом, когда мы вернулись в квартиру, она завела меня в спальню и заставила раздеться опять. Папа еще не вернулся из бань. Сэнтто были единственным местом за пределами квартиры, куда он еще выбирался, так что он обычно не торопился и иногда позволял себе выпить баночку холодного пива после бани, и квартира была в полном

мамино распоряжении, когда она за меня взялась. Она подтянула настольную галогенную лампу поближе к тому месту, где я стояла, и провела тщательный досмотр, и в миллионный раз я подумала, что сейчас умру. Она нашла все синяки, все маленькие шрамы и царапины от ножниц, и даже лысое пятно на затылке, откуда мальчик, сидевший сзади меня, выдирал у меня волосы по одному. Я попыталась соврать, сказала, что это аллергия, потом — что волосы у меня выпадают от стресса, а потом — что это и **вправду** от уроков физкультуры, потом предположила, что это может быть гемофилия, или лейкемия, или болезнь Виллебранда. Но мама ни на что не купилась, и в конце концов мне пришлось сознаться и рассказать о том, что происходило на самом деле. Я старалась показать, будто в этом нет ничего особенного — мне совершенно не хотелось, чтобы она побежала в школу жаловаться и гнать волну.

— Все в порядке, мам. Правда, ничего личного. Ты же знаешь, какими бывают дети. Я новенькая. Они это со всеми делают.

Она покачала головой.

— Может, ты недостаточно стараешься с ними подружиться, — предположила она.

— У меня полно друзей, мам, правда. Все хорошо.

Ей хотелось мне верить. Я знаю, когда мы только переехали в Токио, она очень переживала, как я там буду в новой школе, но потом она отвлеклась на медуз, а потом — на Инцидент со скоростным экспрессом до Чуо, и какое-то время казалось, что из нашего семейства я приспособилась лучше всех. А еще потом, когда мама влилась в ряды офисного планктона и стала работать на настоящей работе, у нее не было особо много времени беспокоиться из-за школы, не говоря уж о том, чтобы приглядывать, что я там делаю после уроков. Она не хотела, чтобы я зависала с хостесс в банях, но оставлять меня одну с папой в квартире она тоже не хотела, из-за его депрессии и суицидальных тенденций. Думаю, она боялась, что он слетит с катушек, как эти американские папаши, которые расстреливают жен и детей из дробовика прямо в кроватях, а потом идут в подвал и вышибают себе мозги, за тем исключением, что в Японии из-за строгих законов насчет оружия они обычно выбирают вариант с трубами, изоляцией, угольными брикетами и семейной машиной. Я знаю, потому что к тому времени у меня уже вошло в привычку

вычитывать в газетах статьи про самоубийства и насильственную смерть и страдания. Я хотела знать как можно больше, чтобы быть готовой, когда папа умрет, но тут я вроде как подседа на эти истории, особенно уже потом, когда стала читать их вслух Дзико, чтобы она могла проделать эту свою штуку с благословением и дзюдзу.

Короче, если вспомнить, что со мной делали одноклассники, я бы точно предпочла попытать удачи с папой, особенно если учесть, что машины у нас нет, равно как и дома с подвалом. Но у мамы моей уверенности не было.

— Как насчет дополнительных занятий в школе? — предложила она. — Это же начало учебного года. Ты вроде должна вступить в какой-нибудь клуб? Ты посоветовалась с классным руководителем? Мне, наверно, надо бы с ним поговорить...

Знаешь, как в мультиках, вот кто-то очень удивляется, у него глаза выпрыгивают из орбит, вроде как на пружинках или на резиночках? Честное слово, именно это и случилось, а потом челюсть моя обрушилась на пол, как бульдозерный ковш. Я стояла в белых хлопковых трусиках и маечке посреди спальни, под лучом галогенной лампы и чувствовала тяжесть в желудке, будто большая холодная рыба умирала прямо у меня под сердцем. Я просто глядела на нее и думала, блинблинблин, она же сделает так, что меня убьют. Только что она осмотрела меня всю и видела, что со мной делают мои одноклассники, и теперь предлагает мне проводить в их компании время еще и после школы?

Я к тому времени была убеждена, что папа сошел с ума — тогда я еще думала, только психи пытаются себя убить, но где-то внутри, мне кажется, я все еще надеялась, уж мама-то опять в норме — теперь, когда она прекратила смотреть медуз и нашла работу. Но в тот момент до меня дошло: она столь же безумна и ненадежна, как и папа, доказательством чему служил этот ее вопрос, а это значило, что в моей жизни не осталось никого, чтобы положиться в смысле безопасности. Не думаю, что когда-либо в жизни я чувствовала себя настолько голой и настолько одинокой. Колени у меня обмякли, и я сползла на пол, скорчившись, баюкая рыбу. Она дернулась в последний раз, достав до самого горла, а потом упала обратно вниз и лежала там, судорожно глотая воздух. Я обняла ее. Она умирала у меня на руках. Я собрала

одежду с татами и натянула ее, повернувшись к маме спиной, чтобы не видеть ее лица, как она разглядывает мое тело.

— Все будет о'кей, мам. Занятия после школы не такие уж интересные.

Но она меня не слышала.

— Нет, — сказала она. — Знаешь, я думаю, мне все-таки надо поговорить с твоим классным руководителем...

Рыба трепыхнулась в изгибе ребра.

— Не думаю, что это хорошая идея, мам.

— Но Нао-чан, это должно прекратиться.

— Это прекратится. Правда, мам, просто не делай ничего.

Но мама потрясла головой.

— Нет, — сказала она, — я не могу просто стоять и смотреть, как это происходит с моей дочерью.

В ее голосе прорезалось что-то новое — такая очень американская решительная нотка, которая шла в комплекте с ее новой стрижкой и манерой «раз-два, взяли» а-ля Хилари Клинтон, и это реально меня напугало.

— Мам, пожалуйста...

— Симпай синакутэ ии но йо, — сказала она, слегка обнимая меня за плечи.

Не беспокойся? Какая же глупость!

### 3

Сначала все было тихо, и пару дней я думала, может, она забыла или передумала. Папа, став хикикомори, перестал провожать меня в школу, так что шла я одна, и у меня вошло в привычку приходить в самый последний момент, прямо перед звонком на урок. Еще в привычку у меня вошло убивать время в маленьком храме по дороге, вдыхая благовония, слушая птиц и насекомых. Я не молилась Будде — тогда я считала, он вроде Бога, а в Бога я не верю, что неудивительно, учитывая, насколько жалкими были отцовские фигуры в моей жизни. Но старый Шака-сама не такой. Он никогда не притворялся чем-то бóльшим, чем мудрый учитель, и теперь я совсем не против ему молиться — это все равно, что молиться старой Дзико.

В саду за храмом есть такой маленький холмик, покрытый мхом; на нем растет скрюченное кленовое дерево и стоит каменная скамейка, и я часто сидела там и смотрела, как бледные кулачки почек разворачиваются в зеленые ладони. Осенью, когда эти самые листья становились бронзовыми и опадали, монах сметал их со мшистого ковра бамбуковой метелкой, а весной он иногда выходил, чтобы выполоть пару сорняков. Этот зеленый холмик был вроде его личного крошечного островка, о котором он заботился, и никогда ничего мне так не хотелось, как стать тоже крошечной и поселиться там, под кленом. Так спокойно там было. Я обычно сидела на скамейке, представляя себе все это, до самого последнего момента, когда надо было уже покидать стены храма, где я была в безопасности, и идти в школу, где безопасности не было, и успеть проскользнуть в ворота в тот самый миг, как затихал последний звонок.

Это вошло у меня в привычку, но через неделю после того, как мама нашла у меня шрамы и синяки, я пришла в сад и обнаружила, что ворота забаррикадированы. На территории храма шли строительные работы, так что в тот день я пришла в школу рано.

И сразу поняла — что-то изменилось. Ни одна голова не повернулась, когда я подходила, будто меня вообще никто не заметил. Я немного помялась перед воротами, потом просочилась внутрь, но никто меня не ждал, не следил за мной, не окружал. Я насторожила уши, но так и не услышала, как дети с горящими глазами сладко выпевают мое имя. Они все просто меня игнорировали и продолжали болтать друг с другом, будто меня тут и не было.

Сначала я занервничала и вроде как ощутила облегчение и даже радость, но потом подумала — нет, погодите-ка минуточку, может, они задумали какое-то мегазло. Не глупи, Нао! Берегись! Будь настороже! Так что я держала глаза открытыми и ушки на макушке и ждала. Шли утренние уроки, долбежка и долбежка — история Японии, математика, моральное воспитание, но ко мне все никто не докапывался. Никто меня не щипал, не плевал в меня и не тыкал ручкой. Никто не зажимал нос, не угрожал, что изнасилует, не притворялся, что его тошнит, проходя мимо моей парты. Мальчик, сидевший сзади, ни разу не дернул меня за волосы, и к полудню я начала верить, что кошмар наконец-то позади. Во время перерыва на обед меня оставили на час совершенно одну за партой с коробкой для ланчей, и никто не

смахивал ее на пол и не наступал на рисовые колобки. На перемене я стояла сама по себе, прижавшись спиной к забору, и смотрела, как другие болтают и хохочут. Когда прозвонил звонок и уроки на тот день закончились, я шла по переполненным коридорам, будто невидимка — привидение или дух мертвеца.

Не знаю, может, этот мамин визит в школу заставил их прекратить физические пытки. Вообще-то сомневаюсь. Может, им просто надоело, и все и так прекратилось бы само собой, а мамины жалобы просто подтолкнули их в это новое русло. Не знаю, с кем там она говорила, но, скорее всего, это не был мой новый классный руководитель Угава-сэнсей — он заменял в девятом классе постоянную учительницу, которая ушла в декрет. Думаю, мама сразу пошла к начальству, к замдиректора или даже к самому директору, а думаю я так потому, что Угава-сэнсей делал то же, что мои одноклассники, — игнорировал и притворялся, что в упор меня не видит и не слышит тоже. Сначала я не замечала. Он всегда меня игнорировал и никогда не вызывал, а поскольку я никогда не поднимала руку на уроке, чтобы ответить на вопрос, можно сказать, что это было взаимно. Но потом он придумал эту новую штуку во время утренней переклички. Он читал мое имя — «Ясутани!», а я отвечала: «Хай!», но, вместо того, чтобы отметить, что я присутствую, он кричал еще раз: «Переводная ученица Ясутани!», будто не слышал меня. И опять я отвечала «ХАЙ!», громко, как могла, но он хмурился, тряс головой и отмечал, что я отсутствую. Так продолжалось пару дней, пока я не заметила, что некоторые мальчики хихикают, и тут до меня начало доходить. Тогда голос у меня прекратил работать. Как бы я ни старалась, я не могла выдать ни звука. Мышцы горла будто превращались в руки убийцы, душащие мой голос, когда он пытался выбраться наружу. Иногда кто-то из ребят отвечал за меня, услужливо сообщая: «Ясутани-кун ва русу дэсу йо»<sup>[47]</sup>, и спустя какое-то время на перекличке я уже просто сидела, уставившись на исцарапанную парту, крепко сжав губы, потому что знала — они все участвуют в шутке, все хихикают про себя.

Был в этом какой-то странный покой. Меня не так уж раздражало молчаливое хихиканье — по крайней мере, шрамов оно не оставляло, и я почти могла порадоваться за Угаву-сэнсея, как он набирает очки у популярных ребят в классе и вообще ладит с ними. Учитель на замену

— создание еще более жалкое, чем переведшийся ученик, а Угава-сэнсей был даже еще большим лузером, чем я, и мне было его жаль.

Голова у него по форме и окраске напоминала эноки<sup>[48]</sup>; он лысел, и зубы у него были плохие, а носил он полиэстровые водолазки с хлопьями перхоти на плечах — будто споры. И пахло от него плохо, несло как от козла.

Я все это говорю не со зла, а просто, чтобы тебе было понятно, как ничтожна была вероятность того, что такой лузер, как Угава-сэнсей, станет популярной фигурой у заводил класса, но благодаря мне это все-таки случилось. Я видела радостное волнение у него на лице, когда он называл мое имя и притворялся, что ждет ответа. Я видела это по тому, как он смотрел на меня, потом — сквозь меня, так убедительно, я почти могла поверить, что меня здесь нет. А отсутствие мое он отмечал триумфальным росчерком карандаша, будто это было прямо какое-то достижение.

Я надеюсь, ты понимаешь, я не считаю его плохим. Я думаю, он просто был крайне неуверенным человеком и мог убедить себя в чем угодно, как умеют неуверенные люди. Как мой папа, например, который убедил себя, что его самоубийство не повредит ни мне, ни маме, что на самом деле нам без него будет лучше, и в один прекрасный момент в не столь уж отдаленном будущем мы осознаем это и еще поблагодарим его за то, что он покончил с собой. Тоже самое с Угава-сэнсеем, который, верно, сообразил, что отсутствовать мне будет приятнее, чем присутствовать, и ведь он был прав. Он вроде как даже помогал мне добиться цели, и в результате я почти была ему благодарна.

Я скользила сквозь череду школьных дней, как облачко, как дрейфующая полоса тумана, почти неощутимо, а после школы я шла обратно в квартиру, обычно практически одна, а это было гораздо лучше, чем когда за мной гнались и ставили подножки, и толкали на торговые автоматы и на велосипедные стойки с кучей велосипедов. Я знала, до безопасности мне пока далеко, потому что иногда одноклассники шли за мной, но они всегда оставались на другой стороне улицы или отставали на полквартила; они обменивались громкими комментариями насчет вонючей дыры, где я обитала, но хотя бы не заговаривали со мной и не трогали меня.

Когда я добиралась до дома, папа обычно готовил мне что-нибудь перекусить, и я сидела с ним и делала уроки или просто подвисала в интернете, убивая время или обмениваясь сообщениями с Кайлой, моей лучшей подругой из Саннивэйла, которой я все еще нравилась достаточно, чтобы общаться со мной онлайн. Но, если честно, это тоже было довольно странным занятием, потому что она все хотела знать, как там моя школьная жизнь, а про идзимэ я ей сообщать не собиралась, потому что тогда бы она поняла, каким жалким лузером я стала, так что вместо этого я просто объясняла ей всякие смешные странности про Японию. Японская культура — довольно популярная штука у молодежи в Штатах, так что в основном мы просто болтали про мангу, и J-Рор, и анимэ, и модные тренды, и всякое такое.

«Ты так далеко, — писала Кайла, — что кажешься нереальной».

Это было правдой. Я была нереальной, моя жизнь была нереальной, и Саннивэйл, вполне реальный, был от нас в газиллионах миль в пространстве и времени, прекрасный, как Земля, с точки зрения космонавтов из глубокого космоса — нас с папой, живущих на космическом корабле, скитающихся в холодной черноте.

#### 4

Я сказала, что папа удалился от мира и стал хикикомори, но я не хочу, чтобы у тебя сложилось неверное впечатление. Папа меня любил и хотел, чтобы я была в безопасности. Он не собирался слетать с катушек и совать наши головы в духовку или что там еще. И хотя в большинстве своем эти типы, хикикомори, проводят день и ночь, не вылезая из дома, читая порномангу и торча на хентайных фетиш-сайтах, слава богу, папа мой был не настолько жалок. Он был жалок по-другому. Он практически перестал выбираться онлайн, а вместо этого убивал время, читая книги по западной философии или делая насекомых-оригами, а оригами, как тебе, наверно, помнится с детства, — это такое японское искусство, когда из бумаги всякие фигурки складывают.

Вся эта история с философией началась из-за того, что мамина компания издавала ту серию под названием «Великие умы философии Запада». Как ты, наверно, догадываешься, «Великие умы философии Запада» бестселлером не были, так что мама принесла одно из

завалившихся собраний домой в надежде, что это поможет папе обрести смысл жизни, ну, и, опять же, книги достались ей совершенно бесплатно. Он начал с Сократа, а потом разделялся примерно с одним философом в неделю. Не думаю, что это особо помогло ему со смыслом жизни, но, по крайней мере, у него появилась четкая цель, а это чего-то стоит. Мне кажется, не так важно, что — главное, найти это что-то, занять себе руки, пока влачишь эту бессмысленную жизнь.

А все свои представления об оригами можешь забыть, потому что все эти журавлики, шляпы, кораблики и бомбочки и рядом не лежали со штуками, которые складывал папа. Эти штуки были оригами-на-стероидах, абсолютно безумные и прекрасные. Вообще-то он любил складывать из «Великих умов философии Запада» — прочитав пару страниц, вырезал их из книги с помощью макетного ножа и линейки со стальным краем. Как ты, наверно, знаешь, в западной философии довольно много великих умов, и книги были напечатаны на супертонкой бумаге, чтобы умов в серию влезло побольше. Папа говорит, из тонкой бумаги легче складывать, особенно если делаешь что-то сложное, вроде *Trypoxylus dichotomus* (это японский жук-носорог) или *Mantis religiosa* (это богомол обыкновенный). Складывал он только те умы, которые ему не нравились, так что у нас теперь было полно насекомых из Ницше и Гоббса.

Папа часами сиживал на полу за котацу<sup>[49]</sup>, читая и складывая, складывая и читая, а я сидела рядом и делала уроки, если он обещал не курить слишком много. Он потреблял такие фальшивые пластиковые сигареты со вкусом мяты, чтобы заглушить никотиновый голод, и иногда я просила у него одну, и мы сидели друг напротив друга, сгорбившись над книгами, вместе жуя и терзая наши фальшивые сигареты. Это было довольно мило, потому что он постепенно начинал приходить в волнение, а когда он приходил в волнение, то начинал кивать. Он кивал и кивал, а когда совсем уж входил в раж, то вцеплялся обеими руками в оправу очков, будто это был бинокль, а он пытался приблизить страницу, чтобы разглядеть слова получше и увидеть в них еще больше смысла. Трудновато бывало сосредоточиться, когда сидишь напротив, а он начинает кивать и трясти головой, особенно если он еще говорить начинал. Он бормотал:

— Так, так, таак... — А потом взрывался: — Так! Сорэ! Сорэ да йо!<sup>[50]</sup>

А иногда он отвлекал меня — говорил:

— Нао-чан, ты только послушай! — и читал страницу или две из Хайдеггера.

Будто мне что понятно, да? Но мне было плевать. Это было гораздо интереснее, чем дурацкая домашка, которую надо было делать для школы. Мы проходили по математике прямые пропорции, и каждый раз, как я видела задачку вроде: «Если поезд, который идет со скоростью 3 километра в минуту, пойдет со скоростью  $u$  километров за  $x$  минут, тогда...», у меня взрывался мозг, и я могла думать только о том, как тело будет выглядеть в момент столкновения, на какое расстояние отлетит голова и куда кровь разбрызгает. Папина философия было гораздо суше и не так причудлива, как моя математика, и хотя не понимала я ровным счетом ничего, может, что-то и осело. Мне лично нравилось, что папа не тратит все свое время на какую-то дурацкую работу, или на полировку резюме с целью раздобыть какую-то дурацкую работу, или сидя на скамейке в парке Уэно, притворяясь, что он на какой-то дурацкой работе и кормя вместо этого ворон. Мне нравилось, что он, похоже, вообще отказался от идеи насчет работы, и у него было свободное время, и проводил он его со мной, хотя я и подозревала, что он предпочел бы быть мертвым.

## 5

Кстати, о свободном времени, ты знаешь о фуриитаа<sup>[51]</sup>? В Японии это такие люди, которые работают на временных работах, и у них куча свободного времени, потому что они не строят карьеру и не трудятся полный рабочий день на компанию. Я подумала об этом потому, что сейчас сижу опять в «Унылом фартучке Фифи», и вот случайно посмотрела вокруг, и вижу, что окружают меня сплошные отаку, которые все, наверно, фуриитаа, и поэтому у них есть время сидеть здесь между работами или перед тем, как вернуться к себе в комнату в доме у папы с мамой. А французские горничные — уж точно фуриитаа, и работают они здесь только временно, пока не найдут местечко получше или просто не заведут папика. И официанты, и ребята на кухне все фуриитаа, если только они не иммигранты или не приехали на время из другой страны. Иммигрантов или временных работников-иностранцев нельзя называть фуриитаа, потому что у них

вообще нет никаких шансов раздобыть настоящую работу в японской компании.

Ты, наверно, думаешь, да кому вообще нужна эта настоящая работа в японской компании? Наверняка знаешь эти жуткие истории про японскую корпоративную культуру, безразмерный рабочий день и зарименов, у которых никогда нет времени на семью, даже детей они не могут обнять, а потом падают мертвыми от переутомления, что само по себе — целое отдельное явление<sup>[52]</sup>. Если сравнивать, конечно, может показаться, что фуриитаа — это совсем неплохо. Но это не так. Япония — не лучшее место для фри-чего-угодно, потому что «свободный» значит только «совершенно один», а также «не на своем месте» и «не свой».

Иногда люди пишут это на английском как *freeteer*, что очень похоже на *fritter*, как в выражении *fritter your life away* — «прожигать жизнь», — именно то, чем занимаемся мы с папой, если хочешь мое мнение знать. Мои-то какие годы, смотрюсь я не так уж убого, но вот папа меня сильно беспокоит.

О'кей. На чем я там остановилась?

«Фриттеры, — подумала Рут. — Это мы. Прожигаем свою жизнь».

Она закрыла дневник и положила себе на живот. Рядом спал Оливер. Она читала ему вслух, и он заснул. Она не стала будить его, просто продолжив читать про себя. Она знала, что от истории о хикикомори ему стало не по себе. Ей тоже было неудобно.

Переезд на остров был для них бегством. Первый Новый год здесь они провели на диване; маму завернули в одеяло и надежно устроили между собой, дешевое игристое вино в бокалах, на экране телевизора — мир, которому только что стукнуло 2000. ВВС вели репортаж о том, где как отмечают миллениум, перемещаясь из одной временной зоны в другую, неспешно огибая планету с востока на запад. Всякий раз, как очередной залп фейерверков рвал на части экран, мама наклонялась вперед.

— Ох, красота-то какая! Что это за праздник?

— Это Новый год, мам.

— Неужели? А какой год?

— Это 2000 год. Новое тысячелетие.

— Нет! — восклицала мама, хлопая себя по коленям и откидываясь обратно на диван. — Господи боже мой! Подумать только.

Потом она закрывала глаза и немножко дремала, пока ее не будил следующий взрыв. Она выпрямлялась и наклонялась вперед.

— Ох, красота-то какая! Что это за праздник?

К тому времени, как миллениум докатился, наконец, до их временной зоны, вся остальная планета уже спала, а у Рут страшно разболелась голова. Мы празднуем Конец Времен, мам. Коллапс электросетей и мировой банковской системы. Всеобщий разлад и конец света...

Господи боже мой! Подумать только.

Ее не беспокоили все эти дурацкие страшилки и пророчества вокруг миллениума. Страхи, питавшие ее бегство, не были столь

оформлены, им не было имени, и когда в конце первого года она сидела перед телевизором и наблюдала, как президентские выборы, буксуя, движутся к финалу, ее захлестнула уверенность, что вот-вот случится нечто ужасное. Дрейфуя по воле волн, будто лодочка в тумане, она наблюдала, как среди расступающейся мглы, то тут, то там, вдруг являются картины далеких берегов, постоянно меняющегося мира.

Было уже поздно. Она отложила в сторону дневник и погасила свет. Слышно было, как рядом дышит Оливер. Дождик стучал по крыше. Закрыв глаза, она представила ярко-красную коробку для ланчей на тускло-серых волнах.

## 2

Утром, вооружившись большой кружкой кофе, она приступила к мемуарам с новой решимостью. Наладить заново доверительные отношения — вот что им было нужно. Незаконченная книга, оставленная без присмотра, дичала, и Рут понадобится вся ее воля, способность к концентрации и беспощадная целеустремленность, чтобы вновь ее укротить. Она шуганула кота со стула, расчистила стол и положила стопку рукописи прямо перед собой.

Взбешенный кот вспрыгнул обратно на стол, но она подхватила его поперек живота, поставила на пол и придала легкое ускорение в направлении коридора.

— Пойди навести Оливера, Пестицид. Это его ты любишь.

Кот повернулся к ней задом и проществовал вон из комнаты, высоко задрав хвост, демонстрируя, что с самого начала намеревался уйти.

Иногда, когда ей сложно было сосредоточиться, помогал своего рода бег на короткие дистанции — она ставила себе достижимые цели в обозримом будущем и двигалась от одной к другой. С тех пор как Оливер запустил старые часы, она с ними не расставалась; расстегнув ремешок, она стащила часы с запястья. Почти девять. Тридцать минут работы, десять — на перерыв. Посмотрев, как гладко секундная стрелка скользит по циферблату, она приложила часы к уху, просто чтобы убедиться. Тиканье действовало на нее успокаивающе. Это был красивый механизм, позднее ар-деко, черный циферблат с

флюоресцентной разметкой, четкие цифры. Стальная задняя крышка была вся в щербинах — это были старые часы, но можно было различить кандзи цифр — серийный номер или что-то еще? Над цифрами были еще иероглифы. Она узнала первый. Это был кандзи

空

, «небо». Второй иероглиф,

兵

, тоже выглядел знакомо, но понять смысл в этом контексте ей не удавалось. Она открыла словарь иероглифов и сосчитала черты. Семь. Проглядев длинный ряд кандзи из семи черт, она нашла нужный символ. «Хэй», — прочитала она, — означает «солдат».

Небесный солдат?

Она запустила компьютер и прогуглила «небесный солдат японские часы». Всплыли сотни ссылок на сайты, где ей предлагалось посмотреть анимэ «Sky Soldier». Мимо.

Она попробовала «антикварные часы», потом «винтажные часы», потом «винтажные военные часы». В точку. Открылась целая вселенная собирателей винтажных военных часов.

Проверяя еще одну догадку, она добавила «Вторая мировая» и было «небесный солдат», но вдруг, по наитию, заменила последние слова на «камикадзе» и нажала ENTER. Завертели колесики поисковой машины, и в считанные секунды она была уже на форуме энтузиастов военных часов, читая о происхождении механизма, который держала в руках, узнавая, что производились они компанией Seiko во время Второй мировой; части камикадзе отдавали им предпочтение. Таких часов было выпущено немало, но, в силу очевидных причин, до нашего времени дошли единицы. Часы были редкостью и предметом охоты коллекционеров. Цифры, выгравированные на задней стороне, действительно были номером, но не часов, а солдата, который их носил.

Харуки № 1?

3

Она поискала в интернете Харуки Ясутани в разных комбинациях с тем, что она могла вспомнить из дневника Нао: «небо», «солдат»,

«камикадзе», «философия», «французская поэзия», «университет Токио». Безуспешно. Она перешла к Харуки-второму, добавив в поиск новые ключевые слова: «компьютерный программист», «оригами», «Саннивэйл», и хотя всплыло несколько Ясутани и пара Харуки, и еще кто-то из компьютерной индустрии с похожими именами, но никто, похоже, не был связан ни с пилотом-камикадзе, ни с его племянником, отцом Нао.

Разочарованная, она вернулась к поиску жертв цунами на People Finder, вбив «Харуки» и «Томоко», но ни одно из имен не всплыло в списках погибших и пропавших без вести Ясутани. Это было облегчением. Она двинулась дальше, задав поиск на дзэн-буддийские храмы в Северной Японии, но точнее указать параметры не смогла, потому что не знала, ни где именно на севере находился храм, ни даже к какой школе дзэн он принадлежал. Она сделала попытку добавить имя Дзико Ясутани к поиску храмов, плюс «анархистка», «феминистка», «писатель» и «монахиня» в разных сочетаниях. Ничего. Она искала на севере храмы, разрушенные цунами. Таких было несколько. Другие храмы уцелели и по мере сил помогали пострадавшим.

Стрелки на часах небесного солдата совершали круг за кругом, но она их игнорировала и продолжала читать, просматривая посты и статьи, размещенные тогда, в 2011 году, в месяцы, последовавшие за 11 марта. Психованные религиозные лидеры винили во всем гнев богов, будто бы наславших на Японию наказание — за все подряд, от материализма и преклонения перед технологиями до зависимости от атомной энергетики и бездумного истребления китов. Разгневанные родители Фукусимы требовали объяснений, почему правительство не делает ничего, чтобы защитить их детей от радиации. В ответ правительство подтасовывало цифры и задирало нормы допустимого уровня облучения; в то же самое время работники атомной станции, бившиеся с катастрофой на Фукусиме, умирали один за другим. Образовалась группа под названием «Отряд смертников-пенсионеров»<sup>[53]</sup>, состоящая из инженеров в отставке в возрасте семидесяти-восемидесяти лет, которые вызвались заменить более молодых работников. Скакнул уровень самоубийств среди «перемещенных лиц» — людей, вынужденных перебраться на другое

место в результате цунами и ядерной катастрофы. Она напечатала «смертники» и «самоубийство», а потом вспомнила про поезд. Добавила «скоростной экспресс Чуо» и «Харрики», опечатавшись в спешке — левый указательный палец слишком задержался на «р», потом вмешался правый и вместо «у» нажал на «и»; прежде чем она успела поправить, мизинец уже ударил по ENTER.

Она испустила разочарованный стон, но поиск уже был запущен — и тут при виде результатов у нее перехватило дыхание.

Это был вебсайт профессора психологии Стэнфордского университета, доктора Ронгстэда Лейстикко. Доктор Лейстикко проводил исследование повествования от первого лица на тему суицида и самоубийств. Он поместил на сайте выдержку из письма от одного из своих источников, мужчины по имени «Харри». Текст выдержки был следующий:

Суицид — это очень глубокая тема, но поскольку Вам интересно, я постараюсь пояснить для Вас мои соображения.

На протяжении всей своей истории мы, японцы, с уважением относились к суициду. Для нас это явление красоты, навечно придающее смысл, и форму, и честь нашей жизни. Это способ сообщить максимальную реальность ощущению, что мы живы. Многие тысячи лет это наша традиция.

Потому что, видите ли, это чувство, что мы живы, не так легко испытать. Несмотря на то что жизнь — это вещь, которая, кажется, имеет некую форму и вес, это не более чем иллюзия. Наше ощущение жизни не имеет реальных границ, не привязано ни к чему. Так что мы, японцы, говорим, что наша жизнь иногда кажется нереальной, как сон.

Смерть — это определенность: все мы — смертники. Жизнь постоянно меняется, как дуновение ветра в воздухе, или волна в море, или даже мысль в сознании. Потому совершить самоубийство — это все равно, что нащупать границу жизни. Самоубийство останавливает жизнь во

времени, так что мы можем определить ее форму и прочувствовать ее реальность, пусть и на мгновение. Это попытка вычленил нечто настоящее и ошутимое из потока жизни, который постоянно меняется.

В наше время современных технологий мы иногда слышим, как люди жалуются, будто ничто более не кажется реальным. Все в современном мире — это пластик, или цифры, или виртуальная реальность. Но я скажу — жизнь всегда была такой! Даже Платон доказывал, что вещи в этой жизни — только тени форм. Это я и имею в виду, когда говорю об изменчивости и чувстве нереальности жизни.

Может быть, Вы захотите спросить меня, как именно самоубийство делает жизнь реальной?

Что ж — разрушая иллюзии. Разрушая пиксели и обнажая кровь. Входя в пещеру рассудка и вступая в огонь. Заставляя тени истекать кровью. Жизнь во всей полноте можно ошутить, лишившись ее.

Самоубийство — это Единственная Аутентичная Вещь.

Самоубийство — это Смысл жизни.

Самоубийство — это Последнее Слово, которое осталось за мной.

Самоубийство — это Время, остановленное навсегда.

Но конечно же, все это тоже иллюзия! Самоубийство — это часть жизни, соответственно — часть иллюзии.

Сегодня в Японии из-за экономической рецессии и сокращений самоубийство очень популярно, особенно у зарименов среднего возраста, таких, как я сам. Они попадают под сокращение в своей компании и не могут больше содержать семью. Иногда у них еще и большие долги. Жене они сказать не могут, так что сидят целыми днями на скамейке в парке, как гоми. Вы знаете «гоми»? Это означает «мусор», который просто выкидывают, потому что

он не годится даже на переработку. Мужчины ощущают страх и стыд, будто они гоми. Это печальная ситуация.

Что касается метода, то их существует множество. Самоповешение — один из них, и самое популярное место для суицида через повешение — рядом с горой Фудзи, в лесу Аокигахара. Это место даже получило прозвище «лес самоубийц» из-за множества саларименов, свисающих с веток в Море Деревьев<sup>{10}</sup>.

Вот некоторые другие методы:

1. Спрыгнуть с платформы под поезд (скоростной экспресс в Чуо — один из самых популярных).
2. Спрыгнуть с крыши.
3. Метод угольных брикетов.
4. Метод с моющими средствами.

Существует множество популярных фильмов о самоубийствах, а также книг, которые учат, как применять эти методы. Я лично опробовал метод с платформой и поездом, но это был провал. Молодежь предпочитает метод № 2, прыжок с крыши, и иногда им нравится делать это вместе, держась за руки. К сожалению, суицид популярен среди молодых людей, особенно среди учеников начальной и старшей средней школы, из-за давления насчет успеваемости и издевательств в школе. Я беспокоюсь из-за моей дочери, поскольку она молода и несчастлива в своей японской школе.

В последнее время появилась мода на клубы самоубийц, о которых Вы, наверное, уже слышали. Люди теперь могут находить друг друга в интернете и общаться в чате на тему самоубийства. Они могут обсуждать разные методы и подгонять их под себя, как им нравится, например, какую музыку выбрать для последнего саундтрека, пока умираешь? Потом, если им удастся найти гармоничных друзей, они могут разработать план. Они договорятся встретиться где-то,

например, на железнодорожной станции, или перед магазином, или на скамейке в парке. Может, они будут держать что-то в руках, чтобы узнать друг друга? А может, они наденут что-то особенное? Потом они пошлют друг другу смс, и когда их глаза встретятся, они поймут, что это тот, кто нужен.

Многие члены клубов предпочитают № 3 — метод угольных брикетов. Для этого метода им нужно всем вместе взять напрокат автомобиль и поехать за город. Потом они могут поставить в CD-плеер какую-нибудь хорошую музыку и слушать ее, умирая от углекислого газа.

В большинстве случаев они любят слушать печальные песни о любви.

Прокат автомобилей в Японии недешев, а у большинства самоубийц не так много денег из-за сокращений, банкротств и т. д., так что экономично иметь побольше участников. Поэтому иногда полиция находит пять или шесть тел в одной машине.

Каждый раз, как я читаю об этом методе, я вспоминаю тот день, когда Вы позвали меня с собой за покупками в Home Depot. Помните тот раз? Вы познакомили меня с грилем Weber BBQ и брикетами с ароматом мескита. К сожалению, брикеты с ароматом мескита я в Токио найти не смог, и гриль Weber BBQ здесь тоже не слишком популярен.

Иногда мне кажется, люди в Америке никогда не смогут понять, почему японец хочет совершить самоубийство. Люди в Америке обладают сильным чувством собственной важности. Они верят в собственную индивидуальность, к тому же у них есть Бог, который говорит им, что суицид — это плохо. Так просто! Должно быть, приятно верить в такие простые вещи. В последнее время я читаю кое-какие философские книги, написанные великими умами Запада,

все о смысле жизни. Они очень интересны, и я надеюсь найти в них хорошие ответы.

Насчет себя я не беспокоюсь, но боюсь, что мое поведение может оказать нездоровое влияние на мою дочь. Сперва я думал, что должен совершить самоубийство, чтобы ей не было стыдно за меня из-за моего провала найти хорошую работу с большой зарплатой, но после того как я попробовал метод № 1, я увидел столько печали у нее на лице, что переменял решение.

Теперь, думаю, я должен постараться остаться в живых, но уверенности, что я смогу это сделать, у меня нет. Пожалуйста, научите меня простому американскому пути любить свою жизнь, чтобы мне больше никогда не приходилось думать о суициде. Я хочу найти смысл в жизни ради моей дочери.

Искренне Ваш,  
«Харри»

4

Дорогой профессор Лейстикко!

Я пишу Вам относительно довольно важного и неотложного дела. Я писатель-романист, и недавно, когда я занималась изысканиями на тему самоубийства в Японии для проекта, над которым работаю в настоящее время, случайно набрела на Ваш сайт, посвященный исследованию повествований от первого лица на тему суицида и самоубийств. Я с большим интересом прочла исключительно трогательное письмо от источника по имени «Харри» и пишу Вам, чтобы задать вопрос о его личности. Может ли это быть японский компьютерный инженер по имени Харуки Ясутани, который когда-то жил в Саннивейле, Калифорния, и работал в Силиконовой долине во времена доткомов?

Я сознаю, что подобная просьба может показаться странной, и, без сомнения, возникнут вопросы насчет конфиденциальности, но я пытаюсь выйти на связь с мистером Ясутани или его дочерью, Наоко. Ко мне в руки довольно загадочным образом попали предметы, в том числе дневник и письма, которые, я уверена, принадлежат дочери; меня очень беспокоит ее благополучие, и я хотела бы вернуть ей предметы как можно скорее.

Если Вам понадобится любая информация, какую только я могу предоставить, я с радостью это сделаю. В прошлом я занимала позицию писателя-резидента при кафедре сравнительного литературоведения в Стэнфорде и уверена, профессор П.-Л. или любой другой член кафедры будет рад дать обо мне справки. Я надеюсь вскоре получить от Вас ответ, как только Вам это будет удобно.

С огромным уважением,

и т. д.

Она отослала мейл, откинулась на спинку стула и бросила взгляд на часы небесного солдата, лежавшие поверх нетронутой рукописи, там, где она их оставила — с тех пор прошло несколько часов. Сердце у нее упало. Второй час, пропало целое утро. А потом, будто этого было мало, она услышала шорох шин на подъездной дорожке.

5

Время и внимание взаимодействуют забавным образом. На одном полюсе Рут испытывала маниакальную одержимость, полностью сфокусировавшись на поисках в интернете; часы скапливались и волной обрушивались на день, поглощая бóльшую его часть.

Другой крайностью было, когда внимание рассеивалось, ни на чем не задерживаясь, и тогда она ощущала гранулярную структуру

времени — моменты, подвешенные в воздухе, как частицы вещества, растворенного в неподвижной воде.

Когда-то существовала и золотая середина, когда внимание ее было сосредоточенным и всеобъемлющим одновременно, подобно прозрачному пруду, залитому солнцем, окаймленному зарослями папоротника. Подводный источник питал водоем откуда-то из глубин — воздушный поток слов, пузырьками поднимавшийся к поверхности, где играл рябью легкий ветерок.

Рут помнила это блаженное состояние, какое испытывала когда-то, давным-давно, когда ей еще писалось. Теперь, как бы она ни старалась, тот Эдем вечно от нее ускользал. Источник иссяк, пруд помутнел и зарос. Она винила во всем интернет. Винила гормоны. Винила свою ДНК. Она прочесывала сайты, собирая информацию по СДВ, СДВГ, биполярному расстройству, раздвоению личности, паразитам и даже сонной болезни, но самым большим ее страхом был Альцгеймер. Она наблюдала распад рассудка матери, и ей был знаком разрушительный эффект, который эта чума оказывала на функции мозга. Как и мать, Рут частенько забывала вещи. Персеверировала. Теряла слова. Выпадала из времени.

Машина принадлежала Мюриел, и теперь они с Оливером сидели на кухне, попивая чай и беседуя о мусоре. Рут, которая спустилась из вежливости, сидела между ними, испытывая легкую скуку и теребя в пальцах стопку писем из коробки Hello Kitty. На столе рядом с коробкой стоял потрепанный тюбик японской зубной пасты Lion Brand — повод «заглянуть» для Мюриел. Она нашла его на берегу под ранчо Япов, и решила сразу занести.

Рут терпеть не могла, когда «заглядывали». Только переехав на остров, она была поражена, что люди могут запросто заехать в гости без предварительного звонка или мейла. Оливера этот обычай приводил в еще большее беспокойство. Он как-то даже спрятался в старом ящике из-под холодильника в подвале, услышав шорох шин по гравии, но эта тактика не сработала. Гости просто зашли в дом и уселись в ожидании за кухонный стол, и когда Рут, покончив с делами, вернулась, она обнаружила их в том же положении. Предложив им чаю, она осведомилась, где Оливер.

— О, его тут нет, — ответили они.

Они болтали и пили свой чай, пока Рут пыталась выяснить цель их визита. Потом она услышала загадочный шум из подвала, и в дверях появился Оливер.

— Где ты был? — спросила она подозрительно, раздраженная его долгим отсутствием, тем, что он бросил ее одну разбираться с ситуацией.

— О, гулял. В лесу, — сказал он, смахивая с волос паутину.

В конце концов гости ушли, и она приступила к нему с расспросами. Наконец он раскололся.

— Так ты, значит, просто сидел там, внизу?

Он кивнул; вид у него был несколько смущенный.

— В ящике? Все это время?

— Не так уж и долго.

— Да это было несколько часов! Что ты там делал?

— Ничего.

— Ты слушал, как мы разговариваем?

— Немного. Слов было не разобрать.

— Так что же ты делал?

Он потряс головой, умудряясь выглядеть одновременно озадаченно и немного самодовольно.

— Ничего, — сказал он. — Я просто сидел там. Мне было хорошо. Классно так. И я вздремнул.

Она правда хотела разозлиться, но у нее не получилось. Это было так на него похоже, что, наконец, она рассмеялась. Он с облегчением присоединился.

Это было у него в натуре — как «заглядывания» были в натуре острова. Какой бы странной ни была традиция, как бы ни действовала она на нервы, когда гости являлись, вы приглашали их к чаю.

Находка тубика Lion Brand была интересным событием, и со стороны Мюриел было мило этим поделиться, но разговор перешел на период полураспада дрейфта в круговых течениях, так что Рут переключила внимание на письма. Разложив страницы на столе, она расправила каждую и теперь вглядывалась в непроницаемые кандзи. По крайней мере, адрес она могла бы расшифровать. Даже название префектуры могло бы помочь. Оливер и Мюриел все продолжали беседовать, хотя разговором, как Рут показалось, это назвать было

трудно. Скорее, этот обмен репликами напоминал научную конференцию — два именитых профессора по очереди занимают кафедру, сообщая информацию, которая уже известна обоим и с которой оба более-менее согласны.

— Так ведет себя пластик, — вещал Оливер, — он не подвержен биоразложению. Плавает по кругу в мировых течениях, перемалываясь в мелкие частицы. Океанографы называют их «конфетти». В гранулярном состоянии пластик способен болтаться вечно.

— В море полно пластикового конфетти, — подтвердила Мюриел. — Оно плавает повсюду, его поедает рыба, оно оседает на берегу. Оно в нашей пищевой цепи. Не завидую я антропологам будущего, как они будут пытаться понять нашу материальную культуру по всем этим разноцветным комочкам, которые будут выкапывать из наших помоек?

Последнее письмо было толще прочих. Оно было завернуто в несколько слоев промасленной бумаги. Рут осторожно сняла обертку, отложив в сторону липкую бумагу. Внутри была сложенная в четыре раза тонкая тетрадь А4 — такую студент мог когда-то использовать для экзаменационного эссе. Она развернула тетрадь и заглянула внутрь, ожидая увидеть все те же беглые иероглифы, но, к ее удивлению, буквы были латинскими, а язык — французским.

Тем временем настала очередь Оливера.

— Антропологи будущего... — начал он, но тут его прервала Рут.

— Простите, — сказала она, — мне неловко менять тему, но кто-нибудь читает по-французски?

## 6

Она показала им тетрадь, и теперь все по очереди пытались читать, но без особого успеха.

— Вот вам и двуязычное образование, — сказала Мюриел. Она взглянула на часы, отложила очки для чтения и начала собираться. — Попробуй позвонить Бенуа.

Рут не знала, кто такой Бенуа.

— Бенуа ЛеБек, — сказала Мюриел. — Он на свалке работает. Квебекец, ходит к А, водит вилочный погрузчик...

— А?

— АА, — ответила Мюриел. — Но на этом острове ничего анонимного нет, так что они зовут это просто А. Его жена в школе работает, и я знаю, он много читает. Его родители были профессорами литературы.

Она потянулась за тубиком Lion Brand, лежавшим рядом с покрытым моллюсками пакетом.

— Ты Калли уже звонила насчет этого? — спросила Мюриел, указывая на пакет, который уже начал источать характерный аромат, по мере того как желуди потихоньку дохли.

— Нет еще, — покаянно ответила Рут. Она собиралась, но в последнее время ей становилось все труднее снимать с телефона трубку. Ей больше не нравилось разговаривать с людьми в реальном времени.

— Ну, я тут случайно узнала, она только что вернулась из круиза и собирается пока побыть на острове. Я подумала, может, ты захочешь позвонить ей, пока эти ребята не сдохли еще сильнее.

Рут ощутила укол совести.

— Нам нужно было постараться сохранить их живыми? Я как-то не подумала...

Мюриел пожала плечами и встала.

— Наверно, это не имеет значения, но позвони ей в любом случае. Может, она что-то тебе подскажет. — Передумав, она оставила тубик на столе и властно помахала рукой в его сторону.

— Это пусть лучше останется у вас, — сказала она, — с кураторской точки зрения, так сказать, лучше будет не разделять коллекцию.

Они вышли проводить ее до машины. Сегодня на Мюриел был выдавший виды мужской кардиган поверх длинной юбки в сочетании с калошами. Рут смотрела, как она с трудом переносит свой вес, спускаясь со ступеньки на ступеньку, и думала об описанных Нао пожилых дамах в бане, о разнообразии их форм и размеров. Рут тоже ощущала свой возраст — в бедрах, в коленях. В Нью-Йорке она ходила повсюду пешком и никогда не ощущала недостатка в движении. Здесь, на острове, она перемещалась, как правило, за рулем. Она подумала о своем старом квартале в Ист-Виллидж, о кафе, ресторанах, книжных магазинах, о парке. Ее нью-йоркская жизнь до сих пор ощущалась так ярко и живо. Как Саннивэйл у Нао.

...в газиллионах миль в пространстве и времени, прекрасный, как Земля, с точки зрения космонавтов из глубокого космоса — нас с папой, живущих на космическом корабле, скитающихся в холодной черноте.

Было еще только четыре, но снаружи уже становилось темно. Дождь прекратился, но воздух до сих пор был прохладным и влажным. Они шагали по сырой траве. Оливер придержал для Мюриел дверцу машины, но тут вдруг его внимание привлекло внезапное движение над головой. Он взглянул и указал вверх:

— Смотрите!

На ветке большелистного клена, среди густых теней сидела одинокая ворона. Она была блестящая, черная, с характерной выпуклостью на лбу и толстым загнутым клювом.

— Странно как, — сказала Мюриел, — похоже на джунглевую ворону.

— Мне кажется, подвид, — сказал Оливер. — *Corvus japonensis*...

— ...также называемая большеклювой вороной, — отозвалась Мюриел. — Очень, очень странно. Ты думаешь?..

— Ну да, — ответил Оливер. — Он просто возник в один прекрасный день. Я думаю, он приехал на дрейфующем мусоре.

— Заглянуть решил, — сказала Мюриел. Она знала об их отвлечении к внезапным визитам и находила это забавным.

Ворона расправила крылья и скакнула вдоль по ветке.

— Откуда ты знаешь, что это «он»? — спросила Рут.

Оливер пожал плечами, будто вопрос был несущественным, но Мюриел кивнула.

— Хорошо подмечено, — сказала она. — «Он» может быть и «она». Бабушка Ворона, или Т'Этс, на языке слиаммонов. Она из магических предков, которые могли менять облик, превращаясь в животное или человека. Она спасла жизнь своей внучки, когда та забеременела и отец приказал племени бросить ее. Отец приказал ворону П'а погасить все костры, но Т'Этс спрятала тлеющий уголек в раковине для своей внучки и спасла девушке жизнь. Девушка родила семерых щенят, которые потом сбросили шкуру, превратились в людей и стали народом слиаммонов, но это уже совсем другая история.

Упершись рукой в кузов, она медленно опустилась на водительское сиденье. Рут помогла ей, поддерживая под локоть.

Ворона наблюдала за происходящим со своей ветки. Когда Мюриел надежно устроилась внутри, она вытянула шею и издала единственное хриплое «кар».

— И тебе тоже до свидания, — сказала Мюриел, запуская мотор, и помахала ей рукой. Ворона склонила голову на бок и смотрела, как машина медленно движется по извивам длинной подъездной дороги, становится все меньше и меньше и исчезает, наконец, за поворотом среди высоких деревьев. Оливер пошел в сад сорвать к ужину зелени, но Рут осталась у поленницы постоять еще и понаблюдать за вороной.

— Эй, ворона, — сказала она.

Ворона склонила голову набок. *Ке*, — ответила она. — *Ке, ке*.

— Что ты здесь делаешь? — спросила Рут. — Чего тебе надо?

Но в этот раз ворона не ответила. Она просто смотрела прямо на Рут черным блестящим глазом. И ждала. Рут была уверена, что ворона чего-то ждала.

Трудно писать о вещах, которые случились в прошлом давным-давно. Вот Дзико рассказывает мне все эти дико интересные истории из своей жизни — ну, как ее идола, знаменитую анархистку и антиимпериалистку Канно Сугако, повесили за измену Родине, или как мой двоюродный дед Харуки № 1 погиб, атакуя американский военный корабль, выполняя самоубийственное задание, — и все кажется таким реальным, пока она говорит, но потом я сажусь записывать, и истории ускользают, ощущение реальности уходит. Прошлое — странная штука. Нет, правда, оно вообще существует? Ощущение такое, что существует, но где? И если оно существовало, но сейчас не существует, то куда оно делось?

Когда старушка Дзико говорит о прошлом, глаза у нее словно обращаются внутрь, она будто вглядывается во что-то, погребенное в глубине, в мозге костей. Глаза у нее мутно-голубые из-за катаракт, и, когда она вглядывается вот так внутрь себя, она будто уходит в иной мир, замерший в глубине льда. Дзико называет свои катаракты куугэ, это значит «цветы пустоты»<sup>[54]</sup>. Мне кажется, это красиво.

Прошлое старой Дзико очень далеко, но даже о прошлом, которое случилось не так давно, как, например, моя собственная счастливая жизнь в Саннивэйле, писать довольно трудно. Эта счастливая жизнь кажется реальнее, чем моя реальная жизнь, существующая сейчас, но одновременно это как воспоминание какой-то совершенно другой Нао Ясутани. Может, той Нао из прошлого на самом деле никогда и не было, кроме как в воображении этой Нао из настоящего, сидящей здесь, в кафе французских горничных в Акиба, Городе Электроники. Или, может, все ровно наоборот.

Если тебе приходилось когда-нибудь вести дневник, ты знаешь — проблема с описанием прошлого скрывается в настоящем: даже если пишешь очень быстро, все равно вечно застреваешь в *тогда* и никогда не успеваешь за тем, что происходит *сейчас*, а это значит, что *сейчас* обречено на вымирание. Безнадега, правда. Нельзя сказать, что *сейчас*

всегда бывает таким уж интересным. *Сейчас* — это, как правило, всего лишь я, сижу в захудалом кафе с горничными или на каменной скамейке у храма по пути в школу, двигаю ручкой по странице туда-сюда тысячу миллионов раз, пытаюсь догнать саму себя.

Когда я была еще совсем ребенком в Саннивэйле, я вдруг стала одержима словом *now*. Дома мама с папой разговаривали на японском, но все остальные говорили по-английски, и иногда я застревала между двумя языками. Когда это случалось, повседневные слова и их значения вдруг теряли друг друга, и мир становился странным и нереальным. Слово *now* казалось мне особенно странным, потому что это *была* я, по крайней мере, по звучанию. Нао стала *now*, получив в придачу еще целое второе значение.

В Японии у некоторых слов есть котодама<sup>[55]</sup> — это дух, который обитает в слове и придет ему особую силу. Котодама слова *now* был похож на скользкую рыбу, гладкого толстого тунца с большим животом и головой и хвостиком поменьше и выглядел примерно так:



По ощущению *NOW* был вроде большой рыбы, которая глотала маленькую, и мне хотелось поймать его и заставить прекратить это занятие. Я была всего лишь ребенком и думала, если смогу по-настоящему понять смысл большой рыбы *NOW*, у меня получится спасти маленькую рыбку *Наоко*, но слово вечно ускользало от меня.

Думаю, в то время мне было лет семь или восемь, и я, бывало, сидела сзади в нашем «вольво-универсале», глядя на поля для гольфа, и торговые центры, и ряды домов, и фабрики, и соляные пруды, несущиеся мимо вдоль фривея Бейшоу, а вдалеке сверкали синие воды залива Сан-Франциско, и окно я держала открытым, чтобы сухой, горячий, пахнущий бензином воздух обдувал мне лицо, и шептала: «Now!.. Now!.. Now!..» снова и снова, быстрее и быстрее, бросая слова ветру, пока мир пролетал мимо, и пыталась поймать момент, когда *сейчас* становится *NOW*.

Но пока ты произносишь «сейчас», оно уже кончилось. Оно уже превратилось в *тогда*.

*Тогда* — это противоположность *сейчас*. Так что *сейчас* уничтожает собственное значение, когда его произносишь. Вроде как слово совершает самоубийство, или типа того. Так что я начала его сокращать... *now, ow, oh, o...* Пока это не стало просто россыпью невнятных маленьких звуков, вообще совсем даже не словом. Это было безнадежно, все равно, что пытаться удержать снежинку на кончике языка или поймать пальцами мыльный пузырь. Пойманные, они прекращали существовать, и я чувствовала, что исчезаю тоже.

Подобные штуки могут свести с ума. О таких вещах мой папа думает постоянно, читая «Великих умов философии Запада», и, наблюдая за ним, я поняла, что рассудок свой надо беречь, потому что, если этого не делать, можешь закончить головой на рельсах.

## 2

Папин день рождения был в мае, а похороны мои случились месяц спустя. Папа был настроен довольно оптимистично, ведь он сумел прожить еще целый год, а еще он только что занял третье место в «Великих войнах насекомых» со своим *Cyclommatus imperator*<sup>[56]</sup>, а это было нехилым достижением, потому что сделать расправленные крылья очень и очень непросто. Так что дела у папы шли совсем неплохо для личности с суицидальными наклонностями, и у меня все тоже было о'кей, для жертвы пыток. Ребята в школе все еще делали вид, будто я — невидимка, только теперь этим занимались все девятые классы, не только мой. Понимаю, это звучит достаточно дико, но в Японии это дело обычное, даже название для этого есть, а именно дзэн-ин сикато<sup>[57]</sup>. Так что вокруг меня разворачивалось масштабное дзэн-ин сикато, и когда я проходила по школьному двору или по коридорам, или пробиралась к парте, то слышала, как одноклассники говорят что-нибудь вроде: «Переводная ученица Ясутани неделями не является в школу!». Они никогда не называли меня Нао или Наоко. Только «переводная ученица Ясутани» или просто «переводная ученица», будто у меня даже имени не было. «Переводная ученица болеет? Может, у переводной ученицы какая-нибудь мерзкая американская болезнь. Может, министерство здравоохранения

поместило ее в карантин. Переводной ученице самое место в карантине. Она байкин<sup>[58]</sup>. Фуу, надеюсь, она не заразная! Она заразная, только если ты займешься с ней этим. Фу, гадость! Она бомжиха. Я бы с ней не стал! Ага, это потому, что ты импотент. Заткнись!»

Ничего нового. Обычно все это говорилось мне в лицо, вот только теперь они говорили это друг другу, но все равно рядом со мной, чтобы мне слышно было. Другие штуки они тоже делали. Когда приходишь в японскую школу, сразу попадаешь к рядам шкафчиков, где тебе нужно снять уличную обувь и надеть сменку. Они ждали, пока я останусь в одном ботинке, вторая нога на весу, а потом врзались в меня, сбивали с ног и шли прямо по мне, будто меня тут не было. «Фууу, воняет!» — говорили они. «Че, кто-то на собачье дерьмо наступил?»

Перед физкультурой нужно переодеваться в спортивную форму, но школа моя была настолько убогой, что у них не было даже нормальных раздевалок, как в Саннивэйле, так что все переодевались прямо в классе, у своих парт. Девочки — в одном классе, мальчики — в другом, и надо было стоять здесь и снимать одежду и натягивать эту идиотскую форму, и, как только я раздевалась, девочки зажимали носы и рты и говорили: «Нанка кусай йо!»<sup>[59]</sup> Что-то сдохло?». Может, так у них и возникла идея похорон.

### 3

Примерно за неделю до летних каникул у меня возникло жуткое чувство, будто что-то опять изменилось. Перемены были незаметными, почти неощутимыми, но я сразу врубилась, и, если тебе приходилось когда-либо проходить через дедовщину, или пытки, или за тобой охотились, или преследовали, ты поймешь — это правда. Читать знаки учишься быстро, потому что от этого зависит твоя жизнь, вот только в этот раз не происходило практически ничего. Меня больше не сбивали с ног и не наступали в гэнкане<sup>[60]</sup>, и никто не отпускал замечаний, что я больна или воняю. Вместо этого они все ходили вокруг меня очень тихо, с исключительно печальным видом, и когда кто-то из мелких зубрил вдруг не выдержал и начал хихикать, когда я проходила мимо, ему быстро дали пенделя. Я знала, вот-вот

что-то произойдет, и это сводило меня с ума. Потом в обеденный перерыв я заметила, как они передают что-то из рук в руки, вроде как сложенную бумагу, типа карточек, но мне, конечно, никто ничего не передавал, так что пришлось ждать до второй половины дня, когда заканчивались клубы, чтобы что-то узнать.

В тот день я вернулась после школы домой, как обычно, и болталась по квартире, притворяясь, что делаю уроки, и пытаюсь выдумать предлог, чтобы пойти на улицу опять, и тут папа начал шебуршать повсюду, явно что-то разыскивая, а потом я услышала вздох, и это значило, что искал он сигареты, и пачка была пуста.

— Урусай йо! — сказала я сердито. — Табако катте койо ка?<sup>[61]</sup>

Мое предложение было исключительно щедрым. Папа не любит выходить на улицу, хотя автоматы с сигаретами — всего в паре кварталов от нас, но я, как правило, отказываюсь ходить ему за сигаретами, потому что из всех способов покончить с собой курение — самый глупый и самый дорогостоящий. Если вдуматься, зачем давать деньги и так богатым табачным компаниям за то, что они тебя убивают, верно? Вместо пластиковых шлепок, которые мы надевали, когда шли куда-нибудь по соседству, я натянула кроссовки для бега и по пути к двери сунула в карман маленький кухонный нож. Сбежала вниз по переулку и притаилась за рядом торговых автоматов, которые продают сигареты, порножурналы и энергетики.

Ждала я Дайсукэ-куна. Он был из моего класса и жил с мамой в том же доме, что и мы. Был он помладше меня, маленький и тощий, как насекомое-палочник, а мама его была не замужем и хостесс, так что к нему цеплялись почти так же, как и ко мне. Дайсукэ-кун был исключительно жалким созданием, и вот, наконец, он показался — брел, спотыкаясь, по улице, прижимая сумку к груди, держась поближе к высокой бетонной стенке. Он был из тех ребят, которые даже в штанах выглядят так, будто им следовало бы надеть шорты. Несуразная головенка, вертящаяся на длинной тощей шее, выпученные глаза стреляют во все стороны, хотя никто за ним не шел, — один его вид просто сводил с ума и страшно меня взбесил, и когда он проходил мимо автоматов, я выпрыгнула, схватила его и затащила в переулок, и, думаю, адреналин у меня зашкалил от ярости, придав мне сверхчеловеческие силы, потому что справиться с ним было легче, чем снять с веревки носок. Честно, это было отпадное ощущение. Я

чувствовала себя такой крутой. Могущественной. Именно так, как представляла себе, когда фантазировала о мести. Я сбила с него школьную фуражку и схватила за волосы и толкнула на колени перед собой. Он скорчился и замер, как малютка-таракан, когда включаешь свет на кухне, за секунду до того, как раздавишь его тапком. Я задрала ему голову и прижала к горлу кухонный ножик. Нож был острым, и было видно, как на его тщедушной шее пульсирует вена. Перерезать ее ничего не стоило. И ничего бы не значило.

— Наками о мисеро!<sup>[62]</sup> — сказала я, пиная его сумку носком кроссовки. — Выверни ее!

Мой голос звучал низко и грубо, как у сукэбан<sup>[63]</sup>. Я даже сама удивилась.

Он открыл школьную сумку и начал вываливать все, что было внутри, к моим ногам.

— У меня совсем больше нет денег, — заикаясь, сказал он. — Они уже все забрали.

Конечно, забрали. Заводилы нашей школы, под предводительством настоящей сукэбан по имени Рэйко, организовали маленький такой бизнес — разводили на деньги неудачников вроде меня и Дайсукэ.

— Мне не нужны твои вонючие деньги, — ответила я. — Мне нужна карточка.

— Карточка?

— Которые они раздавали в школе. Я знаю, у тебя есть. Дай ее мне. — Я пнула его пенал с ультраменом; ручки и карандаши разлетелись веером. Опустившись на четвереньки, он шарил среди учебников. Наконец он протянул мне карточку, свернутую из бумаги, тщательно стараясь не смотреть мне в глаза. Я схватила карточку.

— На колени, — сказала я. — Закрой глаза и наклони голову. Руки под себя.

Он засунул руки под колени. Эта поза была хорошо ему известна, так же, как и мне. Так играют в игру под названием «кагомэ кагомэ»<sup>[64]</sup>; играют в основном маленькие дети — это японский вариант всем известной детской игры «Сиди, сиди, Яша». Один из детей становится *они*<sup>[65]</sup> и должен встать на колени в центре круга с завязанными глазами, а остальные ребята водят вокруг хоровод и поют такую песенку:

Кагомэ кагомэ  
Каго но нака но тори ва  
Ицу ицу деяру? Йоакэ но бан ни  
Цуру то камэ га субетта  
Юширо но шумэн дарэ?

Значит это примерно вот что:

Кагомэ, кагомэ,  
Птичка в клетке,  
Когда, когда ж ты улетишь?  
                                Вечерочком на рассвете  
Журавль и черепаха уж на том свете,  
Кто там сзади, угадай?

Под конец песни хоровод останавливается, и *они* пытается угадать, кто из детей стоит позади него, и если угадал, то меняется с ним местами, и новый ребенок становится *они*.

Таковы правила игры, но в школе был в ходу другой вариант. Можно сказать, это был своего рода апгрейд под названием кагомэ ринчи<sup>[66]</sup>, очень популярный в наши дни среди учеников старшей средней школы. В кагомэ ринчи ты должен стоять на коленях в кругу, руки подсунуты под колени, а остальные ходят вокруг, отпуская тебе тычки и пинки, и поют песенку-кагомэ. Когда песенка заканчивается, даже если ты еще способен говорить, ты не посмеешь назвать имя того, кто сзади, и даже если угадаешь, ты все равно будешь не прав, и они начнут все заново. В кагомэ ринчи, если ты становишься *они*, ты всегда будешь *они*. Игра обычно заканчивается, когда ты уже не можешь больше стоять на коленях и падаешь.

Так что Дайсукэ-кун стоял на коленях в переулке, крепко зажмурившись, и ждал, когда я ударю его, или пну ногой, или порежу его кухонным ножом, но я не торопилась. Было еще рано, в это время в переулке никого не бывало, потому что хостесс не в силах даже мусор вынести, пока не стемнеет. Я развернула карточку, которую он мне дал. Это было объявление о поминальной службе, выписанное кистью, в

хорошей каллиграфии. Аккуратный формальный почерк, как у взрослого, и я подумала, может, это Угава-сэнсей написал. Поминальная служба должна была состояться на следующий день во время последнего урока перед летними каникулами. Усопшей была бывшая переводная ученица Ясутани Наоко.

Дайсукэ все еще стоял на коленях у моих ног, голова опущена, глаза закрыты. Я схватила его за волосы и вздернула ему голову, а потом сунула в нос бумагу.

— Что, доволен этим?

— Н-нет, — промямлил он.

— Усоцукэ!<sup>[67]</sup> — сказала я, дергая его за волосы. Ну конечно, жалкое насекомое лгало мне. Если ты никто, ты всегда доволен, когда кого-то истязают вместо тебя, и я хотела наказать его за это. Волосы у меня в руке казались противными на ощупь, слишком жесткие для ребенка его возраста, будто волосы старика на голове мальчика, а еще они были жирные, будто он пользовался гелем маминого бойфренда. Мне стало противно. Я ухватила его посильнее и почувствовала, как фолликулы вылезают из пор. Я взяла нож и прижала лезвие к горлу. Кожа у него была бледной, почти синеватой — девичье горло. Натянутые сухожилия дрожали, и вены пульсировали под металлическими зубчиками лезвия. Время замедлило ход, и каждый момент разворачивался в будущее, исполненный бесконечных возможностей. Это будет так просто. Перерезать артерию и дать алой крови хлынуть, запятнать землю, и пусть его глупая ничтожная жизнь вытечет из его глупого ничтожного тела. Или освободить его. Отпустить жалкое насекомое. Что выбрать, было совершенно не важно. Я прижала лезвие чуть-чуть сильнее. Насколько сильно придется надавить? Если тебе приходилось разглядывать клетки кожи под микроскопом на уроке биологии, ты поймешь, как зубцы на лезвии ножа способны разрывать клетки на части, пока не пойдет кровь. Я подумала о своих завтрашних похоронах, и какой это будет хороший способ все прекратить. Дать им настоящий труп. Не мой.

Дайсукэ застонал. Глаза у него были закрыты, но рот будто размяк, и лицо было странным образом расслаблено. Капелька слюны стекла из уголка потрескавшихся губ. Казалось, он улыбается.

Мой кулак, сжимавший нож, выглядел очень серьезно, и рука тоже производила впечатление сильное и властное. Мне это понравилось.

Стоя вот так, мы были заморожены во времени, я и Дайсукэ-кун, и его будущее было моим. Что бы я ни выбрала, в этот единственный момент Дайсукэ-кун принадлежал мне, и его будущее принадлежало мне. Странное это было чувство, пугающее и немного чересчур интимное, потому что, если бы я убила его сейчас, мы были бы связаны на всю жизнь, навсегда, и поэтому я его отпустила. Он скорчился у моих ног.

Я смотрела на свои руки, будто они принадлежали кому-то другому. Пряди его отвратительных волос пристали белыми луковицами фолликул к моим пальцам. Я вытерла руки о юбку.

— Уходи отсюда, — сказала я. — Иди домой.

Дайсукэ медленно поднялся на ноги и отряхнул колени.

— Надо было тебе просто это сделать, — сказал он.

Эти слова застигли меня врасплох.

— Сделать что? — тупо спросила я.

Он присел на корточки на тротуаре и начал медленно собирать учебники обратно в сумку.

— Порезать меня, — проговорил он и, моргая, посмотрел на меня. — Перерезать мне горло. Я хочу умереть.

— Хочешь? — спросила я.

Он кивнул.

— Конечно, — сказал он, а потом продолжил собирать бумаги.

Некоторое время я наблюдала за ним. Мне было его жалко, потому что я понимала, что он имеет в виду, и я даже было подумала предложить ему сделать это еще раз, но момент был упущен. Ну да ладно.

— Прости, — сказала я.

Он потряс головой.

— Все в порядке, — промямлил он.

...Я понаблюдала за ним еще, как он ползает на коленях и шарит под торговым автоматом в поисках карандашей. Мне почти захотелось ему помочь, но вместо этого я повернулась и ушла, не оборачиваясь. Я не боялась, что он кому-то расскажет. Он знал, как и я, что этого делать не стоит. Я дошла до самой станции, где были автоматы получше, и купила папе пачку Short Hopes, потому что это был единственный бренд, который я согласна была ему покупать, из-за названия, а потом я купила себе в автомате с напитками баночку «Палпи». Это такой

апельсиновый сок с кусочками мякоти внутри — я люблю лопать их зубами.

#### 4

Прощальная церемония у меня была красивая и очень реалистичная. У всех моих одноклассников на рукавах были черные повязки, а у меня на парте они устроили алтарь со свечой, курительницей для благовоний и моей школьной фотографией — ее увеличили и украсили черными и белыми лентами. Один за другим мои враги подходили к парте и отдавали мне дань уважения, возлагая к фотографии белые бумажные цветы, и весь класс стоял у своих парт, ладони сложены вместе, глаза опущены долу. Может, так им было легче сдерживать смех, но не думаю, что они смеялись. Атмосфера была серьезной и грустной, и все это очень напоминало настоящие похороны. Дайсукэ-кун сильно побледнел, когда настала его очередь, но справился, возложил свой цветок и глубоко поклонился, и я даже немного им гордилась — знаю, звучит слегка извращенски, но, видимо, к людям, которых ты пыталась и чье будущее было в твоих руках, начинаешь как-то проникаться.

Все то время, пока они это делали, Угава-сэнсей нараспев читал буддийский гимн. Я этот гимн тогда не узнала, потому что выросла в Саннивэйле, не слишком подвергаясь воздействию буддийской традиции, но потом, услышав его еще раз в храме у старой Дзико, я ее спросила, что это. Она ответила мне, что это — Мака Ханья Харамита Шингьо<sup>[68]</sup>, что значит что-то вроде Великая Совершенномудрая Сутра Сердца. Единственный кусок, который мне запомнился, звучит примерно так: «Шики фу ику, ку фу и шики»<sup>[69]</sup>.

Это довольно абстрактно. Старушка Дзико пыталась мне это объяснить, и не знаю, насколько правильно я все поняла, но, кажется, смысл в том, что ничто в этом мире не материально и не реально, и все вещи — деревья, и животные, и камешки, и горы, и реки, и даже мы с тобой — вроде как просто течем сквозь время, пока не закончимся. Думаю, это правда, и это очень обнадеживает, и жаль только, что я не понимала это во время похорон, когда Угава-сэнсей читал эти строки, потому что это было бы очень утешительно, но, конечно, я не понимала ничего, потому что эти сутры написаны на старом языке,

который больше никто не понимает, если ты не как Дзико и это не твоя работа. На самом деле не так уж важно, понимаешь ли ты каждое слово, — ты чувствуешь их глубину и красоту, и голос Угавы-сэнсея, обычно такой нудный и противный, вдруг смягчился и стал грустным и добрым, будто он всерьез принимал каждое слово. Когда он подошел к моей парте, чтобы возложить цветок, выражение у него было такое, что мне захотелось плакать, — его лицо вдруг исказилось и отразило его собственные горести. Пару раз я действительно заплакала, когда увидела свой портрет с черными и белыми лентами и как уважительно относятся ко мне мои одноклассники — склоненные головы, бумажные цветы. Они, наверно, все вместе собирались в клубах после школы и делали эти цветы, чтобы украсить ими мою фотографию. Такие серьезные, исполненные достоинства. Я почти любила их.

## 5

В школу я в тот день не пошла, так что в реальности на своих похоронах я не присутствовала. После встречи с Дайсукэ я вернулась домой, отдала папе сигареты и легла в кровать. Когда мама вернулась тем вечером с работы, я заставила себя стошнить на пол в ванной и сказала ей, что больна. На следующее утро я сделала так, что меня вырвало еще раз, для подстраховки, и поскольку это был последний день перед летними каникулами, она позволила мне остаться. Я так обрадовалась, решив, что мне удалось избежать всего этого мероприятия, но вечером я получила анонимный мейл, в теме которого стояло: «Трагическая и безвременная кончина переводной ученицы Нао Ясутани». В теле письма была ссылка на портал с видеохостингом. Кто-то заснял мои похороны на телефон-кейтай и запостил в интернет, и следующие пару часов я наблюдала, как накручивается счетчик просмотров. Не знаю, кто там это смотрел, но ролик получил сотни, а потом и тысячи кликов, будто стал вирусным. Странно, конечно, но я практически ощущала гордость. Приятно было почувствовать себя популярной.

Только что вспомнила последние строки Сердечной сутры, они такие:

Гатэ гатэ пара гатэ,  
Парасм гатэ, бодхи сова ка...

Эти слова на самом деле — на каком-то древнем индийском языке<sup>[70]</sup>, даже не на японском, но Дзико сказала мне, что они значат что-то вроде:

Ушли, ушли за пределы,  
Совершенно ушли за пределы, пробуждены, ура...

Я все думаю о Дзико, какое это будет для нее облегчение, когда все наделенные сознанием сущности, даже мои кошмарные глупые одноклассники, пробудятся и просветлятся и уйдут, и она, наконец, сможет отдохнуть. Думаю, к тому времени она будет совершенно вымотана.

## Часть II

В реальности каждый читатель читает в самом себе. Книга писателя — это только своего рода оптический инструмент, предоставленный им чтецу, чтобы последний распознал предметы, которых без этой книги, быть может, он не отыскал бы в своей душе. И если читатель узнает в себе то, о чем говорит книга, то это является доказательством истинности последней.

*Марсель  
Пруст.  
Обретенное  
время<sup>[11]</sup>.*

Картинка на экране показывает человека под сорок или чуть старше. Он стоит на фоне опустошенного цунами ландшафта, который простирается во все стороны, насколько хватает обзора камеры. На лице у человека — белая медицинская маска, но он стянул ее на подборок, чтобы поговорить с репортером. Одет он в потрепанные тренировочные штаны, рабочие перчатки, куртку на молнии, ботинки.

— Это как сон, — говорит он. — Ужасный сон. Я все пытаюсь проснуться. Кажется, если я проснусь, моя дочь вернется.

Он говорит без выражения, короткими фразами.

— Я потерял все. Дочь, сына, жену, мать. Наш дом, соседей. Весь наш поселок.

Строки внизу экрана указывают имя человека: Т. Нодзима, санитарный рабочий, поселок О..., префектура Мияги.

Репортер, голос которого звучит приглушенно из-за маски, говорит в камеру. Он объясняет, что они стоят на том самом месте, где был дом господина Нодзима. В кадре — картина полной разрухи, но камера не может передать жуткого запаха. Он стягивает маску. Запах, объясняет он, невыносим, удушающая вонь от гниющей рыбы и гниющей плоти, погребенной под завалами. Господин Нодзима ищет свою шестилетнюю дочь. У него мало надежды найти ее живой. Он надеется разыскать ранец, который был у нее на спине утром 11 марта, когда ударило цунами.

— Он красный, — говорит Нодзима, — с картинкой Hello Kitty. Я ей только что его купил. Учебный год должен был начаться, и она так им гордилась. Носила даже в доме. Она должна была в первый класс пойти.

Нодзима и его дочь были дома, на кухне, когда стена черной воды вперемешку с мусором вломилась в их дом. В считанные секунды Нодзима был прижат к потолку, а его дочь исчезла. Он думал, что тут и потонет, но дом чудом сорвался с фундамента как раз в тот момент, как

разломился потолок, и его вытолкнуло на второй этаж в спальню, где в углу скорчилась его жена, держа на руках их новорожденного сына.

— Я пытался поймать ее за руку, — говорит он. — Почти дотянулся, но тут дом накренился и развалился пополам.

Его жену и сына потащило прочь. Он думал, что все еще сможет до них добраться. Сумел взобраться на крышу бетонного здания, которое проносило мимо. Он мог видеть жену в углу их плавучей спальни, с ребенком на руках, но их уносило все дальше и дальше. Он позвал ее. Рев воды и крошащихся обломков был оглушающим.

— Был такой шум, но, думаю, она услышала меня. Она на меня посмотрела. Глаза у нее были широко раскрыты, но она ни разу не закричала. Не хотела ребенка пугать. Просто смотрела на меня до самого конца.

Он трясет головой, словно стараясь освободить ее от дальнейших воспоминаний. Пристально глядит на окрестности, заваленные обломками, — расщепленные дома и смятые машины, бетонные блоки и погнутая арматура, лодки, куски мебели, разбитые кухонные принадлежности, шифер, одежда, вещи — неприглядный слой мусора несколько метров глубиной. Он глядит вниз, себе под ноги, ковыряет носком ботинка скомканный, залепленный грязью кусок ткани.

— Наверно, я никогда не найду свою семью, — говорит он. — Я потерял надежду похоронить их как следует. Но если я смогу найти хоть что-то, хотя бы одну вещь, которая принадлежала моей дочери, это успокоит мое сердце, и я смогу оставить это место.

Он резко сглатывает, а потом делает глубокий вдох.

— Та жизнь с семьей была сном, — говорит он. Потом делает жест в сторону разрушенного ландшафта. — Это реальность. Нам нужно пробудиться и понять это.

## 2

В дни, следовавшие за землетрясением и цунами, Рут сидела за компьютером и прочесывала интернет в поисках новостей о друзьях и родных. Ей потребовалась пара дней, чтобы убедиться, что с теми, кого она знала, все в порядке, но она не могла остановиться. Образы, хлынувшие из Японии, завораживали ее. Каждые несколько часов появлялся очередной кошмарный ролик, и она проигрывала его снова и

снова, изучая, как волна вздымается над дамбами, тащит лодки вверх по улицам, подхватывает машины и забрасывает их на крыши домов. Она смотрела, как целые городки сметает и уносит прочь за считанные секунды, сознавая при этом, что вот эти моменты остались запечатленными в интернете, но множество других моментов просто исчезло.

По большей части ролики были сняты донельзя испуганными людьми на мобильные телефоны со склонов или крыш высоких зданий, так что кадры носили случайный характер, будто те, кто снимал, и сами не понимали, что делают, сознавая только, что происходит нечто исключительно важное, так что они включали телефон и направляли его на идущую волну. Иногда изображение вдруг дергалось и расплывалось, когда хозяин телефона перебежал на место повыше. Иногда на самом краю кадра было видно, как волна поглощает крошечные машинки и человеческие фигурки. Иногда казалось, что люди не знают, что делать. Они не спешили бежать, останавливались даже, чтобы оглянуться и посмотреть, не сознавая, в какой они опасности. Но всегда с высоты, откуда велась съемка, было видно, как быстро, как неотвратно надвигается волна. У крошечных фигурок не было ни единого шанса, и те, кто стоял рядом с камерой, кого не было видно на экране, явно это понимали. *«Скорей! Скорей! — надрывались их бестелесные голоса где-то за кадром. — Не останавливайся! Беги! О нет! Где бабушка? О нет! Смотри! Вон там! Ох, ужас какой! Скорее! Беги! Беги!»*

### 3

Две недели после землетрясения, цунами и катастрофы на ядерном реакторе в Фукусиме мировые новостные ленты были переполнены видео, фото и репортажами из Японии. На какое-то короткое время все мы стали экспертами по допустимым нормам радиации, микрозвертам, тектоническому движению плит и разломам. Но потом восстание в Ливии и торнадо в Джоплине заслонили землетрясение, и облако ключевых слов сместилось в сторону *революции, засухи и нестабильных воздушных масс* по мере того, как скудел поток информации, поступавший из Японии. Время от времени в «Нью-Йорк Таймс» появлялась статья о провальной работе

ТЕРСО по устранению последствий катастрофы или о неспособности правительства позаботиться о своих гражданах, но теперь новости редко добирались до первых полос. В деловых разделах проскакивали мрачные репортажи о том, во сколько обошлась Японии цепь катастроф — самая дорогая в истории — и пессимистичные прогнозы о будущем японской экономики.

Каков период полураспада у информации? Коррелирует ли скорость разложения данных с носителем? Пикселям необходимо электричество. Бумага подвержена воздействию огня и влаги. Буквы, высеченные в камне, более долговечны, но здесь возникают сложности с распространением. Инертность, однако, может оказаться преимуществом. На склонах холмов в городках, разбросанных по побережью Японии, здесь и там встречаются каменные вехи с высеченным на них древним предупреждением:

Не строить дома ниже этого места!

Некоторым камням более шестисот лет. Какие-то из них — совсем немногие — были сдвинуты с места цунами, но большинство осталось стоять на своих местах, вне досягаемости волны.

— Это голоса наших предков, — говорит мэр одного из городов, полностью разрушенных волной. — Они говорили с нами сквозь время, но мы не слушали.

Зависит ли период полураспада информации от нашего внимания к ней? Может, интернет — это что-то вроде **временного** водоворота, вроде Кругового течения, засасывающего сюжеты в свою орбиту? Что является памятью этого течения? Как можно измерить период полураспада дрейфа в течении?

Мы видим, как приливная волна рушится на берег, рассыпаясь на мельчайшие частички, каждая из которых содержит сюжет:

- мобильный телефон звонит из-под завала из мусора и тины;
- солдаты окружают кольцом найденный ими труп; они кланяются;
- медицинский работник в полном противорадиационном облачении проверяет детектором младенца без какой-либо защиты; младенец извивается на руках матери;

— совсем маленькие дети тихо стоят в очереди, дожидаясь, пока их протестируют.

Эти образы, ничтожная доля в океане информации, постепенно устаревают, кружась, сталкиваясь и круша друг друга с каждым оборотом течения, разлагаясь на острые как бритва осколки и разноцветную крошку. Как пластиковые конфетти, они неизбежно попадают в неподвижный центр мусорного пятна, на свалку времени и истории. Память течения — все то, что мы позабыли.

## 4

Судя по ощущениям, сознание Рут превратилось в мусорное пятно, неподвижную гомогенную взвесь единичных пикселей. Она откинулась на спинку стула, прочь от светящегося монитора, и закрыла глаза. Пиксели не исчезли; они продолжали плясать в темноте под опущенными веками. Она провела добрую часть дня, просматривая ролики на тему издевательств и домогательств на YouTube и других видеохостингах в Японии и Штатах, но клип, который она искала, *Трагическая и безвременная кончина переводной ученицы Нао Ясутани*, когда-то, по словам Нао, ставший вирусным, так нигде и не всплыл.

Она потерла руками лицо, разминая виски, вдавила пальцы в глазницы. У нее было чувство, будто она пытается вытянуть девочку из светящегося квадрата монитора исключительно силой воли, неотрывным взглядом в экран. Почему это вообще стало настолько важным? Но оно стало. Ей необходимо было знать, жива Нао или нет. Она искала тело.

Она встала, потянулась и побрела вниз. Дом был пуст. Оливер получил большую партию саженцев секвойи и теперь высаживал их на расчистке НеоЭоцена. Он ушел рано утром, насвистывая песенку гномов из «Белоснежки». Хай-хо, хай-хо. Счастливее всего он бывал, когда сажал маленькие деревья. Кот обосновался снаружи, на крыльце, в ожидании его прихода.

Было уже полпятого, время начинать думать об ужине. Проходя мимо столовой, она уловила рыбный с гнильцой запах мертвых морских желудей. Запах ощутимо усилился. Она прошла к телефону, подняла трубку и набрала номер Калли.

— Это морские уточки, — сказала Калли, изучая морские желуди на пакете для заморозки. — *Pollicipes polymerus*. Океанический вид, образует колонии, строго говоря, не местный, но их часто можно найти в полосе прибоя — приносит течениями издалека.

Она покосилась через стол на Рут, которая заваривала им чай.

— Это тот самый пакет, который ты нашла под домом Гудрун и Херста?

В разговоре по телефону Рут не упомянула, где именно она нашла пакет, но Калли, казалось, была ничуть не удивлена и сразу же вызвалась заехать. Будто ждала звонка, но это вполне было в духе Калли — она всегда была готова прийти на помощь. Калли была морским биологом и экоактивистом; она проводила программу по исследованию приливной полосы побережья и работала волонтером для одного агентства по защите морских млекопитающих. На жизнь она зарабатывала, нанимаясь в качестве натуралиста на гигантские круизные лайнеры, бороздившие тихие воды Внутреннего прохода по пути на Аляску и обратно.

— Это как чрево кита, — сказала Калли. — Те, кто едет в эти круизы, — это те, до кого мы пытаемся достучаться. Те, у кого есть возможности что-то изменить.

Она часто рассказывала одну историю, как она стояла на палубе очередного круизного судна, направлявшегося в Анкоридж, и показывала стадо горбатых китов стайке взволнованных пассажиров, которые теснились у борта, ожесточенно снимая происходящее. Один из них, человек пожилой, держался в стороне. Когда Калли предложила ему помочь найти место у поручней, где удобнее было бы смотреть, он пренебрежительно рассмеялся:

— Это всего лишь киты.

Потом в том же круизе она читала лекцию об отряде Cetacea. Она показывала видео и рассказывала о сложных сообществах и социальном поведении, о пузырьковых сетях, эхолокации и о спектре эмоций у китов. Проиграла записи их голосов, щелканья и «песен». К ее удивлению, тот пожилой пассажир был среди публики и внимательно слушал.

Потом как-то киты показались опять, на этот раз гораздо ближе, устроив очень зрелищную демонстрацию поверхностного поведения — они прыгали в воздух, хлопали по воде хвостами и лапами, плыли, высунув голову из воды. Тот старик вышел на палубу посмотреть.

Под конец круиза, уже ввиду порта Ванкувер, он нашел Калли и вручил ей конверт.

— Для ваших китов, — сказал он.

Она стала было благодарить, но он только потряс головой: «не надо».

Они причалили, и Калли совсем забыла о конверте. Добравшись до дома, она нашла его и открыла. Внутри был чек на полмиллиона долларов, адресованный ее агентству по защите морских млекопитающих. Она подумала, это шутка. Подумала, что неправильно сосчитала нули. Она переслала чек в офис, и там его отнесли в банк. Чек оказался действительным.

Вооружившись списком пассажиров, она вычислила адрес старика в Бетседе и приступила к нему с расспросами. Поначалу он отказывался отвечать, но потом все же объяснился. Оказалось, во время Второй мировой войны он служил пилотом бомбардировщика; база у них была на Алеутских островах. Каждый день они совершали вылеты в поисках японских целей. Часто, если никаких целей не находилось или погодные условия были плохими, им приходилось возвращаться на базу с невыполненным заданием; но садиться с полным боекомплектом было небезопасно, так что они сбрасывали бомбы прямо в море. Из кабины самолета можно было видеть китов, скользивших под поверхностью воды. С высоты эти киты казались такими маленькими. Они использовали их в качестве целей для тренировки.

— Это было забавно, — сказал старик Калли по телефону. — Что мы знали тогда?

— Они питаются с помощью фильтрации, — сказала Калли о морских желудях, — но не слишком хорошо могут двигать своими циррусами, так что для питания им необходим сильный ток воды. Поэтому они предпочитают селиться на побережье, менее защищенном, чем наше.

— А что такое циррусы? — спросила Рут, ставя на стол две кружки с чаем и наливая третью для Оливера: он только что вернулся с посадок. Сняв и повесив куртку, он присоединился к ним вместе с котом, который следовал за ним по пятам.

— Ваше здоровье, — сказала Калли, сделав глоток из кружки. — Циррусы — это их ноги и руки. Такие перистые усики, которыми они ловят планктон.

— Не вижу никаких перистых усиков, — заметила Рут. Морские желуди ей не нравились. Они были уродливые и противные.

— Они выпускают их только под водой, — ответил Оливер, обхватывая покрасневшими пальцами теплую кружку. — В любом случае, эти ребята уже мертвы.

Рут еще раз внимательно осмотрела желуди, которые, в общем и целом, выглядели так же, когда были еще живы. К поверхности пакета они крепились с помощью длинных эластичных отростков, покрытых наростами. Каждый отросток был увенчан пучком жестких белых пластин, похожих на ногти. Калли указала кончиком ручки на отростки. Песто вспрыгнул на кухонную стойку, чтобы понаблюдать.

— Это ножка, или стебелек, — сказала она, — а эта белая часть — головка.

Кот начал нюхать желуди, но Рут отпихнула его подальше.

— А лицо у него есть? — спросила она.

— Не то чтобы лицо, — ответила Калли. — Но у них есть дорсальная сторона, то есть верх, и вентральная — низ.

Она достала из кармана рыбацкого жилета маленькую пластмассовую коробочку и открыла ее. Внутри оказался целый набор инструментов сыщика: скальпель, пинцет, пара щипчиков, маленькая линейка. Выбрав самый большой морской желудь, с помощью скальпеля она осторожно отделила ножку от пакета. Извлеченный желудь она положила на стойку перед собой. Вынула линейку и тщательно измерила существо от кончика до макушки.

— Ты можешь определить его возраст? — спросил Оливер.

— Трудно сказать. Они достигают половой зрелости примерно в год, полностью взрослыми становятся в пять. Жить могут до двадцати лет и больше. Этот парень или девица — в общем, не важно, потому что они гермафродиты, — вполне взрослый. Они могут вырастать до двадцати сантиметров, или восьми дюймов в длину, но этот лишь

слегка больше трех дюймов, и можно предположить, что это довольно молодая колония или что условия были так себе, или и то и другое. Слушай, Оливер, а можно я проведу тест-драйв этого твоего скопа на айфоне?

Совсем недавно Оливер хакнул свой айфон, установив на чехле с помощью суперклея линзу от маленького 45-кратного микроскопа. Каким-то образом Калли прознала и об этом тоже. Она же только что вернулась на остров. Как она могла знать? Она протянула руку, Оливер защелкнул чехол на телефоне, открыл нужное приложение и отдал ей. Приложение активировало на айфоне подсветку, когда она направила микроскоп на головку желудя. На экранчике появилось увеличенное изображение.

— Это потрясающе! — сказала она. — Видите эти роскошные известковые чешуйки?

Рут заглянула ей через плечо, чтобы увидеть экран. Чешуйки были похожи на ногти на ногах какой-то древней рептилии.

— Только что отросшие чешуйки блестящие и отливают перламутром, но под воздействием волн они постепенно приобретают тусклый и потрепанный вид.

— Как мы, — сказала Рут.

— Точно, — ответила Калли. — Так что вот нам еще одна подсказка насчет возраста. В общем и целом, я могу сказать, что колонию носило по морю по крайней мере года два, может, скорее, даже больше, три или четыре года.

— Три года — это значит до цунами, — сказал Оливер.

— Что ж, как я уже говорила, точнее сказать трудновато. Но мне кажется маловероятным, чтобы вещи после цунами уже начало прибывать к нашему берегу. Мы тут довольно глубоко засели.

Она выключила подсветку на микроскопе и с восхищением принялась разглядывать линзу.

— Как ты ее прикрепил?

Пока Оливер объяснял смысл хака, Рут подцепила двумя пальцами морской желудь, чтобы разглядеть его еще раз. Нельзя сказать, чтобы новые сведения подкрепляли ее теорию о цунами. Может, Мюриел все-таки права. Может, пакет был джетсемом, сброшенным с борта корабля, хотя ей трудно было представить себе Нао, совершающую круиз на Аляску. Может, она бросила пакет в море,

как бутылку с посланием, еще до цунами, а может, пакет лежал у нее в кармане вместе с камнями, когда она вошла в океан, чтобы утонуть. Все это были возможные объяснения, но ни одно не казалось верным. Морские желуди не нравились Рут с самого начала, и то, что они не предоставили нужного ей доказательства, только укрепило ее неприязнь.

— И почему это они называются морскими уточками? — спросила она. — Не вижу ни малейшего сходства.

Калли уже вернула Оливеру айфон и теперь собирала свои инструменты.

— На самом деле, сходство есть. Есть такая птица из семейства утиных, белощекая казарка, у нее длинная черная шея и белая голова. Твоих маленьких друзей прозвали так из-за нее. Люди постоянно находили их в плавнике, на ветках, выброшенных на берег, и думали, что это ветки такого морского дуба. Белые головки принимали за яйца, которые казарка якобы откладывала на деревьях. Вполне логичная цепочка выводов.

— Выводы — это отстой, — сказала Рут. Она положила желудь обратно на кухонную стойку, и Песто, дождавшийся своего момента, быстро схватил его и был таков. Но ровно посреди кухни он его выплюнул, понюхал еще раз и отворотил нос. Он никогда бы не снизошел, чтобы есть то, что уже сдохло.

— В Испании они считаются деликатесом, — сказала Калли. — Ножки особенно нежны. Варишь их пару минут, снимаешь шкурку, кладешь ножку в рот и... чпок!

Она продемонстрировала процесс с помощью пантомимы, изобразив звук губами.

— Мясо выскальзывает из раковины прямо в рот. Плюс немного сливочного масла с чесночком и лимоном... Ням!

Было уже почти шесть, и на улице стало довольно темно. Рут взяла налобный фонарик, и они вышли проводить Калли до ее грузовичка. Задрав голову, она увидела, что тучи разошлись и полная луна заливает светом ночное небо. Вверху щупальца тумана переплетались в лунном свете с макушками деревьев, но внизу ветви кедров, отяжелевшие от шедшего весь день дождя, хранили темноту. Луч ее фонарика выхватил какую-то тень на ветке.

— Эй, это не ваша ли джунглевая ворона? — спросила Калли.

Сфокусировав луч, Рут смогла разглядеть блеск черных перьев и огоньки черных глаз.

— Мюриел, — произнесла она, как бы в ответ на вопрос Калли.

Калли рассмеялась.

— Ну конечно! — сказала она. — Но об этом говорят все. Наши местные шовинисты уже окрысились.

— Почему?

— А ты как думаешь? — сказала Калли. — Вторжение экзотических видов. Интродуценты. Лесные слизи, ракитник венечный, гималайская ежевика, а теперь и джунглевые вороны?

Она обернулась к Оливеру:

— Кстати, как там Война за Ковенант?

Оливер соорудил гримасу. Площадка НеоЭоцена, где он высаживал свой адаптированный к перемене климата лес, была полностью вычищена лесодобывающей компанией, и к площадке был применен ковенант, согласно которому любое лесовосстановление должно быть ограничено местными видами, характерными для данной климатогеографической зоны. Его деревья были признаны экзотическими и, таким образом, нарушали ковенант. Ни Оливер, ни его друг-ботаник, которому принадлежала земля, об этом не знали.

— Так себе, — ответил он. — Они хотят, чтобы я прекратил высадки, но у меня есть аргументы — при нынешней скорости климатических перемен нам необходимо радикально пересмотреть термин «местные», распространив его значение на виды, характерные для этих мест в древние, даже доисторические времена.

Вид у него стал подавленный.

— Семантика, — сказал он. — Так глупо.

Ворона издала хриплое карканье, будто в знак согласия, и Калли рассмеялась.

— Видишь? — сказала она. — Акклиматизируется. Не удивляйся, если наши островные ксенофобы явятся к тебе с вилами, сетями и керосиновыми факелами.

Рут взглянула вверх, на дерево, где в темноте смутно виднелись очертания вороны.

— Ты это слышал? — сказала она. — Тебе бы надо быть поосторожнее.

Ворона захлопала крыльями и перепрыгнула дальше по ветке, стряхнув небольшой водопад прямо на голову Калли.

— Эй, — сказала она, вытирая капли с лица. — Прекрати это. Я на твоей стороне.

Она обернулась к Рут:

— Они очень умные. Ты знаешь...

Рут подняла руку:

— Я знаю, — сказала она, но Калли было не остановить.

— ...что в мифологии слияммонов они — магические предки, способные менять облик и превращаться в человека?

— Да что ты говоришь, — ответила Рут.

Калли ухмыльнулась.

— Ты попроси как-нибудь Мюриел — пусть она тебе расскажет...

## 6

Вечером в кровати Рут читала вслух очередную порцию из дневника. Песто возлежал у Оливера на животе, а Оливер, уставившись в потолок, почесывал ему лоб. Она читала ту часть, где рассказывается о похоронах Нао и о видео, которое распространилось в интернете.

Ушли, ушли вовне,  
совершенно ушли...

Рассказ про издевательства его рассердил.

— Ненавижу это, — сказал он. — Как школа могла допустить такое? Как учитель мог участвовать в этом?

У Рут ответа не было. Песто прекратил мурлыкать и подозрительно посмотрел на Оливера.

— С другой стороны, все логично, — мрачно продолжил Оливер. — Мы живем в культуре, для которой издевательства — это норма. Политики, корпорации, банки, военные. Агрессоры и мошенники. Они крадут, они пытаются людей, они придумывают безумные правила и задают тон всем остальным.

Она просунула руку между подушкой и его головой и стала поглаживать ему затылок. Кот протянул лапу и положил ему на подбородок.

— Посмотри на Гуантанамо, — сказал он. — Посмотри на Абу Грейб. Америка — зло, но и Канада не лучше. Люди тупо следуют программе, слишком напуганы, чтобы возмущаться. Посмотри на битуминозные пески. Прямо как ТЕРСО. Fuck, ненавижу это.

Он повернулся на своей стороне кровати, стряхнув кота на матрас. Кот спрыгнул с кровати и удалился.

Когда Оливер уснул, Рут поднялась и подошла к окну. Где-то там, снаружи, в лесу, сидела ворона. Их сумеречная птица. Ее не было видно, но Рут нравилась мысль о вороне, спрятавшейся где-то в тенях. Она задумалась, удалось ли вороне подружиться с вóронами. Потом забралась обратно в кровать и забылась сном.

Той ночью ей приснился второй сон про монахиню. Это был тот же храм. Все та же погруженная во тьму комната с порванной бумажной ширмой, та же старая монахиня в длинном черном одеянии сидит за столиком на полу. Снаружи свет все той же луны мягким мерцанием обволакивает сад, вот только теперь в отдалении, за садовой оградой, Рут могла различить смутные формы кладбища, иззубренные очертания ступ и могильных камней, застывшие на фоне бледного ночного неба.

Внутри комнаты в жестком, холодном свете монитора лицо старой монахини казалось болезненным и изможденным. Она подняла взгляд от экрана. На ней были черные очки, похожие на те, что носила Рут. Она сняла их и протерла усталые глаза, а потом заметила Рут. Она поманила ее к себе, призывая приблизиться; широкий рукав развернулся черным крылом, и Рут оказалась рядом с ней. Монахиня протянула ей очки, и Рут, осознав, что оставила свои на столике у кровати, взяла их. Она знала, ей обязательно нужно их надеть. Она моргнула. Линзы были такими толстыми и мутными. Глазам понадобится пара секунд, чтобы привыкнуть.

Нет, так дело не пойдет. Линзы очков были слишком толстыми, слишком сильными, они размывали, развоплощали тот мир, который она знала. Она начала паниковать. Попыталась стянуть с лица очки, но они будто приросли, и, пока она сражалась с дужками, искаженный

мир начал затягивать ее, кружась и завывая, как ветер, отбрасывая ее назад в место или состояние, где не было форм, для которого она не могла найти слов. Как это описать? Не место, нет, чувство, ощущение небытия, внезапное, темное, до-человеческое, оно переполнило ее таким первобытным ужасом, что, вскрикнув, она подняла руки к лицу только для того, чтобы обнаружить, что лица у нее нет. Нет ничего. Ни лица, ни рук, ни глаз, ни очков, ни Рут, совсем. Ничего, кроме бесконечности, где нет места жалости и покаянию.

Она закричала, но не раздалось ни звука. Она потянулась через бескрайность в направлении, которое ощущалось как вперед или даже насквозь, но без лица у нее не было никакого вперед или, скажем, назад. Ни верха, ни низа. Ни прошлого, ни будущего. Было только это — ощущение бесконечного слияния и растворения в чем-то, не имеющем названия, простирающимся повсюду во всех направлениях, все дальше и дальше.

И тут она почувствовала нечто, легчайшее прикосновение, и услышала нечто, точно смешок или щелчок, и в один миг ее бесконечный ужас исчез, а вместо него пришло ощущение полного спокойствия и благополучия. Не то чтобы у нее было тело, которое могло это почувствовать, или глаза, чтобы увидеть, или уши, чтобы услышать, но каким-то образом она испытывала все эти ощущения. Это было, будто само время баюкало ее на груди, и в этом блаженном состоянии она провела еще вечность-другую. Когда она открыла глаза навстречу тусклому зимнему солнцу, просочившемуся через заросли бамбука за окном, то почувствовала себя странно спокойной и отдохнувшей.

Тебе когда-нибудь приходилось слышать о сонном ступоре<sup>[71]</sup>? Об этом в Японии знает каждый, но никто и слыхом не слыхивал в Саннивэйле. Я знаю, я Кайлу спрашивала. Так что, может, у американцев этого не бывает. У меня тоже не было, пока мы не переехали в Токио.

Сонный ступор происходит так: ты просыпаешься среди ночи и не можешь двинуться, будто на груди у тебя уселось какое-то невероятно толстое привидение. Становится очень страшно. После Инцидента со скоростным экспрессом до Чуо я просыпалась, думая, это папа сидит у меня на груди, а это значило, что он стал призраком и, следовательно, мертв, но потом я улавливала его храп у стены напротив и понимала, что это был тот самый ступор. Ты открываешь глаза и пялишься в темноту. Иногда ты слышишь голоса, будто злобные демоны говорят, но сказать ничего не можешь, ни малейшего звука не издать. Иногда ты вот так вот лежишь, и кажется, будто твое тело куда-то уносит.

До похорон сонный ступор у меня случался часто, но после — ни разу, наверное, потому, что я сама стала призраком. Я ела, я спала, я даже писала иногда мейлы Кайле, но внутри, я знала, я была мертва, даже если мои родители ничего не замечали.

Но Кайла-то догадалась. Мы к тому времени практически прекратили попытки чатиться в реальном времени из-за разницы во времени. Токио на шестнадцать часов впереди, а это значит, что когда в Саннивэйле день, здесь — глубокая ночь, и поскольку жила в я квартире размером с гардеробную Кайлы, не то чтобы я могла вскочить посреди ночи, включить компьютер и начать трепаться, так что по большей части мы с Кайлой просто переписывались, а это ужасно медленно. Ненавижу мейлы. Такие тормоза. По мейлу никогда не бывает «сейчас». Это вечно «тогда», поэтому так легко облениться и допустить, чтобы твой ящик был завален непросмотренными письмами. Не то чтобы мне это теперь угрожало, но раньше бывало. Когда мы только уехали из Саннивэйла, все писали мне как

сумасшедшие и задавали кучу вопросов про Японию, но папе потребовалось пару недель, чтобы наладить интернет, а к тому времени все мои друзья переключились на летние каникулы, ну а потом началась школа, и все вроде как меня задвинули.

Сколько-то времени я пыталась вести блог. Руководитель нашего восьмого класса в Саннивэйле, мистер Эймс, сказал мне начать блог, чтобы я могла писать о своих впечатлениях и наблюдениях и всяких интересных штуках, которые будут происходить со мной в Японии. Папа помог мне все наладить еще до переезда, я озаглавила блог *The Future Is Nao!* — думала, что мое будущее в Японии станет одним большим приключением в американском духе. Тупее некуда.

На самом деле, не так уж и тупо. Тогда я надеялась — сейчас это кажется вроде как храбростью перед лицом отчаяния. Грустно. Не моя была вина, что я не понимала, что происходит. Нельзя сказать, что родители полностью раскрыли мне причины, по которым мы уезжали из Калифорнии. Они пытались сохранить лицо и притворялись, будто все в порядке, и на деле я не знала, что мы разорены и без работы, пока мы не приехали сюда. Когда я заценила все убожество нашей квартиры в Токио, до меня начало доходить, и я поняла, что никаких больших приключений мне не светит и что я не могу запостить в блог практически ничего, что не выставило бы меня полным лузером. Мои родители были жалкими неудачниками, моя школьная жизнь была кошмаром, мое будущее было отстоем. О чем я могла писать?

«Нам с мамой нравится принимать вместе горячую ванну в общественных банях».

«Сегодня в школе было ужасно прикольно — играли в какурембо с новыми друзьями. Какурембо — это прятки, и я водила!»

«Мой папа нашел новую работу — путевой инспектор на линии скоростного экспресса до Чуо».

Некоторое время я держалась, сочиняла такие вот бодренькие чирикающие посты для *The Future Is Nao!*, но чувствовала себя при этом, как полная лажа. А потом, в один прекрасный день, месяца через два после того, как мы вернулись, я решила проверить статистику и обнаружила, что за все это время, с тех пор, как я начала вести блог, страничку посетило всего двенадцать человек, оставаясь в среднем по минуте, и уже несколько недель я не получала ни единого клика, и

тогда я прекратила писать. Нет ничего печальнее киберспейса, когда ты висишь там совершенно один, разговаривая сам с собой.

Короче, Кайле не потребовалось много времени, чтобы сообразить, что я — жалкий лузер и дружить со мной больше ни разу не круто. Честное слово, даже в интернете люди могут издавать особый виртуальный запах, и другие способны его унюхать, хотя я совершенно не понимаю, как это возможно. Это ж не настоящий запах, с молекулами, феромонными рецепторами и всем прочим, но действует точно так же, как испуганная вонь у тебя из подмышек, или запах, который вечно выдает твою бедность, неуверенность или отсутствие у тебя всяких модных штучек. Может, пиксели начинают вести себя как-то по-другому, короче, у меня точно это началось, и Кайла сразу унюхала все с другой стороны океана.

Кайла — моя полная противоположность. Она суперуверена в себе, и денег у нее куча, и она ничего не боится. Хотя мы не переписываемся уже какое-то время, и я даже не знаю, в какую она пошла старшую школу, я на 100 процентов уверена, что она там самая популярная девушка, потому что она будет самой популярной девушкой всегда и везде. Возможность быть номером два для Кайлы не существует, даже в качестве варианта. И так было уже во втором классе, когда она выбрала меня и разрешила сесть рядом во время ланча. Сейчас я вообще не понимаю, как она стала моей подругой — это чудо какое-то.

Все пошло наперекосяк после того, как я отправила ей фото себя в новой школьной форме, а она ответила мне смской в суперироничном стиле, что-то вроде: «Ну ваще форма заибись! Прямо из манги! Прибли мне такую ж плз, буду на хеллоин яп бкольницей!»

Для нее моя новая жизнь была всего лишь косплеем<sup>[72]</sup>, но для меня это была самая настоящая реальность. У нас больше не было ничего общего. Мы не могли обсуждать моду, или ребят в школе, или кто лузер, а кто — нет, или учителей, которые нам нравились или которых мы ненавидели. Встречи в чате и мейлы никуда не вели, а потом она стала тянуть с ответами все дольше и дольше и, в конце концов, вроде как вообще исчезла. Когда я пыталась выйти на нее онлайн, ее никогда не было, даже когда я точно знала, что она сидит в интернете, и тогда я поняла, что она заблокировала меня в списке друзей.

Я еще писала ей время от времени мейлы, но она практически никогда не отвечала. После моих похорон я попыталась честно рассказать ей о своих чувствах, насколько сильно я ненавидела школу и жизнь в Японии, насколько я скучала по Саннивэйлу, но я так и не смогла написать ей об идзимэ или о папе и вообще обо всей нашей ситуации, так что, если уж совсем честно, ей вряд ли все было полностью понятно. Не могу ее за это винить. Когда она наконец ответила, это был такой коротенький бодренький мейл, который совершенно ясно давал понять, что я не особенно ей интересна, если собираюсь ныть и дальше.

После этого я переслала ей ссылку «Трагическая и безвременная кончина переводной ученицы Нао Ясутани» на мои похороны. По большей части мне хотелось ее шокировать, но, кроме того, я немного гордилась количеством просмотров. Я все ждала и ждала, когда же появится ответ, но она так и не написала. Может, так оно и происходит, когда умираешь. Твой почтовый ящик всегда пуст. Сначала ты думаешь, никто не отвечает, и проверяешь папку ОТПРАВЛЕННЫЕ, чтобы убедиться, что твои письма ушли, а потом проверяешь провайдера, убеждаешься, что твой аккаунт в порядке, и в итоге приходишь к заключению, что ты мертв.

Теперь ты понимаешь, почему я чувствовала себя призраком. Японского призрака не проигнорируешь. Это тебе не американские привидения, которые расхаживают, одетые в простыню. В Японии они носят белые кимоно, и у них длинные черные волосы, падающие на лицо, а еще у них нет ног. Обычно это женщины, справедливо обиженные на мир, потому что кто-то сделал с ними что-то ужасное. Иногда, если с какой-нибудь женщиной обращаются совсем уж плохо, она может даже стать икисудама<sup>[73]</sup>, и, когда она спит, ее душа оставляет тело и странствует по ночному городу, совершая татары<sup>[74]</sup> и обрушивая месть на всех своих дерьмокласников, которые пытали ее, сидя у них на груди. Это была моя цель на летние каникулы. Стать живым призраком.

Не такое уж это безумие, как можно подумать. Призрачная одержимость — это у нас семейное, хотя тогда я только начала это понимать. Папа начал вести себя еще более странно. Он сидел дома, пока было светло, но ночью, стоило нам с мамой заснуть, он уходил из дома пешком. Почему он потихоньку прокрадывался из дома ночью?

Он тоже кого-то преследовал, как призрак? Превращался в вампира или вервольфа? Завел любовницу?

Я тогда лежала, бывало, в кровати, в ступоре, не в силах двинуться, и представляла себе, как он шаркает в ночи в своих драных пластиковых шлепанцах по кривым переулкам шитамачи<sup>[75]</sup>, через районы Аракава и Сэндзю, сквозь старые кварталы Асакуса и Сумида, где живет рабочий класс и которые совершенно пусты в это время ночи, потому что все спят. Через пару часов он добирался до маленького парка на берегу реки Сумида; там поставили низенькую бетонную стенку, чтобы дети в воду не падали, и я могла представить себе, как он, склоняясь, опирается на стенку и смотрит, как мимо проплывает мусор. Иногда я даже слышала, как он беседует с одичалыми кошками, таившимися в тених и мусорных кучах. Иногда он сидел на качелях, курил последнюю Short Nopes и размышлял о том, как можно заставить потонуть еще живое тело. Когда сигареты кончались, он шел обратно и потихоньку прокрадывался в квартиру. Я всегда слышала, как лязгает засов на входной двери, потому что ждала этого. Звук засова разрушал чары. Я не могла двинуться, пока его не услышу.

## 2

Как-то ночью, недели через две после моих похорон, у меня был тот безумный космический сон про одну мою одноклассницу, сукэбан по имени Рэйко. Кажется, я тебе про нее уже рассказывала. Она была суперумной и популярной, такая японская Кайла. Она никогда не издевалась надо мной напрямую, то есть никогда не била меня, не толкала и не тыкала ножницами. Ей и не нужно было, потому что все остальные в очередь выстраивались, чтобы сделать это за нее. Все, что ей было нужно, — посмотреть на меня с таким выражением, будто она увидела какую-то полудохлую мерзость, и ее подруги тут же бросались выполнять свою работу. По большей части она даже не трудилась смотреть, но иногда я ловила на себе ее взгляд, когда она так неторопливо отворачивалась, и глаз ее был самой жестокой и самой пустой вещью на свете.

Это-то и было в моем сне, ее жестокий глаз, только он был гигантский, огромный, как небо. Не знаю, как объяснить. Была ночь, и

я была на школьном дворе, в ступоре, лежа на спине в каком-то ящике, но, может, это был гроб. Одноклассники смотрели на меня сверху вниз, и глаза у них поблескивали, как у зверей в темном лесу. Потом они начали мигать и исчезать один за другим, пока не остался только глаз Рэйко, буравя меня взглядом, испуская что-то вроде лазерного луча, только это было что-то противоположное свету, что-то черное, холодное и пустое. Он рос, становился все больше и больше, давя сверху вниз, обволакивая меня, и весь мир, и все в этом мире, и единственное, как я могла спасти мир, это воткнуть мой маленький кухонный ножик прямо в зрачок, и я сделала это. Я закрыла глаза и пырнула ножом в эту темную дыру, еще и еще, пока не почувствовала, как что-то прорвалось. Густая жидкость, холодная, как жидкий азот, начала сочиться из разрыва в мембране. Я знала, мне надо подняться, но не могла двинуться, а потом мембрану прорвало, и ледяная жижа хлынула потоком, и было уже не успеть, но я знала: пусть я умру от холода, но мир будет спасен от ужасного глаза Рэйко — благодаря мне.

Лязг дверного засова разбудил меня. Это был папа, он вернулся с обычной ночной прогулки, и я осознала — это был сон. Стоял июль, было очень жарко и влажно даже ночью, но меня била такая дрожь, что зубы клацали. Я крепко обхватила себя руками и притворялась, что сплю, пока папа не вошел в комнату и не забрался в футон. Я подождала, прислушиваясь, пока не услышала, как он спит. Мама спала тихо, но папа всегда издавал губами тихие «пу-пу-пу», выпуская и выпуская воздух. Когда стало ясно, что он заснул, я поднялась и постояла немного рядом с ним, наблюдая. Лампочка на мониторе в углу давала достаточно света, и я могла различить маленькую дырочку у него между губами, и мне стало интересно, что случится, если я зажму дырочку пальцем, но я не стала этого делать. Вместо этого я на цыпочках прокралась в гостиную.

Его куртка висела на крючке в прихожей, и я накинула ее на плечи. Эта куртка досталась ему от его компании в Саннивэйле, крутая высококачественная куртка из Gore-Tex, вроде тех, что дают актерам на съемках, с логотипом IT-компании на спине, и он, бывало, носил ее поверх толстовки с капюшоном в те дни, когда он сам был еще крутым и высококачественным, до полиэстровых костюмов. Гладкая шелковистая подкладка до сих пор хранила тепло его тела, но от

прикосновения к голой коже я только задрожала сильнее. Я закуталась в куртку и сидела так, пока не согрелась.

Я подошла к двери, которая вела на наш крошечный балкончик, и прижалась лбом к стеклу. Никакого прекрасного вида с балкона не открывалось. Район, в котором мы жили, совсем не похож на тот Токио, который существует в голове у большинства людей, весь такой блестящий и современный, как Синдзюку или Сибуя, с небоскребами из стекла и бетона. Этот район был больше похож на трущобы, старый и перенаселенный, с низенькими уродливыми многоквартирными домами — цементные стены все в пятнах от дождя, — стеснившимися вокруг кривого переулка. Все, что видно было с балкона, — это стены и старый шифер пестрых крыш, и все это сходится под странными углами. Будто лоскутное одеяло, собранное из разномастных поверхностей и плоскостей, сшитое на скорую руку телефонными кабелями и проводами, которые свисали повсюду неряшливыми петлями.

Днем были видны кусочки неба, но ночью все тонуло в темноте, кроме пятен света под уличными фонарями, фар такси, нарезающих стены полосками, и лучей велосипедных фонариков, пляшущих на заборах. И было так тихо. Слышно было, как крысы скребутся в мусоре, как пронзительно хихикают хостесс, которые возвращались, шатаясь, из баров с кавалерами под ручку. И я помню, той ночью было особенно темно и тихо, словно весь город проникся ужасом моего сна и лежал в ступоре, оцепенелый. Ничего не двигалось, даже кошачьи тени.

Сон был таким реальным. Может, на следующий день я узнаю, что Рэйко повесилась или была ночью убита. Будет ли это моя вина? Тогда-то мне в голову и пришло, что, видимо, я стала икисудама, а если нет, то смогу стать. Нужно будет потренироваться, но летние каникулы только начались, а куда еще мне было девать свободное время? Чем больше я думала над этой идеей, тем больше она мне нравилась, и весь следующий день, и в дни после этого тоже я ждала новостей о Рэйко. Я как-то даже подстерегла Дайсукэ узнать, не видел ли он ее. Дайсукэ и Рэйко ходили в одну подготовительную школу во время летних каникул. Большинство моих одноклассников ходили на курсы, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в старшую школу, которые сдают во втором полугодии девятого класса. Если ты

японский ребенок, эти экзамены, можно сказать, определяют все твоё будущее, всю оставшуюся жизнь, и даже посмертное существование. То есть, понимаешь:

от того, куда ты пойдёшь в старшую школу, зависит, в какой ты пойдёшь университет,

от чего зависит, на какую компанию ты будёшь работать,

от чего зависит, сколько ты будёшь зарабатывать,

от чего зависит, на ком ты женишься,

от чего зависит, какие у тебя будут дети и как ты их будёшь растить,

и где ты будёшь жить, и где ты умрёшь,

и будет ли у твоих детей достаточно денег, чтобы устроить тебе классные похороны с высококачественными буддийскими священниками, которые достойно проведут нужные ритуалы, чтобы ты точно попал в Чистую Землю, а если нет, то ты станёшь голодным призраком, ищущим мести, обречённым преследовать живых из-за всех своих неудовлетворённых желаний,

а все из-за того, что ты завалил вступительные экзамены и не попал в хорошую старшую школу.

Теперь ты понимаешь, почему, если тебе небезразлична собственная жизнь, подготовительная школа — это довольно важно. В большинстве своём мои одноклассники и их родители относились к делу предельно серьёзно, но мои родители не могли позволить себе дополнительные расходы, а мне тоже было плевать. То есть я уже была призраком, ищущим мести и преследующим живых, так что в целом не имело значения, мертвая я или живая, и потом, я выросла в Саннивэйле и к подобным вещам отношусь несколько по-другому. В глубине души я — американка и поэтому верю в свободу воли и что самостоятельно могу определять собственную судьбу.

Но вернёмся к Дайсукэ — я подстерегла его у торговых автоматов, потрясла немного, а потом спросила про Рэйко, не случилось ли с ней чего и не пропускала ли она занятия, и он сказал мне, что с ней всё о'кей и что появляется она в школе каждый день.

Тогда я допросила его с пристрастием. Может, она простуду схватила по жаре, предположила я, ущипнув его за руку, или аллергия у неё проявилась? Из носа течёт? Глаза слезятся?

Да, ответил он, теперь, когда ты сказала об этом, вспомнил — она пришла в класс с повязкой на глазу пару дней назад.

Сердце у меня практически остановилось, и я отпустила его. Когда? — потребовала я, он начал считать дни на пальцах.

Понедельник, сказал он. Повязка на глазу у нее была в понедельник. У меня перехватило дыхание. Сон я видела ночью в воскресенье.

Я прижала его к автомату с напитками и вытрясла из него всю историю целиком. Он сказал, сначала все думали, что у нее ячмень, гадость какая, и один мальчик даже посмел назвать ее байкин. Но Рэйко только очаровательно рассмеялась и сказала ему, что это косплей, и она — это Дзюбэй-чан — девушка-самурай из «Секрета милой повязки». И правда, сказал мне Дайсукэ, ее повязка была розовой и в форме сердечка, точь-в-точь как милая повязка Дзюбэй-чан, поэтому, когда Рэйко набросилась на мальчика, который назвал ее бактерией, и избила его в кровь, все сразу поняли, что повязка придала ей потрясающие волшебные бойцовские качества Девушки-самурая. Раньше никто никогда не видел, чтобы она дралась, так что это и вправду было что-то сверхъестественное.

Он рассказал мне все это в переулке торопливым шепотом.

— И вы поверили ей? — сказала я. — Какая глупость!

Он пожал тощими плечами. Формы он не носил, и его кости выпирали под футболкой, делая его еще больше похожим на насекомое. Он был неимоверно жалок.

— Она похожа на Дзюбэй-чан, — промямлил он. — У нее фигура красивая.

Действительно, формы у Рэйко были довольно развитые для ее возраста, и это меня разозлило, плюс тот факт, что это сказал Дайсукэ, показался мне отвратительным. Это значило, что даже подобное насекомое способно замечать такие вещи, как ноги и грудь, и потому я сшибла его с ног и ущипнула сильнее, чем нужно, в качестве доказательства, что тебе не нужна Милая Повязка, чтобы заставить кого-то плакать. Но когда с этим было покончено и я шла обратно в квартиру, я мысленно вернулась к тому, что сказал Дайсукэ, и внезапно на меня нахлынуло осознание того, что я сделала. Я имею в виду, что, как ты думаешь, было под той повязкой? По крайней мере, ячмень, но, может, и что-то похуже, а это значило, что я добилась своей цели. Пока

я спала и видела сон, мой дух и в самом деле покинул тело, чтобы совершить возмездие над врагом. Я была живым призраком, и, осознав это, я ощутила прилив восхитительного чувства силы.

### 3

Спустя неделю после того, как я стала живым призраком, в нашей квартире объявилась старушка Дзико. Я сидела в гостиной, читала мангу, а папа был на балконе, сидел на перевернутом ведре рядом со стиральной машиной и курил сигареты, когда зазвонил звонок. Мы, как правило, звонки в дверь игнорировали, потому что обычно это приходили насчет счетов или кто-нибудь из соседской ассоциации, но тут позвонили второй раз, а потом третий. Я посмотрела на папу на балконе, чтобы понять, какой реакции он от меня ждет. Он стоял там с паникой в глазах, голова наполовину скрыта мокрым бельем, носки и трусы свисают возле ушей, как парик.

С тех пор как его арестовали за падение на железнодорожные пути, паранойя одолевала его все сильнее, что довольно типично для хикикомори. Как я уже говорила, если не считать полночные прогулки, единственным местом, куда он еще ходил, были общественные бани, и то, только после того, как стемнеет, и только когда он начинал уже плохо пахнуть и мама угрожала, что отправит его спать на балкон, если он не сходит. Он, наверное, предпочел бы как раз этот вариант.

Ему нравилось на балконе потому, что он мог там курить, а еще это был его единственный шанс глотнуть свежего воздуха при свете дня. Он сидел там на перевернутом ведре и читал старую мангу, которую я отрыла в макулатуре, а когда докуривал, возвращался в комнату и читал «Великих умов философии Запада» и складывал своих бумажных насекомых. Он теперь почти никогда не работал за компьютером и не сидел в интернете, что было крайне странно, потому что именно этим он занимался практически все время в Саннивэйле. Теперь он вообще почти не выходил онлайн, разве что послать мейл кому-нибудь из старых друзей в Саннивэйле. Я уж начала думать, он тоже стал икисудама, или, может, был одержим монстром, суйко, там, или гигантским каппа<sup>[76]</sup>, который вышел из темных вод реки Сумида, высосал у него всю кровь и вернул на берег опустошенное тело. Вот на что это было похоже.

Короче, когда звонок прозвонил в четвертый или пятый раз, я встала, чтобы открыть. Я думала, может, это жена хозяина, или газ пришли проверять, или перепись населения, или пара мормонов на задании, с сияющими лицами. И почему это мормоны на задании всегда выглядят как идентичные близнецы, даже если они разного роста или расы? Вот об этом я думала, когда открывала дверь, и поэтому особо не удивилась, увидев двух чуваков, одетых в одинаковые серые пижамы и соломенные шляпы. Это были не мормоны, но все равно выглядели они как клоны, и лица у них были такие сияющие, что я прикинула, они еще из какой-то религии, где ходят парами. И почему у верующих всегда такие сияющие, прямо блестящие лица? Ну, может, не у всех, только у таких вдохновенных, у них будто свет Божий прямо из пор струится.

Судя по прямо-таки сверкающим лицам, у этих двух чуваков боговдохновенность была на высоте, хотя росту они были необычайно низкого. Один из них был старым, другой — молодым, но видно было, что под шляпами оба лысые. Пижамы у них были похожи на те, что носили монахи в храме по пути в школу, так что я решила, они — буддисты, которые пришли просить денег, а в этом случае они точно ошиблись квартирой.

Они глубоко поклонились. Я слегка так кивнула в ответ. Я не слишком вежливый человек по японским стандартам.

— О-дзяма итасимасу. Тадайма отосан ва ирассяймасука? — спросил молодой, это значит что-то вроде: «Пожалуйста, простите за вторжение. Возможно ли, что ваш почтенный отец в данный момент присутствует дома?»

— Йо, пап! — завопила я на английском, обернувшись назад, в комнату. — Тут пришли два лысых пигмея в пижамах, хотят тебя видеть.

У меня тогда был пунтик, я отказывалась говорить с мамой и папой по-японски. Я частенько делала это дома, а иногда — когда мы ходили в магазин или в сэнто. Люди в Японии не слишком сильны в разговорном английском, так что можно спокойно отпускать стебные замечания, а они, как правило, ни ухом, ни рылом. Маму, бывало, сводило с ума, когда я так делала. Не то чтобы я была совсем гадкой, только немножко, и папа, как правило, находил это забавным. Мне нравилось его смешить.

Короче, в этот раз молодой монах начал хихикать, и я такая, вот блин, спалилась, повернулась обратно посмотреть на них еще раз, и как раз в тот момент, как до меня начало доходить, что монахи эти — на самом деле женщины, тот старый прошмыгнул мимо, снял дзори<sup>[77]</sup> и шляпу, пересек комнату и, не успела я оглянуться, был уже на балконе рядом с папой, который к тому времени довольно сильно перегнулся через перила и смотрел на дорожку внизу, будто собираясь прыгнуть, и старый монах — то есть старушка-монахиня вскарабкалась на ведро и тоже перегнулась через перила рядом с ним, как маленький ребенок, который собирается перекувырнуться через перекладину на «паутинке». Она и ростом была как ребенок, и, может, поэтому папа отреагировал именно так, выбросив вперед руку, чтобы ее перехватить. Это был инстинктивный родительский рефлекс, тем же движением, должно быть, папа сто раз не давал мне сломать себе шею или врезаться во что-нибудь до смерти, только я никогда раньше не видела его в действии, вот так, со стороны, и меня потрясли точность и быстрота этого движения. Жаль, у него не было такой вот руки, которой он мог бы спасти себя самого.

Старушка-монахиня что-то сказала. Не знаю, что это было, но папа повернулся и уставился на нее, а потом отступил от перил и спрятал лицо в ладонях. Не знаю, много ли плачет твой папа, но, по моему мнению, это довольно напряженный объект для наблюдения. Один раз я уже имела этот опыт после Инцидента со скоростным экспрессом до Чуо, и мне не хотелось бы переживать его снова, особенно в присутствии незнакомцев. Но старая леди, похоже, ничего не замечала или, может, просто проявляла деликатность. Она продолжала разглядывать улицу внизу, а когда нагляделась, то повернулась, одернула пижаму и начала поглаживать папу по голове с таким слегка рассеянным видом, какой бывает, когда утешаешь ребенка, который упал и ушибся не слишком сильно. Продолжая его поглаживать, она медленно и внимательно разглядывала все вокруг своими затуманенными глазами; она обвела взглядом все поверхности в квартире, переполненную пепельницу, груды одежды, компьютерных деталей, манги, посуду в раковине и, наконец, остановилась на мне.

— Нана-чан дэсу нэ?<sup>[78]</sup> — сказала она. — Охисасибури<sup>[79]</sup>.

Я отвела взгляд, не желая выдавать слишком быстро, что я — Наоко.

— Оокику натта нэ<sup>[80]</sup>, — сказала она.

Я просто ненавижу, когда люди отпускают замечания, какая я большая, а эта старушка сама была пигмей, и что она вообще знала, и, кстати, что она о себе вообразила, — врывается в чужие квартиры и позволяет себе неделикатные замечания в чужой адрес.

И как раз, когда я об этом думала, папа шмыгнул носом у себя на ведре и вздохнул: «Обаачама!..»<sup>[81]</sup> И я такая, ну да! Конечно! Естественно, это его драгоценная бабушка. Он глядел на нее, задрал голову, и теперь я видела, он не то чтобы плакал, но щеки у него просто горели, у него так бывает, когда он выпьет, хотя мне, так, случайно, известно, что после Инцидента со скоростным экспрессом до Чуо у нас в доме выпивка отсутствует начисто, так что методом исключения оставались только смущение или стыд. И честно, мне тоже было стыдно, когда я видела, что у него лицо все в пятнах, и глаза красные с корочками, приставшими к ресницам, и крупные хлопья перхоти в жирных волосах. На нем была майка без рукавов, вся в пятнах и пожелтевшая под мышками, и когда он встал, я впервые заметила, что позвоночник у него приобрел S-образный изгиб, живот выпятился вперед, грудь втянулась и плечи ссутулились.

Тут я услышала шум сзади.

— Сицурей итасимасу...<sup>[82]</sup> — это была та, что моложе. Я совсем о ней забыла, но теперь повернулась и посмотрела на нее повнимательнее, и поняла, что она не такая уж молодая, как мне показалось сначала. У лысых дам это сложно определить. Я знаю еще всего одну лысую даму — это мама Кайлы из Саннивэйла, у нее рак груди, и все волосы у нее выпали, даже брови, но лицо у нее не сияло, как у этих двух. Оно было сухим и тусклым, как картон.

У каждой из них было по чемоданчику на колесах, и молодая монахиня теперь пыталась вкатить их в гэнкан, но весь пол был занят нашей обувью и шлепками, так что ей пришлось затащить их поверх всего этого. Потом она сняла сандали и, шагнув в квартиру, встала рядом со мной и поклонилась.

— Пожалуйста, войдите? — спросила она на осторожном английском, будто я была гостьей, прибывшей из Америки. Я только кивнула, потому что и вправду чувствовала себя иностранкой, живя в Токио в этой глупой квартире с этими странными людьми, которые

утверждали, что они — мои родители, но которых я теперь вообще едва знала.

В Саннивэйле я иногда думала, что я — приемная. Некоторые мои подруги были китаянки, которых удочерили калифорнийские родители, но я ощущала себя как нечто противоположное, как обычная калифорнийская девчонка, удочеренная японскими родителями, странными и чужими, но вполне терпимыми, потому что быть японкой в Саннивэйле значило быть такой немного особенной. Другие мамы просили мою показать им, как делать суши или цветочные аранжировки, папы обращались с моим папой как с таким маленьким домашним зверьком, которого можно взять пробежаться на поле для гольфа и научить всяким новым трюкам. Он вечно возвращался домой с новенькими хайтековскими приспособлениями для ведения хозяйства, вроде гриля Weber и контейнеров для компоста, которые мама совершенно не представляла, как использовать, но все было круто. Это был определенный стиль жизни. Теперь у нас не то что стиля — и жизни-то не было.

## 4

Вот такая мысль: если бы я была христианкой, то в качестве Бога я верила бы в тебя.

Это же очевидно. То, как я с тобой разговариваю, — это как христиане разговаривают со своим Богом, так мне кажется. Нет, я не имею в виду молитву, ведь когда молишься, тебе, как правило, что-то надо, по крайней мере, так говорила Кайла. Она молилась о каких-нибудь вещах, а потом говорила родителям в точности, о чем именно молилась, и, как правило, получала что хотела. Они, наверно, хотели, чтобы она в Бога поверила, но мне точно известно — это не сработало.

Короче, я, конечно, не думаю, что ты — Бог, и не жду от тебя исполнения желаний или еще там чего. Просто я благодарна, что могу поговорить с тобой, а ты не против послушать. Но мне лучше поторопиться, а то я никогда не нагоню события.

Дзико с папой все еще разговаривали на балконе, а молодая монахиня, которую звали Мудзи, помогла мне сделать чаю, а потом мы все вели вежливый японский разговор ни о чем, пока не пришла мама, и по тому, какой удивленной она притворилась, обнаружив двух

буддийских монахинь у себя в гостиной, я просекла — это она все организовала, плюс она зашла в магазин и набрала суши навынос на пятерых, а еще большую бутылку пива, что она никогда бы не сделала только для меня и папы.

Потом я сбежала в спальню и зашла в интернет проверить статистику «Трагической и безвременной кончины переводной ученицы Нао Ясутани», но с тех пор как я проверяла последний раз, ничего не изменилось, что было очень грустно, учитывая тот факт, что я была мертва меньше двух недель — и уже забыта. Нет ничего печальнее киберпространства... но я это уже говорила.

Мне было слышно, как они в гостиной разговаривают о том, что храм Дзико нуждается в ремонте и что данка<sup>[83]</sup> не могут оплатить работы, потому что вся молодежь уезжает в город, а у оставшихся стариков денег немного. Потом они сменили тему, понизив голоса, и я расслышала слова *идзимэ* и *хомусику*<sup>[84]</sup>, и *ниююгакусинкэн*<sup>[85]</sup>, и пришлось надеть наушники, чтобы не слушать дальше. Есть одна вещь, которая тоскливее киберпейса, — это быть подростком и сидеть в твоей общей с родителями-лузерами спальне, потому что они слишком бедны, чтобы снимать квартиру побольше, где у тебя могла бы быть отдельная комната, и слушать, как они обсуждают твои так называемые проблемы. Я подкрутила громкость и послушала пару треков из Ника Дрейка, которого мне дал папа и на которого я в то время начала всерьез подсаживаться. Песни у Ника Дрейка очень печальные. «Время сказало мне». «С днем покончено». Он тоже совершил самоубийство. Наконец, я уже больше не могла этого выносить, сдалась и пошла в гостиную.

Они все еще сидели за столом после ужина, но теперь вместо суши на столе стояла маленькая тарелочка ядовито-зеленых мочи<sup>[86]</sup>, покрытых некой пастой, и пакетик зеленого горошка с васаби, и пили пиво из маленьких стаканчиков, которые стояли перед ними, все, кроме мамы, которая пила чай, и папы, который вынес пиво с собой на балкон, чтобы заодно покурить.

— А это еще откуда? — спросила я на английском, тыкая пальцем в мочи. Я, в общем, не фанат сладких рисовых колобков, но, знаешь, они могли бы и спросить.

Мама нахмурилась и потрясла головой, это значило, что я не должна указывать пальцем, и говорить на английском тоже не должна.

— Чотто, осувари... — сказала она, похлопывая по подушке, а это значило, что я должна сесть с ней рядом, как дрессированный чихуахуа. Глаза у нее были обведены красным, будто она плакала.

Я попятилась.

— Я пойду в кровать, — сказала я ей все еще на английском. — Я занималась. Устала.

Они все наблюдали за мной: папа — с балкона, Дзико — из-под опущенных век через стол, и Мудзи, на коленях у моих ног, лицо красное от пива и даже еще сиятельней, если это, конечно, возможно. Она подхватила тарелку с зелеными колобками и протянула мне:

— Пожалуйста! Вот этот — Зунда-мочи. Это особые соевые еды из регионального места Сендай.

Я вежливо кивнула, будто поняла, о чем речь, чего на самом деле не было. Она подождала, но когда стало ясно, что я не воспользуюсь ее предложением, поставила тарелку, взяла со стола бутылку пива и вылила остатки в стакан Дзико. Человеку явно нравилось прислуживать.

— Дзико-сэнсей наслаждает себя очень-очень, — сказала она. — Сэнсей очень сильна в питье о-сакэ, но я очень слаба. — Она хихикнула и рыгнула, потом прикрыла рот ладонью. Глаза у нее при этом округлились и завращались в глазницах, похожие на жареные каштаны. Я плюхнулась на подушку рядом с ней. Она явно была немного чокнутая, но мне начинала нравиться. Сидевшая напротив Дзико уснула прямо за столом.

— Нао-чан, — сказала мама. Говорила она на японском, и голос у нее был бодренький и фальшивый. — У твоей прабабушки Дзико чудесная идея. Она великодушно приглашает тебя провести все летние каникулы у нее в храме в Мияги<sup>[87]</sup>.

Невероятно! Это была полная подстава. Теперь все они внимательно за мной наблюдали, мама, Мудзи и Дзико, которая, я чувствовала, прекрасно видит меня сквозь закрытые веки, и папа, который все еще пребывал на балконе, имея при этом преувеличенно безразличный и беззаботный вид. Ненавижу, когда взрослые вот так вот за тобой наблюдают. Начинаешь чувствовать себя неисправным киборгом. Не совсем человеком.

— Потрясающе, правда? — продолжала чирикать мама. — Такая красота на побережье, и гораздо прохладнее, чем в городе. И океан прямо под боком, плавать можно. Как весело будет! Я сказала ей, что ты с удовольствием поедешь...

Иногда взрослые с тобой разговаривают, а ты так вот пялишься на них в ответ, и начинает казаться, будто они вещают с экрана такого старомодного телевизора с толстым мутным стеклом, и ты видишь, как двигается рот, но слова все тонут в белом шуме статики, едва разобрать можно, что в данном случае было неважно, потому что я все равно не слушала. Мама все говорила и говорила, как ведущая утреннего телешоу, а Мудзи рыгала и попискивала, как пьяный воробей, а Дзико притворялась спящей, а папа выдыхал облака сигаретного дыма прямо на мои чистые трусы, которые до сих пор болтались на веревке, потому что я забыла их снять из-за всех этих треволнений, но все это ровным счетом ничего не значило, потому что я ушла глубоко внутрь собственного сознания, куда удаляюсь, когда окружающее чересчур на меня давит. Все можно просто переждать, я очень хорошо умею ждать — в школе у меня было полно практики. Здесь есть хитрость — когда ждешь, можно притвориться, что ты под водой или, еще лучше, заморожена внутри айсберга, и, если как следует сосредоточиться, можно даже увидеть, как будет выглядеть твое замороженное лицо — такое синее, зыбкое, искаженное толщей льда.

Папа вернулся с балкона в комнату и сел напротив меня.

Я все еще не могла разобрать его голос сквозь треск статики, но по губам я смогла прочесть:

— Давай. Поезжай.

Это было не то, чего мне хотелось. Я замедлила пульс. Я перестала дышать. Я совершенно прекратила двигаться.

Тогда Дзико открыла глаза. Не знаю, как я это поняла, я на нее даже не смотрела, но я вроде как почувствовала дуновение энергии с ее стороны стола, поэтому, когда она наклонилась и положила свою старую руку поверх моей, я не удивилась. Рука у нее была такой легкой, как теплое щекотное дыхание, и кожу у меня стало пощипывать. Она продолжала смотреть на меня, и хотя я ее не видела, я чувствовала, как она растапливает лед, как притягивает к себе сквозь

холод мое сознание. Я чувствовала, как возвращается пульс, как кровь начинает течь опять. Я моргнула. Папа все еще говорил.

— Это ведь ненадолго, — говорил он. — Твоя мама все устроила. Здесь есть доктора, специалисты, которые помогут мне справиться с моими проблемами. К тому времени, как ты вернешься, мне будет гораздо лучше. Честно. Я обещаю. Ты ведь мне веришь, правда?

Теперь, когда я могла его слышать и видела, какой он усталый и грустный, я окончательно растаяла.

— Но... — сказала я, пытаюсь заново найти голос. Конечно, я ему не верила, но что я могла сказать? Так что я просто кивнула, и все было решено.

## Рут

### 1

Префектура Мияги расположена в регионе Тохоку, в северо-восточной части Японии. Эти места стали последними землями, отобранными у местных племен эмиси, потомков народа дзёмон, которые жили здесь с доисторических времен и потерпели поражение от японской армии в восьмом веке. Кроме того, побережье Мияги стало одним из районов, сильнее всего пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года. Храм старой Дзико находился где-то у побережья.

Префектура Фукусима, расположенная прямо к югу от Мияги, тоже была частью исконных земель эмиси. Теперь Фукусима стала префектурой, приютившей у себя атомную электростанцию «Фукусима Дайичи». Название «Фукусима» означает «Счастливей остров». До того, как цунами повлекло за собой катастрофу на атомной станции, люди верили, что Фукусима — это счастливое место, и растяжки на улицах близлежащих городков отражали оптимистический настрой:

Атомная энергия — сила будущего!

Правильное понимание атомной энергии ведет к лучшей жизни!

### 2

Остров, на котором жили Рут и Оливер, был назван в честь знаменитого испанского конкистадора, низвергнувшего империю ацтеков. И хотя сам он так и не добрался до своего будущего географического тезки далеко на севере, его люди здесь побывали, поэтому карта побережья Британской Колумбии, ее бухт и заливов пестрит именами испанцев, преуспевших в массовых убийствах. Но несмотря на обгаренное кровью название, это был относительно счастливый, милый и уютный островок. Два месяца в году здесь был

почти тропический рай и остров был наводнен беспечным летним народом с яхтами и дачными домиками и блаженными фермерами-хиппи, растившими органические овощи и голопопых детишек. Тут были учителя йоги, целители и строители тел всех мастей, шаманы, барабанщики и уйма гуру. Два месяца в году сияло солнце.

Но когда уходили туристы и летний народ, голубые небеса затягивало тучами и остров показывал зубы, поворачиваясь неприветливой стороной. Дни становились короче, а ночи — длиннее, и все следующие десять месяцев шел дождь. Местным, тем, кто жил тут круглый год, это нравилось.

Прозвище у их острова тоже имелось, тeneвое имя, и упоминалось оно редко: Остров Мертвых. Одни говорили, что имя осталось от кровавых межплеменных войн или от эпидемии оспы, выкосившей в 1862 году большую часть коренной народности прибрежных салишей. Другие говорили, нет, остров всегда был местом захоронений у здешних племен, да он весь источен тайными пещерами, которые были известны только старейшинам, и здесь они хоронили своих мертвецов. Третьи настаивали, прозвище не имеет ничего общего с коренными племенами, а относится, напротив, к стареющей популяции белых пенсионеров, которые приезжают сюда провести на острове закатные годы, превратив его в своего рода закрытый коттеджный поселок, вроде как в Бока Ратон, только с паршивой погодой и без благоустроенной территории.

Рут прозвище нравилось. Была в нем определенная солидность, и в конце концов, мать она привезла сюда умирать. Коробку с прахом отца она тоже взяла с собой, и когда мать кремировали, она предала обоим родителям земле на крошечном уэйлтауновском кладбище, на участке, где места должно было хватить и для них с Оливером. Когда упомянула об этом как-то в разговоре с нью-йоркскими друзьями, ей было сказано, что сельская жизнь на острове превратила ее в зануду и меланхолика, но согласиться с этим она не могла. Конечно, атмосферу на острове нельзя было назвать оживленной, особенно по сравнению с Манхэттеном, но какая там оживленная атмосфера, если ты мертв?

Здание уэйлтауновского почтамта было маленькой деревянной хибаркой, лепившейся к скале на краю бухты Уэйлтауна. Почта приходила с паромом три раза в неделю, поэтому три раза в неделю представитель каждого домовладения в Уэйлтауне седлал свою легковушку, или пикап, или джип и ехал к почтамту забирать почту. Это безумное расточительство ископаемого топлива доводило Оливера до белого каления.

— Ну почему у нас нет почтальона? — возмущался он. — Один человек, одна машина, снижает выбросы, доставляет почту. Ну насколько сложно это устроить?

Он наотрез отказывался ездить на машине, и всегда добирался до почты на велосипеде, а когда наступала очередь Рут, он настаивал на том, чтобы она шла пешком, даже если шел дождь. Даже если надвигался шторм. Идти было три мили.

— Тебе надо упражняться, — сказал он ей.

Ветер набирал силу; дождь так и лил. К тому времени, как Рут добралась до почтамта, она уже промокла насквозь. Она выудила из кармана мокрые письма и спросила марки.

— Юго-восточный, — сказала Дора из своего окошечка. — И ветер набирает силу. Гидростанция отрубится к ужину. Света не будет. Хорошенькая ночка, чтобы писать, а?

Дора была почтмейстером, маленькая женщина с обманчиво кротким видом, острая на язык и обладавшая способностью доводить соседей до слез, если они не являлись вовремя забрать почту или показывались слишком рано, когда она еще не успела все рассортировать, или попросту неразборчиво надписывали конверты. Она была медсестрой на пенсии и писала стихи, которые отсылала в разные газеты и литературные журналы в порядке постоянной ротации. Она утверждала, что ей мало кто нравится, особенно новички, но немедленно прониклась симпатией к Рут, и отнюдь не только из-за того, что Рут была постоянным подписчиком «Нью-Йоркера». Рут как-то посетовала, что новые номера что-то запаздывают, и тогда Мюриел сообщила ей, что у Доры имеется привычка утаскивать их домой и прочитывать, прежде чем доставить, несколько запоздало, в почтовый ящик Рут. Нет, настоящая причина хорошего отношения к Рут заключалась в том, что она была коллегой,

собратом-писателем, и, когда бы Рут ни заходила на почту, Дора сообщала ей последние новости о судьбе своих поэтических опытов. За те годы, как Рут ее знала, несколько стихов Доры приняли и опубликовали в небольших журналах, но «Нью-Йоркер» оставался ее Граалем, и она упорно отказывалась подписываться на журнал, пока они не опубликуют одно из ее произведений. Подобный порядок вещей, похоже, всех устраивал, пока Рут оставалась подписчиком «Нью-Йоркера». Дора утверждала, что собрать коллекцию отказов — почетный долг каждого поэта, и она по праву гордилась своей коллекцией. Она оклеивала ими отхожее место во дворе, потому что слышала, что Чарльз Буковски сделал именно это со своими. Рут восхищалась ей за то, что она восхищалась Буковски.

Дора знала все обо всех, и не только потому, что она читала их письма. Ее интерес к чужим делам был неизменным и совершенно беззастенчивым, но она была добрым человеком, несмотря на всю свою ворчливость. Она обожала мать Рут и часто приносила ей аляповатые букеты буйных роз из своего сада. Она всегда справлялась о здоровье соседей и держала запас морфина, оставшийся еще от ее работы, которым с готовностью делилась в случае нужды — если кто-то получал травму, или был при смерти, или нужно было усыпить домашнего любимца. Она вязала детские вещички для одиноких беременных мам на острове, а на Хэллоуин пекла для детишек печенья в форме отрезанных пальцев, с миндальными орехами в качестве ногтей и красной «кровавой» глазурью. Почтамт был чем-то вроде деревенского колодца. Люди никогда не спешили отсюда уходить, и, если вам надо было что-то узнать, вы шли сюда.

За эту неделю Рут поборолла свое отвращение к телефонам уже два раза: в первый, чтобы поговорить с Калли, и второй раз — позвонить Бенуа ЛеБеку. Она оставила сообщение на автоответчике, и когда он не перезвонил, она подумала, что уж Дора должна знать, почему.

— О, их не было, — сказала Дора, ожесточенно колотя штемпелем по маркам на мокрых конвертах. Она очень гордилась уэйлтауновским почтовым штемпелем. Это был самый старый рабочий штемпель в Канаде, постоянно в деле с 1892 года, когда Уэйлтаун впервые обзавелся почтамтом.

— Ездили в Монреаль на свадьбу племянницы. Должны вернуться завтра, к началу встречи А. А что тебе нужно от Бенуа?

Рут отступила от окошечка и притворилась, будто ищет мелочь. Она была уверена, что в загадочной французской тетради можно найти путеводные нити, которые подскажут, где искать семейство Ясутани, и ей хотелось, чтобы тетрадь была переведена как можно скорее, но Доре она об этом сообщать не собиралась. Мюриел была неистощимым источником сплетен, но Дора была гораздо, гораздо хуже. Она рассматривала это занятие как часть обязанностей почтмейстера, а Рут странным образом хотелось защитить Нао и ее дневник и не хотелось, чтобы кто-то еще знал. В маленькую комнатку почтамта набился народ; каждый медлил у своего ящика, притворяясь, будто читает почту — устричный фермер по имени Блэйк, учительница на пенсии из Лосиной Челюсти по имени Чандини, юная хиппушка, которую звали Карен, пока она не изменила имя на Пьюрити<sup>{12}</sup>. Никто не разговаривал, и, похоже, все ждали, что она ответит.

— О, — сказала Рут, отдавая Доре деньги за марки. — Да, в общем, ничего. Нужно немного помочь с переводом.

— Это ты о той французской тетради, которую нашла на берегу? — спросила Дора.

Черт, подумала Рут. Мюриел. На этом чертовом острове тайн не существует.

— И дневник тоже, а? — спросила Дора. — И письма какие-то?

Отрицать не было смысла. Остальная публика придвинулась поближе к окошечку.

— Это правда из Японии принесло? — спросил устричный фермер Блэйк.

— Возможно, — ответила Рут. — Трудно сказать.

— Тебе не кажется, что ты должна это сдать? — спросила Чандини. Это была худощавая нервная женщина с вечно спутанными светлыми волосами; раньше она преподавала математику.

— Зачем? — спросила Рут, протискиваясь мимо нее к своему почтовому ящику. — Сдать куда?

— В агентство по рыболовству? В полицию? Не знаю, как ты, но, если эти вещи принесло из Японии, я опасаясь насчет радиации.

Глаза у Пьюрити стали огромные.

— О, вау, — сказала она. — Радиоактивное загрязнение. Это будет полный отстой...

— С устрицами будут проблемы, — сказал Блэйк.

— И с лососем тоже, — сказала Чандини. — Со всем, что мы едим.

— Точняк, — протянула на выдохе Пьюрити. — Это ж в воздухе тоже, а потом выпадает вместе с дождем прямо в водоносный горизонт и заражает абсолютно всю пищевую цепь целиком, а потом откладывается у нас в теле и все такое.

Дора кинула на нее выразительный взгляд.

— А что? — спросила девушка. — Я не хочу заболеть раком и родить деформированных детей...

Блэйк погладил бороду и сунул руки в карманы. Глаза у него горели.

— Слышал, там часы тоже были, — сказал он. — Настоящие часы камикадзе.

Рут пролистывала почту и старалась его игнорировать.

— Я интересуюсь всякими историческими штуками, — сказал он. — Можно будет на них как-нибудь взглянуть?

Это было безнадежно. Рут вытянула руку с часами, и Блэйк с Чандини придвинулись поближе, чтобы посмотреть, но Пьюрити попятилась.

— Это ж тоже может быть заражено, да? — спросила она.

— Вероятно, — ответила Рут. — Вот ты спросила, и теперь мне кажется, почти наверняка.

Дора высунулась в окошечко:

— Дай взглянуть.

Рут расстегнула ремешок, стянула часы небесного солдата с запястья и передала ей. Снаружи начал завывать ветер. Дора взяла часы и присвистнула.

— Красота, — сказала она, застегивая их у себя на руке.

— Не боитесь отравиться? — спросила девушка.

— Дорогая, — ответила Дора, — я пережила рак груди. Облучением больше, облучением меньше, какая разница.

Полюбовавшись часами, она расстегнула ремешок и передала часы обратно Рут.

— Держи, — сказала она, потом подмигнула: — Классный материал, правда? Как там продвигается новая книга?

Блэйк подбросил Рут до дома в своем грузовичке, пахнувшем устрицами и морем. Он высадил ее у нижнего конца длинной подъездной дорожки, и она побежала вверх сквозь проливной дождь. Порывы ветра трепали высокие ели, ветви кленов стонали. Клен — дерево хрупкое. Пару лет назад очередной сосед погиб, когда толстая ветвь упала ему на голову во время бури. «Вдоводелы», вот как их называют. На бегу она поглядывала вверх. Где, интересно, ворона, подумала она.

Электричество вырубалось уже несколько раз, сказал ей Оливер, и она помчалась наверх проверить электронную почту. Она старалась поменьше заикливаться на этом имейле, но прошло уже больше сорока восьми часов с тех пор, как она написала профессору Лейстико, и она с нетерпением ждала ответа. Она быстро просмотрела свой ящик. От профессора — ни слова. Что теперь?

Было слышно, как Оливер возится в подвале со старым электрогенератором, пытаясь его завести. У них была отлажена целая система на случай отключений. Основывалась эта система на исправном генераторе и перепутанном кабеле несколько сотен метров длиной, по которому генератор должен был подавать ток. Кабель змеился из подвала на кухню, где от него питались холодильник и морозильник, потом безумно петлял по кухне и по лестнице в их кабинеты наверху. Провода были коварны. Запнуться об очередную петлю и грохнуться с лестницы ничего не стоило. Если генератор исправен не был, запасным вариантом были свечи, фонарики и керосиновые лампы. Генератор очень шумел. Без генератора и без фоновых шумов домашней техники — гудения и жужжания вентиляторов, шороха насосов и трансформаторов — тишина в доме становилась бездонной. Рут нравилась тишина. Единственной проблемой было то, что включить компьютер или посидеть в интернете с помощью керосиновой лампы было никак не возможно.

Интернет был их единственным окном в мир, и окно это вечно норовило закрыться. Доступ был организован через мобильную сеть 3G, но крупная телекоммуникационная компания, поставщик этих так называемых услуг, заслужила печальную известность, продавая больше трафика, чем могла обеспечить. Ближайшая вышка была на

соседнем острове, и скорость у них была удушающе низкая. Летом проблема усугублялась скачком количества подключений, которые выбирали весь трафик. А зимой приходили бури. Сигнал должен был преодолеть многие мили над бушующим океаном, сквозь насыщенный влагой воздух и, достигнув, наконец, их берегов, нащупать путь между мотающимися на ветру верхушками деревьев.

Но, по крайней мере, сейчас интернет работал, и она поспешила выжать из него все возможное, пока электричество не отключилось окончательно. Она проглядела растущий список ключевых слов и зацепок. Набрала *The Future Is Nao!* Поисковик выдал всего несколько малообещающих ссылок: несколько видео о французском автономном программируемом роботе под названием NAO; отчет Национальной Аудиторской Организации о важности медоносной пчелы и ее охраны.

«Возможно, вы имели в виду *The Future Is Now!*» — услужливо подсказал поисковик.

Нет, этого в виду она не имела. Она знала, после отключения электричества ей может не удастся выбраться онлайн несколько дней, так что она перешла к следующему пункту в списке. У нее уже было несколько выматывающих и бесплодных попыток поискать *Дзико Ясутани, анархистка, феминистка, буддист, дзэн, монахиня, Тайсё* и даже *современная женщина* в разных комбинациях. Теперь она добавила новое слово, выуженное из дневника вечером накануне. *Мияги*. Она откинулась на спинку стула и стала ждать.

В комнате стало темно, и отблеск монитора, освещавший ее лицо, был единственным источником света, крошечный сияющий квадратик посреди острова, охваченного штормом. Она чувствовала себя такой маленькой. Сняв очки, она протерла глаза.

Ветер снаружи завывал уже по-настоящему. Он нахлестывал дождь, заставляя его метаться кругами; весь дом трясся и стонал. Бури на острове обладали первобытной силой, они подхватывали остров и уносили назад в прошлое. Она подумала о втором своем сне, вспомнила черный рукав старухи, как она ее манила, как толстые стекла очков заставили мир расплыться. Шторм делал то же самое. А потом — то жуткое ощущение, быть отброшенной назад в ничто, перестать существовать, нащупать пустоту, потянувшись к лицу. Сон был таким ярким и таким ужасающим, и все же после она так глубоко

заснула и пробудилась только от легкого прикосновения монахини, от звука смешка — или щелчка?

Она открыла глаза и вновь надела очки. Колесико в окошке поисковика все еще крутилось, и это был плохой признак. Сигнал не пробивался, и с таким ветром обрыв проводов под тяжестью упавшего дерева был лишь вопросом времени. Только она собралась обновить страницу и запустить поиск заново, как монитор залила яркая вспышка. Или это была молния снаружи? Сказать было невозможно, но в следующий момент экран погас, погрузив комнату в темноту. Вот вам и все.

Она поднялась на ноги и двинулась ощупью вокруг стола на поиски фонарика, который держала рядом на полке, но тут жесткий диск зажужжал, зажегся экран, и темноту разогнала вспыхнувшая на мониторе страничка браузера с результатами поиска. Странно. Она вернулась к столу и взглянула на экран.

Результатов было немного. Одна ссылка, и это было все, но выглядела эта ссылка многообещающе. Ее сердце забилося быстрее, когда она прочла:

Результатов: 1–1 из 1 по запросу «Ясутани Дзико»  
и «дзэн» и «монахиня» и «писатель» и «Тайсё» и «Мияги».

Она уселась обратно, подтянула стул поближе и быстро нажала на ссылку, которая привела ее на страничку интернет-архива научных журналов. Доступ к архиву был открыт только для научных библиотек и других организаций-подписчиков. Все, что было доступно без подписки, — название статьи, краткая выдержка и информация о публикации. Но для начала и это было совсем не плохо.

Статья называлась «Сисёсэцу в Японии и нестабильность женского “Я”». Рут наклонилась к экрану и стала читать выдержку, которая начиналась с цитаты:

*«Сёсэцу и сисёсэцу — и то, и это очень странно. Видите ли, в японской традиции нет Бога, нет монолитной фигуры власти в нарративе — и в этом вся разница».*

*Ирокава Будаи*

Термин *сисёсэцу*, или, если более формально, *ватакуси сисёсэцу*, относится к жанру японской художественной автобиографии и традиционно переводится как «Я-роман». Расцвет *сисёсэцу* приходится на краткий период социополитической либерализации, известный как «демократия Тайсё» (1912–1926), и вызванный им сильный резонанс продолжает оказывать влияние на японскую литературу и сегодня. Многие уже было сказано о форме жанра, его «исповедальном» стиле, «прозрачности» текста, а также «искренности» и «аутентичности» голосов его авторов. Произведения жанра также широко цитировались в блогосфере в связи с вопросами об истинности и фабрикации, выявляя напряженность, существующую между актами саморазоблачения, самосокрытия и самоотрицания.

Часто отмечалось, что пионерами *сисёсэцу* были в основном мужчины. Произведения *сисёсэцу*, написанные женщинами в ранний период, в целом игнорировались, вероятно, потому, что в действительности в то время женщин публиковали гораздо реже, чем сейчас, а также потому, как отметил Эдвард Фоулер в своем классическом исследовании жанра, что «энергия выдающихся писательниц, трудившихся в 1910-х и 1920-х годах, была направлена на поддержку феминизма в той же степени, как и на литературную практику»<sup>[88]</sup>.

Подобная принципиальность, преданность делу феминизма оказали разрушительный эффект на литературную деятельность и в одном конкретном случае, к которому я собираюсь обратиться и доказать, что, по крайней мере, один автор-женщина раннего *сисёсэцу* применяла эту форму в радикальной, энергичной и совершенно новаторской манере. Для нее, как и для более поздних женщин-писателей, литературная практика была революционной в буквальном смысле.

Этот автор на Западе неизвестен. Она родилась в префектуре Мияги, затем переехала в Токио, где приняла участие в леворадикальном движении. Работала с различными феминистскими группами, в том числе с «Сэйтося»<sup>[89]</sup> и «Сэкиранкай»<sup>[90]</sup> и, помимо политических эссе, статей и стихов, написала единственный необычный и революционный Я-роман, озаглавленный просто:

«Я-Я»<sup>[91]</sup>.

В 1945 году, после смерти сына, солдата-студента, призванного в качестве пилота на службу в *токкотай* (японские силы специального назначения, известные также как «камикадзе»), она приняла обеты дзэн-буддийского монашества.

Ее имя — Ясутани Дзико, женщина-пионер «Я-романа», и она впервые стерла себя из...

<читать дальше...>

Вот оно, то самое имя — Ясутани Дзико — прямо на экране компьютера. До той минуты Рут не признавала, насколько важно для нее было получить подтверждение от внешнего мира, что монахиня из ее снов действительно существует, что Нао со своим дневником реальна и, следовательно, что ее можно найти.

Она подалась вперед, намереваясь нырнуть в новый пласт информации айсберга, для которого выдержка из статьи была лишь верхушкой. Ей хотелось узнать все, что можно, о Дзико Ясутани, не довольствоваться больше крупными фрагментами информации, прихотливо разбросанными по дневнику ее правнучки. Станным образом она ощущала глубокое внутреннее родство с этой женщиной из другого времени и места, явно замешанной в актах саморазоблачения, самосокрытия и самоотрицания. Она надеялась, что в статью может быть включен перевод, по крайней мере, отрывков из Я-романа, который ей ужасно хотелось прочитать. Ей полезно будет услышать собственный голос Дзико, попробовать на вкус ее авторский стиль. Она кликнула на ссылку <читать дальше...> в конце выдержки и

уселась поудобнее в ожидании. Страница было начала загружаться, но вместо нее всплыло окошко «сервер не найден». Какая досада. Она ударила по кнопке ОБНОВИТЬ, но с тем же результатом. Экран мигнул. В спешке Рут попыталась вернуться на начальную страницу, но прежде чем она успела обновиться, экран погас и электричество отключилось, на этот раз тихо, но окончательно. Рут откинулась на спинку. Ей хотелось плакать. Она слышала, как Оливер ругается в глубинах подвала; вверх по лестнице струился запах горячего. Генератор опять сломался, и двигатель затопило. Иногда на починку линий у ВС Hydro<sup>{13}</sup> уходило несколько дней. До тех пор они будут оставаться во мраке — и в неведении.

## 5

На следующее утро электричества все еще не было, но ветер стих и дождь прекратился. После завтрака Оливер захотел поехать собрать водорослей для компоста. Из водорослей получалось превосходное удобрение, а после шторма с юго-востока весь берег должен был быть в водорослях. Они загрузили вилы и брезент в пикап и отправились на другую сторону острова. После поворота к ранчо Япов Рут стала замечать машины, припаркованные у дороги.

— Похоже, у кучи народа возникла та же самая идея, — сказал Оливер.

Это было достаточно странно. Слишком много машин. Больше похоже на вечеринку или на похороны, чем на пару садовников, приехавших после шторма за водорослями.

— Похоже, тут что-то еще происходит, — сказала Рут. — Хреново. Придется припарковаться и идти пешком.

Они разгрузили пикап и двинулись к берегу. Взобравшись на насыпь, они увидели Мюриел. Она стояла на краю и глядела в сторону линии прибоя. Увидев подошедших Рут и Оливера, она указала вниз.

— Смотрите, — сказала она.

Весь берег был усеян людьми. Это было странно само по себе. Даже летом, на пике туристического сезона, на пляжах острова никогда не бывало много народу, и можно было провести целый день, купаясь, загорая, прочесывая берег в поисках находок, жаря шашлыки,

и встретить за весь день всего несколько человек за теми же занятиями.

Но сегодня человеческие фигурки усеивали весь пляж через равные интервалы. У некоторых был с собой брезент, и они собирали водоросли, но другие просто бродили по берегу туда-сюда, глядя прямо перед собой. Несколько человек Рут узнала; остальные были ей совершенно незнакомы.

— Что происходит? — спросил Оливер.

— Мародеры, — сказала Мюриел. — Ищут предметы из Японии. На моем берегу.

Она вертела кончик седой косы вокруг пальца — верный признак того, что она была взбудоражена. Она была здесь уже с раннего утра, задолго до того, как явились остальные.

— Любители, — фыркнула она. — Все ты виновата, знаешь ли. Все только и говорят, что о твоём пакете, а потом на почтамте кто-то начал болтать о деньгах, которые выкинуло на берег в Японии.

Рут вспомнила, что читала об этом на сайте *Japan Times*. Большинство жертв цунами были старые люди, которые держали сбережения дома, прятали их в шкафу или под полом-татами. Когда дома их поглотила волна, деньги вместе с хозяевами унесло в открытое море. Несколько месяцев спустя океан начал выплевывать на берег остатки того, что поглотил, и на берегу стали находить сейфы и шкапулки. Внутри были деньги и разные другие ценности, и во многих случаях власти так и не могли найти владельцев, не говоря уж о том, чтобы определить, живы ли они. И все же люди, которые их находили, продолжали их сдавать.

Рут окинула взглядом берег. Эти люди выглядели одержимыми, как зомби, как ходячие мертвецы. Это было мерзко.

— И что, кто-нибудь что-нибудь нашел?

— Если и нашел, я об этом не знаю. Нет, правда, твой пакет был случайной удачей, и моя зубная паста тоже. Мы слишком близко к материку. Я им говорила. Настоящие находки — в открытом океане, вверх и вниз по внешнему побережью. Тут, в глубине пролива, мы вряд ли наткнемся на что-то стоящее. Но эти наши друзья, похоже, просто не слушают.

— Если они найдут деньги, они не могут просто оставить их себе, — сказала Рут.

— Почему нет?

— Потому что они принадлежат жертвам. Это были все их сбережения. Большинство из них были стариками...

— Прямо как здесь, — заметила Мюриел.

— Вот только здесь сейфов ни у кого нет, — сказал Оливер. — Не говоря уж о деньгах.

Мюриел рассмеялась.

— Ты прав. Единственное, что может выбросить на берег здесь, это мешок травки.

Рут почувствовала, как у нее вспыхнуло лицо.

— Это не повод для шуток. Вы ужасны. Оба.

Мюриел подняла брови.

— Вообще-то, по правилам то, что найдено на берегу, принадлежит нашедшему. Это довольно старый обычай. Кстати, смотрю, часы ты все так же носишь...

Рут гневно на нее посмотрела и вскинула вилы на плечо.

— Я пытаюсь найти владельца, — сказала она. — И не остановлюсь, пока не найду.

Она повернулась к Оливеру:

— Будем мы собирать водоросли, или что?

Повернувшись, она зашагала к берегу. Краем глаза она заметила, как Оливер пожал плечами и виновато улыбнулся Мюриел, что взбесило ее еще больше. Она остановилась и вновь повернулась к Мюриел.

— И это не я виновата. Не надо было рассказывать о моем пакете всему гребаному острову.

Мюриел кивнула. Ветер бросил ей в лицо выбившуюся прядь, и она отвела ее в сторону:

— Я знаю. Мне жаль. На самом деле я рассказала всего паре людей, но ты знаешь, как оно бывает. Это было так удивительно. Я живу ради мусора.

Старушка Дзико очень любит моего папу, несмотря на все его проблемы, и он тоже очень ее любит. Она, бывало, говорила, что он — ее самый любимый внук. Конечно, он ее единственный внук, это она так шутила, к тому же мне известно, что у монахини не может быть любимчиков среди существ, наделенных сознанием. Я вот думаю, может, она любит его именно потому, что его проблемы дают ей кучу поводов для молитв, а когда ты настолько стар и тело давно уже тебе намекает, что как бы хватит, пора, — нужны реально серьезные причины, чтобы оставаться в живых.

Живет она в крошечном храме на склоне горы у побережья, но хотя храм правда очень маленький, у него есть целых два имени: Хиюзан и Дзигэндзи<sup>[92]</sup>. Низенькие постройки лепятся к склону горы в окружении леса из суги<sup>[93]</sup> и бамбука. Ты не поверишь, сколько ступенек приходится преодолеть, чтобы дотуда добраться, а летом, по жаре, ты идешь и думаешь, что тебя вот-вот хватит тепловой удар или что там еще. Этому месту реально пригодился бы лифт, но дзэн-буддистов нельзя назвать фанатами современных удобств. Честное слово, как доберешься дотуда — будто перенесся назад во времени лет на тысячу.

Папа согласился довезти меня на поезде в Сендай, что нельзя было не оценить, потому что покинуть квартиру при свете дня было для него реальным достижением. Было видно, какой это для него стресс, и нельзя сказать, чтобы я была ему поддержкой и опорой. Я совершенно по-детски вбила себе в голову идею, что нам можно было бы сделать небольшое отступление от маршрута и посетить Диснейленд-Токио, где я намеревалась пожать руку Микки-чан. Я знала, это нереально, потому что Диснейленд-Токио на самом деле не совсем по дороге в Сендай, и, кроме того, папа в толпе начинает паниковать, но я очень, очень хотела пойти. Микки-чан из Калифорнии, и я тоже, и я думала, может, он тоже по дому скучает, так что я канючила и канючила, но конечно же, папа сказал «нет». Я

думаю, в нормальной семейной ситуации моя просьба была бы выполняема. То есть пару часиков потерпеть общество Микки-чан — не такая уж большая цена при том, что ты избавляешься от своего ребенка на все лето. Но в нашей семье о нормальной ситуации говорить не приходилось, и я знала, папа — не фанат Диснейленда. Можно было бы сделать над собой усилие и простить его за это, и мы оба могли бы даже получить от поездки удовольствие, но вместо того я дулась всю дорогу, и он чувствовал себя виноватым и несчастным, и мне от этого, честно, тоже было не очень-то здорово. В конце концов, он обещал, что мы съездим в Диснейленд на обратном пути, когда он приедет меня забирать, и это меня несколько взбодрило — по крайней мере, я знала, он намерен дожить до конца моих каникул.

Он ужасно нервничал на Токийском вокзале, и нам пришлось чуть не час стоять под табло, пока он пытался врубиться, на какой скоростной поезд нам надо сесть и какие купить билеты, а потом все равно мы оказались не на той платформе и сели в полурегиональный до Ямабико вместо экспресса до Комачи, но ему неважно было, что мы останавливались на каждой станции, да вообще-то, мне тоже было плевать. Вот так мы и поехали — через тянувшиеся бесконечно предместья Токио, потом какие-то промышленные районы, мимо заводов с трубами, мимо уродливых жилых многоэтажек, парковок и торговых центров, и двери всё то открывались, то закрывались, и люди то входили, то выходили, проводницы в симпатичных униформах толкали свои тележки по проходам, крича: «Обэнтто ва икагадэсу ка? Оча ва икага дэсу ка?»<sup>[94]</sup> Мне вдруг очень захотелось бэнтто с жареным угрем, и только я собиралась попросить папу, как вспомнила последний раз, как мы ели жареного угря, это было, когда мы праздновали, что он нашел «работу». Я вспомнила, как он лгал, и вся моя любовь к жареному угрю испарилась, и я заказала вместо этого сэндвич с яйцом. Я ела сэндвич и смотрела в окно, наблюдая, как мое отражение плывет сквозь пейзаж за окном, как призрак. Снаружи все было грязным и серым, или цвета цемента, но время от времени встречались крошечные рисовые поля, которые сверкали, как драгоценные изумруды, и чем дальше мы забирались от Токио, тем зеленее становился мир.

Когда мы наконец добрались до Сендай, то пересели в местный поезд, который доставил нас до ближайшего к храму Дзико городка, а

там мы с трудом впихнули мой чемодан в древний автобус, заполненный очень старыми стариками, который должен был довезти нас до ее деревни. По пути из города мы проехали пару мини-мартов, кафешек и несколько начальных школ, но, честно, больше тут ничего особо и не было: завод по переработке рыбы, зал пачинко, заправка, «7-илевен», авторемонтная мастерская, много маленьких полей. Но мы ехали все дальше и дальше, и расстояния между домами становились все больше и больше, и, наконец, я поняла, что мы загородом, потому что вокруг вдруг стало красиво. Будто мы попали в анимэ — наш маленький автобус пыхтит то вверх, то вниз, петляя между холмами и огибая скальные обрывы. Было видно, как внизу волны разбиваются об эти безумные скалы, а иногда мы проезжали маленький пляж, будто песчаный карман, пришитый к скале.

Я раньше любила поездки на северное побережье Калифорнии, в Марин или Соному, или в Гумбольдт, и здесь у меня возникло похожее чувство, только здесь, в Японии, все было зеленее, и деревьев больше, и совсем не было дизайнерских домов. Вместо них были эти маленькие рыбацкие деревушки, разбросанные по побережью, со стайками лодок, и сетей, и устричных плотиков, которые покачивались на волнах, и со связками рыбы, вывешенной сушиться рядом с домами, как белье. Автобус сделал около ста тысяч миллионов остановок, которые совершенно не выглядели, как остановки — просто скамеечка у дороги или ржавый круглый знак на столбике, а иногда такая будочка, вроде той, где, если ты живешь в Калифорнии, ты держишь фильтр для ванной.

В Калифорнии тоже было полно таких скалистых мест, но у меня сложилось впечатление, что в этих местах, где жила Дзико, не было особо много ванн, или бассейнов, или поместий, где обитают знаменитости.

К тому времени в автобусе уже почти не было пассажиров, только мы с папой и пара очень стареньких бабушек в тэнугуи<sup>[95]</sup> на головах, с позвоночниками, согнутыми под прямым углом. Водитель был худой молодой парень с великолепными манерами. Он носил стильную маленькую фуражку и белые хлопковые перчатки, и каждый раз, как он съезжал на обочину к остановке, он кланялся и притрагивался к козырьку пальцами, обтянутыми перчаткой. Ну очень каккоии<sup>[96]</sup>.

Дорога становилась все уже и все круче, она вилась по краю глубокого ущелья, и тут водитель в очередной раз остановился. Я посмотрела в окно на заросший деревьями склон, ожидая увидеть хотя бы скамейку или заржавелый знак, но в этот раз не было ничего, просто гора с одной стороны и обрыв с видом на долину внизу — с другой. Но потом я еще раз посмотрела в сторону горы и увидела древние каменные ворота, прятавшиеся за деревьями; они были покрыты свисавшим ключьями мхом, а за воротами исчезали в темноте каменные ступени.

Двери автобуса открылись, и водитель притронулся к фуражке. Бабушки выжидательно на нас посмотрели.

— Мы приехали, Наоко, — сказал папа. — Высаживаемся?

Почему-то говорил он по-английски. Английский у него так никогда и не стал по-настоящему свободным, но когда он говорил, то казался таким вежливым и интеллигентным, прямо и не подумаешь, что такой способен спустить все деньги в тотализатор и улечься на рельсы.

— *Здесь?* — пискнула я. Думала, он шутит.

Но он уже был на ногах, и старушки улыбались и кивали, и что-то нам говорили, будто знали уже, кто мы такие, и папа кивал им в ответ, пока я пыталась вырулить чемодан на выход по узкому проходу. Водитель смотрел в зеркало, и, увидев, как я сражаюсь с чемоданом, бросился на помощь и перехватил у меня ручку. Я вышла из автобуса и встала на обочине, заглянув за усыпанный гравием край обрыва, нависавшего над спускавшейся к берегу долиной. Отсюда мне виден был кусочек океана — он сверкал и переливался на солнце, как обещанное спасение.

Я отвернулась от океана и взглянула на склон. Никаких строений не видно. Каменные ворота. Мох. Темная лестница, ведущая в никуда. Папа вылез из автобуса и стал рядом, а водитель вручил ему мой чемодан. Я посмотрела на ступени, и тут до меня начало доходить. Я подергала папу за рукав.

— Пап?..

Но водитель кланялся папе, и папа кланялся в ответ, и вот водитель забрался в автобус, закрыл двери и включил передачу, вот шины захрустели по гравию, и вскоре мы с папой стояли на обочине

дороги, наблюдая, как габаритные огни маленького автобуса мигают раз, другой, и, наконец, совсем исчезают за поворотом.

Внезапно стало ужасно тихо; все, что можно было услышать, — шум ветра в бамбуке, звук, похожий на призраков. Я посмотрела на стоявший рядом чемодан на колесиках. Мой чемодан был розовый, с картинкой Hello Kitty. Выглядел он печально и очень одиноко.

И тогда до меня дошло. Папа собирался меня здесь бросить. Сначала мы затащим мой чемодан на гору, потом он бросит меня здесь с какой-то дико старой монахиней, которая вроде как моя прабабка и которую я едва знаю, на все летние каникулы.

— О'кей! — сказал папа, направляясь через дорогу к крутой лестнице. — Пошли! Бросим вызов!

Горло у меня сжалось, и в носу защипало. По привычке я стиснула зубы, чтобы удержать слезы, как я делала, когда меня пинали во время кагомэ-линчевания в школе, но потом подумала, пошло оно все, я просто *обязана* поплакать. Я должна выть и визжать, я должна закатить нереальную истерику, ведь если я буду выглядеть достаточно убого, папа меня пожалеет и заберет опять домой. Я всхлипнула пару раз на пробу и посмотрела на папу, пытаюсь понять, заметил ли он, но он вообще не обращал на меня внимания. Он разглядывал склон, и лицо у него светилось изнутри, будто он предвкушал что-то, но не хотел этого показывать. Я вот того радостного предвкушения на лице у него не видела с тех пор, как мы жили еще в Саннивэйле, и один приятель-программист позвал его с собой половить рыбу нахлыстом. Это было приятное зрелище, так что я пересекла дорогу следом и втащила чемодан на первую ступеньку. Колесики стукнули:

— *Ку...клик.*

Чемодан был тяжелый, набитый всеми этими учебниками, которые мне нужно было прочесть за каникулы. *Ку...клик.* История Древней Японии. *Ку...клик.* Современная японская политика. *Ку...клик.* Японская этика и мораль. *Ку...клик. Ку...клик.* Я уже вспотела и собиралась сдаться, но папа ждал меня впереди на ступеньках; он с нетерпением глядел наверх.

— Когда я был мальчишкой, я мог взбежать по лестнице до самого верха, — сказал он. — Может, и сейчас могу...

Но вместо этого он спустился ко мне и взялся за ручку чемодана, и в этот раз я ему позволила. Он пытался помочь мне в сабвее, потом в

поезде, и опять, когда мы садились в автобус, но я сказала ему, чтобы он думать забыл об этом. Нет, ну представь — тип средних лет с жирными волосами, красными глазами, сутулый, тащит за собой розовенький чемодан Hello Kitty на колесиках. Ты вот позволишь своему папе появляться на публике в подобном виде? Уж слишком убогое зрелище. Выглядел бы он как полный хентай, а он не хентай. Он мой папа. Может, он и хикикомори, но я его люблю. Я бы просто не вынесла, если бы на него пялиться начали.

Но здесь-то пялиться было некому.

— Давай, Нао-чан! — сказал он. — Пошли!

Волоча за собой чемодан, он двинулся вверх по ступенькам, я последовала за ним, и мы стали карабкаться вместе. Чем выше мы поднимались, тем гуще становился лес. И жарче. Пот капал у меня из-под мышек. Каменные ступени были скользкими, но не от дождя, а от влажности, от которой все казалось липким, даже воздух. Мне это напомнило туманы Сан-Франциско, только туман охлаждает воздух, а здесь было жарче, чем в сауне у Кайлиной мамы, даже когда ветерок дул. Мох покрывал абсолютно все, как сыпь, просачиваясь сквозь каждую трещинку. Папа продолжал подъем. Одна ступенька. Другая. Выше и выше. Мы были армией из двух человек, папа и я, мы маршировали вверх в гору, но не для того, чтобы ее победить. Мы отступали — побежденная армия в бегах.

Тоненькое и пронзительное стрекотание сверлило воздух, как бур стоматолога, мало-помалу наращивая децибеллы. *Ми, ми, мишшшш*. Я не могла вспомнить, когда это началось. Может, звук всегда был здесь, внутри моей головы, вот только кто-то подкрутил громкость, и теперь мой череп вибрировал, как усилитель, транслируя завывание в мир. Я заткнула уши пальцами, посмотреть, смогу ли я отличить внутренний источник звука от внешнего, и папа заметил.

— Ми-ми-зими<sup>[97]</sup>, — сказал он. Остановившись, он достал носовой платок и протер от пота глаза. Потом он промокнул шею тем же движением, каким делал это в спортзале, раньше, когда он еще ходил в спортзал, в Саннивэйле.

— Это только самцы кричат, — добавил он.

Я хотела спросить его, почему, но что-то не хотелось услышать ответ. Он повязал платок вокруг шеи, потом постоял, глядя вверх на

сплетающиеся ветви со странным отсутствующим выражением на лице.

— Я помню этот звук с тех пор, как был совсем маленьким, — сказал он. — Это нацу но ото<sup>[98]</sup>.

Он стоял парой ступенек выше и казался очень высоким, и пока я смотрела на него, мне подумалось, может, я могу понять это его отсутствующее выражение. Может, это счастье. Думаю, мой папа был счастлив.

Мои собственные счастливые звуки лета были так далеко от меня. Пыхтение грузовичка-мороженицы Good Humor, свисток спасателя на пляже, разбрызгиватели над газонами в сумерках, скворчит чей-то Weber, кубики льда звенят в высоких стаканах. Жужжание газонокосилок и триммеров; дети играют в чьем-то бассейне в «Марко Поло». Счастливые воспоминания застряли у меня в горле, как в старой водосточной трубе.

*Ку...клинк. Ку...клинк.* Папа опять начал подъем. Я вытерла глаза и последовала за ним. Что еще мне оставалось? Только смотреть на вещи с хорошей стороны и постараться извлечь все что можно из существующей ситуации. По крайней мере, папа не захватил автобус и не пустил его под откос. По крайней мере, он все еще был здесь, со мной, и может — может, он не уйдет. Может, я смогу сделать что-то, что заставит его остаться. Потому что, пусть он и обещал вернуться и забрать меня в конце каникул и отвести в Диснейленд — что, если он этого не сделает? Что, если по дороге домой желание умереть станет чересчур сильным, и ему придется тут же броситься на рельсы перед суперэкспрессом в Диснейленд? В конце концов, пожать руку Микки-чан не было в числе его приоритетов. Насколько вообще можно доверять обещанию отца с суицидальными наклонностями?

## 2

Мы всё поднимались, выше и выше, особо не разговаривая, каждый занят своими собственными мыслями. Папа думал о своем детстве, а я думала о папе. Интересно, всем ли детям приходится беспокоиться о психическом здоровье родителей? Если посмотреть, как устроено общество, выходит, родители должны быть взрослыми и ответственными и заботиться о детях, но во многих случаях все равно

наоборот. Если честно, я в своей жизни не много встречала взрослых в полном смысле слова, но, может, это потому, что я выросла в Калифорнии и родители всех моих друзей были ужасно незрелыми личностями. Все они вечно ходили на терапию, ездили на семинары личностного развития и в летние школы по раскрытию потенциала и возвращались, набитые этими безумными новыми теориями, и диетами, и витаминами, и видениями, и ритуалами, и навыками налаживания отношений, и все это они пытались опробовать на своих детях, чтобы выработать у них хорошее отношение к себе. Будучи японцами, мои родители были не слишком озабочены хорошим отношением к себе, и всей этой психологической фигней они тоже не увлекались, хотя один папин друг был профессором психологии. Он вообще-то был достаточно милый старикан, прославился в 1960-х благодаря тому, что принимал наркотики, ловил кайф и называл все это «исследованиями», так что, как ты понимаешь, он был немного балбес и тоже наверняка довольно незрелая личность. Не то чтобы я была экспертом. Я же только подросток и многое знать не могу, но, по моему скромному мнению, старушка Дзико — единственный настоящий взрослый из всех, кого я когда-либо встречала, может, потому, что она — монахиня, а может, из-за того, что она очень, очень долго жила на свете. Может, действительно нужно дожить до ста лет, чтобы наконец вырасти? Надо ее спросить об этом.

Погоди-ка...

<Слушай, Дзико, сколько нужно прожить лет, чтобы стать настоящим взрослым? Не в смысле тела, а сознанием?>

Вот какую я ей только что отправила смску. Я тебе расскажу, что она думает по этому поводу, как только она ответит. Это может быть не сразу, потому что в храме сейчас время дзадзэн. Дзадзэн — это такая медитация, которой они там занимаются, не очень похоже на то, что делают в Калифорнии, по крайней мере, мне так кажется, но что я знаю? Как я уже говорила, я всего лишь ребенок.

На чем я там остановилась? Ах да, мы поднимались по ступенькам в храм. Черт, ни хрена у меня не получается. Иногда я думаю, что у меня СДВГ или еще там что. Может, я подхватила его в Калифорнии. СДВГ в Калифорнии буквально у всех, и все они принимают от этого таблетки, и постоянно меняют эти таблетки на другие, и мухлюют с дозами. Я иногда чувствовала, что не вписываюсь

в компанию, потому что не принимала никаких таблеток, о которых могла бы рассказать, из-за родителей-японцев, которые в психологии не рубили совершенно, и старалась рта зря не раскрывать. Но один раз на обеде кто-то заметил, что я таблеток вообще не принимаю, и Кайле пришлось за меня вступиться. На самом деле она еще больше меня выделила, но в самом хорошем смысле. Она так снисходительно посмотрела на этого парня и сказала: «Нао таблетки *не нужны*. Она — *японка*». Конечно, звучит это несколько жестко, но она произнесла это так, будто быть японцем — это хорошая штука, вроде как быть здоровым или типа того, так что тот парень просто пожал плечами и заткнулся.

Со стороны Кайлы было, конечно, мило за меня заступиться, но на самом деле я не думаю, что я такая уж здоровая. Я практически уверена, что у меня есть эти всякие синдромы, СДГ, СДВГ, и ПТС, и маниакальная депрессия, а также суицидальные наклонности, ну, это семейное. Дзико сказала, что медитация дзадзэн, скорее всего, не поможет мне от всех этих синдромов и наклонностей, но она научит меня делать так, чтобы они не становились навязчивой идеей. Не знаю, насколько это эффективно, но с тех пор, как она меня научила, я стараюсь делать это каждый день — ну, может, через день, или пару раз в неделю — и вот сейчас я поняла, что, хотя я все еще намереваюсь покончить с собой, я до сих пор этого не сделала, и, если я все еще жива, а не мертва, должно быть, это работает.

### 3

На чем я там остановилась? Да, храм. Верно. Так вот, мы карабкались по ступенькам и наконец увидели главные храмовые ворота, которые были на самом верху и выглядели просто невероятными, будто пасть какого-то ужасного каменного монстра, все во мху, отовсюду папоротники торчат, и все это нависает над нами, вот-вот грохнется нам на головы и задавит до смерти. Именно так должно выглядеть место, где, поджидая жертву, рыщут призраки. Потом я поняла, что эти ворота не такие уж большие, не как те, что стоят перед какими-нибудь знаменитыми храмами. На самом деле, они довольно скромных размеров, но снизу, с лестницы, в тот первый день они выглядели ну просто гигантскими. Я только что втащила себя по

всем этим ступеням и страшно устала, галлюцинировала от жары, плюс гипнотическое воздействие цикад и *ку...клик, ку...клик* от колесиков чемодана, да еще практически довела себя до нервного срыва мыслями о том, как папа собирается бросить меня в этом кошмарном месте. В тот момент, как я увидела ворота, меня посетил соблазн развернуться и броситься головой вниз на каменные ступени, или просто дать себе упасть спиной вперед в пушистую мягкость вечности, и не важно, покатысь я вниз по лестнице, подпрыгивая, как кочан капусты, до самого низа, пока не ударюсь об асфальт, а потом еще дальше, в море, потому что я была бы мертвая и ничего со мной случиться уже бы не могло.

Ноги у меня дрожали. Коленные чашечки были как те лунные медузы, которых мама наблюдала в городском аквариуме, и тут что-то мазнуло меня по голой щиколотке, и каждый волосок у меня на теле встал дыбом, будто меня тазером шарахнули. «*Tamaru!*»<sup>[99]</sup>, — подумала я, подпрыгнула и заорала, а папа начал смеяться, и в следующий буддийский момент я обнаружила, что гляжу в мшисто-зеленые глаза маленького черно-белого котика. Он быстро взглянул на меня искоса, а потом повернулся ко мне спиной и начал делать обычные кошачьи церемонии — шиться у ног, выгибая спину, а хвост вытягивая торчком; передние лапы он при этом тоже вытягивал, но не ко мне, а в противоположенном направлении, предлагая почесать ему попу, а также захватывающий вид на сморщенную задницу и гигантские белые пушистые яйца. В общем и целом, когда кот предлагает тебе почесать ему попу, ты просто берешь и чешешь, принимая, так сказать, сопутствующие товары в нагрузку. мех у него был сухим и горячим, и тут начал звонить колокол; звук был таким глубоким, что на бамбуке задрожали узкие листья, и папа, который стоял под каменными воротами, посмотрел в сторону храма и прошептал, ни к кому не обращаясь:

— Тадайма... — что говорится обычно, когда попадаешь домой.

Маленький котик с большими яйцами взмахнул хвостом и повел нас вперед по дорожке, и тут я услышала шлепки сандалий по камню, и показалась Мудзи — она бежала нас встречать. На ней была ее серая пижама, а вокруг головы повязано белое полотенце. Она подхватила кота и сунула его под мышку, а потом, сложив ладони вместе (и не выронив при этом кота), отвесила нам глубокий поясной поклон.

— Окайринасаймасае, даннасама! — сказала она, а это, в общем, ровно то же самое, что говорят французские горничные в «Одиноким фартучке Фифи», когда их хозяева приходят домой.

Вечером они устроили вечеринку в честь нашего приезда, хотя вечеринка эта была не особо разгульной, потому что были только я, и папа, и Дзико с Мудзи, и пара бабушек из данка, которые тусовались при храме и помогали с готовкой, с садом, с религиозными службами и прочим. Прежде чем сесть за стол, все мы по очереди помылись в офуро<sup>[100]</sup>, куда была подведена вода из серных источников. Папа пошел первым, потому что он мужчина, а это был бы абсолютный неполиткор в Саннивэйле, но здесь такое даже в голову никому не пришло. Когда он вышел, весь мокрый и розовый, на нем были юката<sup>[101]</sup>, и гэта<sup>[102]</sup> на ногах, и маленькое махровое полотенце на голове. Мудзи поднесла ему стакан пива, и он выглядел счастливее, чем я его когда-либо видела, даже в Саннивэйле, и я опять почувствовала надежду, что, может, он решит остаться с нами в храме на лето. Я просто знала, что это будет для него гораздо лучше, чем ходить по всяким психологическим докторам. На работу ему было не надо, а мама была занята на своей работе и могла сама о себе позаботиться, и Великие умы философии Запада тоже прекрасно справлялись без него уже несколько тысяч лет и, наверно, могли подождать еще конца августа.

Мы сидели на деревянной веранде, выходящей в маленький храмовый сад, и вечерний ветер шевелил бамбуковые листья. Я смотрела, как он с удовольствием потягивает пиво, и уже хотела спросить, собирается ли он остаться, когда Дзико поднялась на ноги и сказала: «Наттчан, иссе ни офуро ни хайроу ка?»<sup>[103]</sup> Отказаться было бы грубо, так что я встала и пошла за ней в купальню, надеясь, что катаракты не дадут ей разглядеть мои шрамы и синяки, и сигаретные ожоги — они все почти зажили без следа, кроме некоторых, которые, наверно, останутся навсегда.

Снаружи купальни был маленький алтарь, и Дзико зажгла свечу, и палочку благовоний, а потом совершила три полных поклона, преклоняя каждый раз колени и касаясь лбом пола. Это заняло у нее немало времени, но не так много, как тебе может показаться, учитывая ее возраст. Меня она тоже заставила все это проделать, и я чувствовала себя глупой и неуклюжей, но она, похоже, ничего не заметила, потому

что все это время бормотала себе под нос такую маленькую японскую молитву, которая в переводе звучит примерно так:

Я купаюсь,  
И я молюсь вместе со всеми существами  
Чтобы мы могли очиститься телом и сознанием  
Вычистить себя изнутри и снаружи.

Казалось бы, зачем так уж напрягаться, но потом я подумала о хостесс в сэнто, какими чистыми и невинными они выглядели после ванны. И нельзя сказать, чтобы они вели здоровый образ жизни, так что, может, молитвы Дзико реально для них работали.

Купальня, в общем-то, это такой большой деревянный ящик, с ящичком поменьше внутри, тоже деревянным. Ящик поменьше — это, собственно ванна и есть, и ее наполняют супергорячей серной водой, от которой валит пар и пахнет тухлыми яйцами, так что, как ты понимаешь, нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. Внутри купальни очень темно, только острые солнечные лучи пронзают мечами темноту и падают на твою обнаженную кожу. Рядом с ванной — пара низеньких деревянных табуреток и стопка пластиковых тазиков, чтобы черпать ими горячую воду из ванны для мытья.

Ванну в Японии принимают так: сначала ты как следует моешься целиком горячей водой, чтобы смыть грязь и пот и не загрязнить воду в ванной; потом забираешься в ванну и отмокаешь там, чтобы все размякло. Потом ты вылезаеть опять и вот теперь моешься по-настоящему, с мылом и мочалкой, и если ты собираешься вымыть голову, или побрить ноги, или зубы почистить, или еще там что, то сейчас — самое время. А уж наведя чистоту, ты смываешь с себя мыльные хлопья и забираешься в ванну опять, достойно закончить дело. Так можно немало времени провести, если втянуться и если тебе нравится запах тухлых яиц.

В купальне было тесновато, хотя тело у Дзико реально крошечное, но мое-то таким не назовешь, и рядом с ней я сама себе казалась голым бегемотом, и каждый раз, как мне надо было двинуться, я боялась уронить ее или раздавить. Но Дзико, похоже, этого даже не замечала, и через какое-то время я тоже перестала дергаться. Есть

у Дзико такая особенность — одна из ее суперспособностей: просто находясь с тобой в одной комнате, она делает так, что ты начинаешь ладить с собой. И это не только у меня так. Она это делает с каждым. Я видела.

Наверно, сейчас самое время рассказать, как Дзико выглядит, потому что в тот первый день в ванной я совершенно обалдела. Нужно помнить, ей сто четыре года, и если тебе никогда раньше не приходилось общаться с очень старым человеком, ну, скажу я тебе, это сильное впечатление. Понимаешь, хотя у них, как и у всех, есть руки, ноги, груди и пах, как у любого другого человека, очень старые люди выглядят, скорее, как инопланетяне или создания из глубокого космоса. Я понимаю, говорить так, наверно, не слишком политкорректно, но это правда. Они выглядят, как Йода или типа того, древние и юные одновременно, и то, как они двигаются, медленно и осторожно, но вроде как рывками, тоже немного похоже на Йоду.

И потом, тот факт, что, будучи монахиней, она совершенно лысая. Макушка у нее гладкая и блестящая, и ее круглые щеки — тоже, но во всех остальных местах кожа у нее покрыта очень тоненькими морщинками, как паутина в каплях росы. Весит она, наверно, не больше пятидесяти фунтов и ростом фута четыре, тощая, одни кости, когда берешь ее за руку или за ногу, можно спокойно сжать пальцы в кулак. Ребра у нее маленькие, как карандаши под кожей, но тазовые кости огромные, похожие, собственно, на таз, и по пропорциям совершенно не совпадают с остальным. Можно подумать, кожа у нее должна свисать со скелета складками, но на самом деле кожа у нее на теле выглядит на удивление молодо. Я думаю, это потому, что она всегда была худой и лишних складок так никогда и не нарастила. Груды у нее маленькие и плоские, будто у совсем молоденькой девушки, которая только начала развиваться, а соски маленькие и розовые.

Есть еще кое-что, что, может, мне и не стоит упоминать, но я верю, ты не воспримешь это извращенским хентайным образом, так вот, между ног она тоже практически лысая и все на виду, так что эта часть тоже производит впечатление молодой, пока не заметишь несколько длинных седых волосков, которые свисают вниз, как борода у старика. В полутьме купальни, глядя, как ее бледная скрюченная фигура поднимается из темной деревянной ванны в клубках пара, я подумала, что у нее призрачный вид — отчасти призрак, отчасти

ребенок, отчасти юная девушка, отчасти сексуальная женщина и отчасти ямамба<sup>[104]</sup> — все сразу. Все возрасты и стадии развития, совмещенные в одном женском временном бытии.

Все это, конечно, пришло мне в голову не сразу, не в тот первый вечер. То, что я описываю, — это общее впечатление за пару недель, когда я раз за разом наблюдала, как она забирается в ванну, и терла ей спину, и даже помогала ей брить голову бритвой. В купальню могут влезть трое одновременно, если хорошенько ужаться, и иногда Мудзи к нам присоединялась, и тогда мы совершали поклоны и произносили ту маленькую молитву вместе. Когда живешь в храме, на все есть правила, вот, например, в ванне не разговаривают, но иногда Дзико нарушала правило, и тогда нам тоже было о'кей, и мы вели тихие мирные разговоры, и было так спокойно.

Кстати о правилах, у этих двоих были совершенно отпадные ритуалы буквально для всего, для любого занятия, какое только можно представить, ну, например, когда они умывались, или зубы чистили, или даже по-большому ходили. Я не шучу. Они кланялись и благодарили туалет, и читали молитву о спасении всех существ. Молитва эта, кстати, дико прикольная — вот она:

Когда я хожу по-большому,  
Я молюсь вместе со всеми существами,  
Чтобы мы избавились ото всей грязи и разрушили  
Яды жадности, гнева и глупости.

Сначала я такая, ну нет, я этого делать точно не буду, но когда ты тусуешься с людьми, которые всегда суперблагодарны за все и ценят даже самые простые вещи, и всегда говорят «спасибо», в конце концов, это к тебе тоже привязывается, и в один прекрасный день, спустив воду, я повернулась к унитазу и сказала: «Унитаз, спасибо», — и это было совершенно естественно. То есть такое, конечно, можно проделывать, если ты находишься в храме на горе, но лучше даже не пытайся повторить это в туалете старшей средней школы, потому что, если одноклассники поймут тебя на том, как ты кланяешься и благодаришь унитаз, они сделают все от них зависящее, чтобы тебя там утопить. Я объяснила все это Дзико, и она согласилась, что это не

слишком хорошая идея, но что о'кей было бы иногда просто ощущать благодарность, даже если ты ничего не будешь говорить. Главное — это то, что ты чувствуешь. Шумиху устраивать не обязательно.

Я не сразу стала разговаривать с Дзико обо всех этих вещах. Сначала я стеснялась и вообще не хотела разговаривать с ней или с кем-то еще, особенно после того, как папа потихоньку смылся с утра, пока я спала, не потрудившись даже попрощаться. Оставил записку, которую я прочла, когда проснулась. Записка была на английском, и вот что там говорилось: «Нао-чан, ты так мирно выглядишь, как Спящая красавица. Я вернусь в конце лета. Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Веди себя хорошо и позаботься о твоей дорогой прабабушке».

Я порвала записку. Я подумала, что это просто полный отстой, как он кинул меня здесь и смотался, так и не дав мне попытаться упротить его, чтобы он остался. Пусть бы чувствовал себя виноватым. И ничего даже не сказал насчет обещания отвезти меня в Диснейленд, да еще и уехал, так и не купив сетевой адаптер для моего Game Boy, что тоже обещал сделать, и теперь я застряла тут совершенно без игрушек, не считая тетриса на кейтае, а это трудно назвать развлечением на все лето. Тогда в храме даже компьютера не было, и Кайле в Саннивэйл я писать не могла, и, естественно, в Токио у меня не было друзей, которым можно было бы звонить и писать смски. Передо мной лежали долгие жаркие дни, все мои летние каникулы, и ясно было, что я помру от скуки.

#### 4

— Ты очень злишься? — спросила Дзико однажды вечером в ванной, когда я скребла ей спину.

Я водила мочалкой по кругу, не забывая, что давить слишком сильно нельзя — к тому времени я уже понимала, насколько хрупкой была ее старая кожа, тонкая, как рисовая бумага. Сначала, когда я еще этого не знала, я терла так грубо, что у нее на коже оставались темно-красные отметины, но она ни разу не пожаловалась, и я поняла, что мне надо быть внимательней, особенно к тем местам, где кости натягивали кожу. Так что, когда она спросила, злюсь ли я, то я решила, что тру слишком сильно, и попросила прощения.

— Нет, — сказала она. — Это так приятно. Не останавливайся.

Я еще раз намылила мочалку и провела по узловатому изгибу позвоночника. Как часто бывает у старых людей, хребет у нее был скрючен и плохо гнулся, но когда она сидела в дзадзэн, спина у нее была идеально ровная. Больше она ничего не говорила, и когда я закончила, я пару раз черпнула тазиком из горячей ванны и вылила ей на спину, чтобы смыть пену, а потом развернулась, чтобы она тоже могла потерять мне спину. Мы каждый раз так менялись.

Я ждала. Старушка Дзико не торопилась, а это получалась у нее очень хорошо, потому что тренировалась она многие годы, и в результате я вечно ее ждала, и ты, наверно, думаешь, что меня, в моем возрасте, это должно было бесить, но почему-то не бесило. Все равно торопиться мне тем летом было некуда. Я сидела на табуретке, обхватив колени руками и дрожала, но не от холода, а от предвкушения, как вот-вот на меня хлынет обжигающе-горячая вода, так что, когда вместо этого ощутила прикосновение пальца к маленькому шраму у меня на спине, я удивилась. И вся напряглась. Свет был таким тусклым, как у нее получилось увидеть шрамы своими слепыми глазами? Я подумала, это невозможно, но тут почувствовала, как палец ее движется у меня по коже, чертит фигуры, колеблется, замирает то здесь, то там, соединяя точки.

— Ты, должно быть, очень злишься, — сказала она. Голос у нее был такой тихий, будто она говорила сама с собой, и, может, так оно и было. А может, она вообще ничего не сказала, мне все почудилось. Как бы то ни было, горло у меня сжалось напрочь, ответить я не могла и только потрясла головой. Мне было стыдно, так стыдно, но в то же время меня до краев переполняло невероятное чувство печали, так что пришлось затаить дыхание, чтобы не расплакаться.

Больше она ничего не сказала. Она бережно мыла меня, и в первый раз мне хотелось, чтобы она двигалась поживее и скорей бы уже закончила. Потом я быстренько оделась, сказала «спокойной ночи» и ушла, оставив ее там. Идти обратно к себе в комнату мне не хотелось, так что я сбежала вниз до середины склона и сидела там в бамбуковых зарослях, пока не стемнело и не показались светлячки. Когда Мудзи ударила в большой колокол, отмечая окончание дня, я потихоньку вернулась в храм и забралась в постель.

На следующее утро я пошла искать Дзико и нашла ее в ее комнате. Она сидела на полу спиной к двери, согнувшись над низким

столиком. И читала. Я встала в дверях; заходить я не собиралась.

— Да, — сказала я ей. — Я злюсь, и что?

Она не повернулась, но было видно, что она слушает, так что я продолжала, вкратце обрисовав ей свою дерьмовую жизнь.

— И что я должна делать? Я же не могу исправить папины психологические проблемы, или доткомовский пузырь, или вшивую японскую экономику, или предательство моей так называемой подруги в Америке, или то, что надо мной в школе издеваются, или терроризм, или войну, или глобальное потепление, или истребление видов, верно?

— Со дэсу нэ, — ответила она, кивая, но все еще спиной ко мне. — Это правда. Ты со всем этим ничего не можешь поделать.

— Так, конечно, я злюсь, — сказала я со злостью. — А чего ты ожидала? Глупо было такое спрашивать.

— Да, — согласилась она. — Такое было спрашивать глупо. Я вижу, что ты злишься. Мне не нужно задавать таких глупых вопросов, чтобы это понять.

— Почему же ты спросила?

Она стала поворачиваться, медленно переставляя колени, пока, наконец, не развернулась ко мне полностью.

— Я спросила для тебя, — сказала она.

— Для меня?

— Чтобы ты могла услышать ответ.

Иногда старушка Дзико говорит загадками, и, может, потому, что я провела столько лет в Саннивэйле, у меня все еще есть сложности с пониманием японского, но в тот раз, думаю, я поняла, что она имеет в виду. После этого я начала рассказывать ей всякие мелочи, как оно было в школе и всякое такое, даже когда она не спрашивала. И пока я говорила, она просто слушала и все перебирала бусины дзюдзу по кругу, раз за разом, и я знала, что каждая бусина, которую она двигала, — это молитва за меня. Мелочь, казалось бы, но все-таки кое-что.

<105才>

[105]

Вот какую смску она только что мне прислала. Столько, говорит она, тебе должно быть лет, чтобы сознание стало по-настоящему

взрослым, но поскольку ей самой сто четыре, я практически уверена, она шутит.

Электричества не было четыре дня, для зимнего отключения относительно недолго. Во время этих блэкаутов они могли поддерживать компьютеры и бытовую технику в рабочем состоянии, только если генератор был исправен и пока у них было горючее. Когда оно кончалось, запас можно было пополнить, только если хотя бы на одной из двух заправок острова генератор был на ходу и дороги уже расчистили от упавших деревьев, которые, собственно, и обрывали провода.

Когда генератор прекращал работать, насос в колодце тоже останавливался, а это значило, что у них кончалась вода. Туалеты в доме, горячая вода из-под крана, ванна, электрический свет — на пятый день все это представлялось невообразимой роскошью из другого времени и с другой планеты.

— Добро пожаловать в будущее, — сказал Оливер. — Мы просто-таки опережаем время.

Рут бродила по дому, будто в темном, пропитанном керосином сновидении, прислушиваясь к шуму дождя и стенаниям ветра. Без привычного звукового фона — жужжания вентиляторов и компрессоров дом стоял в спокойном безмолвии. Сначала она еще ловила себя на том, что прислушивается, надеясь уловить рев двухмоторного гидроплана, везущего электриков, но на третий или четвертый день, так ничего и не услышав, она сдалась и дала тишине поглотить себя. Она сидела с котом перед дровяной плитой и читала при свете керосиновой лампы. Пыталась читать Пруста. Пыталась не читать дневник Нао, забегая вперед. По большей части глядела в огонь. Иногда в сумерках она стояла в дверях дома и слушала волков, рыскавших в окутанном туманом лесу. Их призыв начинался с низкого тревожного стога, к которому по мере того, как собиралась стая, по одному присоединялись другие голоса, сливаясь в общем, пробирающем до костей хоре, звучащем все более дико. Она поежилась. Оливер упрямо отправился на пробежку, несмотря на

дождь; она ждала его и беспокоилась. Она видела царапины от когтей кугуара на стволах деревьев за домом, свежий помет на дорожке, отпечатки волчьих лап на мокрой земле.

Популяция волков в последнее время увеличилась, и стаи осмелели. Они подходили к домам, крали кошек и заманивали собак в лес, чтобы съесть. В 1970-х, когда волки резали коров и овец, островитяне ответили облавой, преследуя волков по всему лесу, стараясь убить как можно больше, наваливая окровавленные трупы в кузова пикапов, как дрова. Люди помнили об этом до сих пор, и волки тоже, и потому долгое время их практически не было видно. Но теперь они вернулись. Работники природоохранной службы провинции приехали на остров, чтобы научить людей, как себя вести. Сбивайте их с толку, говорили они. Кричите на них. Швыряйте предметами. Легче сказать, чем сделать. Как-то она посмотрела из окна кабинета и увидела Оливера в беговых шортах, орущего и размахивающего огромной палкой — он гнал вверх по подъездной дорожке волка. Оливер бежал во всю мочь. Волк только отпрыгивал, особо не напрягаясь.

Как она дошла до такого? Как превратилась в женщину, которая боится, что ее мужа съедят волки и кугуары? Ответа у нее не было. Ее сознание пребывало в каком-то странном подвешенном состоянии.

Когда включилось электричество, дом перешел обратно в режим двадцать первого века: зажглись огни, замурлыкали бытовые приборы, забулькал насос аквариума, завздохали водопроводные трубы, и Рут, перепрыгнув через кота и запутавшись в кабеле, устремилась наверх проверить электронную почту. Мир вновь утвердился на своем месте во времени, и ее сознание опять было онлайн.

Она залогинилась. От профессора — ничего. Уже почти неделя прошла. Он ее игнорировал, или, может, у него там тоже случилось отключение? Бывают в Пало-Альто отключения электричества?

Она проверила прогноз погоды. Надвигался еще один шторм. Времени не было. Столько оборванных нитей, столько вопросов без ответа — она выбрала один, который, как ей казалось, легко разрешить. Она запустила браузер и набрала *«Сисёсэцу в Японии и нестабильность женского “Я”»*. Интернет для разнообразия работал быстро, будто вернулся из давно заслуженного отпуска. Через какие-то

секунды она вновь очутилась на сайте научного архива, и вот эта выдержка из статьи, которую она читала перед тем, как отключили свет. Она кликнула ссылку <читать дальше>, которая привела ее на сайт издания под названием «Журнал восточной метафизики». Великолепно. Статья была перечислена в указателе. Она кликнула на название, и выскочила та же выдержка; в этот раз внизу страницы была кнопка «ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС». Нажав на кнопку, она быстро заполнила форму заказа, а потом перевернула кабинет вверх дном в поисках кредитки. Здесь, на острове, она иногда по нескольку дней не вспоминала о кошельке и часто полностью теряла представление о его местонахождении. Наконец она нашла карточку за подушкой в уголке кресла и ввела номер в форму. Нажала кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ПОКУПКУ и стала ждать, когда начнется загрузка, но вместо этого появилось новое сообщение.

Запрошенная статья была удалена из базы данных и более

не доступна. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ваш заказ был аннулирован, средства с Вашей кредитной карты не будут списаны.

— НЕТ! — вскрикнула она так громко, что Оливер услышал ее из своего кабинета даже сквозь шумоподавляющие наушники. Он прервался на секунду, чтобы послушать, что будет дальше.

2

Снаружи, на кедре, росшем у поленницы, джунглевая ворона склонила голову набок. Она тоже слушала. Прошло несколько моментов, может, минута. В доме опять горели окна — светящиеся квадраты, парившие в темноте леса. Еще один крик, в этот раз более долгий, раздался из ближайшего к поленнице окна:

HEEEEEEEEEEt—!

Последовала тишина, а потом окно погасло. Ворона подняла черные блестящие плечи и нахохлилась, что было вороньим

эквивалентом пожатия плечами. Она взмахнула крыльями раз, другой, сорвалась со своего насеста и понеслась между тяжелыми кедровыми ветвями. Описала круг над крышей дома. Внизу, вытянувшись в неровную линию, сквозь заросли гаультерии гуськом бежала стая волков, шла по следу оленя. Ворона каркнула в знак предупреждения, на случай, если кто-то слушает, потом полетела выше, прочь от крыши на маленькой рощице среди леса, пока, наконец, не поднялась над плотным балдахином дугласовых елей.

Паря над верхушками деревьев, она видела все до моря Салишей и целлюлозного завода и городка заготовщиков леса у Кэмпбелл-Ривер. Круизный лайнер, направлявшийся на Аляску, шел по проливу Джорджии, сияя огнями, как утыканный свечами торт. Еще один круг, и еще, все выше и выше — и вот открылся вид на горную цепь острова Ванкувер, на вершину Голден Хайнд, на ледники, флюоресцирующие в лунном свете. Вдалеке простиралась гладь открытого океана, все дальше и дальше, но ворона не могла подняться достаточно высоко, чтобы увидеть дорогу домой.

## Нао

### 1

Настроение в «Фартучке» сегодня определенно какое-то странное, и я не знаю, смогу ли я много написать. Бабетта только что подходила спросить, не хочу ли я пойти на свидание (а я не хочу), но, когда я соврала, что у меня месячные, улыбка замерла у нее на лице, ставшем холодным и жестким, и она резко развернулась, чуть не выбив мне глаз кружевным подолом нижней юбочки. Не думаю, чтобы она поняла, что я вру, но уже ясно: вести дневник становится проблематично и мое асоциальное поведение начинает бесить Бабетту и других горничных. Надеюсь, они не заставят меня платить за столик, потому что это безумно дорого, и тогда мне придется искать другое место, где можно писать. Но я их вполне понимаю. Раньше мне это в голову не приходило, но теперь-то я знаю — писателя, который реально пишет, трудно назвать душой вечеринки, и в создание веселой, оживленной атмосферы в «Фартучке» я своего вклада не вношу.

Сегодня «Фартучек» еще более уныл, чем обычно.

Ну да ладно. Вот что происходит в моем мире. А как у тебя? Все о'кей?

### 2

Не знаю, почему я все время задаю тебе вопросы? Не то чтобы я ожидала ответа, и пусть даже ты ответишь, как бы я об этом узнала? Но, может, это и не важно. Давай так: вот я задаю тебе вопрос типа: «У тебя все о'кей?», а ты просто отвечай мне, и пусть услышать я не могу, но я буду просто сидеть здесь и представлять себе твой ответ.

Может, ты ответишь: «Да не вопрос, Нао. У меня все о'кей. Все просто прекрасно».

«О'кей, круто», — ответила бы я тебе, и мы улыбнулись бы друг другу сквозь время, как друзья, потому что мы теперь уже друзья, правда?

И раз мы друзья, есть кое-что, чем я хотела бы с тобой поделиться. Это инструкции Дзико, как развить в себе суперпауэр. Я думала, она шутит, когда она мне об этом сказала. Иногда трудно понять, шутит ли реально очень старый человек или нет, особенно если это монахиня. Мы тогда были на храмовой кухне, помогали Мудзи с соленьями. Дзико мыла огромные белые дайконы, а я резала их, солила и клала в пластиковые пакеты для заморозки. Это было уже после того, как Дзико обнаружила мои шрамы и я рассказывала ей о моих похоронах, и как одноклассники пели для меня Сердечную сутру, и как я стала живым призраком, и устроила нападение-татары на Рэйко, и проткнула ей глаз. Дзико стояла у раковины и скребла огромный старый дайкон, который был длиннее и толще ее руки, а когда я закончила рассказывать, она плюхнула дайкон на кучу других редисок, которые мы складывали рядом с ней в виде поленницы, и сказала:

— Ну, Наттчан, беспокоиться тут не о чем. На самом деле ты не умерла. Похороны были ненастоящими.

Я такая, — э-э? Это мне вроде и так уже было известно.

— Они не ту сутру читали, — объяснила она. — Шингьо на похоронах не читают. Надо читать Дай Хи Шин<sup>[106]</sup>.

А потом, не успела я сказать ей, какое это огромное облегчение, она добавила:

— Наттчан. Я думаю, надо, что бы у тебя были свои собственные силы. Думаю, лучше всего для тебя было бы иметь суперпауэр.

Она говорила на японском, но тут она использовала английское слово *superpower*, только произнесла она это, скорее, как супа-пава. Очень быстро. *Супапава*. Или даже вот так: *СУПАПАВА!*..

— Как у супергероя? — спросила я, тоже использовав английское выражение.

— Да, — сказала она. — Как *СУПЕРХИРО!*.. с *СУПАПАВА!*..

Она сощурилась, глядя на меня сквозь толстые стекла очков:

— Тебе бы это понравилось?

Странновато слышать, как очень, очень старый человек рассуждает о супергероях и суперспособностях. Супергерои и суперспособности — это для молодежи. Да вообще, у них хоть были супергерои, когда Дзико была ребенком? У меня сложилось впечатление, что в старые времена у них были только призраки, и

самураи, и демоны, и «они». Не СУПЕРХИРО!.. с СУПАПАВА!.. Но я только кивнула.

— Хорошо, — она медленно вытерла руки, сняла фартук и выдала Мудзи пару инструкций насчет солений, а потом взяла меня за руку.

Сначала мы пошли в то место, где моют ноги, и сказали маленькую ногоомывательную молитву, которая звучит вот так:

Когда я омываю ноги  
Пусть ко всем существам, обладающим сознанием,  
Придет сила сверхъестественных ног,  
И не будет им препятствий в их поиске.

Конечно же, я сразу стала думать о способности сверхъестественных ног и как мне хотелось бы иметь хоть чуточку такой суперсилы, но мне, наверное, не особо хотелось, чтобы у всех существ тоже были такие ноги, потому что тогда какой смысл? Вот вам и разница между мной и старушкой Дзико. Уверена, уж ей-то хотелось бы, чтобы у всех существ были сверхъестественные ноги. Короче, мы омыли ноги, и она повела меня внутрь хондо<sup>[107]</sup>.

Хондо — это особая комната, очень темная и очень тихая. Здесь стоит большая золотая статуя Шака-сама и другая, поменьше, лорда Мондзю, Господина Мудрости<sup>[108]</sup>, у другой стены, и перед каждым — специальное место, где стоят свечи и где можно возжигать благовония. У Дзико с Мудзи куча времени уходит на ритуалы, но в храм теперь приходит совсем немного данка, потому что большинство народу в деревне либо уже умерли, либо состарились, а молодым религия особо не интересна, и вообще все они поужезжали в город, чтобы найти работу и вести интересную жизнь. Это как устраивать вечеринку, на которую никто не придет. Но старушку Дзико, похоже, это не напрягает.

Существует множество ритуалов, которые нужно совершать, даже в таком маленьком храме, как у Дзико. Мудзи мне как-то все объяснила. Время от времени их навещает пара монахинь из большого главного храма, узнать, как дела, и помочь с церемониями поважнее. Они очень милые. Когда Дзико умрет, одна из них, вероятно, переедет в храм помогать Мудзи, если, конечно, главный храм не решит продать Дзигэндзи застройщикам, которые, скорее всего, старые здания снесут,

чтобы устроить здесь горячие источники или поле для гольфа. У старушки Дзико делается грустный вид, когда об этом заходит речь. Маленький храм разваливается на части, и денег на реставрацию нет, а Мудзи говорит, она вообще удивляется, как он до сих пор держится на склоне. Она беспокоится насчет землетрясений и боится, что здания просто рухнут и съедут вниз в ущелье, и их смоеет в море.

Дзадзэн проводился обычно безумно рано, типа, в пять часов утра, когда я еще спала, плюс еще раз вечером после ужина, когда я была уже слишком уставшей. На самом деле, я немного нервничала насчет всего этого дела с медитацией, потому что не особо люблю сидеть неподвижно, но мне понравилось в хондо, и когда Дзико показала мне, как возжигать благовония перед господином Мондзю — надо прикоснуться палочкой ко лбу, прежде чем воткнуть ее в чашку с пеплом — мне стало интересно. Она совершила три поклона райхай<sup>[109]</sup>, и я тоже, так, как она меня учила, — встала на колени, локти и лоб прикасаются к полу, руки подняты ладонями вверх, к потолку. Потом, когда мы закончили, она подвела меня к дзафу<sup>[110]</sup>, сказала сесть, и вот тогда-то она дала мне эти инструкции.

Хмм. Погоди-ка секундочку. Я ее вообще-то не спрашивала, можно ли тебе это рассказывать, и вот теперь подумала, что надо бы у нее сначала спросить.

О'кей, я отправила ей смску и спросила, можно ли мне рассказать другу, как делать дзадзэн. Ей, наверно, понадобится некоторое время, чтобы ответить, но поскольку в «Фартучке» сейчас абсолютно тухло и никто меня не беспокоит, я как раз могу рассказать тебе, как Дзико стала монахиней. Она как-то рассказала мне эту историю, довольно печальную. Это произошло сразу после войны. В Японии, если ты говоришь «после войны», люди сразу понимают, что речь идет о Второй мировой, потому что это была последняя война, в которой принимала участие Япония. В Америке по-другому. Америка постоянно участвует в войнах то здесь, то там, так что приходится уточнять. Когда я жила в Саннивэйле, «после войны» значило «после войны в Персидском заливе», и большинство моих друзей в школе даже не знали, что это за Вторая мировая, потому что она была так давно, и с тех пор была еще куча войн.

И вот что забавно. Американцы называют эту войну Второй мировой, но японцы в основном говорят о ней как о «Великой

Восточно-Азиатской», и, оказывается, в двух странах существуют совершенно противоположенные версии того, кто начал эту войну и что случилось потом. Большинство американцев уверено, что во всем виновата Япония, потому что Япония вторглась в Китай, чтобы отнять у китайцев их нефть и природные ресурсы, и Америке пришлось вмешаться, чтобы это прекратить. Но многие японцы считают, что первой начала Америка, наложив все эти ничем не обоснованные санкции, и Япония недополучала нефть и еду, и японцы такие, ооооой, мы ж только бедное, несчастное, маленькое островное государство, которое без импорта выжить не может, и т. д. Согласно этой теории, Америка вынудила Японию начать войну в качестве самозащиты, а то, что они там делали в Китае, вообще Америки никак не касалось. Так что Япония взяла и напала на Перл-Харбор, про что многие американцы говорят, это было как 9/11, и тогда Америка разозлилась и тоже объявила войну. Так они и воевали, пока Америке не надоело и она не сбросила атомные бомбы на Японию, полностью стерев с лица земли Хиросиму и Нагасаки, что, по мнению большинства, было уже чересчур, потому, что они и так уже выигрывали.

Примерно в это же время единственный сын Дзико, Харуки № 1, изучал философию и французскую литературу в Токийском университете, когда его призвали в армию. Ему было девятнадцать, всего на три года больше, чем мне сейчас. Простите, конечно, но я бы точно с ума сошла, если бы кто сказал мне, что через три года надо будет идти на войну. Я же еще ребенок!

Дзико сказала, что Харуки это тоже сводило с ума, потому что он был мирный парень. Вот ты сидишь в своей комнатухе в общежитии, греешь ноги над жаровней с углями, потягиваешь зеленый чай и, может, почитываешь *À la recherche du temps perdu*, а через два месяца ты уже в кабине бомбардировщика без шасси, пытаешься удержать нос самолета направленным в борт американского военного корабля и знаешь, что через несколько мгновений ты взорвешься, станешь большим огненным шаром и полностью аннигилируешь. Только подумай, насколько это ужасно. Я даже представить себе не могу. То есть, вот вам и «там пердю»! Знаю, я тут все повторяю, что собираюсь уйти из времени, закончить жизнь, но это же совсем другое, это же мой собственный выбор. Харуки № 1 не выбирал становиться огромным огненным шаром и не собирался полностью аннигилировать, и, судя

по рассказам Дзико, он был не только мирным, но еще и веселым, оптимистичным парнем, и ему вообще-то нравилось жить, что совершенно не похоже на нашу с папой ситуацию.

Вот я сказала, что не могу представить себе, насколько это было ужасно, — все-таки, наверно, могу, пусть немного. Если взять вместе все те чувства, которые у меня были, когда мы паковали чемоданы в Саннивэйле, и когда мама увидела мои шрамы в сэнто, и когда папа упал на рельсы, и когда мои одноклассники запытали меня до смерти, а потом усилить все эти чувства в сто тысяч миллионов раз, тогда, наверно, это будет хоть немножко похоже на то, что чувствовал мой двоюродный дед Харуки № 1, когда его призвали в силы специального назначения и заставили стать пилотом-камикадзе. Это то самое чувство, когда холодная рыба умирает у тебя в животе. Ты стараешься забыть об этом, но, только ты забываешь, рыба опять начинает трепыхаться у тебя под сердцем, напоминая, что произошло что-то совершенно ужасное.

Дзико тоже это почувствовала, когда узнала, что ее единственный сын будет убит на войне. Я знаю это, потому что рассказала ей про рыбу в животе, и она сказала, что прекрасно понимает, о чем речь, потому что у нее тоже была такая рыба, много лет. На самом деле она сказала, у нее много было таких рыб, некоторые — маленькие, как сардины, другие — среднего размера, вроде карпа, а другие были большие, как голубой тунец, но самая большая была от Харуки № 1, и она была, скорее, размером с кита. Еще она сказала, что, когда она стала монахиней и ушла от мира, она научилась, как открывать свое сердце, чтобы кит мог уплыть. Я тоже пытаюсь этому научиться.

Когда Дзико поняла, что ее единственный сын погибнет, став пилотом-самоубийцей, она тоже хотела совершить самоубийство, но не могла, потому что ее младшей дочери, Эме, было всего пятнадцать лет и она была ей нужна. Поэтому вместо самоубийства Дзико решила подождать, пока Эма станет чуть старше и сможет быть независимой, и тогда она обреет себе голову и станет монахиней и посвятит остаток жизни тому, чтобы учить людей жить в мире, и, в общем, именно так она и поступила.

Старушка Дзико говорит, что мы, сегодняшняя молодежь в Японии, очень хэйвабокэ<sup>[111]</sup>. Не знаю, как это перевести, но, в общем, это значит, что мы бестолковые и неосторожные из-за того, что

не понимаем, что такое война. Она говорит, что мы думаем, будто Япония — мирная нация, потому что родились после того, как закончилась война, и мир — это все, что мы помним, и нам это нравится, но на самом деле всю нашу жизнь определила война, наше прошлое, и нам надо это понимать.

Если хочешь знать мое мнение, Япония не такая уж и мирная, и большинству людей мир на самом деле не нравится. Я верю, что в самой глубине души люди полны насилия и им доставляет удовольствие причинять друг другу боль. В этом мы с Дзико расходимся. Она говорит, что в соответствии с буддийской философией моя точка зрения — это иллюзия, и что по природе, изначально, мы добрые и хорошие, но, честно, я думаю, она тут перебарщивает с оптимизмом. Я вот знаю пару людей, вроде Рэйко, которые по-настоящему злы, и многие Великие умы философии Запада меня в этом поддерживают. Но все же я рада, что старушка Дзико верит в нашу изначальную доброту, это дает мне надежду, даже если я не могу поверить в это сама. Может, я и смогу — когда-нибудь.

О, погоди-ка. Круто. Дзико только что прислала мне в ответ смску, она говорит, все о'кей, я могу научить тебя дзадзэн, если мы оба относимся к этому серьезно и не будем валять дурака. Я дурака не валяю, а ты? Не думаю, что ты кого-то там валяешь. По крайней мере, я собираюсь вообразить, что ты не валяешь, и, тогда, наверно, ты и не станешь. Я просто дам тебе инструкции, и если ты не захочешь их выполнять, можешь этот кусок пропустить.

## **ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЗАДЗЭН**

Первым делом тебе надо сесть, что, наверно, ты и так делаешь. Традиционный способ — сидеть на дзафу или на полу со скрещенными ногами, но, если хочется, можно сидеть и на стуле. Важно то, чтобы у тебя была хорошая осанка, нельзя горбиться или опираться на что-то.

Теперь можешь положить руки на колени, одну на другую, так, чтобы тыльная сторона левой ладони лежала в правой, а большие пальцы были согнуты и соприкасались вверху, образуя кружок. Точка, в которой соединяются большие пальцы, должна быть на одном уровне с пупком. Дзико говорит, такой способ держать руки называется

хоккай дзё-ин<sup>[112]</sup> и символизирует всю вселенную, которую ты держишь на коленях, как прекрасное огромное яйцо.

Потом ты расслабься и просто сиди совсем неподвижно, сосредоточившись на дыхании. Только не нужно насчет этого напрягаться. Ты вроде как и не думаешь о дыхании, но и не не думаешь об этом тоже. Это как ты сидишь на пляже и смотришь, как волны набегают на песок, или видишь, что какие-то детишки, тебе незнакомые, играют где-то вдалеке. Ты просто замечаешь все, что происходит, внутри тебя и снаружи, в том числе, как ты дышишь, и детишек, и волны, и песок. Вот, в общем-то, и все.

Звучит довольно просто, но когда я попробовала в первый раз, меня постоянно отвлекали все мои безумные мысли и навязчивые идеи, а потом у меня все ужасно зачесалось, будто по мне многоножки ползают. Когда я объяснила это Дзико, она сказала мне дышать вот так:

Вдох, выдох... раз.

Вдох, выдох... два.

Она сказала мне сосчитать вот так до десяти, а потом, когда я дойду до десяти, опять начать заново. Я такая, да без проблем, Дзико! И вот я считаю, и тут у меня в голове вспыхивает какая-нибудь безумная фантазия о мести одноклассникам, или ностальгическое воспоминание о Саннивэйле, и концентрацию сносит напрочь. Как тебе, наверно, уже понятно, сознание у меня, благодаря СДВ, постоянно трепетя, как мартышка, иногда я даже до трех не могу досчитать. Представляешь? Неудивительно, что я так и не попала в приличную старшую школу. Но хорошая новость в том, что в дзадзэн налажать нельзя. Дзико говорит, даже не думай об этом как о неудаче. Она говорит, для человеческого сознания совершенно естественно думать, потому что оно для этого и существует, так что, если тебя отвлекают всякие сумасшедшие мысли, переживать не нужно. Это пустяки. Просто отметь, вот, это произошло, и отпусти — типа, ну и что? — и опять начни с начала.

Раз, два, три и т. д. Вот и все, что тебе надо делать. Кажется, ничего особенного, но Дзико уверена, что если ты будешь делать это каждый день, то достигнешь пробуждения сознания и разовьешь в себе СУПАПАВА!.. Я пока занимаюсь довольно усердно, и, как втянешься, это становится не так уж и сложно. Что мне нравится, это когда ты сидишь на дзафу (или, если у тебя нет под рукой дзафу,

например, если ты в поезде или на коленях в кругу подростков, которые бьют тебя или собираются сорвать с тебя одежду, другими словами, неважно, где ты находишься), и возвращаешься сознанием в дзадзэн, чувство такое, будто вернулся домой.

Может, для тебя в этом нет ничего особенного, потому что у тебя и так есть дом, но для меня — притом, что у меня никогда не было дома, кроме как в Саннивэйле, а этот дом для меня потерян, — это действительно важно. Дзадзэн — это дом, который ты не потеряешь никогда, и я делаю это опять и опять, потому что мне нравится это чувство. А еще я верю старушке Дзико, и в любом случае, попытка не пытка, и я попробую смотреть на мир немножко оптимистичнее, как это делает она.

Еще Дзико говорит, что делать дзадзэн — это значит полностью погружаться во время.

Мне это очень нравится.

Вот что сказал об этом старый дзэновский учитель Догэн:

Думай не-думание  
Как думать не-думание?  
Не думая. В этом и есть искусство дзадзэн.

В общем, смысла в этом не особо много, пока не сядешь и не сделаешь. Я не говорю, что тебе обязательно надо это делать. Просто говорю, что я думаю сама.

# Рут

## 1

Раз. Два. Три. Когда бы Рут ни пыталась сидеть тихо и считать вдохи, ее сознание медленно, душно сжималось, как кулак, вокруг ее вселенского яйца, и она засыпала.

Опять и опять.

Как это может привести к пробуждению сознания? Ощущение было, как от скуки. Ощущение было, как когда отключалось электричество. Но Нао была права. Это ощущение было, как дом, и она не была уверена, что это ей нравилось.

## 2

Снова и снова, попытка за попыткой. Голова у нее падала на грудь, она резко просыпалась и начинала считать, но засыпала снова и снова. В промежутках между бодрствованием и дремотой она парила в смутном пограничном состоянии, которое не было сном, но постоянно балансировало на грани. Она висела там, полностью погрузившись и медленно вращаясь, как частичка флотсема под самой поверхностью волны, которая вечно готова рассыпаться брызгами.

## 3

*А если я так далеко зайду во сне, что не успею вернуться, когда надо будет проснуться?*

Рут как-то спросила об этом отца, когда была маленькой. По вечерам он подтыкал ей одеяло, целовал в лоб и желал приятных снов, но пожелание это всегда заставляло ее тревожиться. *Что, если мои сны не будут приятными? Что, если они будут страшными?*

— Напомни себе, что это всего лишь сон, — сказал он, — а потом проснись.

*Но что, если я не успею вернуться вовремя?*

— Тогда я приду за тобой и приведу обратно, — сказал он, выключая свет.

#### 4

— Может, не надо так уж стараться, — сказал Оливер. — Может, тебе стоит устроить перерыв?

Он стоял в дверях ее кабинета и смотрел, как она поправляет на полу подушку.

— Не могу я перерывы устраивать, — сказала она, вновь усаживаясь и скреживая ноги. — Вся моя жизнь — один сплошной перерыв. Мне нужно это сделать, правда.

Она сместила центр тяжести вперед и выгнула спину. Может, ей слишком удобно. Может, ей должно быть неудобно. Она потянулась за спину, подоткнула подушку и попробовала опять.

— Может, ты просто устала, — сказал Оливер. — Может, стоит прекратить медитировать и вздремнуть.

— Вся моя жизнь — это дремота. Мне необходимо проснуться. — Она закрыла глаза и выдохнула. И немедленно ощутила глухое бормотание усталости, давящее откуда-то изнутри, тянущее вниз. Она потрясла головой и опять открыла глаза.

— Слушай, — проговорила она. — Ты же сам сказал, что Вселенная дает нам шансы. Вселенная дала мне Нао, а Нао говорит, что это — способ пробудиться. Может, она права. В любом случае, я хочу попробовать. Мне нужно хоть что-то. Мне нужна супапава.

Она опять закрыла глаза. Ее суперспособностью было ее сознание, и она хотела получить его обратно.

— Ладно, — сказал он. — Хочешь пойти пособирать двустворок и устриц после того, как закончишь? Дождик прекратился, и отлив сейчас низкий.

— Конечно, — сказала она, не открывая глаз.

Кот, который точил когти о косяк, протиснулся у Оливера между ног, решительно направился к ней и сунул голову прямо в мудру, между большими пальцами.

— Пестицид, — сказала она, разрывая круг космического яйца, чтобы почесать у него за ухом. — Оливер, если можно, заberi, пожалуйста, своего кота и закрой за собой дверь.

— Это его суперспособность, — сказал Оливер, подхватывая кота. — Он знает, как доставать людей.

В дверях он опять остановился, все еще с котом под мышкой:

— За ракушками нужно идти поскорее, пока отлив. Ты сколько еще собираешься сидеть? Хочешь, я зайду и разбужу тебя?

## 5

Их любимый ракушечный «сад» показала им когда-то Мюриел. Островитяне хранили множество тайн: секретные ракушечные «сады» и устричные отмели, секретные грибные места, где росли мацутаке и лисички, секретные посадки марихуаны, тайные списки телефонов, по которым можно было раздобыть лосося и палтуса, мясо и сыр, и непастеризованные молочные продукты. За последние пару лет бакалейные лавочки острова (их было три) расширили ассортимент, и теперь в них можно было купить бóльшую часть необходимых продуктов, но в старые времена, если ты был новичком, то мог помереть с голоду без помощи какого-нибудь старожилы, который сжалился бы над тобой и посвятил бы в парочку тайн.

Ракушечный «сад» был на западной стороне острова — отмель, глядевшая в глубокие холодные воды Прохода. Устрицы там были маленькими и очень вкусными, и двустворок было полно. Мюриел говорила, что «сад» был очень древним, что за ним приглядывали поколения салишей, но теперь здесь мало кто собирал «жатву», и это было плохо, потому что «садам» полезны частые жатвы. И все же, копнув песок, они каждый раз доставали с десятков или больше жирных двустворок, и минут через двадцать у них уже был набран их дневной лимит — сто пятьдесят литтлнеков<sup>{14}</sup> и тридцать устриц.

Они уселись на гладком камне прямо над песчаной отмелью, откуда открывался вид через залив, на иззубренный силуэт гор на той стороне. Темное индиго неба было усеяно мазками легких облачков, отражавших умирающий свет дня. Над головой уже высыпали первые звезды. Мелкие волны лизали камень у их ног.

Оливер взял банку пива из кармана пальто, вскрыл и передал Рут. Вытащил устричный нож и лайм. Блеснул нож, верхняя половинка раковины описала дугу и ушла в темную глубину под волнами. Нижнюю половинку он вручил ей. Вскрытый моллюск блестел на

перламутровом фоне раковины; пухлый комочек мяса с темной каймой. Ей показалось, он дернулся, когда она сбрызнула его лаймом.

Приняв подношение, она поднесла раковину к губам и дала устрице соскользнуть в рот. Вкус был прохладным и свежим. Он вытащил еще одну из ведерка, вскрыл и высосал мякоть.

— Аааах, — вздохнул он. — *Crassostrea gigas*. Суть моря. — Он запил устрицу хорошим глотком пива.

У него был такой счастливый вид. И здоровый тоже. Когда он был болен, то сильно сбросил вес. Приятно было видеть, в какой он хорошей форме. Она подумала об устричном фермере, Блэйке, и о том, что он сказал о радиации, и о том, что Мюриел сказала о дрефте.

— Ребята, которые устрицами занимаются, беспокоятся насчет радиоактивного загрязнения, — сказала она. — Из-за Фукусимы. Ты что думаешь?

— Тихий океан — довольно большая штука, — ответил он. — Хочешь еще одну?

Она помотала головой.

— Какая ирония, — сказал Оливер. — Эта тихоокеанская устрица — не местный вид.

Она это знала. Все это знали. Невозможно было жить на острове и не знать. Устричные фермы — самая близкая к промышленности вещь, какая у них была после того, как опустели нерестилища лосося, а большие деревья были вырублены.

— Они были интродуцированы в 1912-м или 13-м, — сказал он. — Но по-настоящему акклиматизировались только в тридцатых. Зато уж потом они выжили все остальное. Местные, более мелкие виды были полностью вытеснены.

— Да, — сказала она. — Я знаю.

— Раньше по берегу можно было босиком ходить. Так старожилы говорят.

Об этом она тоже слышала. Теперь местные пляжи были покрыты острыми, как нож, раковинами устриц; трудно было себе представить, как тут можно было ходить босиком.

— А при чем здесь ирония?

— Ну, может, ирония — неправильное слово. Просто *Crassostrea gigas* вообще-то родом из Японии. Из Мияги, кстати. На самом деле их второе название — «устрица Мияги». Это ведь оттуда твоя монахиня?

— Да, — сказала она, чувствуя, как необъятный Тихий океан вдруг стал немного уже. — Я этого не знала.

Холод камня проник сквозь ткань ее джинсов. Она встала и попрыгала, чтобы согреться. Было еще слишком холодно для того, чтобы сидеть на камнях и пить пиво, но она была не против. Свежесть морского воздуха в легких растворила сонливость и мутное ощущение клаустрофобии, овладевшее ею после целого дня, проведенного за компьютером. Здесь она наконец ощутила, что проснулась.

— Ты хоть понимаешь, насколько нам повезло? — говорил Оливер. — Жить в таком месте, где вода до сих пор чистая? Где мы все еще можем есть ракушки?

Она подумала о салишах, которые когда-то ухаживали за этими садами. Ей стало интересно, когда на отмелях Манхэттена добыли последнюю устрицу. Она подумала об утечке на Фукусиме. Она подумала о храме старой Дзико, лепившемся к горному склону в Мияги. Или уже нет?

— Интересно, сколько нам осталось времени... — сказала она.

— Кто знает? — ответил он. — Лучше наслаждайся, пока можно.

Он протянул ей устрицу. Пальцы у него были обветренные и мокрые.

— Хочешь еще одну?

— Можно, — острый край раковины у губ, мягкость холодной плоти на языке. Она проглотила, смакуя соленую влагу. Вокруг их камня поднимался прилив; волны подкрадывались к ногам.

— Я замерзла, — сказала она. — Пошли домой.

# Нао

## 1

Тебе когда-нибудь приходилось издеваться над волной? Бить ее? Колотить? Пинать? Щипать? Бить палкой до смерти?

Глупо.

Как-то раз, уже после того как старушка Дзико обнаружила мои шрамы, она взяла меня с собой в город, по делам. На обратном пути ей захотелось купить рисовых колобков, и газировки, и шоколадок. Она носилась с идеей, что мы можем сесть на автобус до океана и устроить пикник. Мне было, в общем, все равно, но она явно думала, что для меня будет просто праздником поесть еды из магазина и поиграть у моря, так что я такая, ну ладно — ну ты понимаешь, я не стала упираться, кому захочется разочаровывать человека, которому уже сто четыре.

Из-за своих катаракт Дзико не очень хорошо ходила, и она всегда брала с собой палочку, но на самом деле она ужасно любит, когда ты держишься с ней за руки. Мне кажется, когда она держится за руку, то чувствует себя увереннее, так что у меня вошло в привычку всегда брать ее за руку, когда я была рядом, и, если совсем честно, мне это нравилось. Мне нравилось чувствовать ее тоненькие пальцы в своих. Мне нравилось быть тем, кто сильнее, и ощущать рядом ее крошечную фигурку. Я чувствовала себя полезной. Когда меня не было рядом, она пользовалась палочкой. Мне нравилось чувствовать, что я полезнее палки.

Перед тем как сесть на автобус до моря, Дзико хотела зайти в Family Mart в городе, купить все для пикника, но на парковке у входа болталась шайка девиц-янки<sup>[113]</sup>, так что я соврала и сказала, что есть не хочу. Это были телки-байкерши из «племен скорости»<sup>{15}</sup>. — вытравленные желтые и оранжевые лохмы, мешковатые штаны, как у рабочих на стройке, и развевающиеся лабораторные халаты вроде тех, что носят доктора и ученые, только не белые. Халаты были кислотно-ярких расцветок, с намалеванными поверх жирными черными кандзи. Девы сидели на корточках на тротуаре у двери, курили и жевали

жвачку. Парочка из них опирались на деревянные мечи, такие, знаешь, для кэндо, и я такая, ну нет, бабушка, я правда совсем не голодная, но старушка Дзико уже вложила душу в этот будущий пикник ради меня, и что я могла поделаться? Я сжала ее маленькую руку очень крепко, и, когда мы подошли к девицам, одна из них плюнула нам прямо на ноги, а остальные начали говорить всякие вещи. Ничего нового я не услышала, спасибо школе, но все же это был шок, потому что Дзико такая старенькая, как можно говорить всякие грубости насчет манко<sup>[114]</sup> и чинчин<sup>[115]</sup> старушке-монахине? Шли мы мимо них целую вечность, потому что Дзико ходит так медленно, а они вроде как загораживали нам дорогу. Они все орали и плевались, и я чувствовала, как дико стучит у меня сердце и лицо становится горячим, хотя Дзико и глазом не моргнула.

Наконец мы вошли в Family Mart. Все время, пока мы выбирали рисовые колобки и напитки и решали, хотим мы купить на десерт шоколад или кексики со сладкими бобами, или и то, и то, я всё поглядывала в окно на девиц, сидевших на корточках снаружи. Я знала, когда мы будем уходить, они нам еще много всего скажут. Может, они будут кидать в нас чем-нибудь, а может, поставят подножку. Может, они проследят за нами до пляжа, и подговорят своих парней изнасиловать нас и избить, и сбросить наши мертвые тела в океан, а может, они и сами сделают дело с помощью деревянных мечей. В школе я уже привыкла представлять, как подобные вещи происходят с моим телом, потому меня это не так уж беспокоило, но идея, что кто-то может навредить моей Дзико, была для меня совершенно новой, и от этого мне хотелось блевать.

Но старушка Дзико не обращала внимания ни на что. Она полностью посвятила себя выбору рисовых колобков с начинкой и, в конце концов, остановилась на соленой сливе, ароматизированной морской капусте и острой тресковой икре. Она хотела, чтобы я выбрала шоколадки — Rocky или Melty Kisses, или и то, и то? — но как я могла сосредоточиться на таких пустяках? Я должна была защитить нас от врагов, поджидавших за дверью, даже если она была слишком слепой и старой, чтобы понимать всю опасность нашего положения; и я пыталась подсчитать свои шансы против десятка сучек-янки с нехилыми мечами, и все, что у меня при этом было, — моя несчастная *супанава*!

Расплатиться на кассе у Дзико заняло целую вечность — ты знаешь, как оно бывает со стариками и их кошельками для мелочи, — но я не возражала и не предложила помочь. Я вроде как надеялась, что на это у нее уйдет весь день и к тому времени, как она закончит, шайки уже здесь не будет, но нет, куда там. Они все еще были здесь, сидели на корточках на тротуаре, и только мы вышли, они стали на нас надвигаться, поплеывая и примеряясь. Я попыталась поскорее провести мимо них Дзико, но ты знаешь старушку Дзико. Она никогда не торопится. Девицы начали орать, и чем ближе мы подходили, тем пронзительнее и визгливее становились вопли. Я выдвинулась вперед, но когда мы с ними поравнялись, Дзико вдруг остановилась. Она развернулась к ним лицом и стала разглядывать, будто только что их заметила, а потом потянула меня за руку и начала продвигаться в их направлении.

Я потянула ее назад, шепча: «Дамэ да йо, Обаачама! Ико йо!»<sup>[116]</sup>, — но она не слушала. Она подошла, встала прямо перед ними и окинула долгим, внимательным взглядом — так она на все смотрит. Подолгу и внимательно, может, потому, что изображению требуется некоторое время, чтобы проникнуть сквозь мутные линзы ее катаракт. Девицы, с их яркими, вырви-глаз, штанами и синими, оранжевыми, красными лабораторными халатами с жирными черными кандзи, ей, наверно, казались сплошной мешаниной линий и пестрых красок.

Никто ничего не говорил. Девицы выпячивали бедра и подбородки, беспокойно переступая с ноги на ногу. Наконец старушка Дзико поняла, на что она смотрит. Она отпустила мою руку, и я задержала дыхание. А потом она поклонилась.

Я просто поверить не могла. И это был не просто поклон. Это был глубокий поклон. И девицы такие, какого хрена? Одна из них, толстуха, сидевшая на корточках в переднем ряду, вроде как кивнула — не поклон, нет, не особо уважительно, но и не плевков в лицо. Но тут высокая девица в середине, явно девица-босс, потянулась и дала ей увесистый подзатыльник.

— Намэтэн но ка! — прорычала она. — Чутохампа нан да йо. Чанто одзиги мо декиней но ка?!<sup>[117]</sup>

Она еще раз стукнула толстуху, и та встала прямо, сложила вместе ладони и глубоко поклонилась от пояса. Вся остальная банда

быстренько подхватила и сделала то же самое. Дзико опять им поклонилась и пихнула меня локтем, так что я тоже поклонилась, но сделала это халтурно, и она заставила меня сделать это еще раз, и теперь мы вроде как были квиты, потому что теперь Дзико была как лидер нашей банды, а я — как неуклюжая толстуха, которая даже поклониться не умеет. Мне это не показалось таким уж забавным, но банда явно считала, что это просто оборжаться, и Дзико тоже улыбнулась, а потом она взяла меня за руку, и мы ушли. Когда подошел автобус, Дзико села у окна и оглянулась назад, на парковку.

— Интересно, что за омацури<sup>[118]</sup> сегодня? — сказала она.

— Омацури?

— Да, — сказала она. — Эти симпатичные молодые люди, все одетые к омацури. У них был такой веселый вид. Интересно, по какому случаю... Мудзи обычно помнит такие вещи...

— Это не омацури! Это была банда, Ба. Байкерши. Девушечки-янки.

— Это были девушки?

— Плохие девушки. Малолетние преступницы. Они такое говорили! Я думала, они нас избьют.

— Ну нет, — сказала Дзико, покачивая головой, — они все были так симпатично одеты. Такие веселые цвета.

## 2

— Ты когда-нибудь пробовала издеваться над волной? — спросила у меня Дзико на пляже.

Мы уже съели рисовые колобки и шоколадки и теперь просто приятно проводили время. Дзико сидела на деревянной скамеечке, а я лежала на песке у ее ног. Жарило солнце. Дзико повязала вокруг лысой головы влажное полотенце и была свежа, как огурчик, в своей серой пижаме. Мне было жарко, я вспотела и не могла найти себе места, но купальника я с собой не взяла, и по-любому купаться мне не хотелось. Но она не об этом спрашивала.

— Издеваться над волной? — повторила я. — Нет. Конечно, нет.

— Попробуй. Пойди в воду, подожди самую большую волну и стукни. Пни ее хорошенько ногой. Ударь палкой. Давай. Я посмотрю. — Она вручила мне свою палочку.

Кругом никого не было, кроме парочки серферов вдалеке от нас, дальше по берегу. Я взяла палочку Дзико и сначала пошла, а потом побежала к морю, размахивая над головой палкой, как мечом кэндо. Волны были большими, они свирепо обрушивались на берег, и я бежала на первую попавшуюся волну, которая тоже неслась на меня, и вопила при том «*кияши!*», как самурай, идущий на битву. Я ударила волну палкой, разбив поверхность воды, но волна продолжала двигаться. Спасаясь, я отбежала обратно к берегу, но следующая волна сбила меня с ног. Я поднялась, я атаковала снова и снова, и каждый раз вода обрушивалась на меня, возила лицом по камням и покрывала песком и пеной. Мне было плевать. Мне было приятно ощущать обжигающий холод, и жестокость волн была такой мощной и такой реальной, и соленая горечь в носу была щипучей и вкусной.

Снова и снова я бежала на море и била его, пока не устала так, что еле могла стоять. И когда я упала в следующий раз, я просто лежала там, и волны перекатывались через меня, и мне стало интересно, что бы случилось, если бы я не стала вставать. Просто отпустила бы собственное тело. Смыло бы меня в море? Акулы сожрали бы мои руки и ноги, и внутренние органы тоже. Мелкие рыбки объели бы кончики пальцев. Мои белые кости, такие красивые, упали бы на дно океана, и анемоны выросли бы на них, как цветы. Жемчужины бы легли в глазницы. Я поднялась и пошла обратно, туда, где сидела старушка Дзико. Она сняла с головы маленькое полотенце и протянула мне.

— Макэта, — сказала я, шлепаясь на песок. — Я проиграла. Океан победил.

Она улыбнулась:

— Это было приятное чувство?

— Мм, — сказала я.

— Это хорошо, — сказала она. — Хочешь еще рисовый колобок?

### 3

Мы посидели еще немного, подождали, пока высохнут мои футболка и шорты. На пляже в отдалении серферы все продолжали падать в воду и исчезать.

— Волны и их тоже все время побеждают, — сказала я, указывая на них пальцем.

Дзико сощурилась, но не могла разглядеть их сквозь свои цветы пустоты.

— Вон там, — сказала я. — Видишь вон того? Вот он встает... стоит... стоит... о, упал. — Я засмеялась. Смотреть было смешно.

Дзико кивнула, будто соглашаясь со мной.

— Вверх, вниз, одно и то же, — сказала она.

Типичный комментарий Дзико насчет все той же природы бытия — она называет это «не-два»<sup>[119]</sup>, и это когда я всего лишь пытаюсь понаблюдать за симпатичными серферами в естественном окружении. Спорить с ней я не собиралась, потому что она всегда выигрывает, но это как та шутка про «тук-тук», где ты просто обязан спросить: «Кто там?», чтобы тот, кто шутит, мог сказать финальную фразу. Так что я сказала:

— Нет, это не то же самое. Не для серфера.

— Да, — сказала она. — Ты права. Не то же самое, — она поправила очки. — Но и не другое.

Понимаешь, что я имею в виду?

— Это *совсем* другое. Весь смысл серфинга — оставаться на волне, а не под ней.

— Серфер, волна — одно и то же.

И зачем я вообще это делаю?

— Это просто глупо, — сказала я. — Серфер — это человек. Волна — это волна. Как они могут быть одним и тем же?

Дзико посмотрела поверх океана, туда, где вода сходилась с небом.

— Волна рождается от глубинных причин внутри океана, — сказала она. — Человек рождается от глубинных причин внутри мира. Человек возникает из мира и катится вперед, как волна, пока не настанет время вновь упасть. Вверх, вниз. Человек, волна.

Она указала на обрывистые скалы, нависшие над берегом.

— Дзико, гора, одно и то же. Гора высокая и жить будет долго. Дзико маленькая и долго не проживет. Вот и все.

Как я уже говорила, это довольно типичная беседа, которую можно иметь с Дзико. Я никогда не могу понять до конца, что она

говорит, но мне нравится, что она все равно пытается мне все объяснить. Это очень мило с ее стороны.

Пора было возвращаться в храм. Шорты и футболка у меня уже высохли, и кожа ужасно чесалась от соли. Я помогла Дзико подняться на ноги, и мы вместе вернулись к автобусной остановке, снова взявшись за руки. Я все думала о том, что она сказала о волнах, и мне стало грустно, потому что я знала, ее маленькая волна долго не продержится, вскоре она вновь сольется с океаном, и, хотя я знала, воду не удержишь, я все же сжала ее пальцы чуть крепче, чтобы не дать ей утек.

Невозможно удержать воду или не дать ей утечь. Этот урок корпорация ТЕРСО выучила за несколько недель, последовавших за цунами, когда они закачали тысячи тонн морской воды в оболочки реакторов на атомной электростанции Фукусимы, пытаясь охладить топливные стержни и не допустить расплавления реактора, что, на самом деле, к тому времени уже случилось. Они назвали это «стратегией продувки-подпитки», и в результате их действий каждый день образовывалось около 500 тонн высокорadioактивной воды — воды, которую нужно было хранить, не допуская утечки.

На другом берегу Тихого океана Рут просматривала один за другим отчеты о катастрофе. Международное агентство по атомной энергии, которое осуществляло мониторинг ситуации, ежедневно публиковало «Отчеты о ядерной аварии на Фукусиме-2011», описывавшие в деталях отчаянные и безнадежные попытки стабилизировать реакторы. Вот короткая выдержка из отчета от 3 апреля:

2 апреля, откачка воды из бака запаса конденсата блока 2 в уравнивательный бак бассейна-барботера была завершена в процессе подготовки к откачке воды из подвала турбинного отделения блока 1 в конденсатор.

Также 2 апреля, была начата откачка воды из конденсатора блока 2 в бак запаса конденсата в процессе подготовки к откачке воды из подвала турбинного отделения блока 1 в конденсатор.

Параграф за параграфом, страница за страницей, отчеты в деталях описывали хитроумную систему насосов и стоков, уравнивательных баков и трубопроводов питательной воды, линий впуска и закачки, расхода воды и поиска протечек, траншей, туннелей и затопленных подвалов — все это использовалось для того, чтобы удержать воду.

Первое упоминание о трещине появилось в этих отчетах в записи от 3 апреля. Трещину обнаружили в боковой стене накопительного резервуара под реактором № 2, рядом с водозабором морской воды. В образцах морской воды, взятых в тридцати километрах от реакторов, были обнаружены высокие концентрации радиоактивного йода-131 и цезия-137, уровень загрязнения в тысячи раз превышает тот, что был до аварии. Накопительный резервуар извергал, как позднее писала «Нью-Йорк Таймс», реки высокорadioактивной воды, которая поступала прямо в море.

4 апреля в ежедневных отчетах появилось сообщение, что ТЕРСО получила от японского правительства разрешение сбросить в Тихий океан 11 500 тонн загрязненной воды. Такое количество воды примерно равно содержимому пяти олимпийских бассейнов.

5 апреля отчет подтверждает, что сброс начался. Сброс продолжался пять дней.

Уровень радиации у загрязненной воды был примерно в сто раз выше допустимых норм, но Тихий океан глубок и широк, и в ТЕРСО не предвидели проблем. Судя по тем же отчетам, компания рассчитала, что представитель общества, ежедневно в течение года принимающий в пищу водоросли и морепродукты, добытые вблизи атомной станции, получит дополнительную дозу облучения 0,6 миллизиверт, что будет гораздо ниже уровня, опасного для здоровья человека. Последствий для рыбы компания не оценивала.

Информация во многом похожа на воду: трудно удержать, трудно не допустить утечек. ТЕРСО и японское правительство пытались придержать новости о расплавлении реактора, и хотя некоторое время им удавалось скрывать жизненно важную информацию об уровне радиации в регионах, прилегающих к станции, в конце концов, информация начала просачиваться. Японцы гордятся своим стоицизмом и незлобивостью, но постоянные попытки скрыть ошибки, непрерывная ложь и увертки пробудили какую-то глубинную ярость.

## 2

В средневековой Японии люди верили, что причиной землетрясений является рыба сом, живущая под островами.

Самые ранние легенды говорят, что *моно-ию сакана*, или «рыба, говорящая вещи», правит реками и озерами. Эта сверхъестественная рыба могла принимать человеческий облик, и если люди каким-то образом вредили ее водяному царству, она являлась и предупреждала о последствиях. И если обидчики к предупреждению не прислушивались, разгневанная *моно-ию сакана* насылала на них в наказание потоп или другое стихийное бедствие.

К середине девятнадцатого века *моно-ию сакана* эволюционировала в *дзисин намазу*, или Сома землетрясений, невероятное китоподобное создание, которое, неистово трепыхаясь, заставляет землю трястись и дрожать. Единственное, что удерживает эту рыбу — огромный камень в руках бога Касимы, который обитает в святилище Касимы.

Сам камень носит название *канамэ-иси*, непереводаемый японский термин, который означает что-то вроде «краеугольный камень», или «речной камень», или «магнит». Бог Касима обездвигивает рыбу с помощью *канамэ-иси*, придавливая им голову чудовища. Стоит Касиме задремать или отлучиться по делам, давление на голову сома ослабевает, и он начинает трепыхаться и биться, вызывая землетрясение.

Если вы посетите святилище Касимы, много вы не увидите, поскольку большая часть камня погребена под землей. Собственно святилище — это небольшой участок голой земли, огороженный и накрытый навесом, и из земли торчит округлая верхушка камня — небольшая, всего около двенадцати дюймов в диаметре — как макушка младенца, который вот-вот родится. Понять, насколько велика та часть камня, которую скрывает земля, невозможно. Только подумать, судьба Японских островов зиждется на предположении, что закопанный в землю и по большей части невидимый камень достаточно велик и увесист, чтобы удерживать рассерженного Сома землетрясений!

### 3

Сом землетрясений — не такой уж отрицательный персонаж, несмотря на все разрушения и беды, которые он способен причинить. У этой рыбы есть и благоприятные аспекты. Например, подвид Сома

землетрясений, называемый *йонаоси намазу*, или Исправляющий мир сом, способен избавить страну от финансовой и политической коррупции, хорошенько ее встряхнув.

Вера в Исправляющего мир сома была особенно сильна в начале девятнадцатого века; это был период слабого, неэффективного правительства и сильного делового сословия, а кроме того, экстремальных погодных аномалий, гибнущих урожаев, голода, городских бунтов и массовых религиозных паломничеств, которые зачастую перерастали в массовое же насилие.

Мишенью Исправляющего мир сома было деловое сословие, чья не знающая удержу страсть к наживе, ценовые сговоры и взяточничество привели к экономической стагнации и политическому разложению. Рассерженный сом насылал землетрясение, причиняя разрушения и хаос, и богатым приходилось расставаться с деньгами, чтобы восстановить разрушенное, а это означало новые рабочие места для низших классов на разборе завалов, расчистке площадей и на стройках. Подобное перераспределение богатства иллюстрирует один сатирический рисунок того времени, на котором изображен Исправляющий мир сом, вынуждающий богатых торговцев и президентов компаний испражняться золотыми монетами, которые тут же подхватывают трудящиеся.

Но, к сожалению, у землетрясений имеются и побочные эффекты, так что Сом часто терзает раскаяние. На другом душераздирающем рисунке *сеппуку намазу* — Сом-самоубийца — вспарывает себе живот в знак раскаяния за причиненные им смерти. Из разреза у него в животе извергаются потоком золотые монеты. Еще один рисунок изображает Сому, подносящего брусок золота людям, в то время как сверху за ним наблюдает бог Касима с духами.

#### 4

Связь между сомами и землетрясениями продолжает существовать и в наше время. Мобильное приложение «Юре Куру» предупреждает владельца телефона о надвигающемся землетрясении, снабжая его информацией о местонахождении эпицентра, времени начала события и мощности в баллах. «Юре Куру» означает «Трясти

будет», а логотипом служит мультяшный сом с глуповатой ухмылкой и двумя молниями, торчащими из головы.

— Симпатично, — сказал Оливер и потянулся за айфоном. — Надо бы нам это установить. Давненько у нас уже землетрясений не было. Интересно, будет ли эта штука работать в Уэйлтауне?

Они сидели у камина в гостиной после ужина, состоявшего из супа-пюре из двустворок и устриц, свежесыпеченного хлеба с розмарином и салата из нежной молодой капусты с остреньким горчичным листом из теплицы. Был всего лишь февраль, но Оливер умудрялся снабжать их свежей зеленью даже в зимние месяцы.

— В Штутгарте, где выросли мои родители, у них там водились огромные сомы, жили они под мостом через Неккар. Никто никогда их не видел, кроме как перед землетрясением — тогда сомы поднимались на поверхность. Огромные усатые рыбины, весом до двухсот фунтов.

— Они правда были такие большие?

— Так мне папа говорил. Их сейчас практически всех повыловили. Таких больших сомов больше нигде не увидишь, разве что в Чернобыле. Там целая компания живет в канале, по которому раньше подавалась вода для охлаждения реактора. Они там тусуются под железнодорожным мостом. Никто там больше не рыбачит, и сомы процветают. Выросли до каких-то гигантских размеров, некоторые длиной двенадцать, тринадцать футов. Кормятся они со дна, и ил там до сих пор должен содержать радиоактивные частицы, но сомам, похоже, все равно.

Рут опять подумала о ракушках. Она на сутки поставила их на крыльце, очищаться от песка и ила. У нее был особый способ — она выдерживала ракушки в ведре с морской водой, куда добавляла пригоршню кукурузной муки и ржавый гвоздь. Взвесь надо было взбалтывать несколько раз за день, а через двенадцать часов поменять воду.

Этот метод она вычитала в каком-то романе, забыла уже, в каком. Ей помнилось, это была история о семье и их летнем доме в Массачусетсе, или Мэне, или, может, на Род-Айленде. Место на Восточном побережье, анклав красивых летних людей; у семьи — золотистые длинноногие дети и комфортабельный стиль жизни. В ракушках, которые ела эта красивая семья из Новой Англии, просто не могло быть противного песка, который скрипел бы на их крепких

белых зубах. Может, это были Хэмптоны. Странная штука — память. У Рут в голове застряло, как именно мать семейства избавлялась от песка в ракушках, но она совершенно не помнила ни сюжета, ни почему, собственно, этот способ был действенным.

Когда она рассказала об этом Оливеру, он выдвинул свою теорию:

— Я думаю, происходят две вещи. Кукурузная мука — это просто-напросто пища; ракушки поглощают ее, освобождая кишечный тракт и внутренние органы от этой зеленой фигни.

Когда он все это объяснял, Рут как раз резала картошку для супа. Под стук ножа и звук его голоса она вдруг ясно увидела образ матери из романа. Она носила длинные белые платья из тонкого льна. У нее в ракушках уж точно не могло быть никакой зеленой фигни.

— Это первый процесс, — говорил Оливер. — Биологический. Второй процесс — электрохимический. Соленая вода — это ионный раствор и является, таким образом, электролитом. Ржавый гвоздь состоит из железа и служит проводником, как, собственно, и сами моллюски.

На самом деле, почти наверняка это были Хэмптоны, думала Рут. Там точно были песчаные дюны и атлантические бризы, полосатые бело-зеленые тенты и холщовые шезлонги. Мать в романе носила белое платье, которое вздувалось от вечернего бриза, а может, она была в шортах, и вздувались на самом деле тюлевые занавески в высоких окнах дома.

— Когда ты помещаешь гвоздь в морскую воду, — вещал Оливер, — он генерирует небольшой электрический заряд, вполне достаточный, чтобы моллюски почувствовали раздражение и избавились от песка.

Но опять же, может, сцена из романа смешалась у нее в памяти с чем-то еще. Может, мать, красавица-блондинка в раздуваемом платье, не клала ржавый гвоздь в ведро с двустворками. Что-то не похоже на нее. Может, гвоздь в ведре был японской хитростью, и Рут переняла ее у матери или у кого-то из друзей-японцев.

— Так что, можно сказать, — заключил Оливер, — что ты параллельно кормишь их и бьешь током, заставляя плевать и срать одновременно.

Рут, которая к тому времени уже резала лук, вытерла слезы тыльной стороной ладони.

— Вообще-то, — сказала она, — роман был, скорее, об одном семействе — высокие холодные стаканы, теннис, все в белом, отношения между людьми, всякое такое. В электрохимию там особо не вдавались.

Они поели в гостиной перед камином, слушая, как завывает ветер. Здесь было слишком холодно для раздувающихся белых платьев, да и, кроме того, на северо-западном побережье носили более практичную одежду, полипропилен и синтетический флис, но Рут грех было жаловаться. Приятно было сидеть у огня, и суп получился вкусным, густым и ароматным. Каким бы ни было происхождение — или объяснение — метода очистки двустворок, он работал: ракушки были сочными, но без примеси ила и песка. Кот тоже уважал суп. Весь ужин он описывал вокруг них сужающиеся круги, делая попытки лизнуть у них из мисок. Когда Оливер шуганул его, кот сделал ответный выпад лапой на руку, так что Оливер схватил его и прижал мордой к полу. Укрощенный, но оскорбленный, кот повернулся к ним спиной и мрачно таращился в огонь.

— Вот это отстой, — сказал Оливер. — Скачать «Юре Куру» я могу, но оно работает исключительно на данных Японской метеорологической службы. О землетрясениях в Канаде оно не скажет нам ровно ничего.

Рут глядела в огонь.

— Я думала, Канада в безопасности.

— Безопасности нет нигде, — сказал Оливер. — Ладно, понял. Теперь мы знаем все о сейсмической активности в Японии.

— Может, нам нужно поехать в Японию, чтобы твое приложение заработало.

— Может, нам и не нужно, потому что Япония сама едет сюда.

## 5

— Что?

— Япония едет сюда.

— О чем ты говоришь?

— О землетрясении, — сказал Оливер. — Оно передвинуло Японию поближе к нам.

— Правда?

Оливер выглядел озадаченным.

— Ты что, не помнишь? Сдвиг земной коры привел к тому, что суша вблизи эпицентра резко прыгнула в нашем направлении.

— Я не знала об этом.

— Нет, знала. Мы об этом говорили. Еще из-за этого масса планеты сместилась ближе к ядру, и Земля стала вращаться быстрее. Из-за повышения скорости вращения сократилась продолжительность дня. Наши дни стали короче.

— Стали короче? Ужас какой!

Он улыбнулся.

— Ты сказала это, прямо как твоя мама...

Этот комментарий она проигнорировала.

— И сколько времени мы потеряли?

— Немного. Одну целую и восемь миллионных секунды в день, думаю, где-то так. Хочешь, посмотрю поточнее?

— Верю тебе на слово.

— Мы точно говорили об этом, — сказал Оливер. — Это было по всему интернету. Ты что, не помнишь?

— Конечно, помню, — соврала она. — Я как раз думала, что-то дни стали такие короткие. Решила, мне просто показалось.

К концу лета с помощью Дзико я стала сильнее. Не только телом, сознание у меня тоже окрепло. У себя в сознании я стала супергероем, вроде Дзюбэй-чан, Девушки-самурая, только я была Наттчан, Супермонахиня, обладательница Буддой данных способностей: умение сражаться с волнами, пусть я и проигрывала каждый раз, и способность терпеть нереальные количества боли и трудностей. Дзико помогала мне развивать мою *супанаву!*, поощряя меня сидеть в дзадзэн, не двигаясь, по многу часов и никого не убивать, даже комаров, которые вечно зудели возле лица, когда я сидела в хондо или лежала ночью в кровати. Я научилась не шлепать их, когда они меня кусали, и не расчесывать потом укусы, как бы он ни чесался. Сначала утром, когда я вставала, лицо и руки у меня ужасно опухали от укусов, но потом понемногу кровь и кожа у меня привыкли к комариному яду, стали сильнее, и я уже не покрывалась прыщами, сколько бы меня ни кусали. Вскоре между мной и комарами не было уже никакой разницы. Моя кожа перестала быть разделяющей нас стеной, и моя кровь стала их кровью. Я немного гордилась собой и решила пойти к Дзико и рассказать ей. Она улыбнулась.

— Да, — сказала она, похлопывая меня по руке — Тут полно прекрасной комариной еды.

Она объяснила мне, что молодым людям нужно побольше упражняться, мы должны ежедневно изматывать себя, чтобы у нас не было беспокойных мыслей и снов, которые могут вылиться в беспокойные действия. Я уже достаточно навидалась беспокойных действий со стороны молодежи и была полностью с ней согласна. Поэтому я была совсем не против каждый день работать на кухне вместе с Мудзи. Я знала, что Мудзи была очень рада моей помощи, потому что она сама мне это сказала. Может, я уже говорила — насчет жизни в храме важно понимать одну вещь: это все равно, что жить в совершенно другой эпохе, и что бы ты ни делал, это занимает раз в сто больше времени, чем в двадцать первом веке. Мудзи и Дзико никогда

ничего зря не выбрасывают. Каждая резинка, каждый зажим для пакетов, каждая веревочка или бумажка — все это они тщательно собирают и используют вновь и вновь. Мудзи была особенно неравнодушна к пластиковым пакетам, она заставляла меня тщательно мыть каждый с мылом, а потом мы вешали их сушиться снаружи, где они кружились на ветру, отражая солнечный свет, как медузы или воздушные шарик. Я была не против, делать мне все равно было нечего, но, по моему личному мнению, все это занимало уж слишком много времени. Я пыталась объяснить, что быстрее и проще было бы взять и выкинуть старые пакеты и купить новые, и тогда у них было бы больше времени на дзадзэн, но Дзико меня не поддержала. Сидеть в дзадзэн, мыть пакеты — одно и то же, сказала она.

Когда они что-то выкидывали, значит, это что-то было уже абсолютно и безвозвратно испорчено, и то они устраивали из этого целое событие. Они собирали и хранили все погнутые булавки и сломанные иголки, и раз в год они проводили по ним самую настоящую поминальную службу, пели сутры, а потом втыкали иголки в кусочек тофу, чтобы им мягко было на том свете. Дзико говорит, у всего есть душа, даже если это что-то старое и бесполезное, и мы должны уважать и утешать вещи, которые хорошо нам служили.

Вот теперь ты понимаешь, сколько тут было работы, и дополнительная помощь со стороны молодежи (то есть меня) была очень кстати, и мы смогли засолить побольше слив и капусты, засушить побольше тыквы и дайкона и лучше позаботиться о саде. Мы смогли навестить многих больных и старых прихожан, и иногда я полола сады и у них, когда мы бывали в гостях.

Я начала вставать в пять утра, чтобы посидеть с ними в дзадзэн, и после подношений, и службы, и сёдзи<sup>[120]</sup>, пока Мудзи готовила завтрак, Дзико заставляла меня бежать вниз с горы до самой дороги, а потом опять вверх, до самого храма. Она всегда встречала меня наверху, когда я, вывалив язык, преодолевала последние ступеньки на ногах-макаронинах. Она стояла здесь с Чиби, маленьким черно-белым храмовым котом, и протягивала мне полотенце и большой кувшин холодной воды, а потом смотрела, как я пью.

— У тебя хорошие прямые ноги, — сказала она как-то. — Красивые и длинные. Сильные.

Мне стало страшно приятно, и я покраснела бы, если бы не была и так уже вся красная от бега.

— У тебя ноги твоего отца, — продолжала Дзико. — Он тоже был сильный бегун. Чуть быстрее тебя.

— Ты его тоже заставляла бегать вниз?

— Конечно. Он был молодым мальчиком, у него было много беспокойных мыслей. И ему требовалось много упражнений.

Я вылила остаток воды из кувшина себе на голову, а потом встряхнула волосами. Сорвавшиеся капли угодили на Чиби, который подпрыгнул на месте, а потом отошел подальше.

— Чиби, прости! — закричала я, но, конечно же, он меня проигнорировал. Сел подальше, повернувшись ко мне спиной, и начал вылизываться. Вид у него был страшно оскорбленный, но он — кот, так что я не стала принимать это на свой счет.

— У папы до сих пор присутствуют беспокойные мысли, — сказала я, наблюдая за тем, как кот меня игнорирует, и не успела я спохватиться, слова так и повалили у меня изо рта.

— Ба, пожалуйста, — сказала я. — Я серьезно. Ему нужна помощь!

А потом я рассказала ей все про тот вечер, когда он упал перед поездом, и как они с мамой притворялись, что это был несчастный случай, а это не так, и как он никогда не уходил из квартиры днем, но потом исчезал ночью и не являлся часами, и я знала, что это так, потому что не спала и слушала, когда он придет, потому что боялась, он не вернется. И как однажды ночью, когда я не могла уже больше это выносить, я потихоньку прокралась вслед за ним, потому что мне надо было знать, он кого-то преследует или идет встречаться с любовницей, что, наверно, было бы хреново в отношении мамы, но, по крайней мере, это дало бы ему *raison d'être*<sup>{16}</sup>, и я шла за ним по улицам, старалась оставаться в тени и жалась к стенам. В его маршруте совершенно не было смысла, но ему явно было плевать, будто он был робот, и ноги у него были запрограммированы выполнять случайный алгоритм вроде того, что мы проходили в компьютерном классе, но сознание у него было отключено, так что он вообще не соображал, куда идет. Может, он ходил во сне. Иногда он заходил в чужие районы, а иногда улочки становились такими узкими и кривыми, что я была уверена, мы потерялись. Он ни разу не остановился и не заговорил с

кем-нибудь, ничего не покупал, даже сигареты в автоматах, и сейчас я понимаю, что мы вообще ни разу никого на улицах не встретили, так что, может, у него в программу был встроен еще и избегательный алгоритм.

Мы шли не один час. Мне было страшно, потому что я знала, я никогда не найду дороги домой одна, и мне не хотелось, чтобы он узнал, что я за ним слежу, но я уже не поспевала за ним — слишком устала. А потом он свернул один последний раз, и мы вышли к тому самому маленькому парку на берегу реки Сумида, который я видела, лежа у себя в кровати в сонном ступоре. Парк был в точности такой, каким я его себе представила. С краю, у самого берега, была детская площадка с качелями, горкой и песочницей, и я знала, что направляется он именно сюда. И конечно же, вот он подошел к качелям и уселся. Сел он ко мне спиной, так что мне пришлось обогнуть его и спрятаться за бетонной пандой, откуда мне было видно его лицо. Он закурил Short Hope и начал раскачиваться. Он сидел лицом к воде; сгибая и выпрямляя ноги, он раскачивался все выше и выше, он сжимал в зубах сигарету и скалился, будто делал серьезное дело. Было похоже, что он старается раскачаться как можно сильнее, чтобы, когда он разожмет руки, достигнув верхней точки, инерция перенесла бы его прямо через бетонную стенку прямо в реку Сумида, где его тело затонуло бы и было съедено каппами или гигантскими сомами. Честное слово, я увидела это, тот момент, как его руки соскальзывают с цепей и тело выстреливает в воздух, летит вперед — руки и ноги торчат в разные стороны, обнимая набегающий воздух и холодную, темную воду. *Нет... нет... нет!* — услышала я свой собственный шепот, сердце у меня билось в такт взмахам качелей. — *Now... now... now!*

Но это так и не случилось. Он так и не отпустил руки, и уже не так раскачивал ногами, и размах качелей становился все неровней и короче, и вот, наконец, он уже едва двигался; носки пластиковых шлепок просто волочились туда-сюда, очерчивая маленькие бессмысленные кружки в пыли под качелями. Он встал, подошел к стенке и взглянул вниз; затянулся один последний раз и бросил окурочок в реку. Он стоял так очень долго, глядя в маслянистую черную воду. Я боялась, что он сейчас перелезет через стенку и прыгнет. Я хотела выбежать из своего укрытия и остановить его.

— Но ты этого не сделала, — сказала Дзико.

— Нет, я собиралась, но потом он отвернулся от воды и пошел опять.

— И ты пошла за ним?

— Да. Он пошел домой. Я подождала снаружи, у двери квартиры, пока не решила, что уже можно, и открыла дверь своим ключом. Не думаю, что он меня слышал. Он к тому времени уже храпел.

Дзико кивнула.

— Мальчиком он спал очень крепко.

— Так как ты думаешь, ему нужно вернуться и остаться здесь с нами? — спросила я. — Я думаю, это правда пойдет ему на пользу, а ты? Видела бы ты его лицо, когда мы поднимались сюда по ступенькам. Вид у него был такой счастливый.

— Ему всегда здесь нравилось, — сказала Дзико.

— Так он должен вернуться, правда?

— Маа, сё кашира...<sup>[121]</sup> — сказала она. Один из этих японских ответов, которые не означают ровным счетом ничего.

## 2

К августу жара стояла такая, ты просто себе не представляешь, и днем, когда Дзико и Мудзи учили окрестных бабушек цветочной аранжировке и пению сутр, а я должна была бы делать задание на лето, я выползала наружу, на энгава<sup>[122]</sup>, которая выходила на пруд, усаживалась там и отключалась. Мне нравилось сидеть, опершись спиной о толстый деревянный столб, на голове наушники, ноги раскинуты в стороны, и наблюдать, как стрекозы порхают над листьями лотосов в крошечном прудике, и слушать японские поп-каверы на французский шансон — я подсела еще до того, как узнала про *À la recherche du temps perdu*. Дзико не любила, когда я сидела, вот так раскинув ноги, и, застукав меня за этим занятием, она так мне и говорила. Она говорила, это дурной тон, сидеть, широко раздвинув ноги, гляди, кто хочет, тем более когда я трусов не надевала, и, в общем и целом, я была с ней согласна, но было так жарко! Было просто невыносимо, когда ноги соприкасались друг с другом кожей, и старое дерево энгавы было таким прохладным, и никто не смотрел. Даже кот Чиби, который обычно одобрял горячие коленки, ко мне не

подходил. Он лежал, отрубившись, на прохладном мшистом валуне под папоротниками. Воздух по большей части был совершенно неподвижен, но иногда легчайшие ветерки скользили вверх по склону горы, пролетали сквозь ворота и находили путь в сад, где ерошили поверхность пруда и щекотали у меня между ног, заставляя меня ежиться. Иногда я думаю, что в ветерках живут духи предков — можно почувствовать, как они шмыгают вокруг.

Надвигался Обон, и духи толпились вокруг, как путешественники с чемоданами в аэропорту, в поисках стойки регистрации. Обон был их летними каникулами, когда можно вернуться из страны мертвых и навестить нас здесь, в стране так называемых живых. Горячий воздух казался просто беременным призраками — смешно, конечно, мне так говорить, я же никогда не была беременна, но я видела в поезде женщин, которые выглядели, будто вот-вот лопнут, и мне кажется, чувство было примерно такое. Они входят, переваливаясь, животом вперед, и, если кто-то уступает им место, они плюхаются на сиденье, а потом просто сидят с раздвинутыми ногами, потирая живот и обмахивая красные потные лица, — вот такое ощущение появляется от августа, когда приходит время Обона, будто весь мир беременен призраками, и в любой момент мертвые могут прорвать пленку, которая отделяет их от нас.

Когда я не сидела в отключке на веранде, я ходила за Дзико по храму, нося за ней вещи и засыпая вопросами о наших предках.

— А как насчет бабушки Эмы? Она будет? Мы с ней когда-нибудь встречались? Я бы хотела с ней познакомиться. А как насчет двоюродной бабушки Сугако и двоюродного дедушки Харуки? Я бы с ними тоже хотела познакомиться. Как ты думаешь, а они со мной захотят встретиться?

Я была полна ожиданий, хотя никто из предков на Обон раньше явиться не трудился, по крайней мере, насколько было известно мне, но у меня было ощущение, что в этом году все будет по-другому. Впервые, я теперь была икисудама, и мне казалось, что с живым призраком мертвым должно быть покомфортнее. Еще я сообразила, что они, скорее, объявятся здесь, в храме Дзико, где все их ждут и знают, как их достойно принять, чем в Саннивэйле, скажем, где соседи либо психанут, либо примут всю компанию за ряженых на Хэллоуин в неудачных костюмах. Это вроде вечеринки на день рождения. Если у

тебя родители, как у Кайлы, которые реально рубят в вечеринках и зовут всю компанию на боулинг или на скалодром, именинницей быть круто, но если у тебя родители вроде моих, то есть абсолютно без понятий, тогда дни рождения — это отстой, и тебе на самом деле больше хочется быть где-нибудь за тысячи миль отсюда, чем торчать здесь, на своей скучной маленькой вечеринке с твоими американскими друзьями, которые все время вздыхают и закатывают глаза, а потом делаются такие все приторно-фальшивые, когда мама заходит с очередной тарелкой суши. И ты тоже притворяешься, будто тебе весело, улыбаешься, как сумасшедшая, прекрасно зная — это хорошая мина при плохой игре и ты делаешь это только для того, чтобы не расстраивать родителей, чтобы выработать у них хорошее отношение к себе. Короче, я вот к чему клоню — представь, что ты призрак, на какую вечеринку тебе бы захотелось пойти?

Дзико и Мудзи тоже реально рубят в вечеринках, и мы использовали каждую буддийскую наносекунду, чтобы подготовить алтари, и расставить цветы, и смести всю пыль, и подвергнуть глубокой очистке каждый уголок, каждую трещинку в храме, чтобы к приходу духов и предков все было идеально чисто. Еще мы приготовили кучу разной специальной еды, потому что после долгой дороги они будут очень голодными, а если их не накормить, то и злыми. Еда — вообще важная часть Обона. В Японии полно всяких разных призраков, и духов, и гоблинов, и монстров, их тысячи, и они могут сделать татари и напасть на тебя, так что, просто на всякий случай, мы собирались устроить для разогрева большую церемонию осегаки<sup>[123]</sup> с кучей гостей, плюс священники и монахини из соседнего храма, которые должны были прийти и помочь нам накормить голодных призраков.

Мудзи рассказала мне, как все это началось, как давным-давно у Будды был один ученик по имени Мокурэн, который ужасно расстроился, когда увидел, что его мать висит вверх ногами на крюке для мяса, как коровий бок, в адском царстве голодных призраков. Он спросил у Будды, как ей можно помочь, и Будда сказал ему сделать особые подношения в виде еды, и это, похоже, сработало, вообще, это все показывает нам, что детям надо приглядывать за родителями, даже если они мертвы и свисают вверх ногами с крюка в аду. Старина Мокурэн вообще был довольно крутым чуваком, у него было полно

*супанавы!*, например, он мог проходить сквозь стены, и читать чужие мысли, и разговаривать с мертвыми. Мне бы хотелось научиться ходить сквозь стены, и читать чужие мысли, и разговаривать с мертвыми. Это было бы круто. Я пока только новичок, но, как ты уже знаешь, считаю, что в жизни важно иметь цель, а ходить сквозь стены, кажется, не так уж и сложно, что скажешь?

Короче, все у нас было, наконец, готово, и вечером, перед тем, как должны были прибыть первые гости, Дзико, Мудзи и я вместе приняли ванну, чтобы завтра быть чистыми и красивыми, и мне даже дали побрить им головы настоящей бритвой. Дзико и Мудзи относятся к личной гигиене суперсурово, и они никогда не дают волосам расти больше пяти дней, а это примерно одна восьмая дюйма, и иногда они разрешали мне помочь. Мне нравилось это делать. Мне нравилось, как жесткие маленькие щетинки отступают перед бритвой, оставляя гладкую блестящую кожу. Щетинки Мудзи были маленькими и черными, как мертвые муравьи, падающие с чистого белого листа, но у Дзико они были светлыми и искрились серебром, как волшебная пыль.

Для бритья голов тоже есть особая молитва — вот она:

Когда я сбрываю щетину с головы  
Я молюсь вместе со всеми существами  
Чтобы мы отрезали свои эгоистичные желания  
И вошли в царствие истинного освобождения.

Тем вечером я так волновалась перед приходом призраков, что не ложилась спать, пока Мудзи наконец не загнала меня в кровать, но как только они с Дзико заснули, я прокралась наружу. Не знаю, чего я ожидала. Я прошла через сад к лестнице и уселась ждать на верхней ступеньке под воротами. Сквозь пижаму я чувствовала холод и влагу, исходящую от каменной ступени, а все, что было слышно, — хор лягушек и ночных насекомых.

Кто-то думает, что ночь — печальное время из-за того, что темнота напоминает нам о смерти, но я с этим совершенно не согласна. Я лично ночь очень люблю, особенно ночь в храме, когда Мудзи выключает весь свет и остается только луна, и звезды, и

светлячки или, когда облака, мир становится таким темным, что даже пальцев своих не разглядишь.

Пока я так сидела, казалось, все вокруг становится чернее и чернее, кроме светлячков; их мерцающие огоньки чертили дуги в теплой летней темноте. Светит — не светит... светит — не светит... светит — не светит. Чем дольше я на них глядела, тем сильнее кружилась у меня голова, пока, наконец, мне не стало казаться, что мир накренился, и я сползаю вниз по склону горы в глубокую глотку ночи. Я опустила руку потрогать ступеньку, чтобы это дело прекратилось, но вместо холодного камня ощутила под пальцами что-то колючее, как электрический ток, и это что-то дернулось у меня под рукой. Я взвизгнула и отдернула руку, но, конечно, это был просто Чиби — он вышел поприветствовать призраков вместе со мной. Он замер, как мультяшный кот, круглые зеленые глаза горят, как монеты, но, когда я засмеялась и погладила его наэлектризованный мех, он прижался к коленке и ткнулся головой мне в ладонь.

— Бака-нэ, Чиби-чан!<sup>[124]</sup> — сказала я; сердце у меня все еще бешено колотилось. Хотя я с трудом различала его очертания в темноте, было здорово, что он здесь, со мной.

Порыв ветра зашевелил бамбук, будто двигались призраки. На что они вообще похожи, эти призраки? Будет ли призрак похож на человека? Или он будет огромным и жирным, как дайконовое чудовище? Или у него будет длиннющий нос, как у краснолицего тэнгу<sup>[125]</sup>? Может, он будет зеленый, как гоблин, или притворится кем-то еще, как лиса, может, он будет горой разлагающейся человеческой плоти без головы, с толстыми складками жира вместо рук и ног, и пахнуть он будет соответствующе? Такие называются нуппеппо. А еще есть другие призраки, выглядят они как мертвые люди, плохо постриженные мужчины, налитые кровью глаза вылезают из орбит, плоть облезает с костей, как лишайник. Одеты они в дешевые полиэстровые костюмы и свисают они с ветвей в Лесу самоубийц, медленно поворачиваясь на ветру. Этих призраков я боюсь больше всего, потому что они немного похожи на папу, и в этот момент, как раз когда я готова была психануть, почувствовала, что рядом кто-то сел. Я повернулась, и вот он был здесь. Папа сидел рядом со мной на каменной ступеньке, и хотя глаза у него не выпучивались, и делового

костюма на нем не было, я знала: он мертв, он, наконец, покончил с собой, и это был его призрак — пришел, чтобы дать мне знать.

— Папа? — я попыталась прошептать это, но во рту у меня так пересохло, что не раздалось ни звука.

Он глядел в темноту.

— Папа, это ты? — мой голос все еще не слушался меня, и слова были только мыслями у меня в голове. Понятно, что он не мог меня слышать. Он все смотрел в темноту. Я глубоко вдохнула, прочистила горло и сделала еще одну попытку.

— Отосан, — сказала я, на этот раз на японском. Слово сорвалось у меня с губ, как маленький пузырек. Папин призрак слегка повернул голову, и тут я заметила, что выглядел он очень молодо, и что на нем была какая-то форма, и фуражка на голове. Выглядело это как школьная форма, только цвет был другой. Он все еще ничего не говорил. Тут меня осенило, что, наверно, с призраками необходимо быть супервежливой, даже если они — твои родители, иначе это может их оскорбить, так что я попыталась еще раз, самым моим вежливым и формальным школьным голосом.

— Ясутани Харуки-сама дэ годзаймасу ка?<sup>[126]</sup>

В этот раз он меня услышал и медленно повернулся, чтобы на меня посмотреть; когда он говорил, я едва могла слышать его голос сквозь ветер.

— Кто вы? — спросил он.

Он меня не узнал. Я поверить не могла! Мой папа был мертв и уже совершенно обо мне забыл. Горло у меня сжалось, в носу защипало, как оно бывает, когда я пытаюсь не заплакать. Я сделала еще один глубокий вдох.

— Я — Ясутани Наоко, — объявила я, стараясь, чтобы мой голос звучал храбро и уверенно. — Мне очень приятно вас видеть.

— А, — сказал он. — Это мне приятно.

Слова его были тонкими и прозрачными, они вились и исчезали в воздухе, как синий дым от палочки благовоний.

Что-то было не так. Разглядывать его было бы грубостью, но я не могла удержаться. Выглядел он в точности, как мой папа, но гораздо моложе, всего на пару лет старше меня, а еще голос был другой, и одежда тоже была совершенно неправильной. И тут до меня, наконец,

дошло: если этот призрак отозвался на имя моего отца, но им не был, то это был дядюшка отца, летчик-самоубийца Ясутани Харуки № 1.

— Мы раньше встречались? — вроде как спрашивал он.

— Я полагаю, нет, — ответила я. — Я полагаю, я ваша внучатая племянница. Полагаю, я — дочь вашего племянника, Ясутани Харуки номер два, которого называли в честь вас.

Призрак кивнул.

— Вот как? — сказал он. — Не знал, что у меня есть племянник, не говоря уж о внучатой племяннице. Как быстро летит время...

Потом мы оба погрузились в молчание. На самом деле, особого выбора у меня не было, потому что на этом мой запас вежливостей был практически исчерпан. У меня не слишком хорошо с формальным японским, потому что выросла я в Саннивэйле, и призрак Харуки № 1 тоже не особенно стремился поболтать. Вид у него был довольно отсутствующий и мрачный, что, в общем, было понятно, если вспомнить рассказы Дзико о том, как он любил французскую философию и поэзию. Тут я пожалела, что не особо обращала внимания, когда папа читал мне об экзистенциалистах, потому что тогда я смогла бы сказать сейчас что-нибудь умное, и единственный стих на французском, который я знала, был припев в песне Моник Серф под названием «Дзинсей но Итами»<sup>[127]</sup>, и мне не кажется, что это лучшее, что можно спеть мертвому человеку:

Le mal de vivre  
Le mal de vivre  
Qu'il faut bien vivre  
Vaille que vive<sup>[128]</sup>

Я напевала себе под нос в темноте, практически шепотом, потому что не была уверена, что означают слова. Мне показалось, я услышала, как он усмехнулся рядом со мной, а может, это был ветер, но когда я посмотрела туда, где он сидел, Харуки № 1 уже исчез.

Глупая Нао! Глупая, глупая девчонка! Я же сидела совсем рядом с призраком мертвого двоюродного деда, который, только подумать, был пилотом-камикадзе во Вторую мировую и, наверно, самым интересным человеком, которого я когда-либо встречу, и что я сделала? Спела ему какой-то дурацкий французский шансон! Самый настоящий идиотизм!!! Он, наверно, подумал, я просто еще одна дурочка-подросток, и зачем тратить на меня хоть один драгоценный момент своего времени на земле? Лучше просто умерцать куда-нибудь и потусоваться с кем-то, кто сможет додуматься до более интересных тем для разговора.

Да что со мной такое случилось? Я о стольком могла бы его расспросить. Я могла бы разузнать о его хобби и интересах, могла бы спросить, правда ли, что до философии дело бывает только несчастному человеку, и насколько вообще помогает чтение философских книг. Я могла бы спросить его, на что это похоже, быть вырванным из счастливой жизни и против воли сделаться летчиком-самоубийцей, и цеплялись ли к нему другие парни из отряда из-за того, что он писал стихи на французском. Я могла бы спросить его, что он чувствовал в то утро, когда должен был лететь на задание, в его последнее утро на земле. Большая холодная рыбина — умирала ли она у него в животе? Или же он был исполнен такого ясного спокойствия, что те, кто был вокруг, в благоговении отступили, понимая — он готов к небу?

Я могла бы спросить его, каково это — умирать.

Глупая, бака Нао Ясутани.

## 4

Утром после завтрака, пока Дзико и Мудзи встречали первую машину со священниками, прибывшими из главного храма помочь с завтрашной церемонией осегаки, я пробралась в кабинет Дзико. Она, вообще-то, не против, чтобы я туда ходила, но почему-то все равно ощущение было, будто я «пробираюсь». Это моя самая любимая комната в храме, выходит она в сад, и там стоит низкий стол, за которым она любит писать, и шкафчик с кучей книг по религии и философии в потертых матерчатых переплетах. Дзико рассказала мне, что философские книги принадлежали когда-то Харуки № 1, когда он

еще учился в университете. Я пыталась их читать, но кандзи в японских книгах были зверски сложными, а остальные были на других языках, вроде французского или немецкого. На английском книги тоже были, но этот английский вообще был не похож на тот английский, который я знаю. Честно, не знаю, существуют ли еще люди, способные читать такие книги, но если вынуть все страницы, могли бы получиться классные дневники. Напротив шкафа, в задней части комнаты, был семейный алтарь. Вверху висел свиток с изображением Шака-сама, окруженного ихай<sup>[129]</sup> всех наших предков, и лежала книга с их именами. Ниже были разные полки для цветов, для свечей, для курительниц и подносы с дарами — фруктами, чаем, сладостями.

На одной из полок сбоку была коробка, завернутая в белую ткань, и три маленькие черно-белые фотографии умерших детей Дзико — Харуки, Сугако и Эмы. Я уже видела их раньше, но никогда не обращала внимания. Это были просто незнакомцы, старомодные и натянутые, временные существа из другого мира, который ничего для меня не значил. Но теперь все было по-другому.

Я встала на цыпочки и потянулась над алтарем за фотографией Харуки. На фото он выглядел моложе своего призрака, бледный школьник в форменной фуражке и с поэтическим выражением лица, замороженный под стеклом. Он был немного похож на папу, до того, как папа обрюзг и перестал ходить в парикмахерскую. Стекло запылилось, и я протерла его подолом юбки, и в этот момент выражение лица у него вдруг чуть-чуть изменилось. Может, челюсть стала тверже. В глазах будто зажегся огонек. Если бы он повернулся и заговорил со мной, меня бы это ничуть не удивило, так что я подождала немного, но ничего не произошло. Он продолжал все так же смотреть за камеру, куда-то вдаль, и момент ушел, и он опять был просто старой фотографией в рамке.

Я повернула фотографию тыльной стороной, и сзади была дата: Сёва 16. Я посчитала на пальцах. Тысяча девятьсот сорок первый.

Он был еще только в старшей школе. Всего на пару лет старше меня. Мог бы быть моим сэмпам<sup>[130]</sup>. Мне захотелось узнать, могли бы мы подружиться, и стал бы он защищать меня от издевательств. Захотелось узнать, понравилась бы я ему вообще. Наверно, нет. Я слишком глупая. Мне стало интересно, понравился бы он мне.

Одна из защелок сзади рамки разболталась, и, когда я попыталась вставить ее на место, вся конструкция вдруг развалилась у меня в руках, и я подумала, вот блин, потому что мне ужасно не хотелось, чтобы Дзико узнала, что я сломала рамку, и я попыталась сложить все, как было, но что-то внутри застревало и мешалось. Я подумала, может, мне это как-то спрятать, или просто оставить на полу и свалить на Чиби, но вместо этого я села на татами и разобрала все опять, и вот так я нашла письмо. Всего одна страница, сложенная и засунутая между фотографией и картонным задником. Я развернула лист. Почерк был твердым и красивым, как у Дзико, в таком старомодном стиле, который так трудно читать, так что я сложила письмо опять и сунула себе в карман. Я не собиралась его красть. Мне просто нужен был словарь и какое-то время, чтобы понять, о чем там говорилось. Рамка была все так же сломана, но я засунула фотографию обратно и загнула одну из защелок, так что все кое-как держалось. Прежде чем поставить рамку обратно на алтарь, я поднесла фотографию к лицу.

— Харуки Одзисама! — прошептала я на самом моем искреннем и вежливом японском. — Мне очень жаль, что я сломала вашу рамку, и мне очень жаль, что я была такой дурой. Пожалуйста, не сердитесь на меня за то, что я взяла ваше письмо. Пожалуйста, возвращайтесь.

## 5

Дорогая мама!

Это моя последняя ночь на земле. Завтра я повяжу на лоб повязку с Восходящим солнцем и взлечу в небо. Завтра я умру за свою страну. Мама, не печальтесь. Я вижу, как Вы плачете, но я не стою Ваших слез. Как часто я думал, на что будет похож этот момент, и теперь я знаю. Я не чувствую печали. Я чувствую радость и облегчение. Так что осушите слезы. Позаботьтесь о себе и о моих дорогих сестрах. Скажите им, пусть они будут хорошими девочками, пусть всегда будут веселы и живут счастливо.

Это мое последнее письмо к Вам, а также формальное прощальное письмо. Командование ВМС вышлет Вам это письмо вместе с уведомлением о моей смерти и моей пенсией, которая отныне причитается Вам. Боюсь, это не

очень много, и единственное, о чем я сожалею, — это то, что я могу сделать так мало для Вас и сестер в обмен на свою ничемную жизнь.

Я также посылаю Вам дзюдзу, которые Вы дали мне, мои часы и принадлежавший К. томик «Сёбогэндзо», который был постоянным моим спутником в последние несколько месяцев.

Как я могу выразить свою благодарность Вам, моя дорогая мама, за то, что Вы вырастили этого недостойного сына? Я не могу.

Я очень многое не могу выразить Вам, послать Вам. Слишком поздно. К тому времени, как Вы это прочтете, я буду мертв, но я умру, веря, Вы знаете мое сердце и не будете судить меня строго. Я не воинственный человек, и я сделаю все с любовью и миром в сердце, которым научили меня Вы.

Скоро волны загасят огонь —  
— Мою жизнь — в лунном свете горящий.  
Чу! Слышишь ли голоса  
Что зовут со дна океана?

Пустые слова, Вы знаете, но сердце мое полно любви.  
Ваш сын,  
второй младший лейтенант ВМС Ясутани Харуки

— Le mal de vivre, — повторил Бенуа. Он был низкорослый и коренастый, с широким лицом, а одет был в пару замусоленных «кархарттов»<sup>{17}</sup> с красными подтяжками поверх драной фланелевой рубахи и канадскую шапку-менингитку, натянутую поверх курчавых черных волос. В жесткой бороде поблескивали седые пряди. В одной ручище он сжимал горлышки сразу нескольких винных бутылок, в другой — бутылку из-под «Танкеря». Взгляд его упирался поверх головы Рут куда-то не так уж и вдаль, где явно обосновался французский стих. Шум и лязг, издаваемые центром переработки, казалось, утихли на минуту, чтобы дать ему высказаться.

— Да, конечно, это значит «боль жизни», — сказал он. — Или «болезнь», или, может, «жизнь зла», «злая жизнь», как в les fleurs du mal<sup>{18}</sup>. Или, еще проще, «горечь жизни» в противоположность la joie de vivre<sup>{19}</sup>.

Он сделал паузу, насладиться послевкусием слов, а потом бросил бутылки в квадратное отверстие дробилки. Грохот от разбивающегося стекла был оглушительным.

— А что? — прокричал он.

— О, ничего, — ответила Рут. Внезапно она перестала понимать, что нужно говорить Бенуа, а что — нет, и сколько информации до него дойдет сквозь этот грохот. — Просто услышала песню.

Ну как объяснить все обстоятельства — что это были слова песни, которая пелась для призрака, что прочла она их в дневнике, который нашла на берегу в покрытом морскими желудями пакете? Она хотела попросить его помочь перевести с французского ту тетрадь, она даже принесла ее с собой, но все это было слишком сложно. Свалка субботним утром была не лучшим местом для сложных разговоров.

На парковке у нее за спиной пикапы, разбрызгивая грязь, пробирались к мусорным ящикам или сдавали назад, к дороге. Не так давно на острове была запущена программа по сбору мусора, но островитяне предпочитали делать все по-старому. Им нравилось

приезжать на свалку, чтобы лично избавиться от своих отходов. Им нравилось шлепать отсыревшие коробки с жестянками и пластиковые бутылки на стол для переработки, отделять картон от бумаги, кидать в дробилку стекло. Им нравилось прочесывать полки и вешалки «Фристора», который был ближайшим аналогом супермаркета на острове. Поездка на свалку была чем-то вроде поездки в торговый центр. Субботним утром это сходило за развлечение. Снаружи бегали дети, притворяясь, что играют в World of Warcraft *среди мокрых ржавых остовов машин и холодильников без дверей. Неформалы с дрэдами рыскали в перепутанной куче велосипедов в поисках цепей и шестеренок. Ворóны, вóроны и белоголовые орланы кружили над головой, оспаривая друг у друга право на территорию и мясные обрезки.*

— Да, — сказал Бенуа. — Это очень знаменитая песня. Ее пела Barbara.

Имя он произнес по-французски, лаская губами каждый слог и со вкусом раскатывая в горле задние г.

— Вообще-то нет. Певицу звали Моник...

Он нетерпеливо помахал рукой:

— Серфф, да-да, это она же. Barbara — ее сценическое имя, поклонники его знают. У нее множество поклонников. Вы тоже?

— Ну вообще-то никогда ее не слышала, — сказала Рут. — Просто наткнулась на стихи в одной книге, и мне стало интересно, что они значат...

Бенуа прикрыл глаза и начал говорить. Ей пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать сквозь равномерный грохот дробилки.

— *Le mal de vivre* — «боль жизни». *Qu'il faut bien vivre...* «С которой мы должны жить или терпеть». *Vaille que vivre* — это сложнее, но что-то вроде: «Мы должны жить ту жизнь, которая нам досталась». Не отступать. Как стойкие солдатики.

Он открыл глаза.

— Это помогло?

— О да, — сказала она. — Да, думаю, помогло. Спасибо большое.

Бенуа продолжал ее разглядывать.

— И это все, что вы хотели? Вам не нужна помощь с переводом всего остального? Там же еще был блокнот какой-то на французском, non?

Она взглянула на раззявленную пасть дробилки.

— Мюриел?

— Дора, — ответил Бенуа. Он ухмыльнулся, показав дырку на месте переднего зуба.

— Ну конечно.

— Mais, j'adore Barbara<sup>{20}</sup>, — сказал он. — И теперь я хочу вам помочь. Здесь слишком шумно. Может, нам стоит пройти в библиотеку?

Он громогласно призвал одного из своих дредастых подручных, чтобы тот подменил его, свистнул собаке и повел Рут через парковку, вверх по насыпи, изысканно украшенной старыми грузовыми покрышками с высаженными внутри геранями, в маленькую комнатку позади гаража, в котором стоял вилочный погрузчик. Маленький пес бежал впереди и гавкал.

Комната была на удивление опрятной; окна выходили на мусорные ящики внизу. Обстановка была скудной и, в общем, вполне ожидаемой: сляпанный кое-как металлический стол в углу, пара расшатанных офисных стульев на колесиках; помятого вида металлический шкаф для папок. Но все пространство над столом и две прилегающие стены, сверху до полу, занимали полки, уставленные книгами. Четвертую стену украшала разномастная живопись, в основном стоунер-арт, подделки под туземное искусство, и похожие один на другой северные пейзажи с лосями и гризли, отвратительные настолько, что были почти хороши. Еще к стене был приклеен разлинованный лист оберточной бумаги с аккуратно выписанными от руки словами «Молитвы о душевном покое»<sup>{21}</sup>: *Боже, дай мне душевный покой принять вещи, которые я не могу изменить...*

— Voilà, — сказал, раскинув руки, Бенуа. — Ma bibliothèque et galerie<sup>{22}</sup>. Добро пожаловать.

Он уселся за стол. Его песик, жесткошерстная дворняжка с хорошей примесью терьера, запрыгнул на второй стул, но Бенуа велел ему слезть, а потом, обмахнув сиденье тряпкой, пригласил Рут сесть. Пес окинул Рут покаянным взглядом и свернулся калачиком у ног Бенуа.

Она медленно прошлась вдоль полок, скользя взглядом по корешкам. Часть книг была на французском, но много было и английских названий, хорошее собрание классики, разбавленное

научной фантастикой, трудами по истории и теории политики. Выбор был гораздо лучше, чем в библиотеке.

— Все со свалки, — гордо сказал Бенуа. — Угощайтесь.

Он с живым интересом наблюдал за ней, когда она снимала с полки сборник рассказов Кафки.

— Вы очень похожи на свою мать, — сказал он, когда она села напротив.

Удивившись, она подняла взгляд от книги.

— А, вы не знали? — спросил он. — Мы с вашей матерью были большими друзьями. Она была одним из самых моих преданных клиентов.

Теперь она вспомнила. Оливер брал с собой мать на свалку каждое субботнее утро. Это было их маленьким ритуалом, и мать никогда не забывала о нем, даже когда все остальное постепенно стиралось.

— Масако, — бывало, говорил ей Оливер, громко, прямо в ухо, чтобы она его расслышала даже без слухового аппарата, который к тому времени она прекратила носить. — Я так понимаю, ты не захочешь сопровождать меня во «Фристор» в эту субботу?

Лицо у нее озарилось беззубой улыбкой. Протезы она к тому времени тоже перестала носить.

— Ну! — восклицала она. — Я уж думала, ты никогда не согласишься...

Она обожала покупки по дешевке. Росла она во времена Депрессии и была завсегдатаем секонд-хэндов по соседству, пока они не увезли ее на Запад. Вскоре после приезда на остров они свезли ее во «Фристор» и оставили копаться в висевшей на вешалках одежде. Пospешив на ее зов, Рут увидела, что мать стоит у стойки со свитерами, рассматривая один из кардиганов.

— Где ценник? — сказала она шепотом. — Ценник потерялся. Как я узнаю, сколько это стоит?

Голос у нее был встревоженный. Ее расстраивало, когда вещи терялись. Потерянные воспоминания. Потерянные кусочки жизни.

— Ценника нет, мам. Это бесплатно. Здесь все бесплатное.

Мать стояла, застыв от удивления.

— Бесплатно? — повторила она, озираясь вокруг, вбирая взглядом ряды вешалок с одеждой и полки с игрушками, книгами и домашней

утварью.

— Да, мам. Бесплатно. Поэтому место «Фристор» и называется — «Бесплатный магазин», понимаешь?

Она подняла свитер повыше.

— То есть я могу это забрать? Ничего не заплатив? Просто вот так?

— Да, мам. Просто вот так.

— Господи Боже мой, — сказала она, оглядывая свитера и покачивая головой. — Я будто умерла и попала в рай.

После этого Оливер каждую субботу отвозил Масако в пикапе на свалку. Припарковавшись, он помогал ей вылезти из высокой машины, а потом бережно вел ее вверх по холму, по каменистой тропе, мимо куч ржавеющей рухляди в «Бесплатный магазин», где передавал с рук на руки одной из дам-волонтеров. Сдав мусор на переработку, Оливер забирал ее из магазина и сопровождал обратно к подножью холма, где ее ожидал Бенуа с расспросами о том, как прошел шопинг и нашла ли она чего-нибудь по дешевке. Она всегда смеялась этой шутке.

Когда ее шкафы начинали ломиться от вещей, а ящики переставали закрываться, Рут потихоньку вытаскивала вещи снизу из-под накопившихся куч и возвращала во «Фристор», где ее мать могла снова радостно их обнаружить.

— Хорошенькая, правда? — говорила Масако, показывая Рут блузку, которую она только что принесла с собой домой. — Я так рада, что ее раздобыла. Знаешь, у меня когда-то была точно такая же...

Бенуа рассмеялся, когда она рассказала ему эту историю.

— Ваша мама была такая забавная, — сказал он. — Она наверняка совершенно точно знала, что вы делали. Прощальной церемонии не было? Нет? Я и не знал. Жалко.

Он наклонился вперед; глаза у него блестели.

— Ну а теперь — что я могу для вас сделать?

Он уже слышал о пакете для заморозки и прекрасно знал все о его содержимом. Попросил поглядеть часы небесного солдата, она сняла их и показала ему. И что у мужчин за пунктик насчет часов? Он присвистнул сквозь дырку в зубах, разбудив пса, который поднял голову с выжидательным видом. Когда он закончил восхищаться

часами, она вынула из рюкзака письма и тетрадь и бережно их развернула. Песик зевнул и заснул опять.

— Письма на японском, — сказала она, откладывая их в сторону, и взяла в руки тетрадь. — Но это — на французском.

Она заколебалась, глядя на его огрубевшие от работы руки, все в пятнах. Грязь глубоко въелась в трещины на пальцах, и под ногтями у него была чернота. Она пожалела, что не додумалась сделать ксерокопию. В его толстых пальцах тоненькая тетрадь казалась древней и очень хрупкой, но он обращался с ней так осторожно, переворачивал тонкие, как салфетка, страницы с таким бережным благоговением, что Рут была поражена. Он начал читать вслух:

*10 décembre 1943 — Dans notre grand dortoir, les soldats de l'escadron et moi, on dirait des poissons qui sèchent sur un étendoir. Seules les nuits de pleine lune, quand le ciel est dégagé, me procurent assez de lumière pour écrire... Mes dernières pensées, mesurées en gouttes d'encre.*

Он поднял глаза:

— Вы что-нибудь поняли?

— Совсем немного, — призналась она. — Декабрь. Что-то о рыбах и полной луне. И вроде чьи-то последние мысли?..

В его улыбке сквозила жалость.

— Может, вы позволите мне оставить это у себя, чтобы сделать перевод?

Этот снисходительный тон вызвал у нее раздражение, но она вполне могла это пережить. По-настоящему ее заботила только сохранность старой тетради. Ей не хотелось отдавать ему тетрадь, но и обижать его ей тоже не хотелось. Пес проснулся, и, почувствовав, что встреча подошла к концу, встал и ткнулся носом Бенуа в руку.

— Ладно, — сказала она, наблюдая, как он, наклонившись, почесывает голову псу. — Как вы думаете, это займет много времени?

Он пожал плечами. Вопросы насчет времени не имели смысла на острове, но потом глаза у него прояснились.

— А, — сказал он. — Это для вашей новой книги?

— Нет, нет, — сказала она. — Мне просто любопытно.

Вид у него стал разочарованный. Он сложил тетрадь, как она была раньше, и потянулся через узкий стол за вощенной оберткой и конвертом. По крайней мере, он был аккуратен. Стопка сложенных писем попала ему на глаза.

— Их писал тот же человек? — спросил он.

— На самом деле, я не знаю, — ответила она. — Я их еще не читала. Письменный японский очень трудно разобрать...

Ее оправдания его, похоже, не интересовали. Он взял в руки стопку писем и быстро ее пролистнул. Развернув одно, он разложил лист на столе. Пес, устав от ожидания, улегся опять.

— Только не говорите мне, что вы и по-японски читаете? — спросила она.

— Конечно, нет. Для меня это сплошные каракули. Но посмотрите-ка. Ручка та же, и чернила, — он вновь открыл тетрадь и положил ее рядом с письмом. — И видите? Почерк похож, хотя писал он на разных языках.

Он был прав. Характер у почерка был один и тот же, тонкий и аккуратный, но полный жизни и очень энергичный. Рут удивилась, как она не заметила этого сама.

— Почему вы думаете, что это был «он»?

— Абсолютно точно он, — сказал Бенуа, постукивая пальцем по абзацу, который он только что читал по-французски, и прочел его вновь, на этот раз переведя на английский:

«10 декабря 1943 года — Мы спим все вместе в одном большом помещении, люди из моей роты и я; мы лежим рядами, как мелкая рыбешка, которую вывесили сушиться».

Он потянулся через стол и постучал по циферблату ее часов.

— Могу, конечно, только догадываться, но думаю, это все написал ваш небесный солдат.

## 2

По пути со свалки домой она заметила, что ветер поднимается опять, и решила заехать в Сквиррел-Коув купить продуктов и пополнить бак. Запасной канистры у нее с собой не было, но если горючее в генераторе закончится, Оливер сможет стравить немного из полного бака пикапа. Если, конечно, генератор опять заработает. Над

горами висели низкие облака, и в горловине бухты ходили беспокойные волны под белыми шапками. Рыбацкая лодочка пересекала бухту, направляясь к правительственному доку. Над головой закладывал широкие круги белоголовый орлан. Было еще только слегка за полдень, но небо быстро темнело, и на дальней стороне бухты, в резервации клахузов, уже мигали огоньки.

Дома свет тоже все еще горел. Она припарковала пикап и выгрузила коробку с продуктами. Проходя мимо поленницы, она услышала воронье карканье. Остановившись, она поглядела вокруг, гадая, была ли это джунглевая ворона, но птицы не было видно. Можно ли отличить их по карканью? В услышанном ею крике звучала тревога. Карканье раздалось опять, на этот раз издали, а затем последовал долгий, с переливами, охотничий клич волков. Она двинулась к дому.

Оливер тоже готовился к шторму. Генератор был уже подключен и стоял в полной боевой готовности. Она разобрала покупки и, следуя вдоль тянувшихся по лестнице проводов, отправилась наверх. Дверь его кабинета на другом конце холла была открыта, и она решила заглянуть. Он сидел за своим столом в шумоподавляющих наушниках и, фальшиво насвистывая, бродил по интернету. Рядом спал кот на старом раздолбанном офисном стуле, который они привезли для него со свалки. Они называли стул «креслом второго пилота», и именно здесь было его самое любимое место. Кота они тоже на свалке раздобыли.

Шумоподавляющие наушники были ее, но она отдала их Оливеру, когда увидела, насколько они ему пришлись по душе. Ему нравилось, как они сдавливают голову. «Давление помогает мне думать», — говорил он, и теперь нужно было кричать, чтобы быть услышанной.

— Эй! — заорала она из дверей, махая рукой.

Кот моргнул и открыл один глаз. Оливер поднял взгляд и помахал в ответ.

— Ты дома, — сказал он, немного слишком громко. — Не слышал, как ты вошла. Ну что, получилось?

— Он собирается перевести это. Думает, это небесный солдат написал.

— Харуки номер один, — сказал Оливер. — Интересно, — он толкнул за подлокотник кресло второго пилота и стал наблюдать за

медленным вращением Песто. — Хотелось бы знать, почему он писал на французском...

— Чтобы никто не смог прочитать? Бенуа сказал, что он прятал тетрадь от других солдат в отряде.

Оливер задумчиво крутанул кота.

— Идеальная мера безопасности, — сказал он.

В ту же секунду она вспомнила, откуда это. Как он мог запоминать раз услышанное с подобной точностью?

— Кто станет охотиться за старой книгой под названием *À la recherche du temps perdu*? — продолжал он. — Так написала Нао. Выходит, она прятала свой дневник внутри Пруста, а он прятал свой, ведя его на французском. Похоже, тайные французские дневники — это семейная черта.

Он еще раз хорошенько крутанул кресло второго пилота, напоследок, и быстро отдернул руку, когда Песто, окончательно проснувшийся и крайне раздраженный, цапнул его лапой, зацепив когтем руку.

— Ай! — сказал Оливер, поднося ко рту палец.

— Так тебе и надо, — ответила Рут.

Кот соскочил с кресла второго пилота и прошептал вниз по лестнице и вон через кошачью дверь.

— Когда я шла к дому, я слышала волков, — сказала она. — Они очень близко. Сам будешь виноват, если его съедят.

Оливер пожал плечами.

— Если его утащит волк — так ему и надо. Кармическое возмездие за всех тех бельчат, которых он передавил.

Он вновь надвинул наушники, но было видно, что он встревожен. Хорошо. Она пересекла холл, направляясь к себе в кабинет.

Тайные французские дневники — семейная черта. Ну конечно. Почему она сама не заметила этой связи?

Рут вошла к себе в кабинет; взгляд ее упал на подушку для медитации, и ей подумалось, что в нынешнем душевном состоянии было бы неплохо попробовать опять посидеть в дзадзэн — это могло бы помочь с памятью — но она этого не сделала. Она села за компьютер и залогинилась в свой Gmail.

Все еще никакого ответа от профессора Лейстико.

Прошло уже больше недели с тех пор, как она послала письмо, и теперь вдруг ей подумалось — действительно ли она его отсылала? Может, она написала письмо, а потом забыла нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ». Или, может, соединение нарушилось и имейл так и не ушел. Подобные вещи случались гораздо чаще, чем ей хотелось бы признать. Она проверила папку «отправленные». Нет, вот оно, письмо, с датой и временем отправки. Девять дней! И куда девалось время?

Курсор пульсировал равномерно, нетерпеливо. Она скопировала имейл, присовокупила короткую вежливую записку, в которой просила прощения за настойчивость, и отправила опять. Ей не хотелось, чтобы он подумал, что она ненормальная, но девять дней?

Лицо у нее горело, и она приложила ладони к щекам, чтобы остудить их, ощущая смутное чувство вины, но за что? За то, что продолжает беспокоить профессора? За то, что пренебрегает собственной работой? За все время, впустую потраченное онлайн в безуспешной погоне за намеками из дневника? Внезапное исчезновение «Нестабильности женского “Я”» выбило ее из колеи. Это было подтверждение из реального мира, которого она так ждала, и вот оно ускользнуло. Может, нечестно было стремиться узнать больше, чем то, что написала девочка? Мир дневника становился все более странным и нереальным. Она не знала, как понимать историю с призраком. Верила ли Нао сама в то, что пишет?

Профессор был ее единственной надеждой. Она смотрела на не знающие покоя пиксели и ощущала растущее нетерпение. Это смятенное чувство было уже ей знакомо, парадоксальное ощущение, которое часто охватывало ее, когда она проводила чересчур много времени онлайн, будто одна и та же сила подгоняла ее и удерживала одновременно. Как это описать? Темпоральное заикание, беспокойная апатия, чувство, будто она забегает вперед и медлит одновременно. Это напоминало ей характерную аритмичную походку больных Паркинсоном в хосписе, где ее мать провела последние месяцы жизни, то, как они резко дергались вперед и замирали, продвигаясь по коридорам в столовую и неизбежно к собственной смерти. Это было ужасное, неестественное, паническое ощущение, которое трудно

передать словами, но которое, если бы она попыталась передать его типографически, выглядело бы примерно так:

*вот какощущается* **ЧУВСТВОТЕМПОРАЛЬНОГО**  
*заиканиякакзаза* **ЗАИКАЮЩИЙСЯРЫВОКВПЕРЕД**  
*во* **ВРЕМЕНИИни** **СЕКУНДЫИни** **МГНОВЕНИЯ** *чтобы*  
**ОТЛИЧИТЬОДНОМГНОВЕНИЕот** **СЛЕДУЮЩЕГО**  
*все* **ГРОМЧЕи** **ГРОМЧЕи** **ГРОМЧЕБЕЗПУНКТУ**  
**АЦИИ** *пока* **ВНЕЗАПНОБЕЗПРЕДУПРЕЖ**  
**ДЕНИЯОНО...**

прекращается

4

— Мне кажется, я схожу с ума, — сказала она. — Как тебе кажется, я схожу с ума?

Они лежали в кровати. Оливер проверял почту на айфоне. Он ничего не ответил, но Рут не заметила.

— У меня случаются предвидения, — сказала она. — Помнишь тот сон о Дзико, который я видела? Я тебе о нем рассказывала, верно? Тот первый, который был таким реальным? Она печатала что-то на компьютере, и хотя я не видела, я знала, что там написано.

Она подождала. Он не ответил, и она продолжала:

— Она написала: «Вверх, вниз, одно и то же». А потом, когда они были на пляже, Дзико сказала те же самые слова... «вверх, вниз, одно и то же». Сон я видела за неделю до того, как прочла о пляже, так откуда я это знала?

— А откуда ты это знала? — повторил он.

— Ну, это было, будто Дзико тоже отправила мне смс, только телепатически. Это безумие?

— Хм, — сказал Оливер.

— Это было похоже на предвидение. Как тебе кажется?

— Предвидения — это совпадения, которые еще не случились, — сказал он, не поднимая взгляда.

— Ну да, конечно, но это странно, правда? Что-то постоянно появляется ниоткуда, вроде этого пакета для заморозки или джунглевой вороны. Что-то исчезает, как эта статья. Я пыталась снова ее найти, но у меня не получилось. А публикация? «Журнал восточной метафизики»? Тоже исчез. Нигде не могу найти.

— Ничего обычно не исчезает просто так, — сказал он, набирая ответ указательным пальцем. — Где-то оно должно быть. А ты не можешь задать поиск по автору и узнать, где...

— Я пыталась! В том-то и проблема. Я не могу даже имени автора найти. Я могла бы поклясться, что видела его в списке на сайте академических архивов, но когда я вернулась, чтобы его поискать, оно исчезло. Испарилось! И профессор Лейстикко на мои имейлы не отвечает. Такое ощущение, что чем глубже я копаю, тем быстрее все исчезает. У меня просто руки опускаются!

— Может, ты слишком усердно копаешь... — предположил он.

— Это еще что значит?

— Ничего, — он тапнул по экрану, и она услышала характерный звук отосланного имейла.

— Ты меня слушаешь или почту проверяешь?

— Слушать, проверять почту, одно и то же...

— Нет, не одно!

— Ты права, — сказал он, поднимая глаза от экранчика. — Ладно, я проверял почту, и одновременно я слушал тебя, и одновременно в моей новостной ленте всплыло кое-что, что может иметь отношение к делу. И теперь у меня есть две мысли и симпатичная новость. Что бы ты хотела услышать сначала?

— Хорошую новость, пожалуйста.

— Только что получил имейл от сообщества художников из Бруклина. Они хотят опубликовать мою монографию о НеоЭоцене.

— Это же здорово! — сказала она, мгновенно забыв о своем раздражении. — А они кто?

Он смущенно улыбнулся, пытаясь не подать виду, насколько он был рад.

— Они называют себя «Друзья плейстоцена».

— Здорово.

— Да. То есть не идеально, нет. Я лично больше человек эоцена, а у них в ходу всякие новомодные идеи. Ну да ладно, ты понимаешь, какая там разница — один миллион лет, пятьдесят миллионов лет...

— Они заинтересовались. Это главное.

— Ага, — сказал он с сомнением. — Я только надеюсь, что они не исчезнут тоже.

— Не исчезнут. У них уже такая долгая история.

— Ты права, — сказал он. — «Друзья плейстоцена» — это звучит гораздо более гордо, чем даже «Журнал восточной метафизики».

— Это и была твоя мысль?

— Нет, — он повернул айфон так, чтобы ей было видно. — Во-первых, вот что появилось в моей ленте.

На маленьком дисплее была статья из «Нью Сайнс» о последних достижениях в создании кубитов для квантовых компьютеров.

Она сощурилась, пытаясь разобрать мелкий шрифт:

— И?

Оливер увеличил шрифт и показал ей. Имя исследователя заполнило весь экран: Х. Ясудани.

— О Боже мой, — вскрикнула она, резко садясь в кровати. — Ты думаешь, это он? Это возможно, правда? Или, может, опечатка. С ума сойти. Отправь мне ссылку. Я попробую выйти с ним на связь...

— Уже сделано, — ответил Оливер.

Она уже наполовину вылезла из кровати, одна нога в тапке, другая — без, готовая броситься наверх, к компьютеру, выйти в интернет, начать поиск.

— Ты не хочешь услышать мою вторую мысль? — спросил он.

— Конечно, — сказала она, шаря в поисках очков.

— Я тут просто подумал, может, в том, что происходит, есть квантовый элемент.

Она села обратно, раскачивая на ноге тапок:

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, может, я неправильно выразился, но я тут думал, если все, что ты ищешь, исчезает, может, надо перестать искать. Может, тебе стоит сосредоточиться на том, что у тебя в руках, здесь и сейчас.

— Это как?

— Ну, у тебя есть дневник, и ты его читаешь. Это уже хорошо. Бенуа переводит тетрадь. Также здорово. Но ведь еще существуют

письма. Можно бы найти кого-то, кто сможет с ними помочь.

Рут нахмурилась. Вроде бы в этом был смысл, а вроде бы и нет.

— Я показывала их Аяко, но она сказала, что не может...

— Не Аяко. Аригато. Погоди-ка, я погоду посмотрю...

— Какое отношение к этому имеет погода?

— Прекрасно, — сказал он. — Шторм проходит мимо. Завтра можно будет спокойно плыть.

Он поднял глаза к потолку.

— Надо бы свезти этот чертов генератор в мастерскую, прежде чем он опять сдохнет. Ты как насчет суши в Ливере?..

## 5

Кэмпбелл-Ривер, или Скверный Ливер, как называли его островитяне, был ближайшим к Уэйлтауну крупным городом, хотя понятия «ближайший» и «крупный» следует понимать весьма относительно. Поездка в Ливер включала в себя два паромных переезда, кроме того, нужно было пересечь на машине остров посередине, и занимало все это около двух часов, не считая очередей на паромы, которые в летнее время могли тянуться бесконечно. В самом Ливере с развлечениями было довольно туго — так, пара гипермаркетов и полупустые торговые центры, суд, тюрьма, больница, несколько секонд-хэндов и ломбардов там и сям, парочка задрипанных стрип-клубов и заброшенный целлюлозный завод, который, закрывшись, оставил кучу народу без работы.

И все же поездки на парамах были чудесны, неспешное, вперевалку, движение по морю цвета стали мимо крошечных островков, светившихся изумрудной зеленью под хмурыми небесами. Иногда стая дельфинов или белух неслась наперегонки с паромом или играла в кильватере. Вдалеке, сквозь пряди низко висящего тумана, виднелись снежные шапки гор.

Но, конечно, в город ездили не за красивыми видами. Для поездки всегда должна была быть причина практического характера — визит в больницу, приобретение страховки или пополнение припасов. Каждый островитянин был просто обязан морщиться и всем своим видом выражать утонченное страдание при мысли о том, что придется

покинуть свой рай ради кошмарной, но необходимой реальности Ливера.

Рут, однако, нравились путешествия в город. Для нее Кэмпбелл-Ривер означал свежие впечатления. Она любила шопинг, и если они оставались на ночь, можно было поесть в этническом ресторанчике, хотя, если сравнивать с Манхэттеном, выбор был не так уж велик: пара китайских забегаловок, тайский ресторан, и — ее любимое — японский суши-бар под названием «Аригато Суши».

Шефом здесь был бывший автомеханик по имени Акира Инуэ; он эмигрировал вместе с женой Кими из города Окума в префектуре Фукусима. Акира был ярым приверженец спортивной рыбалки и перевез семью на побережье Британской Колумбии ради первоклассного лова лосося, еще до того, как нерест практически прекратился. Они открыли свой ресторан и выбрали название «Аригато»<sup>{23}</sup> в знак благодарности Канаде за то, что им удалось наладить здесь приятную жизнь, а взамен они прилагали все усилия, чтобы разнообразить меню своих соседей по Кэмпбелл-Ривер. Здесь они вырастили сына, отправив его учиться в университет Монреаля, но лет им становились все больше, лосось практически перестал появляться в здешних местах, и Кими наконец убедила Акиру продать «Аригато Суши» и уйти на покой в родном городе в Японии. Катастрофа на атомной станции Фукусима Дайичи изменила все. За одну ночь город Окума превратился в радиоактивную пустыню, и теперь Акира и Кими застряли в Ливере.

— Окума был обычным городом, ничего особенного, — сказала Кими. — Но мы там родились, выросли. Теперь там нельзя жить. Наши друзья, родные — всем пришлось эвакуироваться. Бросить дома. Оставить все. Не было времени даже посуду помыть. Мы звали наших родичей переехать сюда. Сказали им, в Канаде безопасно. Оружия нет. Но они не захотели переезжать. Для них это — не дом.

Рестораны в Ливере закрывались рано, и Кими отложила уборку на кухне, чтобы посидеть с Рутю и Оливером у суши-бара, пока Акира чистил ножи и убирал рыбу. Их сын, Тош, закончил Университет МакГилла и теперь работал в Виктории, но по выходным часто приезжал помочь отцу за стойкой с суши.

— А для вас здесь — дом? — спросила Рут у Тоша.

— Вы имеете в виду Канаду или Кэмпбелл-Ривер? — спросил Тош; вопрос его явно позабавил. Это был высокий, вежливый и спокойный парень; по специальности он был политолог.

— Канада — да. Монреаль — конечно. Монреаль был как дом. Виктория — в меньшей степени. Кэмпбелл-Ривер, уф, не так уж.

— А для вас? — спросила Рут у Кими.

Кими заколебалась, и за нее ответил Акира.

— Она всегда была равнодушна к рыбалке. — Он кивнул Рут:

— А как насчет вас?

Рут помотала головой.

— Не знаю, — сказала она. — Не знаю, на что это похоже — дом.

Акира оторвал кусок пластиковой пленки и обернул вокруг влажно поблескивавшего куска ярко-красного тунца.

— Мне кажется, вы, скорее, девушка из большого города. Но вы... — тут он наклонился через стойку, чтобы подлить Оливеру сакэ, а потом поднял в знак тоста собственный бокал. — Вы — сельский парень. Как я. Для нас и Кэмпбелл-Ривер неплох, а?

Рут почувствовала, что сидевший рядом Оливер колеблется, но потом он тоже поднял бокал.

— За Ливер, — сказал он.

Становилось поздно. Рут подтянула на колени рюкзак и вытащила письма. Раньше она уже объяснила, в чем дело, и Кими согласилась попробовать помочь. Теперь Рут смотрела, как Кими протирает стойку, а потом принимает у нее письма обеими руками, совершив небольшой формальный поклон.

— Да, — произнесла Кими, изучая верхний конверт. — Это мужской почерк. Адрес в Токио. Почтовый штамп — «Сёва 15».

Она посчитала на пальцах.

— Это сорок третий год. Штамп не очень разборчивый, но, мне кажется, это из Цутиура. Там была морская база, так что, может, вы и правы — он был солдатом.

Она открыла письмо и расправила лист на стойке перед собой, бережно разгладив складки. Тош обогнул стойку и склонился у нее над плечом.

— Очень красивый почерк, — сказала она. — Старомодный, но я могу это прочитать. Перевод я напишу, но заранее прошу прощения за мой ужасный английский. Двадцать лет тут живу, и все же...

Тош положил руки ей на плечи и нежно сжал.

— Никаких извинений, мам, — сказал он. — Я не могу читать по-японски, но с английским я тебе помогу.

Акира коротко рассмеялся.

— Да, — сказал он. — Никаких извинений. У нас теперь полно времени, чтобы упражняться в английском.

Ночь они провели в мотеле «Над приливом», а на следующее утро, наскоро проглотив кофе с маффинами, успели на причал как раз к отходу первого парома. Движения в это время практически не было — в очереди на рейс, следующий к острову, выстроилось всего три машины. Подошел человек из команды парома — грузный молодой парень в шортах, явно из местных — и встал перед машиной в ожидании, когда можно будет подать сигнал на погрузку. Он окинул взглядом машины в очереди и доложил обстановку на мостик:

— Три до Фантазии<sup>{24}</sup>, — пробубнил он в рацию.

Со стороны Рут было открыто окно — она кормила белок.

— Ты это слышал? — спросила она у Оливера, который, сидя рядом на пассажирском сиденье, читал старый номер «Нью-Йоркера».

— Слышал что?

— Что сказал парень с парома.

— Нет. А что он сказал?

— Три до Фантазии.

Оливер поглядел в окошко на парня.

— Неплохо сказано.

— Откуда вообще он знает? Он слишком молод, чтобы помнить тот сериал.

Оливер усмехнулся.

— Может, и так, но он знает наш остров.

Я не знала, говорить Дзико о встрече с призраком Харуки № 1 или нет. Во-первых, я боялась, что ей станет грустно, вдруг ее-то он не навестил? Может, он встретился только со мной, потому что я была икисудамма? И потом, узнай она, и мне пришлось бы признаться, как я облажалась, не задав ему ни одного хорошего вопроса и не устроив ему должный прием. Может, с призраками полагается обращаться каким-нибудь особым ритуальным образом, может, слова существуют какие-то специальные, или надо подносить определенные подарки. Может, Дзико расстроится из-за того, что я сделала все не так, но откуда мне было знать, как?

Или, может, она подумает, что я вру. Может, она подумает, я все придумала, чтобы прикрыть тот факт, что я лазала в ее комнате, и разбила рамку, и украла письмо. На следующий день мне уже тоже начало казаться, что я все придумала, и не то чтобы у меня было много шансов с ней поговорить, так что я приняла решение подождать и посмотреть, вдруг Харуки № 1 еще вернется.

В утро церемонии осегаки я встала пораньше и потихоньку прокралась к воротам. Было еще темно, но в кухне горели лампы, и я слышала, как Мудзи переговаривается с монахинями, которые приехали помочь. Я знала, если они меня заметят, то заставят помогать, так что я кралась очень тихо. Дошла до лестницы и села на холодную каменную ступень у ворот, наполовину спрятавшись за огромным каменным столбом. Было страшновато и как-то немного сыро — если подумать, именно то, что любят призраки, и я начала немного надеяться.

— Харуки Одзисама ва иррасяймасу ка?<sup>[131]</sup> — прошептала я.

Но единственным, кто мне ответил, был котик Чиби, а его и за человека-то считать нельзя.

Я попыталась опять:

— Харуки Ичибансама?..<sup>[132]</sup>

И тут я услышала шум, что-то вроде еле слышного шепота и шлепанья, и, когда посмотрела вниз, на самое начало лестницы, увидела, как вверх по ступеням, прямо ко мне, карабкается призрачный монстр. Выглядел он как гигантская серо-коричневая гусеница. «*Татару!* — подумала я. — Нападение призраков!» Я вскочила и спряталась за столб, прежде чем чудище могло меня увидеть, крепко прижимая к себе Чиби, чтобы он не упрыгнул.

Монстр весь был в белых пятнышках и щетинистых бородавках, а еще у него была куча ног, торчащих по сторонам, ими он перебирал. Двигался он как-то неровно, извиваясь, медленно поднимаясь и опадая с каждой ступенькой. Я рассматривала его, пытаюсь понять, что это. Монстр двигался слишком медленно, чтобы его бояться, и сначала я подумала, что это был древний и крайне убогий дракон. При храмах иногда бывают драконы, и может, потому, что Дзико была такой старой, ее дракон тоже был старым. Но когда он подобрался поближе, я поняла, что это не дракон и даже не монстр-гусеница. Это просто была длинная процессия очень старых стариков из данка, и сверху их круглые сторбленные спины и трясущиеся белые головы выглядели, как тело монстра, а руки с палочками — как его ноги, и все они карабкались вверх сквозь тьму.

Я побежала обратно в храм и объявила, что гости идут, и тут начался переполох, и Мудзи бегала кругами, и кланялась, и показывала гостям дорогу в святилище. Напротив главного алтаря с Шака-сама мы установили специальный осегаки-алтарь для голодных призраков, и старушка Дзико сидела в гламурном золотом кресле. Потом была уйма песнопений, и молитв, и воскурения благовоний, а потом Дзико развернула этот свиток и принялась читать все имена мертвых. Все это были имена родных и друзей, которые люди из данка внесли в список, и свиток был очень длинный, и голос Дзико все бубнил и бубнил. Воздух был горячим и неподвижным, и было очень тихо, и ничего не двигалось, кроме имен, и было немного скучно, но только я начала отключаться, случилось кое-что странное. Может, я наполовину спала и видела сон, но было похоже, будто имена — живые, будто они плывут под потолком святилища, и не надо никому грустить, или чувствовать себя одиноко, или бояться смерти, потому что имена были здесь. Это было хорошее чувство, особенно для стариков, которые знали, что очень скоро они сами станут именами в этом списке, и,

когда Дзико наконец закончила чтение, все по очереди вставали и возжигали благовония, что заняло вечность, но тоже было здорово.

Так что это была долгая церемония, но мне это было не в напряг, потому что гостившие у нас священники и монахини помогали Дзико и Мудзи с песнопениями и колоколами, и всякими церемониальными штуками, а мне досталось бить в барабан. Мудзи научила меня играть, и я репетировала неделями. Не знаю, приходилось ли тебе играть на барабанах, но если нет, попробуй, дело того стоит, потому что, во-первых, это здоровское чувство — бить по чему-то палкой изо всех сил, а во-вторых, звук получается совершенно отпаднй.

Храмовый барабан — огромный, как бочка, и стоит он на высокой деревянной платформе. Ты стоишь впереди, лицом к туго натянутой мембране, и стараешься контролировать дыхание, которое скачет, как блоха, потому что ты очень нервничаешь. Священники и монахини тянут песнопения у большого алтаря, и ты ждешь, когда будет нужное место, и оно все ближе и ближе. Потом, точно в нужный момент, ты делаешь глубокий вдох, поднимаешь палочки, отводишь руки назад и

*бум*БУМБУМБУМБУМБУМ...  
...БУУМ!

Время нужно рассчитать очень точно, и хотя я жутко боялась совершить ошибку перед всеми этими людьми, думаю, я справилась неплохо. Мне очень нравится барабанить. Когда я это делаю, я осознаю эти шестьдесят пять моментов, которые, как говорит Дзико, есть в каждом щелчке пальцев. Я серьезно. Когда ты бьешь в барабан, ты чувствуешь, если БУМ раздастся самую чуточку раньше или самую чуточку позже, чем нужно. Наконец-то я достигла цели и разрешила свою детскую одержимость словом *now*, потому что именно это и делает барабан. Когда ты бьешь в барабан, ты создаешь *сейчас*, *NOW*, когда тишина становится звуком столь непомерным и живым, что кажется, ты вдыхаешь облака и небо, а сердце твое — дождь и гром.

Дзико говорит, это и есть пример временного существования. Звук и не-звук. Гром и тишина.

После того как все церемонии осегаки закончились, мы устроили для гостей праздник, и я помогала подавать еду, но я ужасно неуклюжая... в общем, я даже не буду напрягаться, описывать это. Наконец Мудзи, которая к тому времени и так уже совершенно задолбалась, это надоело и она отослала меня с каким-то поручением. Не помню уже, с каким, но идти мне надо было мимо кабинета Дзико, и я заметила, что раздвижная дверь была приоткрыта. Похоже, внутри кто-то был. Я все еще дергалась насчет рамки и письма, так что решила подойти посмотреть.

В комнате было темно, но свечи на семейном алтаре были зажжены, а перед алтарем на коленях стоял старик. Спина его была согнута, ладони сложены вместе перед самым лицом. Он поклонился, прикоснувшись лбом к полу, а потом встал и прошаркал к алтарю. Он был худым, как скелет, и костюм висел на нем, как на вешалке. Через плечо у него было что-то вроде перевязи, на которой рядами висели медали; впечатление было военное. Он добрался до алтаря, зажег палочку благовоний, прикоснулся ею ко лбу в знак подношения, и когда он потянулся к чашке, дрожащий уголек на конце длинной тонкой палочки был похож на крошечного светлячка, трепыхающегося в ночи.

Он прошаркал обратно, встал снова на то же место перед алтарем и стоял так еще долгое время. Иногда он сдвигал ладони, зажав между ними четки, и губы его начинали двигаться. Иногда он останавливался и прислушивался, а потом снова начинал бормотать. Я некоторое время смотрела на него, а потом заметила, что Дзико тоже была в комнате, она сидела, подогнув колени, в темном углу у шкафа с закрытыми глазами, будто пережидая, когда старик закончит делать, что он там делал. Конечно, я была вся на нервах, боялась, они обнаружат, что рамка сломана и письмо исчезло, но только я собралась потихоньку уйти, позади меня раздался шум, будто кто-то раздвинул старые двери или прочистил горло.

*Первое, чему они учили нас, — как убивать себя.*

Слова прозвучали тихо, но отчетливо. Я оглянулась, но за спиной у меня никого не было, только тяжелый полуполуденный свет

отбрасывал длинные тени в саду, да шелестел на ветру бамбук. Но голос я узнала.

*Может, ты думаешь, это странно? Мы были солдатами, но прежде чем показать нам, как убивать врага, они учили нас убивать себя.*

Легкий ветерок пронесся по саду, покрыв рябью поверхность пруда. Стрекоза, сидевшая рядом, упорхнула прочь.

— Это Вы? — прошептала я очень тихо. — Харуки Одзисама?..

*Они раздали нам винтовки. Они показали нам, как большим пальцем ноги нажать на курок. Как упереть кончик дула в углубление под челюстью, чтобы оно не соскользнуло...*

Моя рука поднялась и пальцы легко прикоснулись к месту под подбородком.

*Здесь.*

Пальцы сложились пистолетиком, средний и указательный надавили на точку прямо под челюстью. Я не могла пошевелиться.

*Именно так. Мы должны были скорее покончить с собой, чем дать захватить себя Мерикен<sup>[133]</sup>. Они заставляли нас практиковаться вновь и вновь, и, если мы колебались или делали ошибку, они били нас палками, пока мы не падали. Вообще-то они били нас в любом случае, правильно мы все делали или нет. Так они укрепляли наш боевой дух.*

Он засмеялся — этаким призрачным смешком.

Моя рука упала.

Ветер утих, и воздух стоял тихий и неподвижный. В комнате тот старик все еще стоял на коленях, и потому, как тряслись у него плечи, как поникла голова, будто сломанный тюльпан, было понятно, он плачет. Дзико все сидела у себя в углу с зарытыми глазами, терпеливо ожидая, и в первый раз я услышала щелканье четок дзюдзу, отстукивающих свои маленькие благословения.

Когда голос зазвучал опять, я еле могла его слышать. *Та коробка на алтаре. Рядом с фотографией. Ты ее видишь?*

— Да.

*Ты знаешь, что внутри?*

Как-то я помогала Мудзи чистить алтарь, и задала ей тот же вопрос. Она сказала, в коробке — останки Харуки № 1, но потом я подумала об этом еще раз, и смысла в этом не было никакого. Она

использовала слово *икоцу*<sup>[134]</sup>, но если Харуки № 1 умер, врезавшись на самолете-камикадзе в военный корабль, как от него могли остаться кости? То есть, даже если они остались, кто бы стал их собирать? И собирать откуда? Со дна океана? Но Мудзи на мои вопросы отвечать не стала, а Дзико я спросить не могла, потому что расстраивать ее было бы невежливо. Можно ли было задать подобный вопрос призраку?

— Я думаю... это ваши икоцу, верно? Так мне сказала Мудзи, но смысла в этом нет никакого...

И опять этот звук, будто старая деревянная дверь стучит на ветру.

*Никакого смысла. Совсем никакого смысла...*

А потом он ушел. Не спрашивай меня, как я это поняла. Я просто знала, что его нет. Было жарко, но я дрожала от холода, и волоски у меня на руках стояли дыбом, и я боялась, что опять рассердила его этим глупым вопросом. Старый солдат в комнате вытащил из кармана большой носовой платок и вытер глаза, потом медленно развернулся, не вставая с колен, так что теперь он был лицом к Дзико, и они оба поклонились друг другу. Встать на ноги после всех этих поклонов у них заняло вечность, что давало мне сколько угодно времени на побег.

### 3

Обон длился четыре дня, и это было совершенно безумное время для двух монахинь. После того как осегаки закончилось и гости ушли, старушка Дзико и Мудзи и я были по горло заняты посещениями домов данка — в каждом нужно было совершить буддийскую службу перед семейным алтарем. В старые времена они обходили все дома пешком, но когда Дзико, наконец, стукнуло сто, она сказала, что теперь о'кей, будет ездить на машине. Мудзи пришлось обзавестись правами, что в Японии очень и очень непросто, и стоит кучу денег, и занимает много времени, даже если ты водишь хорошо, а это не про Мудзи. На самом деле, она просто ужасный водитель. Храму принадлежал старый автомобильчик — пожертвование одного из данка, и я садилась с Мудзи вперед, а Дзико — на заднее сиденье. Мудзи хватала руль так крепко, что у нее белели костяшки пальцев, и наклонялась вперед так, что чуть не тыкалась носом в лобовое стекло. Машина заглохла два раза только за то время, когда она пыталась ее завести, и даже когда

мы, наконец, поехали, Мудзи так нервничала, что постоянно давила на тормоза. И я, в общем, ее не виню. Горные дороги узкие и извилистые, и каждый раз, как мы видели встречную машину, мы съезжали на несуществующую обочину, чтобы дать ей проехать. И каждый раз, как это случалось, старушка Мудзи начинала вежливо кланяться, так что голова у нее так и мелькала вверх-вниз, и чудом не пускала нашу машину под откос. Никогда в жизни мне не было так страшно. Один раз я оглянулась посмотреть, как там Дзико, подумав, что у нее должен был сердечный приступ начаться или еще что, но она мирно спала. Не понимаю, как она это делает. Когда мы добирались до дома нужного прихожанина, помочь я им особо ничем не могла, так что в основном оставалась снаружи и вела беседы с местными котами.

Письмо Харуки № 1 все еще лежало у меня в кармане. К тому времени я одолжила у Дзико из письменного стола ее словарь кандзи и прочитала почти все письмо, кроме пары слов, которые понять не могла. По ночам я потихоньку кралась к храмовым воротам и ждала там в облаке светлячков, надеясь, что он придет опять, но он так и не пришел.

#### 4

После Обона мы опять остались втроем, но не успели мы войти в привычную колею, как летние каникулы подошли к концу, и у меня осталось всего несколько дней до приезда папы, который должен был забрать меня и отвезти обратно домой. Я дико раскисла, и Дзико с Мудзи придумали устроить для меня маленькую прощальную вечеринку. Нельзя сказать, чтобы я была фанатом вечеринок, но мы решили сделать пиццу, которая удалась так себе, потому что никто из нас не знал, как делать правильные корочки, но нам было все равно. На десерт у нас были шоколадки, потому что старушка Дзико очень любит шоколад, а еще мы решили попеть караоке<sup>[135]</sup>. Это была идея Мудзи. К тому времени у нас уже был старенький компьютер, пожертвованный кем-то из данка, который к тому же помог наладить интернет, и я нашла неплохой караоке-сайт, где можно было скачивать песни, и хотя микрофона у нас не было, мы все равно могли петь, и танцевать, и производить кучу шума. Пели мы по очереди, а потом провели голосование, какая песня у кого вышла лучше всего.

Моим лучшим хитом стала старая классическая песня Мадонны The Material Girl, и я выступила с танцевальным номером на эногава, в обрамлении раздвижных дверей — прямо как на сцене. Я перевела слова для Дзико, и, по моему мнению, это было дико смешно. Мудзи спела вещь R. Kelly, I Believe I Can Fly, вот только в ее исполнении это звучало как I Believe I Can Fry<sup>{25}</sup>, что меня очень развеселило. Но награда за лучший хит вечера, без вопросов, досталась Дзико за Impossible Dream — это песня из старого бродвейского мюзикла. Я не фанат старых бродвейских мюзиклов, но Дзико эту песню ужасно любила, и хотя голос у нее больше был совсем не сильный, она спела с настоящим чувством. Это такая сентиментальная песня о том, что ставить себе недостижимые цели — это о'кей, потому что, если идти за недоступной звездой, сколь угодно далекой, сколь угодно чужой, твое сердце будет спокойно, когда ты умрешь, даже если ты при жизни был презренный и покрытый шрамами — как я. Честно, я увидела себя в словах той песни, и старый дрожащий голос Дзико был таким красивым. Она вложила сердце в эту песню, правда, мне кажется, она пела ее для меня.

Тем вечером она зашла ко мне в комнату, проскользнув по эногава и через раздвижные двери, как ветерок, залетевший из сада, так тихо, я и не услышала, как она вошла. Она встала на колени рядом с моим футоном и положила руку мне на лоб. Ее старая ладонь была сухой и прохладной и легкой, и я закрыла глаза, и, прежде чем я поняла, что происходит, я уже рассказывала ей все про призрака Харуки № 1, как он явился мне на лестнице в храм в первую ночь Обона, но потом ушел, потому что я не могла придумать ни одной интересной темы для разговора, и спела ему вместо этого дурацкий французский шансон. И как я чувствовала себя такой глупой и невежливой, так что пошла навестить его фотографию на алтаре, чтобы попросить прощения, и пока я держала фото в руках, его лицо вроде как ожило, но потом я сломала рамку, и выпало письмо, и я его взяла. И как я просила его вернуться, и он так и сделал, и рассказал мне про то, как он был солдатом, и офицеры били его, чтобы укрепить боевой дух, и он показал мне, как выстрелить себе в горло с помощью большого пальца ноги, чтобы не попасть в плен к мерикенам, но потом он ушел, и больше я его не видела.

Глаза у меня были закрыты, и это было, будто я в темноте говорю сама с собой, или, может, даже не говорю, а думаю. Я чувствовала руку Дзико у себя на лбу, как она вытягивает у меня мысли и одновременно удерживает меня на земле, чтобы я не улетела. Это еще одна из суперспособностей Дзико. Она из кого угодно может вытянуть историю, и иногда тебе даже рот не нужно раскрывать, потому что она слышит мысли, мелькающие у тебя в безумном мозгу еще до того, как они до рта дойдут. Закончив рассказ, я открыла глаза, и она убрала руку. Мне показалось, она смотрит куда-то вдаль, в сад, где в пруду пели лягушки. Их урчащие голоса набирали силу, как волна, потом замолкали, и так снова и снова.

— Да, — сказала она, — так их и тренировали. Они были солдатами-студентами, и они все были умницами. Военные их презирали. Они унижали их и били каждый день. Они ломали им кости, они ломали их дух.

Здесь она употребила слово «идзимэ», и, услышав его, я вдруг почувствовала себя такой маленькой. Я и мои глупые одноклассники. Мои маленькие царапины, ссадины и синяки. Я думала, я знаю об идзимэ все, но оказалось, что ничего я не знаю. Мне стало стыдно, но мне захотелось знать больше.

— Но это не сработало, правда? — спросила я. — Они не сломали боевой дух Харуки Одзисама, нет ведь?

Дзико помотала головой.

— Нет, — сказала она. — Не думаю, что они смогли.

Я еще немного подумала.

— Американцы были врагами, — сказала я. — Это так странно. Я выросла в Саннивэйле. Это значит, я враг?

— Нет, не значит.

— А ты ненавидишь американцев?

— Нет.

— А Харуки их ненавидел? Поэтому он хотел стать летчиком-самоубийцей?

— Нет. Харуки никогда не ненавидел американцев. Он ненавидел войну. Ненавидел фашизм. Ненавидел правительство и его политику унижений — империализма, капитализма и эксплуатации. Он ненавидел саму идею убивать людей, которых он не мог ненавидеть.

Смысла в этом не было никакого.

— Но в том письме он говорит, что отдает свою жизнь за родину. А быть летчиком-самоубийцей и не убивать людей нельзя, так ведь?

— Нет, но это письмо было только для вида. Это не были его настоящие чувства.

— Так почему тогда он вступил в армию?

— У него не было выбора.

— Они заставили его вступить?

Она кивнула.

— Япония проигрывала войну. Они призвали всех мужчин. Остались только студенты и совсем маленькие мальчики. Харуки было девятнадцать, когда пришла повестка, вызывающая его как патриота и воина Японии идти на битву. Когда он показал мне бумагу, я заплакала, но он только улыбнулся. «Меня, — сказал он, — *воином*. Только представь!»

Квакнула лягушка, потом другая. Слова Дзико упали в промежутки, как камни.

— Сам над собой смеялся, понимаешь. Он был добрым мальчиком, таким мягким и веселым. Он не был воином.

Лягушачье пение нарастало. Дзико продолжала говорить, и теперь ее слова звучали размеренно, как бой барабана, под оглушительное кваканье.

— Был конец октября. Устроили торжественный праздник. Двадцать пять тысяч призывников-студентов промаршировали к святилищу Мейдзи. Им выдали винтовки, и они несли их, как дети, играющие в солдатиков. Шел дождь, холодный и непрерывный, и красное с золотым святилище смотрелось как-то безвкусно, чересчур ярко. Три часа мальчики стояли по стойке «смирно», и мы тоже стояли там, и слушали красивые слова и призывы в честь родины.

Один из мальчиков, он учился вместе с Харуки, произнес речь. «Мы, конечно, не ждем, что вернемся», — сказал он. Они знали, что умрут. Мы все слышали о массовых самоубийствах солдат в том месте, Атту. Гёкусай<sup>[136]</sup>, вот как они это называли. Безумие, но остановить это было невозможно. Премьер-министр тоже там был. Тодзио Хидэки. Нет, неправда, что я раньше сказала, потому что его я ненавидела. Он был военным преступником, после войны его повесили. Я была так счастлива. Рыдала от радости, когда услышала, что он мертв. Потом я обрила голову и принесла обет прекратить ненавидеть.

Лягушачий хор умолк.

— Тот мальчик, который речь произнес, выжил, — сказала она. — Каждый год на Обон он приезжает сюда просить прощения.

До меня не сразу дошло.

— Ты имеешь в виду, это тот старик?

Она кивнула.

— Больше уже не мальчик. Мой сын тоже уже был бы стариком, если бы выжил. Трудно себе представить.

Лежа на спине, я вызвала в уме лицо старого солдата. Попыталась вообразить его молодым человеком, как призрак Харуки. Невозможно.

— Они были наши лучшие солдаты, — сказала она. — Они были *crème de la crème*<sup>{26}</sup>. Она использовала французское выражение, произнеся его по-японски, но я знала, что это значит. Ее глаза, затуманенные пустотой, глядели в прошлое. Я боялась заговорить, чтобы ее не побеспокоить, но мне нужно было знать.

— Что в коробке? — спросила я.

Вопрос, казалось, вернул ее на секунду обратно.

— Какой коробке?

— Которая на семейном алтаре.

Тень скользнула у нее по лицу. Может, это облако заслонило на миг луну, а может, это было мое воображение.

— Ничего.

— Как это, ничего? — спросила я, и когда она не ответила, я попробовала еще раз. — То есть там пусто?

— Пусто, — повторила она. — Со дэсу нэ.

Она посмотрела на меня, будто я была старым воспоминанием.

— Прости меня, Нао, дорогая. Я все говорю и говорю. Тебе спать надо.

— Нет, — запротестовала я. — Мне нравятся твои истории! Расскажи мне еще!

Она улыбнулась.

— Жизнь полна историй. Или, может, жизнь — это только истории. Спокойной ночи, милая моя Нао.

— Спокойной ночи, милая Дзико, — ответила я.

В лунном свете она выглядела старой и уставшей.

На следующий день за мной приехал папа, но еще до его приезда я в последний раз пошла в кабинет Дзико. Я обещала положить на место письмо, и коробка стояла все там же, на маленькой полочке, обернутая белой тканью, рядом с фотографией, и я не хотела беспокоить его еще раз, но мне правда нужно было знать, что в этой коробке. Дзико сказала, там ничего нет, но то, как Харуки рассмеялся своим призрачным смешком, наводило на мысль, что там все же что-то есть. Может, его молочные зубы, может, очки или школьный диплом. Можешь, конечно, считать, что это — предрассудок, но мне ужасно хотелось увидеть что-то реальное, что было его частью, это как бы сделало бы его реальностью тоже.

Я встала на цыпочки и достала коробку, стянув ее с полки. Села на пол и развязала узел на белой ткани. Будто разворачиваешь подарок на Рождество.

Внутри была деревянная шкатулка с надписью: «Героическая душа второго младшего лейтенанта Ясутани Харуки». Я почувствовала, как застучало у меня сердце. Я слегка встряхнула коробку, и мне показалось, что-то внутри зашуршало. Какие звуки должна издавать душа? Мне так хотелось посмотреть, но стало страшно: вдруг, если я открою коробку, его героическая душа как вылетит. Может, он на меня разозлится? Может, бросится прямо в лицо? Я уже собралась было завернуть коробку обратно и поставить на полку, но передумала в последнюю минуту. Я подняла крышку.

Там было пусто.

Дзико была права. Я поверить не могла. Просто, чтобы убедиться, я перевернула коробку и потрясла. На пол упал маленький листок бумаги.

— Это мне командование ВМС прислало, — сказала Дзико.

Она стояла в дверях, опираясь на палочку, в своей коричневой рясе, которую надевала на утреннюю службу. Честно, она способна появляться буквально из ниоткуда.

— Они высылали нам останки наших любимых детей в коробке. Если тело было не найти, они клали внутрь бумагу. Пустую коробку они послать не могли, понимаешь.

Я посмотрела на бумагу у себя в руке. На ней было написано одно слово:

(遺骨)

— Я открыла коробку, точно, как ты, — сказала она. — И точно так же выпал лист бумаги. Я так удивилась! Прочла, а потом все смеялась и смеялась. Эма и Суга были со мной в комнате. Они думали, я сошла с ума от горя. Мои дочери не были писателями. Для писателя это было так смешно. Послать слово вместо тела! Харуки был писателем. Он бы понял. Если бы он был там, он бы тоже посмеялся, и на секунду это было похоже, будто он здесь, со мной, и мы смеемся вместе.

Она усмехнулась про себя и вытерла глаза своим старым скрюченным пальцем. Иногда, когда она рассказывала истории, глаза у нее слезились, переполненные воспоминаниями, но это были не слезы. Она не плакала. Это просто воспоминания просачивались наружу.

— Это было прекрасное утешение, — сказала она, — учитывая обстоятельства. Но я так никогда и не смогла заставить себя положить это в семейную могилу. Все же это последнее слово принадлежало не ему. Оно принадлежало правительству.

Все еще опираясь на тросточку, она начала рыться в глубоком рукаве рясы, разыскивая что-то, и немного покачнулась, будто вот-вот потеряет равновесие, так что я подскочила помочь ей. Когда я протянула к ней руку, она протянула навстречу свою.

— Вот, — сказала она. Она держала один из любимых Мудзи пакетов для заморозки; внутри были какие-то бумаги. — Это письма, которые Харуки писал мне до того, как погиб. Думаю, пусть они тоже лучше будут у тебя. Ты можешь держать их вместе с тем, что нашла.

Я взяла у нее пакет, расстегнула и посмотрела внутрь. Я узнала почерк Харуки — такой же, как в письме, которое я вытащила из рамки.

— Можешь прочесть их, — сказала Дзико, — но, пожалуйста, помни, это — тоже не последние его слова.

Я кивнула, но уже почти не слушала. Я так волновалась! Мне хотелось поскорее прочесть письма. Харуки № 1 стал моим новым героем. Я хотела знать о нем все. Она опять порылась в рукаве.

— Еще это, — сказала она, — это тоже возьми.

В руке у нее были такие старые часы, которые пристегиваются на запястье. У них был черный круглый циферблат и стальные стрелки, и стальной корпус, и большое стальное колесико сбоку, чтобы их

заводить. Я взяла их и поднесла к уху. Они издавали приятный тикающий звук. Я перевернула часы. На задней стороне были выгравированы цифры и два иероглифа кандзи. Первым был кандзи

空

, «небо». Вторым был кандзи

兵

, «солдат». Небесный солдат. Это было понятно. Но иероглиф для «неба» был тот же самый, что и для «пустоты». Солдат пустоты. Это тоже было понятно. Я перевернула часы обратно лицом и застегнула их на запястье. Не малы. Не велики. В самый раз.

— Это часы Харуки, — сказала Дзико. — Их нужно заводить.

Она постучала скрюченным пальцем по колесу сбоку:

— Каждый день.

— О'кей.

— Никогда не давай им останавливаться, — сказала Дзико. — Не забывай, пожалуйста.

— Я не забуду, — пообещала я. Вытянув руку, я показала ей запястье с часами. Сжала кулак. С часами я чувствовала себя сильной. Как воин.

Она кивнула; вид у нее был довольный.

— Я рада, что ты встретила его, пока была здесь, — сказала она. — Он был хорошим мальчиком. Умным, как ты. Очень серьезно относился к жизни. Ты бы ему понравилась.

Она кивнула еще раз, не торопясь, а потом повернулась и зашаркала прочь. Я стояла там, прислушиваясь к стуку ее трости, удаляющемуся по старому деревянному коридору. Не могла поверить, что она это сказала. Никто никогда не называл меня умной. Я никогда никому не нравилась.

Я положила останки-Харуки-которые-не-были-останками обратно в коробку, завязала все, как было, и положила на алтарь. Потом я зажгла свечу и палочку благовоний и совершила подношение, сложив вместе ладони.

— Мне было очень приятно с вами познакомиться, — сказала я на самом моем вежливом японском. — Надеюсь, я могу вновь рассчитывать на ваше общество следующим летом. Пожалуйста, продолжайте хорошо заботиться о дорогой Дзико Обаачама, пока я не вернусь, о'кей? О, и спасибо за часы.

Я поклонилась глубоким формальным поклоном райхай, опустившись на колени так, чтобы лоб касался пола, а ладони были подняты к потолку. Когда я встала, у меня появилась еще одна мысль.

— Не знаю, о'кей это будет или нет, но, если бы вы смогли приглядывать иногда за папой, я была бы очень признательна. Его назвали в честь вас, и помощь ему правда не помешает.

Я опять быстро поклонилась и ушла. Я не особо верила, что призрак Харуки может сделать что-либо для папы, но за спрос денег не берут, верно?

Папа приехал в тот же день. Уезжать мне не хотелось, но я была счастлива, что он вообще явился. Я думаю, какая-то часть меня тревожилась, что он этого не сделает. Выглядел он старше, чем мне помнилось, но я ничего не сказала. Я все ждала, когда он заметит, какая я стала сильная, но он тоже ничего не сказал. Он собирался провести здесь ночь, и на следующее утро мы должны были ехать в Токио.

Мне до сих пор немного стыдно за то, что тогда случилось. За ужином он объявил, что собирается повести меня в Диснейленд по дороге домой. Теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, что для него это был практически подвиг, потому что ему бывает очень плохо в таких местах, со всем этим шумом и толпами, так что он, наверное, неделями переживал заранее. Но в тот момент я этого не понимала. Все, что я видела — это каким он был старым и усталым и жалким за этой его дурашливой улыбкой, и постоянно сравнивала его в мыслях с Харуки № 1. Дзико и Мудзи сидели с нами за ужином и ждали, что я запрыгаю, как сумасшедшая, и буду ужасно счастлива и благодарна, что поеду в Диснейленд, но вместо этого я промямлила что-то типа: «Нет, спасибо».

Тогда папина широкая улыбка исчезла, и, если бы я была хорошим человеком, я бы сказала, эй, я пошутила! А потом притворилась бы, что ужасно рада, и мы бы сходили в Диснейленд, и все тут. Но я не хорошая. Правда была в том, что идти мне не хотелось. После того как я встретила призрака Харуки № 1, который был настоящим героем, и услышала о том, через что ему довелось пройти во время войны, я уже не могла так радоваться при мысли о встрече с Микки-чан, или о том, что я пожму ему руку. Это все казалось теперь каким-то детским и

глупым. Теперь мне просто хотелось поскорее добраться домой, чтобы начать читать письма.

## Письма Харуки № 1

10 декабря 1943 года  
Дорогая мама!

Три месяца прошло с тех пор, как были приняты «Меры по укреплению внутренней ситуации», принесшие отмену нашей студенческой отсрочки и закрытие философского факультета. Боюсь, юриспруденция тоже пострадала, а также изящная словесность, экономика, да и все прочие. Вот это и произошло. Философия, закон, литература, экономика — все принесено в жертву ради священного дела войны. Великолепно, правда?

Два месяца прошло с помпезного прощального парада у святилища Мейдзи — несчастные марионетки, мы разыгрывали церемонии под холодным, промозглым дождем. Дорогая мама, боюсь, месье Рёскин был неправ: небо действительно плачет, и в жалкой ошибке нет никакой фальши<sup>{27}</sup>.

Неделя прошла с тех пор, как я распрощался с Вами, с Суга-чан и Эма-чан и прибыл в бараки воздушной базы ВМФ в Т. Я постараюсь писать побольше о своей жизни здесь, но пока можно только сказать, что, пройдя мимо на улице, Вы бы меня не узнали — настолько я изменился.

2 января 1944 года  
Дорогая мама!

Когда я узнал о том, что наши студенческие отсрочки отменены, я понял, что умру, и чувство, охватившее меня после этих новостей, было сродни облегчению. Наконец-то после всех этих долгих месяцев ожидания и неопределенности появилась уверенность, пусть даже уверенность в смерти — это было похоже на восторг! Путь, лежавший передо мной, был ясен, и я мог больше не беспокоиться о метафизических глупостях жизни — самоидентификация, общество, индивидуализм, человеческая воля, — которые в университете так занимали и так туманили мой рассудок. В самом деле, перед лицом

неизбежной смерти все эти понятия выглядят несколько тривиальными.

Только когда я увидел Ваши слезы, дорогая мама, я осознал, насколько эгоистичной была моя реакция, но, к несчастью, я был недостаточно зрелым человеком, чтобы исправиться. Вместо этого я потерял терпение — перед Вами. Ваши слезы заставили меня устыдиться. Был бы я настоящим мужчиной, я бы бросился на пол у Ваших ног и благодарил Вас за Ваши слезы и за силу, которую дает мне Ваша любовь. Вместо этого Ваш недостойный сын попросил Вас (боюсь, довольно холодно) перестать плакать и взять себя в руки.

В октябре, во время медицинского осмотра, офицер-вербовщик приказал нам «полностью отключить сердце и разум». Он проинструктировал нас вырезать с корнем всю любовь и оборвать все нити привязанности к семье и родным, потому что теперь мы были солдаты, и наша верность всецело принадлежала Императору и нашей родине, Японии. Помню, я слушал и думал, что никогда не смогу подчиниться этому приказу, но я был неправ. Пытаясь остановить Ваши слезы, я уже выполнил букву приказа, не из патриотической преданности, но из трусости, чтобы не чувствовать боли в собственном сердце, разбивающемся на куски.

С тех пор я не раз уже осознал, что мой восторг был преждевременным и наивным, равно как и эгоистичным. Это чувство, порожденное незнанием, было сродни той пьянящей экзистенциальной эйфории, из которой рождается настоящий героизм или бездумный патриотизм — частые явления во время войны. Последствия и вправду опасные, и мне жаль, что я так заблуждался. Я полон решимости больше этого не допустить.

Поскольку жить мне осталось немного, я также полон решимости не быть трусом. Я буду жить полной жизнью, насколько смогу, и глубоко переживать каждое чувство. Я буду неукоснительно размышлять над собственными мыслями и эмоциями и постараюсь сделаться лучшим человеком, насколько смогу. Я буду продолжать писать и учиться, чтобы, когда придет время умирать, умереть красиво, на пике стремления к благородству и совершенству.

23 февраля 1944 года  
Дорогая мама!

Тренировки у нас суровые, а сегодня нашему отряду было оказано особое внимание. Оно носит более личный характер и в то же время нет. Командир нашего отряда — сержант по имени Ф.; он, а также другие старшие офицеры, похоже, особенно благоволят нам, рекрутам-студентам, и специально назначают для нас особые упражнения. Они видят в нас привилегированных бездельников, и, конечно, они правы. По их словам, они нам услугу оказывают, делая из нас военных, и трудно удержаться от смеха, насколько это великолепно! О, мы тут делаемся превосходными солдатами, сомнений нет.

Из-за не слишком мощного телосложения и моей вечной неуклюжести, как ты можешь представить, я — один из фаворитов, но вот кого мне действительно жаль, это К., моего старшего однокурсника по факультету философии. К. — настоящий философ. Он... Как бы это сказать? «Не от мира сего». У него есть несчастная привычка полностью погружаться в собственные мысли, и, когда это происходит, он смотрит в пространство и полностью игнорирует команды офицеров, что не способствует его популярности у начальства. Ф. прозвал его Профессором (как ты можешь вообразить, все мы тут получили клички, и мою повторить совершенно невозможно). Мы с К. решили, что в образовательном методе Ф. есть своя красота и изобретательность, которые роднят его с блестящим французским солдатом маркизом де Садом. Как и маркиз, он обладает изобретательным умом и способностью художника к самонаблюдению, которые движут его к невыразимому совершенству. Мы решили, что теперь это будет его прозвище.

26 февраля 1944 года

Дорогая моя мама!

Дни проходят, и я рад сообщить Вам, что я делаю успехи в учебе и иду на повышение как в ранге, так и в статусе, пользуясь при этом уважением среди товарищей и старших по званию.

Недавно во время одного из упражнений меня беспокоило состояние здоровья К., так что я выступил вперед и вызвался занять его место. Маркиз был только счастлив выполнить мое пожелание и с тех пор решил, что я — гораздо более способный ученик, чем К., от

которого он так и не смог добиться интересной реакции. Теперь, когда он меня вызывает, он будто приглашает меня к сотрудничеству, чтобы сделать каждое упражнение еще изысканнее предыдущего. Он называет свои методы добротой в действии, и я бы не удивился, узнав, что после каждого занятия он проигрывает все раз за разом у себя в голове, дабы отточить свое мастерство. Если бы средством выражения для него были слова, а не война, он был бы поэтом.

14 апреля 1944 года  
Дорогая мама!

Я продолжу повесть о моих приключениях с того места, на котором закончил в прошлый раз. После ужина и переключки Маркиз часто предлагает поиграть в какую-нибудь детскую игру для поднятия духа. Поскольку я теперь сильно продвинулся и стал его любимцем, он всегда приглашает меня на роль *они*, а остальные водят вокруг хоровод и поют «Кагомэ кагомэ». Помните эту песенку, мама? Это милая песенка о птичке, запертой в бамбуковой клетке.

Еще одна его любимая игра — «камышовка летит через долину», где нужно прыгать через каждую кровать, время от времени останавливаясь и чирикающая песенку камышовки: «Хо-хо-ке-кйо!» Иногда мы еще играем в поезд, а иногда — в тяжелый бомбардировщик. Его игры не прекращаются, пока не прозвучит последний сигнал к отбою.

Другие члены отряда иногда смеются и радуются игре, но К. никогда не смеется. Он просто стоит и смотрит, вынужденный свидетель всего происходящего, до мельчайших подробностей, но поделаться ничем не может. Когда он пытается заступиться на мое место, Ф. смахивает его, как комара. Стремясь защитить К., я, кажется, принес в его жизнь еще больше страданий.

16 июня 1944 года  
Дорогая моя мама!

В этот раз не буду много писать, потому что вскоре вы все приедете меня навестить, и мысль эта наполняет меня такой радостью, которую невозможно ни выразить, ни сдержать. Но я чувствую, что должен написать Вам хотя бы вкратце, чтобы подготовить.

К. исчез три дня назад. Сначала мы не знали, что случилось. Маркиз допросил нас, но никто ничего не знал, хотя я боялся худшего. И действительно, на следующий день нам сообщили новость — он умер. Не знаю, как именно, хотя подозрения у меня есть. Все, что я могу сказать, — меня страшно печалят страдания моего друга, и я неистово надеюсь, что он возродится в гораздо лучшем мире.

3 августа 1944 года  
Дорогая мама!

Воспоминания о Вашем визите не оставляют меня, и я могу вызвать перед глазами каждую черту Вашего сильного красивого лица, очаровательную застенчивость Суги и милые улыбки Эмы. Каждую ночь, когда я ложусь спать, эти образы служат мне утешением, и я стараюсь не думать о том, как милые мои сестренки плакали и махали мне из уходящего поезда. Спасибо Вам за дзюдзу. Это огромное утешение, и я ношу их под формой, рядом с сердцем.

Еще я не могу забыть выражение ужаса на Вашем лице, когда Вы впервые меня увидели. Неужели Ваш дорогой сын настолько изменился? Я еще чувствую нежное прикосновение Ваших пальцев, когда Вы погладили синяк у меня на щеке, прикоснулись к порезу на челюсти. Вы не поверили, когда я сказал, что травмы были пустячные, и в тот момент мне было страшно стыдно, что я не смог как следует Вас подготовить к тому, что в действительности — лишь повседневные банальности военной жизни. Каким же я был эгоистом! Единственное мое оправдание в том, что я иногда забываю, Вы не можете читать мои мысли. Мы так близки с Вами, Вы и я, одна плоть и кровь, и Вы всегда знали мое сердце.

То, что Вы рассказывали о ситуации в Токио, пугает меня, и я умоляю Вас быть осторожней. Я боюсь за Вашу безопасность и безопасность сестер. Умоляю Вас, подумайте о возможности эвакуации за город. У нас, между тем, первый этап обучения, похоже, подошел к концу, так что Вы можете больше за меня не волноваться. Маркизу был передан в подчинение новый отряд рекрутов, а мы закончили курс и теперь учимся летать.

Декабрь 1944 года

Дорогая мама!

Вчера нас собрали, дабы мы могли прослушать зажигательную речь, полную призывов к патриотическому чувству. Кульминацией стал набор добровольцев, желающих пройти усиленную подготовку пилота в силах специального назначения. Дорогая мама, пожалуйста, простите меня. Смерть неизбежна, какой бы выбор я ни сделал. Я вижу это и понимаю так, как никогда раньше. Пожалуйста, вытрите слезы и дайте мне объяснить.

Выбор именно этой смерти несет с собой определенные преимущества. Во-первых, и это самое важное, он гарантирует посмертное повышение на два ранга, что, конечно, бессмысленно, но повышение это значительно скажется на размере пенсии, которую Вы будете получать после моей смерти. Я слышу Ваши протесты, слышу, как, стиснув руки, Вы настаиваете, что деньги Вам не нужны, и мысль эта вызывает у меня улыбку. Вы лучше погибнете от голода, чем воспользуетесь моей смертью. Но ради сестер я умоляю Вас принять мое решение. Выбор именно этой смерти станет для меня глубочайшим утешением. Этот выбор придает смысл моей жизни; я нахожу в нем глубокое удовлетворение моих сыновних чувств. Если дополнительные средства помогут прокормиться Вам и сестрам, помогут им найти хороших мужей, мне этого будет достаточно.

Это первое преимущество практического характера. Есть еще и второе, более философское. Добровольно вызвавшись уйти, я обрел толику контроля над оставшимся мне временем жизни. Смерть в наземном наступлении или под бомбами носит характер случайности, неопределенности. Эта смерть не такова. Эта смерть исполнена чистоты и ясности, у нее есть цель. Я смогу контролировать, и таким образом, глубоко, во всей полноте пережить моменты, предшествующие моей смерти. Я смогу выбирать, где и как именно я умру, и каковы будут последствия. И если Вы вытрите слезы, мама, и подумаете об этом, я уверен, Вы поймете, о чем я говорю.

Спиноза пишет: «Человек свободный, то есть живущий единственно по предписанию разума, не руководится страхом смерти, но стремится к добру непосредственно, то есть стремится действовать, жить, сохранять свое существование на основании преследования

собственной пользы. А потому он ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость есть размышление о жизни».

Смысл в том, что смерть на войне для меня неизбежна, поэтому, как именно я умру — вопрос чисто академический. Поскольку у меня нет возможности продлить свои дни или извлечь из этой жизни какую-либо выгоду для себя, я выбрал смерть, которая принесет выгоду тем, кого я люблю, а мне, в моем посмертном существовании, принесет как можно меньше печали. Я умру свободным человеком. Пожалуйста, пусть эти мысли послужат Вам утешением.

27 марта 1945 года  
Дорогая мама!

Вы обрадуетесь, узнав, что в ожидании смерти я вновь принялся за чтение. Поэзия и проза; мои старые любимцы Сосэки и Кавабата и те книги твоих милых друзей-писательниц, что ты мне прислала, — «Слова как ветер», принадлежащие Энчи Фумико-сан, и стихи Ёсано-сан в «Спутанных волосах».

Читая книги, написанные этими женщинами, я ощущаю, что Вы становитесь мне ближе. Их бурное прошлое — было ли оно также и Вашим? Если это так, я Вам аплодирую, и ни слова больше, потому что дразнить мать — неподобающее поведение для сына.

Литература притягивает меня как будто еще сильнее, чем раньше; не столько отдельные работы, сколько сама идея литературы — героизм и благородство человеческой воли, желания творить красоту из собственного сознания, — эта идея трогает меня до слез, и мне нужно поскорее их утереть, пока кто-нибудь не заметил. Ямато данси <sup>[138]</sup> не подобает проливать слезы.

Вы еще пишете? Я не мог бы быть более счастлив, знай я, что Вы работаете над романом или пишете стихи, но, полагаю, времени у Вас для этого немного.

Сегодня во время испытательного полета я вспоминал чудесную историю Миядзавы Кендзи о Вороньих Войнах. Все думают, это просто детская сказка, но на самом деле там заложено нечто гораздо большее, и когда я парил в строю на высоте двух тысяч метров, я вспомнил, как капитан Ворона взлетает со своего дерева-гледичии и становится на крыло, устремляясь на битву. «Я — Ворона!» — с

восторгом подумал я. Видимость была хорошая, и, поскольку это был самый последний из тренировочных полетов, я летал повсюду, сколько душе было угодно.

Я люблю летать. Говорил ли я Вам об этом? Поистине, нет чувства более великолепного, более трансцендентного. С этим может сравниться — почти — только дзадзэн. Я сижу в дзадзэн каждый день. Спасибо, что подсказали мне. Мне становится легче на душе от того, что я знаю — Вы тоже сидите.

Боюсь, вскоре наступит мой день, и следующее мое «официальное» письмо будет последним, которое Вы от меня получите. Но какую бы чепуху я там ни написал, пожалуйста, знайте, это не последние мои слова. Есть еще слова и другие слова, дорогая мама. Вы научили меня этому.

## Часть III

Не нужно думать, что время просто уносится прочь. Не нужно думать, что способность «уноситься» — это единственная функция времени. Если бы время просто уносилось прочь, между тобой и временем существовало бы разделение. Поэтому, если ты думаешь, что время — это то, что просто проходит, ты не понимаешь, что такое временное существо.

Чтобы добиться истинного осознания, пойми, каждое существо во всем мире связано со всеми остальными существами, подобно моментам времени, и в то же время они существуют отдельно, как моменты времени. Потому что каждый момент — это существо времени, и это твое временное существо.

*Догэн Дзэндзи.*  
*Юдзи*

Мне понадобилась неделя, чтобы прочесть все письма. Почерк у него был трудный из-за того, что иероглифы соединялись друг с другом, и я не понимала половину терминов, которые он употреблял, но я была полна решимости. Каждый вечер я заводила часы двоюродного деда Харуки и думала о нашептанных им историях. Эти истории засели у меня в голове, переполняя чувством стыда. Каждое утро я поднималась пораньше, чтобы посидеть в дзадзэн, и вот какие слова толклись у меня в голове, пока я сидела на подушке для медитации:

«Какая же ты дура, Ясутани Наоко! Трусиха, не можешь даже чуточку идзимэ вынести со стороны каких-то детей, таких же жалких, как ты сама! То, что они с тобой делали, — просто семечки по сравнению с тем, что вынес твой двоюродный дед. Харуки № 1 был всего на пару лет старше тебя, но он был супергерой, и храбрый, и взрослый, и интеллигентный. Он заботился о своем образовании и прилежно учился. Он разбирался в философии, и политике, и литературе, и мог читать книги на английском, французском и немецком — и это помимо японского. Он знал, как застрелиться через горло с помощью ружья, хотя он этого и не хотел. Ты, Ясутани Наоко, просто козявка по сравнению с ним. Да что ты знаешь? Манга. Анимэ. Саннивэйл, Калифорния. Дзюбэй-чан и ее Милая Повязка. Как можно быть настолько банальной и глупой! Твой двоюродный дед Ясутани Харуки № 1 был героем войны, он любил жизнь, любил мир, и все ж таки был готов врезаться на самолете в военный корабль и умереть, защищая свою страну. Ты несчастная маленькая козявка, Ясутани Наоко, и если ты не подберешь сопли сию же минуту, ты не достойна больше жить ни одного момента».

Теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, со мной было не особо легко общаться после того, как я вернулась из храма. Я злилась на себя, но на папу я злилась еще сильнее. Понимаешь, я-то была девчонкой, к тому же довольно зеленой, так что для собственной

отстойности у меня были хоть какие-то оправдания. Но папа был взрослый мужик, и оправданий у него не было. Вроде как за лето он должен был походить к доктору и ему должно было стать получше, но, насколько мне было видно, все оставалось по-прежнему или даже чуть хуже, и ясно было, что мама того же мнения.

Однажды, когда я еще только начала читать дневник, я наткнулась на кандзи, который не смогла найти в словаре. Я срисовала его, как могла, и показала вечером маме, спросив, что это значит. Она сказала, это старинное слово, и написала его по-современному, а потом мы вместе посмотрели значение. В следующий раз, как у меня возникли сложности, я опять ее попросила, и скоро я уже составляла список каждый день, и каждый вечер просила ее помочь, так что чтение у меня пошло намного быстрее. Однажды вечером мы сидели за кухонным столом, и она спросила меня, над чем я работаю, школьный ли это проект. Папа был на балконе, курил, и я знала, он нас не слышит, и решила рассказать ей о письмах Х. № 1.

Вид у нее был удивленный.

— Твоя прабабушка правда отдала их тебе?

Вопрос прозвучал, будто я украла их или еще что.

— Да, она правда их мне отдала. И они правда интересные. Я многое узнала об истории и всякое такое. — Я просто ненавидела свой оправдывающийся тон.

— А папе ты их показывала?

— Нет. — Вот теперь я жалела, что рассказала ей.

— Почему нет? Письма написаны его дядей, и, мне кажется, ему тоже интересно было бы их прочесть. Твой папа знает о своей стороне семьи гораздо больше, чем я. Вы могли бы читать их вместе.

Ладно, вот это меня уже разозлило. Я не хотела показывать их папе. Он их не заслуживал, и потом, тут до меня дошло, что она собирается спихнуть меня на него в качестве меры этой так называемой реабилитации — его или моей.

— Не хочешь мне помогать, ну и ладно. Я сама справлюсь.

Это было довольно наглое заявление, но вместо того, чтобы рассердиться, она потянулась через стол и положила руку мне на запястье, будто стараясь меня удержать.

— Наоко-чан, — сказала она, — я люблю тебе помогать. Дело не в этом. Я знаю, как все это было для тебя тяжело, но не будь слишком

сурова к отцу. Он хороший человек, и я знаю, глубоко внутри ты его любишь. Он очень старается, и ты тоже должна постараться.

Если бы в тот момент она не удерживала меня за руку, я бы вскочила и швырнула в нее чем-нибудь. Да что она знала о том, каково мне пришлось или насколько я стараюсь! И насчет папы я ей ни на секунду не поверила. Она врала. Он сидел там на балконе с сигаретой, на своем ведре, читал мангу, и по усталому лицу, по тому, как нервно она на него посмотрела, легко можно было понять — она совершенно не думает, что он так уж старается.

В одном она была права. Я все еще любила его. Я подумала над ее предложением той ночью, лежа в кровати, и поняла, что, может, мне и хотелось рассказать ему о войне и о Харуки № 1. Папу называли в честь него, и если бы он узнал, насколько храбр и крут был Номер Один, может, он вдохновился бы настолько, чтобы полностью измениться.

Так что на следующий день, вернувшись из школы, я решила показать ему письма. Он сидел за котацу и складывал японского жука-носорога из страницы «Великих умов философии Запада». После всего, что я узнала о Номере Один, мой интерес к философии несколько обострился.

— Что ты складываешь? — спросила я.

— *Tyrroxilus dichotomus tsuno bosonis*, — ответил он, приподняв фигуру, чтобы я могла рассмотреть длинный изогнутый рог.

— Нет, я имею в виду, какой философ?

Он перевернул насекомое, сощурился и начал читать, поворачивая фигуру то так, то сяк, следуя за строками по изгибам и складкам.

— «...история есть... экзистирующий Дазайн... протекающее во времени событие... “прошедшее” в существовании-друг-с-другом... “передаваемое по традиции”... считается историей в подчеркнутом смысле...» — прочел он. Потом улыбнулся: — Мистер Мартин Хайдеггер-сан.

По какой-то причине это меня страшно разозлило. Я не знала ничего о мистере Хайдеггере-сан и не понимала ничего из того, что он говорил, но имя было мне знакомо по одной из тех старых философских книг, принадлежавших Х. № 1, и ясно было, он должен быть кем-то крутым, и вот вам мой папа, превращает великий ум мистера Хайдеггера в насекомое. Это стало последней каплей. Пора было папе узнать, что он за ничтожество.

— Знаешь, твой дядя Харуки изучал философию по-настоящему, — вывалила я. — Он учился на факультете философии в университете Токио. Он не сидел дома весь день, играясь в оригами, как ребенок.

Папино лицо побледнело и застыло. Он поставил своего жука на стол и уставился на него. Я знала, что мои слова прозвучали жестоко. Может, мне стоило на том и остановиться, но я этого не сделала. Я хотела его вдохновить. Я хотела хорошенько его встряхнуть. Я хлопнула пачку писем на стол перед ним.

— Дзико Обаачама дала мне его письма. Ты тоже должен их прочесть, может, тогда ты перестанешь себя жалеть. Твой дядя Харуки Номер Один был храбрым. Он не хотел сражаться на войне, но когда понадобилось, он принял свою судьбу. Он был второй младший лейтенант флота и настоящий японский воин. Он был пилот-камикадзе, но его самоубийство было совершенно другим. Он не был трусом. Он направил самолет на вражеский корабль, чтобы защитить родину. Ты бы должен быть больше похож на него!

Папа не смотрел ни на меня, ни на письма. Он просто продолжал глядеть на своего жука. Наконец он кивнул.

— Соо даро на... [\[139\]](#)

Голос у него был такой грустный.

Может, не стоило мне ничего говорить.

## 2

Опять началась школа. В Японии сентябрь — это середина учебного года, так что я была все в том же классе с теми же глупыми, лицемерными детьми, которые игнорировали меня до смерти в первом полугодии, а потом притворялись грустными на моих похоронах. Я не собиралась больше давать им над собой издеваться или ломать мой дух. Я знала, что всегда могу опять ударить Рэйко в глаз, но не хотела прибегать к физическому насилию, пока не будет другого выхода. Вместо этого я собиралась использовать *супанаву*, которой научила меня Дзико. Я собиралась быть храброй, спокойной и безмятежной, как она и как Номер Один.

Когда я шла в школу в тот первый день, сердце у меня колотилось, но рыба в животе была сильной и мощной, как дельфин или кит-

касатка. Одноклассники, должно быть, заметили разницу, а может, они ощутили присутствие призрака Номера Один рядом со мной, и хотя никто не прыгал от радости при виде меня, в морду мне тоже не дали.

Когда никто меня не пытал, сосредоточиваться у меня получалось лучше, и я смогла всерьез заняться учебой. Уроки, как и раньше, были нудными, но после того, как я прочла письма Номера Один и увидала, каким умным он был и как любил учиться, я устыдилась собственного невежества. Конечно, ты можешь спросить, какой смысл учиться, если все равно собираешься врезаться на самолете в борт вражеского авианосца? С этим, конечно, не поспоришь, но я чувствовала, что немного образования перед смертью меня не убьет, так что я налегла на учебу, и знаешь что? Школа стала поинтереснее, особенно научные уроки. Мы изучали эволюционную биологию, и вот тогда-то я и подседа на вымершие виды.

Не знаю, почему этот предмет настолько меня завораживает, может, потому, что латинские названия у вымерших форм жизни звучат так красиво и экзотично и запоминание их помогало удерживать стресс на постоянном уровне. Я начала с доисторических морских огурцов, потом перешла к офиурам. После этого я выучила бесчелюстных рыб, потом хрящевых рыб и, наконец, костных рыб, прежде чем приступить к млекопитающим. *Acanthotheelia*, *Vinoculites*, *Calcancorella*, *Dictyothurites*, *Exlinella*, *Frizzellus*...

Дзико дала мне браслет из симпатичных розовых бусин дзюдзу, типа набор для начинающих, и я передвигала бусину за каждый вымерший вид, шепча про себя их прекрасные имена — во время переменки, или когда шла из школы домой, или ночью, лежа в кровати. Я чувствовала такую безмятежность, зная, что все эти создания жили и умерли до меня, практически не оставив следа.

Динозавры, ихтиозавры и прочая фигня мне были не так уж интересны, потому что это вроде клише. Каждый дошколенок проходит через стадию обожания динозавров, а я хотела заложить основу для своих знаний как-то более утонченно. Так что больших ящеров я пропустила где-то в ноябре, и примерно в то время как я принялась за гоминидов, папа опять совершил самоубийство.

Тут мне надо немного возвратиться назад, к 11 сентября, чтобы объяснить все как следует, по порядку.

11 сентября — это один из тех безумных моментов во времени, которые помнит каждый, кого они застали в живых. Ты помнишь их в точности. 11 сентября — это как острый нож, разрезающий время. Оно переменяло все.

Что-то в папе уже начинало меняться. Он жаловался на бессонницу, и даже снотворные на него не действовали, или, может, он их не принимал. Не знаю. Он все продолжал ходить по ночам, и глаза у меня все также распахивались в темноте, когда лязгал, закрываясь, засов и раздавался шаркающий шум шагов в коридоре за дверью. Пластик по цементу. Мне больше не нужно было за ним ходить. Я следовала за ним в своем сознании.

Но большие перемены произошли 11 сентября. Это было примерно через неделю после того, как я дала ему письма Харуки № 1, — я проснулась от звука включенного телевизора в гостиной. Звук был приглушен, но вопли сирен и пожарных машин были достаточно громкими, чтобы меня разбудить. Я взглянула туда, где спали мама с папой. Я могла различить очертания мамы, но папин футон был пуст. На часах горели цифры — 22:48. Я встала и прошла в гостиную. Он сидел на полу перед теликом, в трусах-боксерах и майке, с незажженной сигаретой в зубах. На экране висела картинка: два высоких тонких небоскреба на фоне голубого городского неба. Здания выглядели знакомыми, и панораму города я тоже явно уже когда-то видела. Ясно было, что это не Токио. Из стен башен валил дым. Некоторое время я стояла в дверях и смотрела. Сначала я решила, что это кино, но картинка на экране слишком долго оставалась одной и той же, и ничего не происходило. Просто два небоскреба испускают в воздух дым, ни музыки, ни саундтрека, только приглушенные голоса комментаторов на заднем плане.

— Это что? — спросила я.

Папа повернулся. В свете телевизора вид у него был болезненный. Лицо бледное и глаза мутные.

— Это Боэки-центр, — сказал он.

Я выросла в Америке, так что название было мне знакомо, но где точно был этот центр, не вспоминалось.

— Это Нью-Йорк? — спросила я.

Он кивнул.

— Что случилось?

Он потряс головой.

— Они не знают. Самолет врезался в одну из башен. Сначала думали, это несчастный случай, но потом это повторилось. Вон, смотри!

На экране возникло трясущееся изображение самолета, исчезающего в стене серебряной башни. Он скользнул внутрь, как нож в брусок масла. Из стены выросло облако огня и дыма. Куда девался самолет?

— Это был второй самолет, — сказал папа. — Теперь они говорят, это нападение террористов. Говорят, летчики-самоубийцы.

Его лицо было подсвечено огненным отблеском с экрана.

— Там люди застряли внутри, — сказал он.

Я села рядом с ним. Огонь и черный дым сочились из ран небоскреба. Листы бумаги, такие яркие, вылетали из дыр, сверкая и переливаясь в воздухе, как конфетти. Крошечные люди махали вещами из окон. Маленькие черные фигурки летели вниз вдоль сияющих стен. Я взяла папу за руку. Фигурки были живыми, это тоже были люди. На некоторых из них были костюмы. Как у папы. У одного мужчины я увидела галстук.

Сквозь сирены и бибиканье автомобилей прорывались голоса людей, стоявших на улице возле камеры. Они говорили на английском. Мужской голос отдавал указания: «*Освободите дорогу, освободите дорогу*». Еще какие-то парни говорили о вертолете, который кружил над башнями. Попытается ли он сесть?

Потом закричала женщина, а потом все закричали, и какой-то мужчина все выкрикивал: «*О Господи! О Господи!*», снова и снова, пока падала первая башня. Она упала прямо вниз, сложилась внутрь себя самой, в белое облако дыма и пыли, которое поднялось и поглотило мир.

Люди бежали по улице. Они были ранены. Они пытались спастись. «*О Господи! О Господи!*», — а потом упала вторая башня.

Я держалась за папину руку. Мы сидели там, бок о бок, и смотрели до самого рассвета. Одна за другой падали башни. Снова и снова, и мы смотрели на них. Когда я уходила в школу, он все еще смотрел. Когда я пришла домой, он все еще смотрел.

Он помешался на людях, которые прыгнули. В ту первую ночь мы их видели, маленькие человеческие фигурки, падающие вдоль стен небоскребов, и мы думали, что увидим их еще по телику или в газетах, но вместо этого они исчезли. Может, мы их придумали? Это был сон?

Следующие пару недель он вел за ними охоту в интернете. Он прекратил ходить по ночам. Бывало, я просыпалась глубокой ночью и видела, что он сидит за моим столом в спальне, уставясь в экран, запуская поиск за поиском. Он говорил, что правительство и новостные сайты чистят изображения, но наконец появилось фото Падающего человека. Ты, наверно, его помнишь. На фотографии — крошечный человек в белой рубашке и темных штанах; он падает головой вниз вдоль гладкой стальной стены небоскреба. Рядом с гигантским зданием он всего лишь черточка, загогулина, и сначала кажется, что это пылинка случайно попала в объектив. Только всмотревшись как следует, начинаешь понимать. Загогулина — это человек. Временное существо. Чья-то жизнь. Руки у него прижаты к телу, одно колено согнуто, будто он ирландскую джигу танцует, только вверх ногами. Все неправильно. Он не должен танцевать. Он вообще не должен быть здесь.

С футона на полу я наблюдала, как папа смотрит на фотографию. Он придвигался так, что его нос был в паре дюймов от экрана, и казалось, что у них с Падающим человеком происходит разговор, вроде как человек прекратил падать и застыл на минутку в воздухе, чтобы подумать над папиными вопросами. *Что заставило тебя на это решиться? Это был дым или жар? Это было сознательное решение, или твое тело просто знало? Ты прыгнул, или нырнул вниз головой, или просто шагнул в воздух? Приятна ли была прохлада воздуха после огня и дыма? Какое это ощущение — падать? Ты в порядке? О чем ты думаешь? Ты чувствуешь себя живым или мертвым? Теперь ты чувствуешь себя свободным?*

Интересно, отвечал ли ему Падающий человек.

Я знаю, что бы мы с папой сделали, если бы застряли внутри этих зданий. Нам бы даже не понадобилось ничего обсуждать. Мы бы смогли пробраться к открытому окну. Он бы быстро обнял меня и поцеловал в макушку, а потом протянул бы руку. Мы бы сосчитали до

трех, как делали в Саннивэйле, стоя на краешке бассейна, когда он учил меня не бояться глубины. Раз, два, три, а потом, точно в одно и то же время, мы бы прыгнули. Он держал бы меня за руку крепко-крепко, пока мы падали, держал бы, пока мог, прежде чем отпустить.

## 5

А тебе что в голову приходит?

Тебя пугает падение? Я высоты никогда не боялась. Когда я стою на краю чего-то высокого, ощущение такое, будто я — на краю времени и заглядываю в вечность. В голове возникает вопрос: «*Что, если?..*», и это такое головокружительное чувство — потому что я знаю: в следующее мгновение, пальцами щелкнуть не успеешь, я могу улететь в вечность.

Раньше, в Саннивэйле, когда я была ребенком, я никогда не думала о самоубийстве, но когда мы переехали в Токио и папа упал под поезд, я начала постоянно об этом размышлять. Если вдуматься, это логично. Умирать в любом случае придется, так почему бы не покончить с этим сразу?

Сначала это было чем-то вроде умственного упражнения. Как бы я это сделала? Хмм. Дай-ка подумать. Я знаю ребят, которые себя режут, но бритвы — это так неопрятно, и истекать кровью приходится слишком долго. Смерть под поездом тоже не слишком опрятная штука, и какому-нибудь несчастному недотыкомке придется потом убирать за тобой кишки и все остальное, не говоря уж о том, что твоим родным надо будет заплатить штраф. Это будет несправедливо по отношению к маме, она столько работает, чтобы нас содержать.

Таблетки не достать, и потом, как узнаешь, достаточно ли ты принял? Лучше всего найти симпатичное местечко где-нибудь на природе, может, скалу какую-нибудь, и чтобы обрыв был над глубоким ущельем, где никто тебя не найдет и где твое тело просто естественным образом разложится или вороны тебя съедят. Или вот еще лучше — скала, обрывающаяся в море. Да, это то, что нужно. Рядом с тем маленьким пляжиком, где у нас с Дзико был пикник. Я оттуда, наверно, смогу даже видеть ту скамеечку, где мы сидели вместе и ели рисовые колобки и шоколад. С вершины той скалы пляж, наверно, будет казаться совсем маленьким, как песчаный кармашек. Я

с нежностью подумаю о Дзико и как она научила меня, что сражаться с волнами бесполезно, и это будет хорошая последняя мысль, когда я спрыгну с края мира и полечу к океану. Это будет все тот же самый огромный Тихий океан, где Номер Один врезался на самолете в авианосец. Это здорово. Моя плоть достанется медузам, а кости упадут на самое дно, и я буду с Харуки навсегда. Он такой умный, нам будет о чем поговорить. Может, он меня даже французскому научит.

11 сентября они были в Дрифтлессе. За несколько дней до этого она читала титульный доклад на конференции по политике питания в университете Висконсина в Мэдисоне, и после конференции они с Оливером поехали навестить друзей — Джона и Лауру, у которых был дом за городом. Дрифтлесс — это сельская местность в юго-западном Висконсине, и Оливер давно хотел побывать в этих местах из-за их уникальной геологии — это было палеозойское плато, каким-то образом избежавшее оледенения. Плато, собственно, получило название из-за отсутствия ледниковых отложений: ила, песка, глины, мелких камешков и валунов, — дрифта, который оставляет обычно после себя отступающий ледник. Его особенно интересовали пещерные системы, исчезающие реки, слепые долины и карстовые воронки — всё характерные приметы местной топографии, но Рут нервничала. Мать ее тогда была еще жива и жила с ними на острове, и хотя Рут договорилась с соседями, что они будут время от времени заходить, приносить еду и проверять, как она там, ей не нравилось оставлять мать одну надолго. Но осень в Висконсине была чудесная, и побыть с друзьями было так хорошо. Они провели долгий, ленивый день в каноэ на Миссисипи, наблюдая, как черепахи принимают солнечные ванны на бревнах, купаясь в золотистых лучах.

На следующее утро они сидели вчетвером вокруг кухонного стола после неторопливого завтрака и с удовольствием пили по второй чашечке кофе, когда вдруг услышали звук мотора соседского пикапа. Джон пошел на улицу поглядеть, что ему нужно. Через пару минут он вернулся; вид у него был серьезный.

— Что-то случилось в Нью-Йорке, — сказал он. На ферме телевизора не было. Он включил радио и поймал NPR как раз в тот момент, когда второй самолет врезался в Северную башню.

Следующий час Рут провела, стоя на садовом столике, там, где на участке была небольшая возвышенность, пытаясь поймать сигнал сотовой связи, позвонить друзьям в Нью-Йорк. Наконец она смогла

дозвониться до своего редактора, которая наблюдала за разворачивавшейся катастрофой из окна своей кухни в Бруклине.

Голос редактора прорезался сквозь статику.

— Она падает! — вскрикнула она. — Боже мой, башня падает!

И связь оборвалась.

Они поехали обратно в Мэдисон, включили телевизор и провели остаток дня, наблюдая, как самолеты врезаются в башни и башни падают. Она все думала о маме — как она там, совершенно одна в маленьком домишке в Канаде. Мама ее всегда смотрела новости, пусть даже и не могла вспомнить о событиях предыдущего дня. Рут пыталась звонить, но никто не брал трубку. Мама у нее была практически глухая и не слышала, как звонит телефон.

— Мама телевизор смотрит, — сказала она Оливеру. — Она подумает, мы в Нью-Йорке. Она с ума сойдет от беспокойства.

— Позвони соседям, — сказал он. — Скажи им выдернуть телевизор из розетки.

К тому времени, как она наконец смогла кому-то дозвониться, наступило следующее утро.

— Очень нужно, чтобы вы пошли к моей маме и узнали, видела ли она что-то, — сказала она. — Если видела, просто успокойте ее. Скажите, мы в порядке и к Нью-Йорку даже близко не подъезжали. Потом выдерните телевизор из розетки и скажите ей, что он сломался.

На другом конце провода повисло долгое молчание.

— Да не вопрос, — сказала соседка. — А в чем проблема?

— Боюсь, она услышит новости и впадет в панику.

Опять долгое молчание. Потом:

— Какие новости?..

Рут быстро объяснила, а потом повесила трубку.

— Нам нужно обратно, — сказала она Оливеру.

## 2

Аэропорты были закрыты, так что они взяли напрокат машину, белый «форд-таурус», и поехали на запад вдоль канадской границы. Они собирались сдать «таурус» в Сиэтле, а потом обратно в Канаду морем, катером на подводных крыльях. В Канаде было безопасно.

Пока они ехали по стране, повсюду вокруг появлялись флаги, как цветы после дождя, — они свисали с шестов и антенн автомобилей, из окон домов и магазинов. Вся страна купалась в красном, белом и синем. Ночью, в мотелях с названиями вроде «Super 8» или «Motel 6», они смотрели, как президент клянется выследить террористов. «Живыми или мертвыми, — обещал он. — Выкурим их из норы. Пусть делают ноги, мы до них доберемся».

Однажды вечером они остановились поужинать в ресторане «Великая китайская стена» в Гарлеме, Монтана. Ресторан пустовал и должен был закрыться пораньше. Это дополнительная мера безопасности, объяснила официантка, вручая им счет.

— Никогда не знаешь, кто будет их следующей целью, — сказала она.

— Вы думаете, арабские террористы нападут на нас здесь, в Гарлеме, Монтана? — спросил Оливер. В Гарлеме, Монтана, обитало 850 человек. От Нью-Йорка его отделяло две с половиной тысячи миль, а вокруг была пустыня.

Официантка — по виду она была похожа на мексиканку — потрясла головой:

— Мы тут на авось не надеемся, — сказала она.

Позднее вечером в мотеле «Super 8» они смотрели репортаж о волне преступлений на почве ненависти против американцев-мусульман по всей стране.

— Знаешь, думаю, я был не прав, — сказал Оливер.

— Насчет чего?

— Наша официантка. Думаю, она не арабских террористов боялась.

### 3

Они наконец пересекли границу, и никогда еще Канада не казалась такой безопасной. Их соседи по острову выразили обеспокоенность их благополучием, но новости из большого мира имели мало отношения к их повседневной жизни. О том, что там происходит на юге, у них имелось весьма слабое представление, что не мешало им иметь обо всем свое мнение.

— Я практически уверен, что это все фальшивка, — сообщил ей один сосед, заехавший, чтобы передать им лекарство от Альцгеймера для Масако, которое он забрал для нее в клинике.

— Фальшивка? — повторила Рут. — То есть ты считаешь, ничего не случилось?

— О нет, — сказал он. — Случилось, конечно. Просто не то, что они рассказывают.

Оглянувшись вокруг, он шагнул к ней поближе, так, что их лица разделяло всего несколько дюймов. — Хотите знать мое мнение — это правительственный заговор.

Он был американец, ветеринар, прошедший Вьетнам. Свою награду, «Пурпурное сердце», он сдал американским иммиграционным властям, когда пересекал канадскую границу. Ему так и не удалось вылечить до конца травму позвоночника и требовалась регулярная доза морфина, чтобы держать боль под контролем. У Рут не было сил на споры. Она предложила чаю и посидела с ним, слушая его теории и думая о коробке в подвале. Как хорошо было бы свернуться там калачиком и заснуть.

Из своего погруженного в туманы форпоста на замшелом краю мира она наблюдала за тем, как США вторгаются в Афганистан, а потом обращают взоры к Ираку. Полки без суеты отправлялись на Средний Восток, а она сидела с матерью на диване в домике в самой гуще темного и мокрого дождевого леса, уставясь в маленький светящийся экран телевизора.

— Что это за программа? — спрашивала мать.

— Это новости, мам, — отвечала она.

— Не понимаю, — говорила мать. — Это похоже на войну. У нас что, война?

— Да, мам, — отвечала она. — У нас война.

— Ох, ужас какой! — восклицала мать. — А с кем мы воюем?

— С Афганистаном, мам.

В молчании они смотрели вместе, до рекламной паузы. Мать поднималась и шаркала в туалет. Вернувшись, она останавливалась и всматривалась в экран.

— Что это за программа?

— Это новости, мам.

— Это похоже на войну. У нас что, война?

— Да, мам. У нас война.

— Ох, ужас какой! А с кем мы воюем?

— С Ираком, мам.

— Правда? Но я думала, та война закончилась.

— Нет, мам. Она так и не закончилась. Америка всегда воевала с Ираком.

— Ох, ужас какой! — Мама наклонялась и вглядывалась в экран.

Проходили дни, недели. Месяцы проходили, потом годы.

— погоди, с кем, ты сказала, мы воюем?

После 9/11 мы думали, конец света настанет практически сразу, но он не наступил. Все так же нудно тянулась школа. Мои одноклассники были со мной милы из-за моего американского прошлого. Мы сложили тысячу бумажных журавликов-оригами, чтобы послать на «Ground Zero» в память о двадцати четырех погибших японцах и других жертвах упавших башен. Но к концу сентября всем уже поднадоело проявлять сочувствие и доброту и последовал резкий скачок враждебности. Явление это не было организованным, как раньше, по крайней мере, не с самого начала, так, случайная снайперская атака на пустом месте, если кто-нибудь нервничал или дергался. Подножка в коридоре, щипок в грудь. Жажда крови и вероломство носились в воздухе. Весь мир ждал, когда Америка нападет на Афганистан, но ничего не происходило, что, похоже, всех довольно сильно напрягало, даже моих одноклассников. Мы сдали предварительные экзамены, которые были как бы не в счет, но все равно показали, кто поступит в хорошую старшую школу и обеспечит себе отпадную жизнь, а кто останется лузером. Я. Мне бы быть к этому готовой, но я не была. Но какой смысл себя терзать, если другие всегда готовы сделать это за тебя?

Наконец 7 октября США начали бомбежку, а у меня опять начались месячные, и оба события стали своего рода большим облегчением.

Знаю, многие считают, говорить о подобных вещах противно и неприлично, и я надеюсь, ты не из их числа. Я не отношусь к девицам, для которых рассказывать всем и каждому о своем менструальном цикле — это эротический стимул. Я бы даже не заикнулась об этом, если бы это не играло роли в последующих событиях.

Месячные у меня начались еще в Саннивэйле, когда мне было двенадцать, что довольно обычно для Америки, но рано для Японии. Когда мы переехали в Токио, мне было четырнадцать, но потом вдруг месячные у меня прекратились, вероятно, из-за всего этого стресса и

идзимэ. Я так думаю, мой организм пытался вернуться обратно во времени к счастливым дням детства. Короче, месячные у меня начались только на последнем уроке в тот день, когда сэнсей объявил, что США начали бомбить Афганистан, и вдруг я почувствовала, что у меня течет кровь. По глупости я к тому времени бросила привычку всегда носить с собой прокладки и прочее. Я знала, что задерживаться в школе опасно, даже на минутку, но шансов добраться домой без кровавой мегакатастрофы у меня не было, поэтому, как только прозвенел звонок, я подхватила манатки и побежала в туалет.

Школа, куда я ходила, была не новой, а старые японские туалеты не похожи на американские. Унитазы вмонтированы в пол, и надо приседать над ними на корточках, вместо того чтобы сидеть, как на стуле. Вот так я сидела, с задранной юбкой, запачканные трусики болтаются вокруг щиколоток, когда услышала, что дверь открылась, а потом закрылась. Кто-то зашел.

Тихо, как могла, я обмотала кусок туалетной бумаги вокруг ладони, чтобы сделать прокладку. Из соседней кабинки донесся шорох, будто крысы скреблись, карабкаясь по стенке. Я замерла. Стенки кабинок наглухо стыкуются с полом, слава Богу, так что снизу подглядеть невозможно, но все же это ужасное чувство — сидеть вот так на корточках со спущенными трусами, голая задница болтается в воздухе, и слушать, как скребутся крысы. Невозможно чувствовать себя более уязвимой. Я затаила дыхание. Все было тихо. Я задрала юбку и наклонилась, чтобы сунуть прокладку в трусики, и тут услышала шум опять, только теперь он шел сверху перегородки. Я услышала, как кто-то хихикнул, посмотрела вверх и увидела две неровные линии, состоящие из телефончиков-кейтай, которые высывались из-за стенок с обеих сторон. Нацелены они были на меня. Я встала — очень быстро — и натянула трусы.

— Оооо, — услышала я. — Классный кадр!

Один за другим телефоны исчезли. Я одернула юбку и отступила в угол кабинки.

— Гаадость! — сказал кто-то. — Там кровь! Она даже не спустила за собой!

Я прижалась к выложенной плиткой стене, обхватив себя руками. Нужно ли мне спустить воду? Нужно ли мне попробовать сбежать? Была бы у меня винтовка, я бы выстрелила себе в горло.

— Бака! Все размазалось!

Я оттолкнулась от стены и потянулась к щеколде.

— Совсем не размазалось! Это ее волосы там!

Я отперла дверь и открыла. Они стояли у раковин плотной группкой вокруг Рэйко, разглядывая экранчики кейтаев друг у друга. Я пригнула голову и стала проталкиваться мимо них к выходу, но Рэйко выставила руку, как коп-регулировщик.

— Куда это ты собралась? — спросила она.

— Домой, — сказала я.

— Я так не думаю, — сказала она.

Тут кто-то схватил меня за воротник и толкнул в угол, где Дайсукэ снимал все на видеокамеру. Трое крупных девчонок толкнули меня на колени, потом на живот. Плитка на полу пахла мочой и хлоркой; она холодила мне щеку. Я почувствовала, как чье-то жесткое колено уперлось мне в спину, не давая подняться, и чьи-то руки задрали мне юбку до подмышек. Кто-то еще пнул меня в ребра.

— Давай сюда прыгалки.

Они это спланировали. Они придержали мне руки, потом натянули юбку на голову и завязали сверху прыгалками, как мешок, чтобы я не могла ничего видеть. Взяв меня за щиколотки, чтобы я не лягалась, они стянули с меня трусы.

— Ооо, в точку! — услышала я голос кого-то из них. — Да здесь кровища! За кровищу отвалят побольше!

— Бее, гадость. Воняет. Положи их уже в пакет, а то меня ща сблюет.

— Дайсукэ, ты бака. Ты чё не снимаешь? Нам видео нужно.

Внутри моего мешка в складочку было темно, а еще жарко и влажно, потому что я тяжело дышала, а выходить воздуху было некуда. Сквозь ткань юбки я еле-еле различала свет и смутные тени. Кто-то ткнул меня ногой в ребра и перекатил на спину, и теперь тени двигались надо мной, а плитка холодила мою голую попу. Они говорили о том, кто будет меня насиловать первым. Решили заставить это сделать Дайсукэ.

— Давай сюда камеру, — приказала Рэйко. — Снимайте с него штаны.

Они держали мне ноги раздвинутыми и заставили его встать на колени, а потом лечь на меня. Я почувствовала давление его тощего

тела и как в меня впиваются его костлявые бедра, но он был слишком напуган, чтобы что-нибудь произошло, поэтому они столкнули его пинками, и я услышала, как он убегает. Теперь они говорили о том, что им нужно видео с изнасилованием, но после провала Дайсукэ никто пробовать не хотел. Может, они все были напуганы. Не знаю.

— Кто-то должен это сделать.

— У нее кровяца. Противно слишком.

— Вы, мальчики, просто жалкие отстой.

— Ладно, тогда делай это сама, Рэйко. Будет лесбийский видос.

Так даже лучше.

— Бака. Я не лесбиянка.

Я просто лежала там, совершенно неподвижно. Кричать или сопротивляться не имело смысла. Их было слишком много, и никто бы не услышал меня и не пришел бы на помощь, но, в общем, это было и не важно, потому что я думала о Номере Один, и это придавало мне храбрости. Они могли сломать тело, но мой дух они сломать не могли. Они были всего лишь тени, и, слушая, как они спорят, я вдруг ощутила, как лицо у меня расплывается в тихой улыбке. Я вызвала свою *супанаву*, и скоро тени были всего лишь комары, вот они гудят где-то на заднем плане и могут реально достать, только если ты им позволишь.

— Эй, — услышала я. — Она дергаться перестала.

— Она не дышит.

— Крови так много, что-то слишком.

— Блин. Валим отсюда!

...Ты помнишь это чувство — ты маленький ребенок и притворяешься мертвым? Вот ты у себя на дворе в Саннивэйле, и вы играете в войнушку, и вдруг БАБАХ! — кто-то наставляет на тебя палку и стреляет? И вот ты падаешь, стискивая грудь. Земля такая холодная и влажная. Враг наблюдает за твоей гибелью, так что ты стараешься изо всех сил, стонешь и хватаешься за простреленное сердце, истекая кровью, но вот ты заканчиваешь, а война уже перекинулась на другую сторону двора.

И ты лежишь здесь, чувствуя, как земляной холод проникает тебе в щеку, в грудь, во все тело. На коленках у тебя влажные пятна, там, где они брякнулись о землю. Ты дрожишь. Земля пахнет грязью, и дождем, и химическими удобрениями для газона. От этого у тебя

начинает болеть голова, но ты не двигаешься. Ты не можешь двинуться, потому что пришла твоя смерть.

И куда все ушли? — начинаешь думать ты. — Они что, обо мне забыли?

И сколько мне еще тут лежать?

Они будут играть вокруг моего мертвого тела, а потом пойдут домой? Как я пойму, что игра закончилась? Что, если мне никто не скажет?

Как это скучно — быть мертвым!

Наконец ты уже больше не можешь, и ты перекатываешься на спину и открываешь глаза, и вот над тобой огромное, толстое, ленивое небо, все в облачках. Ты моргаешь, наполовину уже поверив, что это не понарошку, смерть и вправду пришла. Медленно поднимаешь руку, потом ногу, просто посмотреть, что ты это можешь, а потом... хей! Смерти нет! С облегчением ты вскакиваешь на ноги, подбираешь ружье, самовольно возвращаешься в ряды живых и бежишь воевать опять.

Вот так я себя и чувствовала, разве что неба я не видела совсем, только трубки ламп дневного света, очень смутно, сквозь ткань юбки. В туалете было тихо, в коридоре снаружи — тоже. Плитка все еще была холодной, и попой я ощущала липкость крови. Я медленно села и стала толкать руками стянутую над головой ткань, пока прыгалки не поддались и юбка не освободилась. Туалет был залит ярким светом и совершенно пуст. Зубами я развязала веревку на запястьях. Они болели, и ребра тоже, там, куда меня пнули, но, в общем и целом, я была в порядке. Я намочила пару бумажных полотенец и вернулась в кабинку, чтобы отмыться, а потом села на поезд и поехала домой.

В тот же вечер они запостили видео в интернете. Кто-то из одноклассников переслал мне ссылку. Качество изображения с телефонных камер кейтаев было дерьмовым, картинка зернистая и трясущаяся, и лицо мое было различить непросто, за что я была благодарна, но все же видео было ужасающе четким. Голова и руки увязаны в юбку, дрыгаются голые ноги — можно сказать, я была похожа на гигантского доисторического кальмара, который дергается и пускает чернила в жалкой попытке отогнать от себя хищников.

Рядом с видео была ссылка на бурусера-фетиш-сайт<sup>[140]</sup>, где хентаи могли делать ставки за мои окровавленные трусики. Аукцион

должен был продлиться неделю, и ставки росли быстро, но в этот раз я вообще не чувствовала удовлетворения из-за количества кликов. Я выключила компьютер, не забыв почистить логи, на всякий случай, если папу вдруг охватит любопытство.

У нас все еще был единственный компьютер, который мне приходилось делить с папой. Довольно долго он совсем не выходил онлайн, но с тех пор, как началась эта его одержимость Падающим человеком, он вообще из интернета не вылезал. А уж когда США вторглись в Афганистан, это было все. Он забил на своих философов, на своих бумажных жуков и весь день напролет следил за войной, что было реально неудобно, потому что я имела дело с крайне деликатными бурусера-материалами и не хотела, чтобы он за мной шпионил, пока я исследую уровень цен на мои трусики. Это меня просто задолбало. Он мыкался у меня за спиной в ожидании, когда же наступит его очередь, пока, наконец, мне не приходилось просить его уйти, пожалуйста, мне ведь нужно хоть какое-то личное пространство. Но даже после этого он продолжал возникать в дверях спальни каждые пять минут.

— Просто скажи мне, когда закончишь, ладно? — говорил он каждый раз, пока, наконец, я не сдавалась и не пускала его к компьютеру, после чего он зависал там часами. Когда пришла мама и спросила, чего он там делает, он соврал, что ищет работу. Она сжала губы и отвернулась, прежде чем с них успели сорваться жестокие слова. Она ему не поверила, и я тоже, потому что мы обе проверяли историю его логов и видели, на каких сайтах он подвисает. Страницы, посвященные технологиям вооружений. Военные блоги. Сайты фанатов-милитаристов. Эль-Джазира. Съёмки с оружейной камеры, которые выглядели как стратегия от первого лица, только очень плохого качества. Взрывы бомб. Падающие здания. Избиения. Трупы.

## 2

Это я его нашла.

Я прекратила ходить в школу после Инцидента с трусиками; аукцион продолжался. Я выходила из дома в форме, но вместо школы шла в интернет-кафе, где переодевалась в обычную одежду, и либо там же и подвисала, наблюдая за ставками и читая мангу, если погода была

плохая, либо садилась в поезд и ехала в центр смотреть магазины. Потом я переодевалась обратно в форму и к ужину возвращалась домой.

Дни становились все холоднее, и листья на деревьях гинкго на улицах начинали превращаться в золото. Постоянно шел дождь, капли сшибали листья с ветвей, и они лежали, распластанные по мокрому черному асфальту, как маленькие золоченые веера. Гинкго напоминали мне о Дзико, и мне всегда грустно видеть раздавленные ногами прохожих семена и листья — выглядят они и пахнут, как собачье дерьмо или будто ту же собаку стошнило.

В день окончания аукциона я и сама не знала, мандраж у меня или депрессия, учитывая, что вскоре какой-то отвратный хентай будет глумиться над моими трусами. Приятным это чувство назвать было нельзя — ощущение, скорее, было мрачное, тяжелое и крайне противное, так что я поехала в тот магазинчик, торгующий хэнд-мейдом, на Харадзюку, и хорошо, что поехала, потому что именно тогда я нашла мой чудесный дневник *À la recherche du temps perdu*, и, помню, по пути домой настроение у меня было хорошим — типа, пока у меня есть тайный дневник, я смогу выжить.

Но как только я отперла дверь и вошла, мой оптимизм испарился. Что-то было не так — я поняла это по запаху. Квартира пахла вонючими листьями гинкго. Пахла, как наш переулок утром в субботу после того, как накануне хостесс привечали у себя своих пьяных дружков. Пахла, как помойка, пахла рвотой.

Я сняла обувь и ступила в кухню.

— Тадайма... — позвала я. Я уже рассказывала о «тадайма»? «Тадайма» значит «только что», и ты говоришь это, когдаходишь к себе домой. Только что. Вот и я.

Папа не ответил, потому что только вот его-то и не было.

Его не было на кухне. Не было в гостиной. Том I «Великих умов философии Запада» лежал на столе, и телевизор был выключен. Эта деталь сразу бросилась мне в глаза, потому что телик он постоянно держал включенным и настроенным на CNN или BBC, чтобы всегда быть в курсе горячих новостей о войне. Но экран был пуст, а комната погружена в тишину. В спальне его тоже не было.

Я нашла его в туалете. Он лежал на полу, лицом вниз в луже рвоты, и хотелось бы мне тебе рассказать, как я бросилась к нему на

помощь, но я этого не сделала. Я открыла дверь и увидела его, и чуть не подавилась от запаха, и тут во времени отворилась эта огромная пустота, и все замерло. Мне кажется, я сказала что-то вроде: «Ой, прости», — или еще какую глупость, потом сделала шаг назад и прикрыла за собой дверь.

Я постояла так немного, пялясь на дверь. Это было будто я случайно наткнулась на него в туалете, когда он делал по-большому, и увидела его пенис, или еще что. Не могу объяснить. Чувство было такое, будто это что-то очень личное и интимное, то, как он лежал, и я точно знала, он не хотел бы, что б я видела его вот так, поэтому я попятилась в прихожую, уперлась в стенку и сползла по ней.

— Папа? — спросила я, сидя на полу, но мой голос прозвучал, будто говорил кто-то другой, кто-то, живущий очень далеко. — Папа?

Он не ответил. Мой кейтай висел на цепочке у меня на шее, и я набрала 911, но потом вспомнила, что в Японии номер для экстренных вызовов — 119, так что я вместо этого позвонила 119, и так там и сидела, пока не приехала «скорая». Парамедики положили его на носилки и унесли. Я спросила, мертв ли папа, и они ответили, что нет. Я спросила, будет ли с ним все в порядке, но они отвечать не стали. Ехать с ним они мне не позволили. Они хотели вызвать женщину из полиции, чтобы она посидела со мной, пока мама не вернется с работы, но я сказала им, что мне почти шестнадцать и я привыкла быть одна. В квартире стало очень тихо, когда они уехали. Я все смотрела на карточку у себя в руках. Один из парамедиков написал там название больницы, куда они его повезли, но я не знала, как добраться туда на поезде. Я набрала маму, но попала на автоответчик, так что я попыталась оставить ей сообщение.

— Это я.

Ненавижу разговаривать с машинами, поэтому я сбросила вызов и вместо этого послала ей смску.

«Папу стошнило и он без сознания. Он в больнице Н., отделение Т.».

Что еще можно было сказать?

Мне захотелось пить. Я открыла холодильник и налила себе молока, но запах папиной рвоты смешался со вкусом молока, так что мне пришлось вылить все в раковину. Молоко образовало белую лужицу на поверхности нержавеющей стали, потом лужица стекла, оставив

бледную пленку. Я открыла кран, чтобы смыть ее водой, потом вымыла стакан и протерла раковину. Подумала, раз уж такие дела, может, мне стоит и за папой убрать, пошла на балкон и достала ведро и швабру. Запах был тошнотворный, в прямом смысле, поэтому я повязала чистое кухонное полотенце вокруг носа и рта и пошла в туалет.

Лужа рвоты была прозрачной, но какой-то желтоватой, с полурастаявшими кусочками чего-то похожего на карамельки. Один парамедик их тоже заметил. Он натянул резиновые перчатки, зачерпнул их целую кучку особым маленьким скребком из своего чемоданчика и положил в пробирку с пробкой.

— Ваш отец принимает какие-нибудь лекарства? — спросил он.

Я не знала. Остальные парамедики пытались развернуться с папой и носилками в тесной прихожей. Он быстро поглядел вокруг унитаза, а потом в корзине для бумаги.

— Вы знаете, где он держал свои лекарства? — спросил он.

Я не хотела, чтобы у папы были неприятности, и ничего не сказала.

— Это важно, — сказал парамедик.

Я указала на шкафчик с аптечкой, и он его открыл, но там ничего не было, кроме обычной фигни: аспирин, пластыри, слабительные какие-то, крем от геморроя и мамины средства для волос.

Остальные медики выкатывали папу из дверей.

— Где спальня?

Я провела его через прихожую. Занавески были задернуты, так что в комнате было довольно темно. Единственным источником света был монитор, и мой скринсейвер Hello Kitty окрашивал все в розоватые тона. На полу лежал розоватый футон, аккуратно разложенный, будто кто-то только что лег, а потом опять встал, потому что свет забыл выключить. Рядом с розовой подушкой стоял стакан, полупустой кувшин с водой и пустая упаковка из-под таблеток. Парамедик положил упаковку в пластиковый пакет и направился к двери. Обернулся, дал мне карточку, а потом пристально на меня посмотрел:

— Ты в порядке?

— Я в порядке, — сказала я этим далеким голосом, совсем не похожим на мой. Я попыталась ему улыбнуться, но он уже был за

дверью и бежал по коридору.

Рвота на полу немного подсохла. Я пошла обратно на кухню и достала из мусорного ведра пустую картонку из-под сока гуавы, ножницами разрезала ее пополам, а потом острым картонным краем соскребла с пола жижу и спустила в туалет. Я достаточно насмотрелась полицейских передач по телику и знала, что это называется уничтожать улики, но мне улики были не нужны. Я знала, что случилось, и знала, что все будут довольны, если мы просто притворимся, что это был несчастный случай. Глупый папа. Рассеянный папа. Ну постоянно с ним что-то случается. Потом в голову мне пришло кое-что еще.

Я положила картонку из-под сока гуавы в пластиковый пакет и пошла вниз, вынести его в помойный ящик на улице. Вернувшись в квартиру, я заперла за собой дверь. Первый том «Великих умов философии Запада» лежал на столе, но эллинистов он закончил давным-давно, поэтому я знала, что-то не так. Записка была засунута в середину главы «Смерть Сократа», на листке моей бумаги Gloomy Bear, аккуратно сложенном в три раза. Я вытащила листок. Имени на записке не стояло, и мне стало любопытно, кто, как он надеялся, найдет записку — я или мама, или мы вдвоем, или, может, он это просто для себя написал. В тот момент читать ее мне не хотелось, так что я все сложила, как было, и запихнула в карман школьного блейзера.

Вот что я подумала: если я прочту записку, а он уже умер, тогда я буду знать, что в этот раз он это всерьез, что он и правда хотел умереть, и это моя вина, потому что я вела себя с ним гнусно и жестоко. А если он еще не умер и я прочту записку, это могло его убить, и опять виновата буду я.

Логика в этом не было никакой, но тогда я думала именно так, и я знала, что бы я ни сделала, все равно буду чувствовать себя мерзко. Я все еще была в школьной форме. Я пошла в спальню, переделась в джинсы и худи, переместив записку в карман толстовки, а потом вернулась в туалет, чтобы закончить с полом. Два отвратных Инцидента-в-Туалете за неделю. Странно.

Мама позвонила из офиса. У нее было собрание. Она заставила меня описать, что произошло и что именно я видела, а потом заставила

прочешь название больницы, и адрес, и телефон на карточке. Потом спросила, буду ли я в порядке, если побуду одна.

— Конечно, — ответила я.

— Ты голодная? — спросила она. — Папа тебе оставил поесть?

— Я не голодная. — И, наверно, вообще больше никогда есть не захочу.

— Я позвоню тебе из больницы. Жди меня. Не выходи.

— Мам?

— Да?

Я хотела сказать ей о записке, но не знала, можно ли это делать.

— Что такое, Наоко? — голос у нее был напряженный. Она хотела поскорее уйти.

— Ничего.

Мы повесили трубки. Я вынула записку из кармана худи. Может, я была не права. Надписи, для кого записка, не было, так что, может, это вовсе и не записка. Я развернула лист. Там было две фразы, написанные папиным маниакальным почерком. Первая была такой:

*Я был бы смешон в собственных глазах, цепляясь за жизнь, когда она более ничего не может мне предложить.*

Эту фразу я узнала. Это были слова Сократа, он сказал так своему другу Критону прямо перед тем, как выпить яд цикуту. Критон пытался отложить неизбежное, уговаривая Сократа подождать еще немного. Он говорил, типа: «Куда спешить-то? Времени еще полно. Почему бы не потусоваться с друзьями, поужинать, выпить по бокальчику вина?» Но Сократ отвечал, типа: «Забудь об этом. Не хочу чувствовать себя дураком. Давай-ка уже с этим покончим», — и так и сделал. Папе ужасно нравилась эта история, и он мне ее как-то рассказал. У него была теория, как именно это проливалось свет на западный тип мышления, но я не понимала, о чем он говорит. Мне только запомнилось, что «Критон» он произносил, как «Куритто», и мне нравилось, как это звучало. Будто печенку пополам ломают, или как сверчки в траве.

Под первой фразой была вторая:

*Я был бы смешон в глазах окружающих, цепляясь за жизнь, когда я более ничего не могу предложить.*

Тут мне в голову пришла ужасная мысль. Я пошла обратно в спальню. Hello Kitty мигала мне розовым с экрана, но когда компьютер проснулся, Hello Kitty исчезла, и вот я уже гляжу на сайт бурусерахентай, на страницу, где выставлены на продажу мои трусики. Я забыла подчистить логи в браузере. И он должен был это увидеть. Аукцион был окончен. Выиграл некто по имени Lolicom73. Я просмотрела историю ставок. В какой-то момент кривая ставок достигла пика, а потом выровнялась, но в последний час вдруг выскочил новый участник, С.imperator, и поднялась суматоха — ставки поднимались и перекрывались опять, но в оставшиеся две секунды Lolicom73 перебил последнюю ставку С.imperator'а.

Lolicom73 стал гордым обладателем моих трусиков. С.imperator проиграл. Я пошла в туалет, наклонилась над унитазом и меня стошнило — но, по крайней мере, у меня все аккуратно попало внутрь.

Я вернулась в гостиную. Записка все еще лежала на книге, где я ее оставила. Я подобрала ее, скомкала в кулаке и бросила через всю комнату, но бумажка срикошетила от дивана и упала на ковер. Мне хотелось, чтобы это был камень или бомба. Мне хотелось, чтобы эта штука оставила огромную дыру у нас в гостиной или вообще разнесла в клочки все это дурацкое здание. Но бомбы у меня не было, так что я подобрала первый том «Великих умов философии Запада» и швырнула его в балконную дверь. Книга была тяжелая, но стекло тоже было такое толстое, и книга просто отлетела от него и шлепнулась на пол заглавием вниз. Это меня еще больше взбесило, и я подняла книгу опять, только теперь я раздвинула двери балкона, прежде чем кинуть. И пока я наблюдала, как эллинисты кувыркаются над перилами балкона, взъерошенные страницы, как перья под мышками у последнего архиптерикса, я чувствовала невероятное облегчение. Я слушала, считая моменты до тихого стука внизу, но их прошло уже что-то слишком много.

— Эй!

Я замерла. Голос доносился снизу, с улицы.

— Эй! Не пытайся спрятаться. Я знаю, ты там, наверху!

Это был молодой женский голос, и звучал он не слишком сердито, так что я шагнула на балкон и заглянула через перила. Снизу на меня смотрело симпатичное круглое личико. Это была одна из хостесс, живущих по соседству. Я узнала ее по общественным баням. У нее всегда находилась для меня улыбка, и теперь она тоже меня узнала.

— О, это ты, — сказала она. Книгу она держала в руках. — Это ты уронила?

С виду с ней все было в порядке, поэтому я кивнула.

— Тебе надо бы поосторожней, — сказала она, будто ничего особенного не случилось. — Могла и убить кого-нибудь.

— Извините, — сказала я. Голос меня все еще не очень слушался, так что не знаю, слышала она меня или нет.

— Короче, я просто оставляю ее здесь, ладно? — Она положила книгу на низкую бетонную стенку, которая шла между зданием и тротуаром. — Ты бы лучше сошла вниз и забрала ее, а то ее может взять кто-нибудь.

Она посмотрела на название.

— Или, может, нет. В общем, я ее просто оставляю здесь, ладно?

— Спасибо! — прошептала я, но она уже повернула за угол и исчезла.

Они промыли папе желудок, чтобы уж точно ни одной таблетки не осталось внутри, и он-таки не умер, даже близко к тому не было. Мама вернулась домой из больницы и сказала, что с ним все будет в порядке. Я не сказала ей о записке в Сократе.

Когда папу выписали, мы все собрались в гостиной для еще одного разговора по душам, или, если хочешь, можно назвать это семейным советом. Папин голос звучал монотонно, будто он затвердил свои реплики, в которые совершенно не верил. Он извинился передо мной. Он сказал, что это вышло случайно, он был такой усталый, но заснуть не мог. Он потерял счет, сколько таблеток принял. Это не повторится. Ни записку, ни аукцион он не упомянул.

Мама внимательно наблюдала за представлением, а когда он добрался до конца, голос у нее звучал облегченно:

— Ну конечно, это вышло случайно, — сказала она, обращаясь ко мне. — Мы это и так знали, правда, Нао?

Она повернулась обратно к папе и стала его журить:

— Глупый папа! Ну как можно быть таким рассеянным? Теперь мы с Наоко будем хранить для тебя твои лекарства, и, если тебе понадобится таблетка, тебе надо будет попросить. Правда ведь, Наочан?

Меня в это не втягивай, подумала я, но сама только кивнула, разглядывая при этом поседевшие концы волос. Я не могла смотреть ни на кого из них. После того как семейный совет был окончен и мама пошла спать, я вручила папе лист бумаги Gloomy Bear, аккуратно сложенный в три раза. Выглядело это точь-в-точь как его Сократская записка, и он побледнел, и только открывал и закрывал рот, как умирающая рыба.

— Ты бы лучше прочел это, — сказала я.

Он развернул листок и стал читать. Там было две фразы. Когда он закончил, то кивнул и снова сложил бумагу.

— Да, — сказала он. — Ты права.

Вот какой была моя первая фраза:

*Твой дядя Харуки № 1 не облажался бы так уже в который раз.*

И вторая:

*Если собираешься что-то сделать, делай это как следует.*

Иногда нужно высказать то, что у тебя на уме.

В ту ночь, когда родители наконец заснули, я потихоньку пробралась в ванную, вооружившись парой ножниц и электрической машинкой, которую мама купила папе, когда ему еще не был безразличен собственный вид, личная гигиена, устройство на работу и все прочее. Обрезать волосы так, чтобы их можно было потом сбрить, заняло долгое время. Я воткнула машинку в розетку и включила. Шум был ужасный! Я быстро выключила машинку и прислушалась, но из спальни не доносилось ни звука, так что я прикрыла дверь и обмотала машинку полотенцем, чтобы заглушить шум моторчика. Покончив с бритьем, я собрала все мои длинные волосы и спрятала их в мусоре в бумажном пакете, а потом протерла раковину туалетной бумагой. Я прикрыла свою голую голову капюшоном худи и заползла обратно в

футон. Это было ужасно странное чувство, и я все продолжала притрагиваться к макушке.

Я сидела в дзадзэн под одеялом весь остаток ночи, и, как только небо просветлело, я оделась и вышла из квартиры. Худи я надела под школьный блейзер, что было совершенно против правил, но мне надо было спрятать свою голую голову. Было еще так рано, что я решила купить кофе из автомата и посидеть на каменной скамейке в саду перед храмом, чтобы убить время. Монах вышел разровнять граблями камешки. Он поднял взгляд и увидел меня. Может, он понял, что происходит у меня под капюшоном — что-то между нами проскочило, и он мне кивнул. Я поставила банку кофе на скамейку, стянула капюшон, а потом хорошенько поклонилась ему, правильным буддийским поклоном: ладони сложены вместе, глубоко, как учила меня Дзико. Выпрямившись, я увидела, что он отставил грабли и возвращает поклон, тоже как следует. Мне стало от этого хорошо; вот поэтому-то я так и люблю монахов и монахинь. Они знают, как быть вежливыми с каждым, неважно, насколько этот каждый болен на голову.

Я подождала, пока не прошло время последнего звонка, а потом пробежалась остаток пути до школы. На площадке никого не было, и я скользила по пустым коридорам тихо, как призрак, пока не добралась до своего класса. Поскольку сквозь стены я ходить все еще не умела, вместо этого я с треском распахнула дверь. Сэнсей как раз был на середине переключки, но я не стала просить прощения за то, что прервала его или за то, что опоздала. Кто-то из банды Рэйко начал хихикать, и краем уха я уловила «аукцион», и «трусики», и «чистая прибыль». Мне стало понятно, что каждый в классе слышал об Инциденте с трусиками и следил за аукционом в последние несколько дней. Это был общий проект всего класса.

Но я проигнорировала шепотки и прошагала к своему месту. Может, капюшон под моим блейзером дал им понять, что-то изменилось, а может, это была моя прямая осанка, как у солдата, марширующего на битву, а может, энергия моей *супанавы* поразила их так, что они ошалели. Один за другим они замолкли. Я подошла к своей парте, но вместо того, чтобы сесть на стул, я вскарабкалась на него, а потом на парту и встала там, гордо и прямо. Потом, когда все уже точно на меня смотрели, я сняла капюшон.

По комнате пронесся вздох, и у меня по позвоночнику пробежали мурашки. *Супанава* моей лысой сияющей головы лучами прошла класс, озарив мир, яркая лампочка, путеводный маяк, посылающий свет в каждую щелочку, заполненную тьмой, и ослепляющий всех моих врагов. Я уперла кулаки в бедра и смотрела, как они дрожат, заслоняя руками глаза, чтобы защититься от моей невыносимой яркости. Я открыла рот, и пронзительный крик вылетел у меня из горла, как орел, и сотряс землю, проникая во все уголки Вселенной. Я смотрела, как мои одноклассники зажимают руками уши, и видела, как между пальцами у них течет кровь от лопнувших барабанных перепонок.

А потом я остановилась. Почему? Потому что мне стало их жаль. Я слезла с парты и прошла к доске. Став лицом к учителю, я поклонилась, сложив вместе ладони, а потом повернулась к одноклассникам и поклонилась им тоже, глубоко, как следует, а потом ушла из класса. Теперь можно было уже и уйти, и мне стало даже немного грустно, потому что я знала, что никогда не вернусь.

### 3

Папа настолько хорошо научился на меня не смотреть, что так ничего и не заметил. Я обрила голову и победила одноклассников своей нереальной *супанавой*, я пошла домой и весь остаток дня ждала, когда он заметит, что я сделала с волосами, но он не заметил. Мама-то, конечно, сразу все просекла. В ту же минуту, как она вошла домой тем вечером и заметила капюшон, она психанула и потребовала, чтобы я рассказала ей, что случилось. Про Инцидент с трусиками я не упомянула, вместо этого просто объявила, что я бросаю школу и ухожу из дома, чтобы стать монахиней. Это было наполовину всерьез. Какая-то часть меня по правде этого хотела, уйти в храм к бабушке Дзико и подписаться на жизнь, состоящую из дзадзэн, уборки и производства солений.

Ну нет, сказала мама, я еще недостаточно взрослая, чтобы из дома уходить, сначала нужно старшую школу закончить. Тут она сильно просчиталась. Ей бы просто разрешить мне, но вместо этого мы проскандалили три дня, и в конце концов я согласилась, по крайней мере, вступительные экзамены сдать — они уже надвигались. Мне это

было неважно, поскольку я знала, что никуда в хорошее место я не попаду, но я пообещала ей попробовать, и, по крайней мере, она больше не проедала мне плешь.

На той же неделе в общественных банях я увидела ту хостесс, которой чуть не попала по голове «Великими умами философии Запада», и она меня тоже узнала сразу, даже без волос. Но вместо того чтобы отвести глаза, как делали практически все, она прищурилась и внимательно меня оглядела, и, наконец, кивнула.

— Миленько, — сказала она. — Хорошая форма. У тебя красивая голова.

Мы сидели в ванне, по горло в воде. В запотевшем зеркале я могла различить собственный белый череп, покачивающийся на поверхности исходящей паром воды, как вареное яйцо.

— Мне пострать на красоту, — проинформировала я ее. — Я супергерой, а супергероям красота не нужна.

Она пожала плечами:

— Ну не знаю насчет супергероев. Но ведь это не помешает? Быть немножко красивой?

Наверно, нет.

— Мама распахивалась, — сказала я ей. — Хочет парик купить.

Она кивнула, вытянула свою красивую руку и стала смотреть, как капли падают с изящных пальцев.

— Ладно, — сказала она. — Я тебя свожу. Знаю одно хорошее местечко.

Будто я ее просила.

...Она мне сказала, что зовут ее Бабетта, не слишком типичное японское имя. Бабетта не всегда была Бабеттой. До этого она была Каори, когда работала хостесс в клубе на Асакусе, перед тем как ее уволили за то, что она переспала с бойфрендом мамы-сан. Клубная жизнь все равно ее уже достала, сказала она. Клиенты были слишком сентиментальные, сплошные сопли. Она поменяла имя на «Бабетта» и устроилась на работу в «Милый фартучек Фифи», где работать было очень весело и приятно, пока фартучек еще был мил, а не уныл.

Бабеттина страсть — это косплей, и у «Фифи» она может носить хорошенькие юбочки с оборками, и переднички, и чулки, и кружева. Как она нарядится для работы, то становится похожа на дорогущее

маленькое пирожное с марципановыми цветочками, съедобными блестками и сахарными сердечками, вся такая сладкая и вкусненькая, просто съесть хочется, но не стоит обольщаться. Сопли у Бабетты отсутствуют начисто.

Поскольку в школу я больше не ходила, делать мне днем было особо нечего, так что мы договорились о времени и вместе сели в поезд до Акибы.

— Мне нравится с тобой ездить, — сказала она. — Люди на нас смотрят. Можно бы тебе симпатичных одежек раздобыть. Ты бы очень сибуй<sup>[141]</sup> смотрелась в красивом наряде с твоей очаровательной лысой головкой. Может, тебе стоит одеться, как монашка. Ой, нет, погоди, пупсом! Да. С кружевным чепчиком ты будешь смотреться точь-в-точь, как маленький миленький лысенький пупсик. О, это будет ужасно мило!

— Ты вроде как с париком мне помочь собиралась, — напомнила я ей, но втайне была очень довольна.

«Акибахара» — это значит «Поле осенней листвы», но и поля, и листва сгнули, уступив место магазинам электроники, и сегодня это место называют Акиба, или Городом Электроники. Раньше я тут по-настоящему никогда не бывала. Я думала, это сюда манга-отаку и лузеры-гики вроде папы ходят, чтобы продать компьютерное «железо», когда у них деньги кончаются, но как же я была неправа. Акиба — дикое и странное, но совершенно восхитительное место. Ты бредешь по этим узким переулкам и торговым улочкам, и все вокруг заставлено магазинчиками и прилавками, заваленными материнскими платами, и DVD-ишками, и трансформаторами, и геймерскими примочками, и снарягой для фетишистов, и фигурками манга, и надувными секс-куклами, и корзинами, набитыми электроникой, и костюмами горничных, и школьными трусиками. Куда ни посмотришь, взгляд обязательно наткнется на яркий анимэ-постер или гигантский баннер — они свисают с верхушек зданий — с гигантскими девушками-моэ<sup>[142]</sup>, у каждой — сияющие круглые глаза размером с детский бассейн и роскошные монструозные сиськи, выпирающие из костюма галактического супергероя, и только и слышишь что безумные «бдзынь! бдзынь! бдзынь!» из аркад с игровыми автоматами, и «пинь! пинь! пинь!» из залов пачинко, и динамики с витрин верещат о мгновенных распродажах, и маленькие французские горничные на

улицах взывают к мальчикам-отаку, когда те проходят мимо. Полями осенней листвы здесь больше даже не пахнет.

Бабетта вела меня сквозь толпу, держа за руку, чтобы я не отвлекалась или не потерялась вообще. Я чувствовала себя тупой туристкой с отвисшей челюстью, как американка, что напомнило мне о Кайле. Тыщу лет о ней не вспоминала, но тут вдруг мне захотелось как-нибудь так устроить, чтобы Кайла материализовалась прямо посреди Города Электроники, просто чтобы взорвать ее маленький американский мозг *made in* Силиконовая долина. Эта сторона Токио решительно мне нравилась, и мне не терпелось раздобыть парик — на тот момент мне хотелось такой длинный, суперпрямой и розовый, как у Анемон из «Eureka 7» — и, может, какой-нибудь симпатичный костюм, чтобы я могла вписаться в обстановку, и тут мы проходили мимо магазинчика, торгующего DVD, где вся витрина была заставлена плоскими телевизорами. Из динамиков доносилась тренькающая бойцовская музыка. На экранах телевизоров взрывались фейерверки и появлялось название: **ГЛАДИАТОРЫ-НАСЕКОМЫЕ!** Потом комментатор орал: *«Следующий бой, Сверчок Прямокрылый против Богомола Обыкновенного!»*

Мы остановились и стали смотреть, как чудовищный сверчок загоняет бледно-зеленого богомола в угол стеклянного террариума. Картинка повторялась на каждом экране, видео передавало каждую микроскопическую деталь. *Посмотрите на эти челюсти-болторезы! Как они впиваются в глаз богомола! Дробят его прозрачные крылышки!*

Бой закончился, когда сверчок оторвал богомолу голову.

*И победа достается... Сверчку Прямокрылому! Следующий бой, Жук-Олень против Желтого Скорпиона!*

С помощью клешней бледный скорпион приподнял жука в воздух. Жук встал на дыбки и перевернулся на спину, обнажив брюшко. Членистый хвост скорпиона изогнулся, чтобы нанести отравленный удар. *Сасу! Сасу! Желтый Скорпион жалит!* Жук-олень содрогнулся. В маленьком голом террариуме спрятаться ему было негде. Его хилые ножки дрыгались и извивались в воздухе, а потом перестали. *Похоже, Жук-олень проиграл, да, он умирает, он умирает, он... УМЕР!*

На экране вспыхнули неоновояркие буквы. *Желтый скорпион победил!*

Я начала плакать.

Я не шучу. До сих пор ничто не могло заставить меня заплакать, ни переезд из чудесного Саннивэйла в отстойную дыру в Японии, ни сумасшедшая мать, ни отец-самоубийца, ни бросившая меня лучшая подруга, ни даже месяцы и месяцы идзимэ. Я просто не плакала. Но почему-то вид этих дурацких жуков, раздирающих друг друга на части, — это было для меня чересчур. Это было ужасно, но, конечно, дело было не в насекомых. Дело было в человеческих существах, которым казалось, что на это забавно смотреть.

Я скорчилась рядом с тем зданием, обхватила себя руками и заплакала. Бабетта стояла надо мной на страже, теребила кружевную оборку своего фартучка и легонько постукивала пальцами по моему безволосому скальпу, будто дыню выбирала или разучивала гаммы. Изнутри головы прикосновения ее пальцев были похожи на капли дождя, барабнящие по черепу. Через какое-то время она зажгла сигарету и закурила, и к тому времени, как она затоптала окурок шестидюймовым каблуком своей платформы, я снова была о'кей.

— Прости, — сказала я.

— Да без проблем, — сказала она. Она изучила мое лицо, потом принялась рыться в сумочке. — Ты с ума по жукам сходишь, или что?

— Да нет, в общем. Мой папа их любит. Из бумаги складывает. Одно из его хобби.

— Странно, — сказала она, вытягивая из сумки салфетку и стирая что-то у меня с щеки. — А какое у него другое хобби?

— Самоубийство совершать.

Она вручила мне салфетку.

— Хмм. Ну, если он еще жив, похоже, у него плоховато получается.

— Жуки у него выходят лучше, — я высморкалась и засунула салфетку в карман. — Он занял третье место в «Великих войнах насекомых» со своим летучим жуком-оленем.

— Потрясающе, — сказала она. — Ты, наверное, им гордишься.

— Ага, — ответила я, и на секунду это и правда было так.

— Ты теперь можешь по магазинам ходить?

— Конечно, — сказала я, следуя за ней.

Мы купили для меня симпатичную вязаную шапочку, парик длиной до плеч, и кружевную нижнюю юбочку, и свободные носки, а

потом она повела меня к «Фифи» познакомиться с горничными. Бабетта была всего на пару лет старше меня, но ей в точности было известно, какая мне нужна поддержка и как поднять мне настроение.

## Рут

### 1

— Эта Бабетта, похоже, ничего себе, — сказал Оливер. — Мне кажется, она может стать Нао хорошим другом... — сказал он.

— Хотелось бы мне пройтись по Акибе, — сказал он. — ... Грустно, насчет жуков.

Она захлопнула дневник, сняла очки, и положила и то, и другое на столик у кровати. Спихнув кота с живота, она выключила свет.

— Спокойной ночи, Оливер, — сказала она, поворачиваясь к нему спиной.

— Спокойной ночи, — ответил он. Кот свернулся калачиком в ямке между ними и заснул опять. Так они и лежали, бок о бок, в молчании. Прошла пара тысяч моментов.

### 2

— Я что-то не то сказал? — спросил он в темноту.

Она могла притвориться, что спит, или она могла ответить.

— Да, — сказала она.

Ей практически было слышно, как он думает.

— Что? — спросил он наконец.

Обращаясь к стене, она заговорила, стараясь, чтобы голос звучал ровно:

— Прости, — сказала она. — Но я тебя не понимаю. На девочку напали, связали и чуть не изнасиловали, ее видео выложено на каком-то фетишистском сайте, ее нижнее белье было продано на аукционе какому-то извращенцу, ее отец, ничтожество, видит все это, и вместо того, чтобы разбиться в лепешку, но помочь ей, он пытается покончить с собой в туалете, и именно ей «везет» его обнаружить — и после всего этого все, что ты имеешь сказать, — Бабетта «ничего себе»? «грустно насчет жуков?»

— Ох.

Прошло еще несколько сотен моментов.

— Я понимаю, о чем ты, — сказал он. — Но ведь хорошо, что у нее есть настоящий, добрый друг, правда?

— Оливер, Бабетта — сутенер! Она не проявляет к Нао никакой доброты, она ее рекрутирует. У нее в этом ужасном кафе с горничными организован бизнес по торговле платными свиданиями.

— Правда?

— Правда.

### 3

В его голосе звучало неподдельное удивление:

— И что, все кафе с горничными такие?

— Ты имеешь в виду, все ли эти кафе — бордели? Наверное, нет. Но это конкретное — да.

Он немного подумал над этим.

— Ну, похоже, насчет Бабетты я был неправ.

— Да. Был.

— Но это неправда, что папа Нао не пытался помочь.

Тут она не выдержала. Она села и включила свет.

— Fuck, ты что, издеваешься? — сказала она, что есть силы ударив кулаками в мягкие складки покрывала. — Он узнаёт про этот хентайный сайт — и принимает таблетки, пытается покончить с собой? Как именно это может помочь?

Он не смотрел на нее, иначе бы понял — градус накала гораздо выше, чем можно было судить по ее голосу, иначе, может, он бы отступил. Кот знал. В ту же минуту, как Рут начала бить кулаками по покрывалу, Песто был таков — прыгнул с кровати и вон из комнаты. Они услышали, как хлопнула кошачья дверь, когда он выскользнул под надежный покров ночи.

...Оливер глядел в потолок и пытался защитить свою точку зрения.

— Он старался помочь. Он ставки делал. Пытался выиграть аукцион. Не его вина, что он проиграл.

— Что?

— В ставках, — он был в замешательстве. — На ее трусы. Ты этого разве не поняла?

— Откуда ты знаешь?

— *S.imperator*? Тот, который аукцион проиграл? Это был он. Это был отец Нао.

Слушая, она почувствовала, как по ее лицу разливается волна жара.

— *Cyclommatus imperator*, — продолжал он. — Ты разве не помнишь?

Она не помнила.

— Это латинское название жука-оленья, — объяснил он. — Которого он из бумаги сложил? Это был летучий *Cyclommatus imperator*. Он выиграл третье место в битве жуков-оригами.

Конечно, *это* она помнила. Она просто забыла латинское название, и было просто невыносимо, что он помнил. Было невыносимо, как он считал нужным говорить медленно и осторожно, и вдаваться в объяснения, будто она была имбецилом или болела Альцгеймером. Этим тоном он разговаривал с ее матерью.

— Нао сразу узнала латинское название, — сказал он. — Поэтому она была так расстроена. Как только она увидела записку, она знала. «Я был бы смешон в глазах окружающих, цепляясь за жизнь, когда я более ничего не могу предложить». Ее отец говорил об аукционе, и Нао это поняла, поэтому она и пошла проверить компьютер. Такая у меня теория.

У него и теория была, это просто невыносимо, как и этот его самодовольный тон.

— Он больше ничего не мог предложить, понимаешь? На аукционе, поэтому он проиграл. И он не хотел показаться смешным в глазах...

— Я уже поняла, — резко оборвала она. — Это отвратительно. Он делал ставки на трусы своей дочери. Только больной станет делать ставки на нижнее белье собственной дочери.

У Оливера был удивленный вид.

— Он просто пытался спасти их, чтобы они не достались никому другому. Не хотел, чтобы их купил какой-то хентай. Он же не для себя их пытался купить.

— Откуда ты знаешь?

— О, вау. Ты сумасшедшая. Если ты правда так думаешь, ты сама больная.

- Спасибо.
- То есть, может, он и неудачник, но...
- Ну, тебе ли не знать.

## 4

Только слова вылетели у нее изо рта, ей захотелось затолкать их обратно.

— Я не имела это в виду. Ты меня сумасшедшей назвал. Назвал меня больной. Я разозлилась.

Но было уже поздно. Она смотрела, как затуманиваются его синие глаза, когда за ними возникает стена, и как втягиваются за стену уязвимые части. Когда он заговорил, голос его звучал чужим, отстраненным:

— Он не хентай. Он просто любит ее, вот и все.

Она опять выключила свет. Слишком поздно было пытаться что-то исправить. Она проговорила в темноту:

— Если он ее любит, тогда он больше не должен пытаться покончить с собой. Или, наконец, сделать это как следует.

— Уверен, так и будет, — тихо ответил Оливер.

## 5

Они ссорились нечасто. Ни один из них не любил спорить, и на определенные территории они избегали заходить. Он знал, что не стоит подкалывать ее насчет памяти. Она знала, что не стоит называть его неудачником.

Он им и не был. Он был самый интеллигентный человек из всех, кого она знала, автодидакт, ум, открывший ей заново мир, расколов его, как космическое яйцо, явив ей вещи, которые она сама бы никогда не заметила. Десятки лет он был художником, но из принципа называл себя любителем. Он был страстным ботаником; его хобби было выращивать и прививать, взламывать ограничения межвидовой гибридизации. Бывало, он возвращался из питомника в саду с триумфальным видом, крича: «Сегодня знаменательный день!» — после того, как ему удавалось убедить редкое дерево дать отросток или когда принимался привитый саженец. У себя на подоконнике он

выращивал кактусы из семян, крошечными кисточками из соболя собирая крупинки желтой пыльцы с мужских растений и бережно перенося их на женские цветки. Он делал маленькие шапочки из сетки, похожие на шутовские колпачки, для своих *Euphoria Obesa*, и надевал их на круглые головы женских растений, чтобы не дать оплодотворенным семенам разлететься в воздухе.

До того как он заболел и они переехали на остров, он получал гранты и время от времени заказы на лэнд-арт; вносил вклад в их общий доход, преподавая и читая лекции. После того как они переехали, он продолжал заниматься любимым делом, несмотря на то, что был болен. Он писал статьи, заочно участвовал в арт-событиях, начинал новые проекты, такие, как *НеоЭоцен*. Ездил в Ванкувер участвовать в создании городского леса под названием «Средства производства», где должны были расти деревья для местных художников: древесина для мастеров по инструментам, прутья для плетельщиков, целлюлоза для производителей бумаги. Где бы они ни путешествовали, он всюду собирал семена и побеги: гетто-пальмы из Бруклина, метасеквойя из Массачусетса, гинкго — живое китайское ископаемое, с тротуаров Бронкса. В Дрифтлессе, еще до 9/11, он собрал корневища боярышника, на который привил мушмулу.

— Это мой величайший триумф! — сказал он, и пока она готовила, он сидел на лестнице и рассказывал ей историю мушмулы — плода, похожего на яблоко, который вкуснее всего есть подгнившим, несмотря на характерный противный запах.

— Похоже на засахаренные детские какашки.

— Мило, — сказала она, подсыпая в суп шалфей.

— Как на эту ягоду только не клеветали, — сказал он. — В Елизаветинские времена англичане называли их «открытая задница». Французы *cul-de-chien*, или «собачья задница». Шекспир использовал их в качестве метафоры проституции и анального сношения. Где твой том с «Ромео и Джульеттой»?

Она послала его наверх в ее кабинет за риверсайдовским изданием Шекспира, и через минуту он уже сидел на прежнем месте с тяжелым томом на коленях и читал вслух отрывок:

Но будь любовь слепа, она так метко  
Не попадала б в цель. Теперь сидит

Он где-нибудь под деревом плодовым,  
Мечтая, чтоб любимая его,  
Как спелый плод, ему свалилась в руки<sup>{28}</sup>.

— Это Меркуцио, издевается над Ромео, что тот никак не добьется ничего от Джульетты, — сказал он ей.

Она прикрутила газ и накрыла суп крышкой.

— И где только ты это все находишь?

Он рассказал ей о сайте энтузиастов мушмулы, где он набрел на цитату из Шекспира. Он наткнулся на идею привить мушмулу на боярышник, штудируя «Некоторые эксперименты, касающиеся рыб и плодов» некоего Джона Тавернера, джентльмена, опубликованные в Лондоне в 1600 году.

— Эта книга наблюдений джентльмена относительно рыбных прудов и плодовых деревьев, — сказал он мечтательно. — Хотел бы я опубликовать такую книгу.

Он был наименее эгоистичным человеком из всех, кого она знала, и амбиций у него тоже было немного. Собственные проекты лэнд-арта, такие, например, как «Средства производства», он признавал успешными, только когда его участие в них заканчивалось.

— Я хочу, чтобы зритель обо мне забывал.

— Почему? — спросила она. — Разве ты не хочешь, чтобы тебя знали по твоим работам?

— Смысл не в этом. Смысл не в какой-то системе узнавания. Не в рынке искусства. Произведение становится успешным, когда всякая продуманность, всякая рукотворность исчезают, и после многих лет урожая и нового роста люди начинают воспринимать его как часть окружающей среды. Когда последний отпечаток моей личности как художника или драматурга-садовода полностью исчезнет. Когда это больше не будет важно. Вот тогда произведение становится по-настоящему интересным...

— Интересным — как?

— Оно становится чем-то бóльшим, чем «искусство». Становится частью оптического подсознания. Перемена завершена. Это просто новая норма — все так, как оно и должно быть.

По его собственным меркам, работы его были успешными, но чем большего успеха он добивался, тем труднее ему становилось сводить концы с концами.

— Никогда я не стану флагманом индустрии, — сказал он покаянно как-то вечером, когда они размышляли над своими финансами и пытались понять, как они будут расплачиваться по счетам. — Я чувствую себя таким неудачником.

— Не смей меня, — сказала она. — Если бы мне нужен был флагман индустрии, я бы за него и вышла.

Он грустно покачал головой:

— В саду любви ты выбрала лимон.

Иногда сижу я здесь у «Фифи», пишу тебе, и тут вдруг ловлю себя на том, что задумалась, как ты на самом деле выглядишь, и сколько тебе лет, и какого ты пола. Интересно, узнаю ли я тебя, пройди ты мимо на улице. Если подумать, ты прямо сейчас можешь сидеть за пару столиков отсюда, хотя, если честно, я в этом сомневаюсь. Иногда я надеюсь, что ты мужчина, тогда я тебе понравлюсь из-за того, что я — симпатяшка, но иногда хочется, чтобы ты была женщиной, — больше шансов на то, что ты меня поймешь, даже если я при этом не слишком тебе понравлюсь. В общем и целом, я решила, это не важно. Да какая разница, мужчина, женщина. Если вдуматься, иногда я чувствую себя так, иногда — сяк, но по большей части — где-то посередине, особенно когда волосы у меня еще только начали отрастать после того, как я их сбрила.

Вот, кстати, хорошая история о «где-то посередине». Первое свидание, которое мне устроила Бабетта, было с одним парнем, он работал на знаменитое рекламное агентство, тебе оно, скорее всего, знакомо, но название я сказать не могу, чтобы меня потом не засудили. Денег у него было завались, и костюмов крутых, и часов, и все — лучшее от Армани, Эрмес и прочих, и Бабетта сказала, мы реально друг другу подходим. Просто идеальная пара. Это был мой первый раз, и Бабетта выбрала его — назовем его Рию — для меня, потому что он был богатым, но еще и потому, что он был очень вежливым и добрым. Он спросил меня, не хочу ли я сначала поужинать, но я так нервничала, думала, меня вырвет, и сказала, что хочу уже с этим поскорее покончить. Он отвел меня в симпатичное место, «Лав Отель Хилл» в Сибуя, и открыл бутылку шампанского, и снял с меня всю одежду. Мы вместе забрались в ванну, и он хорошенько меня напоил. Он постоянно меня целовал, и меня это задолбало, и так я ему и сказала, так что он прекратил. Он вымыл меня всю, и был настолько вежлив, что ничего не сказал о моих маленьких шрамах и не потребовал часть денег назад.

После этого он вытер меня полотенцем и отвел в кровать, и вот тогда я, типа, психанула. То есть, это был мой первый раз, и я боялась, потому что не знала, что делать. Был бы он подонком и просто держал бы меня, пока делал свое дело, может, я ушла бы в свое убежище тишины внутри айсберга, откуда можно заморозить мир, и, наверно, даже и не заметила бы, что он там со мной делает, и ничего бы не почувствовала.

Но Рию подонком не был. Он реально был добрым и милым, но я была слишком зажата, и это было все равно что пытаться за завтраком продавить сосиску сквозь оконное стекло — оно просто не шло. Каждый раз, как он пытался мне вставить, я начинала дрожать и просто не могла остановиться, и вдруг меня накрыло печалью, как океанской волной. Может, шампанское так на меня действовало, плаксивым образом, но тут вдруг меня стукнуло, что вот этот милый парень, про которого я думала, что он будет законченный урод, но он им не оказался, и вот он заплатил все эти бабки за свидание со мной, и когда он надеялся уже поиметь качественный девственный секс, у него на руках вместо этого оказалась безнадежно плаксивая школьница с непробиваемой вагиной. Я чувствовала себя жалким лузером. Было похоже, будто я только и умею, что плакать, сначала над теми дурацкими жуками, а теперь еще и это.

Он был слишком, слишком вежлив, чтобы принуждать меня, пока я плакала. Он сел в кровати и наблюдал за мной некоторое время, а потом подошел к стулу, где лежал его костюм, и достал из кармана красивый выглаженный носовой платок из льна, и дал мне, чтобы я могла высморкаться. Потом, поскольку я все еще дрожала, он принес свою рубашку тоже, и накинул мне на плечи. На ощупь она была такая мягкая и шелковистая, что я продела руки в рукава, а он застегнул пуговицы. За рубашкой последовал его розовый шелковый галстук, и он завязал его для меня красивым виндзорским узлом. Потом брюки, потом пиджак, и к тому времени, как я была одета — в его одежду — я перестала плакать, и он взял меня за руку, и подвел к зеркалу, и повернул, потом опять и опять, восхищаясь моим отражением.

Я была так красива в его костюме. Он был немного выше и крупнее меня, но на самом деле не так уж мы и отличались. Я сняла парик, и мои волосы под ним были все еще очаровательно короткими, как щетина, что, сказал он, ему очень нравилось. Он сказал, я выгляжу

в точности, как бисёнэн<sup>[143]</sup>, но на самом деле я была гораздо красивее любого мальчика. Правда. Честное слово, я бы сама могла в себя влюбиться. Он стоял позади меня, обнаженный, и, потянувшись мне через плечо в свой нагрудный карман, достал пачку сигарет. Вытряхнул две, сунул их в рот, а потом прикурил от стильной платиновой зажигалки размером едва больше спички. Первую сигарету он вставил мне между губами, а потом вернулся в кровать выкурить вторую и понаблюдать за мной. К счастью, я уже затягивалась пару раз папиными сигаретами, так что знала, как это делается. Я склонила голову набок и осмотрела свое отражение. Позволила дыму струйкой вытечь из уголка губ, пухлых и красных от всех этих поцелуев. Я видела его в зеркале уголком глаза. Он лежал на кровати, курил сигарету, и я видела, что он реально завелся. Я повернулась и налила себе еще бокал шампанского, залпом выпила, потом затушила сигарету, забралась в кровать и оседлала его.

— Закрой глаза, — сказала я ему. — Притворись, что я — это ты.

Он закрыл глаза и дал мне себя целовать какое-то время, потом потянулся и развязал виндзорский узел своего розового шелкового галстука, и расстегнул пуговицы своей рубашки. Расстегнул свою ширинку. Стянул свои штаны, и я их сбрыкнула, но рубашку оставила, и когда я обхватила его бедра, он направил меня вниз, и было больно, но не очень долго.

После мы лежали рядом, и он закурил еще одну сигарету, и спросил меня, не хочу ли я тоже. Я сказала ему, нет, спасибо. Тогда он спросил, был ли секс для меня о'кей, и я сказала, конечно, и спасибо, что спросили. То есть, понимаешь, это мило с его стороны, правда? Уж наверняка многие даже не подумали бы об этом беспокоиться.

— Было больно? — спросил он, и я сказала ему, немного было, но я не против, потому что у меня низкий болевой порог. Он улыбнулся и сказал, что я забавная.

— Лет-то тебе сколько? — спросил он, и я уже было сказала, что пятнадцать, но тут вдруг вспомнила.

— Шестнадцать, — сказала я. — Мне шестнадцать.

Он рассмеялся:

— Удивленный у тебя был голос.

— Да, — сказала я. — Сегодня мой день рождения. Я чуть не забыла.

Он сказал, что сожалеет о том, что не принес мне никакого подарка, а потом дал мне свою блестящую зажигалку. После этого у нас была еще пара свиданий, и мы всегда делали это одинаково, я — в его костюме. Однажды я одела его в мою школьную форму, но он был так смешон со своими шишковатыми коленями, торчащими из-под складок юбки, что я разозлилась и мне захотелось его ударить, и так я и сделала. Я была в его красивом Армани, а это жестокий костюм, а он стоял передо мной такой пассивный, в моей юбке и блузе-матроске, вперив взгляд в пол. Его пассивность привела меня в еще большую ярость, и чем больше я злилась, тем сильнее мне хотелось его ударить. Я била его по щекам, пока чуть не впала в истерику, и когда он поднял взгляд, в нем было столько печали и жалости ко мне, что я подумала, мне придется его убить. Но когда моя рука в следующий раз полетела к его щеке, он поймал меня за запястье.

— Достаточно, — сказал он. — Ты только больно себе делаешь.

На мне тогда были часы небесного солдата, принадлежавшие Харуки № 1. Старая металлическая пряжка врезалась в запястье там, где он сжимал мне руку. Кожа у него на лице выглядела красной и раздраженной. Я положила другую руку ему на щеку.

— Простите, — сказала я и разрыдалась.

Он поднес мою ноющую ладонь к губам и поцеловал.

— Я прощаю тебя, — сказал он.

Ему очень нравились часы небесного солдата Харуки № 1, и как-то он спросил меня, не обменяю ли я их на его Rolex. На корпусе там были настоящие бриллианты, так что то было очень соблазнительное предложение, но, конечно, я сказала «нет».

## 2

Иногда, после того, как мы занимались любовью, Рию просто хотелось полежать в кровати, потягивая Rémi и глядя порно по телику, так что я надевала его костюм, оставляла его в этом положении и расхаживала вокруг. Иногда я даже выходила из отеля и гуляла по улице, обязательно убедившись, что окна нашего номера выходят именно на эту сторону, чтобы ему было видно меня в окно, если захочется посмотреть. Ему это нравилось.

Я в основном держалась в тени, просто слонялась, наслаждаясь ощущением, что я — мужчина. Иногда доставала сигарету из его кармана и прикуривала от платиновой зажигалки. На зажигалке тоже был маленький бриллиантик. Рио был по-настоящему стильный парень, с этими его тонюсенькими платиновыми зажигалками и костюмами от Армани, но курил он Mild Seven, а это совсем не стильный сигаретный брэнд. Нет, честно, на вкус они, как дерьмо. В следующий раз надо бы не забыть найти себе бойфренда, который курит Dunhill или хотя бы Lark.

Если было еще не слишком поздно, я иногда слала смску Дзико в храм, но мне было как-то странно рассказывать ей о том, что у меня происходит. Я практически совсем прекратила сидеть в дзадзэн, так что мы теперь были не совсем на одной волне, да и распорядок дня тоже совсем не совпадал, потому что она ложилась спать рано, а я ходила на свидания и гуляла допоздна. Забавно, как время может стать решающим фактором для близости между людьми, вот, например, когда я переехала в другой часовой пояс, мы с Кайлой больше не могли быть подругами. Мне стало интересно, что бы Кайла сказала, если бы увидела меня сейчас. Может, она бы подумала, какой симпатичный парень, и подошла бы. Такое иногда случалось на улице, если я держалась в тени. Девчонки думали, я хост из хост-клуба<sup>[144]</sup>, и пытались со мной пофлиртовать, и приходилось поскорее сматываться, пока они не раскусили, что я девушка, не разозлились и не избili меня за то, что я из них делаю дур.

Рио нельзя было назвать моим бойфрендом. Это было другое. Мы встречались практически месяц, но когда волосы у меня стали отрастать, он исчез. Я начала по-настоящему любить его, и когда он перестал звонить, я думала, сердце у меня разобьется. Я все спрашивала Бабетту, не слышно ли от него новостей, но она отвечала, что нет, и это могло быть правдой, а могло и не быть. Бабетта многим девушкам устраивала свидания, и она просто пожала плечами и сказала, что я, должно быть, что-то сделала не так, но, кроме как в тот раз, когда я его ударила, за что он меня простил, я правда ничего такого не припоминаю.

После этого я болталась у «Фифи», дулась и слушала Эдит Пиаф и Барбару, и отказывалась ходить на свидания, пока, наконец, Бабетту это не достало. Она сказала, что я должна прекратить быть такой

эгоисткой, и я должна быть ей благодарна за то, что она свела меня с таким милым, добрым парнем для моего первого раза. Потом она сказала мне быть повеселее или выметаться, и пригрозила отдать мой столик более довольной девушке.

### 3

Не то чтобы я не была ей благодарна. Я была, правда. Она была моим единственным другом, и если я не могла подвисать в «Одиноком фартучке Фифи», куда бы я пошла? Дома у меня был полный отстой. Маму в этом ее издательстве повысили, и она была теперь редактор, а это значило, что она гробит себя на переработках. Папа был на стадии перехода в новую фазу, готовясь к своей третьей и последней попытке. Раньше, когда он проходил через фазу Притворных Походов на работу, потом через фазу Хикикомори, и фазу Великих умов, и фазу Насекомых-оригами, по крайней мере, было ясно, что его сумасшествие ему интересно, он им всецело захвачен. Даже во время фаз Ночной ходьбы и Падающего человека его безумие имело цель, он не разваливался на части. Но в этот раз все было по-другому. Таким подавленным я его еще в жизни не видела, будто он полностью и окончательно потерял всякий интерес к тому, чтобы оставаться в живых. Он избегал любого контакта со мной и с мамой, что в маленькой двухкомнатной квартире требовало нехилых усилий и изобретательности. Он притворялся, будто мы — невидимки, и не отлипал от монитора, но иногда, если я проходила мимо в узком коридоре и случайно ловила его взгляд, лицо у него начинало дергаться, сминаясь под тяжестью стыда, и мне приходилось отворачиваться, потому что вынести этого зрелища я не могла.

У нас с папой до сих пор был один компьютер на двоих, и однажды, прочесывая его логи, я напала на его линки на интернет-клуб самоубийц. Похоже, он обзавелся друзьями, и они болтали друг с другом, и планы строили.

Сложно представить себе более жалкое поведение. Один ты это сделать не можешь, и вот ты ищешь чужого тебе человека, чтобы он тебя за руку подержал? Но что еще хуже, одна из его подружек по клубу была школьницей, старшеклассницей, и он имел наглость пытаться отговорить ее от суицида. Я нашла запись их чата и прочла.

Не понимаю, это лицемерие или что? Он хочет покончить с собой, но ей говорит, что она не должна? Что, типа, у нее вся жизнь впереди? Что у нее сколько всего, ради чего стоит жить?

И тогда меня посетила идея. Может, все же не стоит уезжать в храм к Дзико и становиться монахиней. Может, мне просто нужно тоже себя убить, и дело с концом.

Дорогая Рут (если позволите мне Вас так называть)!

Я был рад обнаружить Ваше письмо у себя в ящике, и я должен попросить прощения за задержку с ответом. Конечно же, я помню Вас по Вашему визиту в Стэнфорд. Проф. П.-Л. с кафедры сравнительного литературоведения — мой хороший друг, так что в дальнейших рекомендациях нужды нет. К сожалению, я как раз уходил в академический отпуск во время Вашего резидентства, и у меня не было возможности посещать Ваши чтения, но я уверен, что вскоре буду иметь удовольствие слушать, как Вы читаете из своей следующей книги.

Теперь относительно Вашей неотложной просьбы; при том, что мне кажется правильным проявить сдержанность в отношении доверенной мне конфиденциально личной информации, думаю, немного помочь я Вам все-таки смогу.

Во-первых, я согласен, это вполне вероятно, что «Харри», автор письма, выложенного на моем сайте, — отец Нао Ясутани, дневник которой каким-то образом попал к Вам. Мистер Ясутани был ученый, специалист в области информатики; он работал на крупную информационно-технологическую компанию здесь, в Силиконовой долине, в 90-х годах. Думаю, можно сказать, мы были друзьями, и у него и в самом деле была дочь по имени Наоко, которой не могло быть больше четырех-пяти лет в то время, когда мы познакомились.

Спешу добавить, что пишу я в прошедшем времени не потому, что располагаю какими-либо сведениями об их

судьбе, но только из-за того, что больше не поддерживаю контактов с мистером Ясутани, и, к сожалению, наше знакомство теперь принадлежит прошлому. Как Вам, должно быть, известно, он переехал обратно в Японию вместе с семьей вскоре после того, как лопнул доткомовский пузырь. После этого мы спорадически переписывались по электронной почте или перезванивались, но мало-помалу и эта связь заглохла, и прошло уже несколько лет с тех пор, как мы писали друг другу в последний раз.

Теперь позвольте мне рассказать Вам немного о нашем знакомстве. Я встретил мистера Ясутани в Стэнфорде в 1991 году, спустя год или около того после того, как он переехал в Саннивейл. Он как-то пришел ко мне в офис, довольно поздно. Раздался стук в дверь. Рабочий день был уже окончен, и, помню, я ощутил некоторое раздражение от того, что меня прервали, но крикнул: «Войдите!» — и стал ждать. Дверь оставалась закрытой. Я крикнул опять, но ответа все не было, так что я встал, подошел к двери и открыл. На пороге стоял худощавый азиат с сумкой-мессенджером через плечо. Одет он был довольно неформально, в спортивную куртку, брюки-хаки и сандалии с носками. Сначала я подумал, что это курьер-мотоциклист, но вместо того, чтобы вручить мне посылку, он глубоко поклонился. Это поразило меня. Такой формальный жест резко контрастировал со стилем его одежды, да и поклоны для нас в Стэнфордском университете — дело непривычное.

«Профессор, — сказал он медленно, на тщательном английском. — Мне очень жаль, что я вас беспокоил».

Он протянул мне визитку и поклонился еще раз. Карточка гласила, что зовут его Харуки Ясутани, и он — ученый, специалист по информатике в одной из быстро развивающихся IT-компаний в Долине. Я пригласил его войти и предложил сесть.

На своем чопорном английском он объяснил, что вообще-то он из Токио, и его пригласили работать над проектом интерфейса человек — компьютер. Работу свою он любил, и проблем с компьютерной частью проекта у него не было. Проблемой стал, как он объяснил мне, человеческий фактор. Он не слишком хорошо понимал человеческих существ и потому пришел в Стэнфордский университет, на факультет психологии, надеясь на помощь специалиста.

Я был крайне удивлен, но одновременно заинтригован. Силиконовая долина — определенно не Токио, и для него вполне естественно было бы испытывать культурный шок или переживать неприятности в отношениях с коллегами. «Какого рода помощь вам нужна?» — спросил я его.

Он сидел, склонив голову, подбирая слова. Когда он поднял взгляд, выражение лица у него было напряженное.

— Я хочу знать, что такое человеческая совесть?

— Человеческое сознание? — переспросил я, думая, что неправильно его понял.

— Нет, — сказал он. — Со-весть. Когда я посмотрел это слово в словаре, то увидел, что оно состоит из «со» — это значит «с, вместе», и «весть», что значит «знание». Так что «совесть» означает «вместе со знанием», «с наукой».

— Никогда не смотрел на это с подобной точки зрения, — сказал я ему, — но уверен, вы правы.

Он продолжил:

— Но в этом нет никакого смысла. — Тут он вытащил листок бумаги. — В словаре сказано: «Знание или ощущение, позволяющее отличить хорошее от плохого, принуждающее человека к правильным поступкам».

Он протянул мне листок, и мне ничего не оставалось, как взять его.

— Звучит как разумное определение.

— Но я не понимаю. Знание и ощущение — это не одно и то же. Знание я понимаю, но ощущение? Это то же самое, что и чувство? Совесть — это то, чему я могу научиться, узнать или это, скорее, эмоция? Связана ли совесть с эмпатией? Чем совесть отличается от стыда? И почему это принуждение?

Вид у меня, должно быть, был совершенно озадаченный, потому что он поспешил объяснить:

— Боюсь, несмотря на то что я был обучен информатике, я никогда не испытывал подобного ощущения или чувства. Это большой недостаток для моей работы. Я хотел бы спросить вас, каким образом я могу научиться переживать подобное ощущение или чувство? Или в моем возрасте это уже слишком поздно?

Это был совершенно поразительный вопрос, или, скорее, целый залп вопросов. Мы продолжили разговор, и в конце концов я смог разобраться в его истории. Изначально его компания была вовлечена в разработку интерфейса для компьютерных игр, но американские военные живо заинтересовались его исследованиями из-за огромного потенциала в области технологии полуавтономных вооружений. Харри тревожился из-за того, что интерфейс, который он помогал создавать, был чересчур удобным.

То, что делало компьютерную игру захватывающей и интересной, превращало бомбардировку массового уничтожения в увлекательное и забавное занятие.

Он пытался понять, существует ли возможность встроить совесть в проект интерфейса, какой-то способ пробудить в юзере этическую способность отличать хорошее

от плохого и, в конце концов, принудить его к правильным поступкам.

История его была трогательной — и трагической. Несмотря на то, что, как он уверял, он не понимал механизмов человеческой совести, именно совесть заставила его подвергнуть сомнению существующее положение дел и в конечном итоге оставила без работы. Понятно, что создание технологий не может быть морально нейтральным и военные подрядчики, равно как и разработчики вооружений, не желали, чтобы поднимались подобные вопросы, не говоря уж о том, чтобы встраивать их в контроллеры.

Я сделал, что мог, чтобы его успокоить. Тот факт хотя бы, что он задавал эти вопросы, указывал на то, что совесть его была в полном порядке.

Он покачал головой. «Нет, — сказал он. — Это не совесть.

Это только стыд за собственную историю, а историю легко изменить».

Этого я не понял и попросил его объяснить.

— История — это то, чему мы, японцы, учимся в школе, — сказал он. — Мы узнаем об ужасных вещах, как, например, об атомных бомбах, которые разрушили Хиросиму и Нагасаки. Мы узнаем, что это плохо, но в данном случае это просто потому, что мы, японцы, здесь являемся жертвами.

— Более сложный случай — когда мы узнаем об ужасных японских зверствах, таких, как в Маньчжурии. В этом случае японцы занимались геноцидом и пытками китайского народа, и мы учимся, что должны испытывать огромный стыд перед миром. Но стыд — неприятное чувство, и некоторые японские политики постоянно

пытаются изменить учебники истории для наших детей, чтобы следующее поколение не училось этим геноцидам и пыткам. Они пытаются изменить нашу историю и память, чтобы стереть весь наш стыд.

Поэтому мне кажется, что стыд и совесть отличаются друг от друга. Говорят, у нас, японцев, культура стыда, так, может, совесть — это то, что у нас получается не так уж хорошо?

Стыд приходит извне, но совесть должна быть естественным чувством, которое исходит из глубины индивидуальной личности. Говорят, мы, японцы, так долго жили при феодальной системе, что, возможно, у нас так и не развилась индивидуальность, как у людей Запада. Может, нельзя иметь совесть, не имея индивидуальности. Я не знаю. Поэтому и беспокоюсь.

Конечно, я могу здесь немного перефразировать тот необычный разговор, имевший место много лет назад.

Не помню точно, что я ответил ему тогда, но та беседа доставила удовольствие нам обоим и вылилась в другие беседы, которые со временем переросли в дружбу. Вы можете видеть, как та полемика об индивидуальности привела к обсуждению стыда, чести и самоубийства; последнее и стало темой того самого письма, которое привлекло Ваше внимание. Мой интерес к культурному контексту самоубийства был изначально вызван деятельностью летчиков-самоубийц на Среднем Востоке, но я многое почерпнул из многолетнего общения с мистером Ясутани. Он всегда утверждал, что в Японии акт самоубийства носит, прежде всего, эстетический, а не моральный характер, и бывает связан с понятиями чести или стыда. Как Вам может быть известно, его дядя был героем Второй мировой, пилотом сил Токкотай, и погиб, выполняя миссию камикадзе над Тихим океаном.

— Моя бабушка очень страдала, — говорил Харри. —

Если бы у дядиноного самолета была совесть, может, он не стал бы выполнять то задание. То же самое с пилотом *Enola Gay*, может, не было бы Хиросимы и Нагасаки тоже. Конечно, тогда технологии не были настолько продвинутыми и подобное не было бы возможно. Это стало возможным теперь.

Он сидел совершенно неподвижно, разглядывая сложенные на коленях руки.

— Я знаю, это глупая идея — проектировать оружие, которое будет отказываться убивать, — сказал он. — Но, может, мне удастся хотя бы сделать убийство не таким забавным занятием.

Под конец пребывания в Силиконовой долине у мистера Ясутани возникли проблемы с его нанимателями, которые не желали подвергать риску свои отношения с военными и инвесторами из-за слишком чувствительной совести одного японского служащего. Его попросили воздержаться от дальнейших исследований в этой области, но он отказался. У него начались тревожные состояния и депрессии, и, хотя у меня нет клинической практики, я по-дружески его консультировал. Вскоре компания его уволила.

Это должно было произойти в марте 2000 года, потому что месяцем позже, в апреле, лопнул доткомовский пузырь, и NASDAQ обвалился.

Он пришел повидаться и рассказал, что бо́льшая часть семейных сбережений была вложена в акции компании, и теперь он потерял все. Он не был практичным человеком. В августе того же года они переехали обратно в Японию, и некоторое время я ничего о нем не слышал.

На следующий год я решил сделать часть моих исследований доступными онлайн и запустил собственный сайт. Несколько месяцев спустя я получил имейл от Харри,

выдержку из которого Вы прочитали в интернете. Это был прекрасный и трогательный крик о помощи, и я переписывался с ним несколько месяцев после этого письма, и разговаривал по телефону. Как раз в то время я спросил его, позволит ли он разместить свои комментарии на сайте, и он сказал, что, если это может кому-то помочь, его разрешение у меня есть. У меня было стойкое ощущение, что он нуждается в профессиональной помощи, и я дал ему координаты нескольких клинических специалистов в Токио. Не знаю, последовал ли он моему совету. Подозреваю, что нет.

Полностью я потерял с ним связь после атак 11 сентября.

Для меня это был напряженный период, поскольку события вызвали сильный интерес к моим исследованиям со стороны медиа. Припоминаю, что мы, кажется, обменялись письмами еще раз спустя несколько лет, но примерно в это же время файлы у меня на компьютере оказались заражены вирусом, и большая часть заархивированных писем, в том числе моя переписка с ним, исчезли. Я хотел написать ему после землетрясения и цунами, но обнаружил, что у меня больше нет адреса его имейла. Я утешал себя мыслью, что он и его родные жили далеко от Сендай, но теперь, после Вашего письма, я чувствую, что готов опять попытаться его найти.

Вы упомянули, что, помимо дневника дочери, в Ваших руках оказались некие письма. Если в них содержится какая-либо информация, которая может помочь мне отыскать мистера Ясутани и его семью, я буду признателен, если Вы со мною поделитесь. Мне хотелось бы спросить, чем именно вызвано Ваше беспокойство о судьбе его дочери. Вы пишете, что дело кажется Вам важным и неотложным. Почему?

Наконец, мне интересно было бы знать, как именно к Вам попали дневник и письма, но это, вероятно, отдельная

история, рассказ о которой может потерпеть.

Кстати, об историях: верно ли я понимаю, что Вы работаете сейчас над новой книгой? Я с большим интересом буду ждать выхода книги, поскольку предыдущее Ваше произведение доставило мне огромное удовольствие.

С уважением,

и т. д.

## 2

Она быстро проглядела имейл и тут же написала ответ, рассказав, как нашла дневник в куче водорослей, о своей теории, что в океан он мог попасть из-за цунами, и о том, что ей до сих пор не удалось найти подтверждения этой теории или понять, каким образом пакет мог оказаться на берегу. Она вкратце изложила те отрывки из дневника Нао, которые внушали наибольшее опасение: шаткое состояние психики ее отца, его попытки самоубийства и собственное решение Нао покончить с собой. Она объяснила, что помимо воли ощущает сильнейшую, почти кармическую связь с девушкой и ее отцом. В конце концов, дневник выбросило именно на берег Рут. Если Нао и ее отец были в беде, она хотела помочь.

Она завершила имейл упоминанием статьи о кубитах в «Нью Сайнс», найденной Оливером, той, где цитировался Х. Ясудани, которого она пыталась — безуспешно — найти. Она отослала письмо и откинулась на спинку стула, ощущая головокружительную смесь облегчения и надежды. Наконец-то. Подтверждение, свидетельство, которого она так ждала. Нао и ее семья были реальностью!

Она встала, потянулась и побрела через холл в кабинет к Оливеру. Он сидел, натянув свои шумоподавляющие наушники. Кресло второго пилота пустовало.

— Где Песто? — спросила она, помахав рукой у него перед глазами, чтобы привлечь внимание.

Оливер снял наушники и поглядел на то место, где должен был быть кот.

— Его не было весь день, — сказал он мрачно.

Они помирились за завтраком. Рут попросила прощения за то, что назвала его неудачником, а он — за то, что назвал ее больной, но между ними все еще висела некоторая неловкость. Иногда кот, чуя напряжение в воздухе, предпочитал держаться подальше. Рут тоже это чувствовала, и поэтому она пересекла холл, чтобы поделиться хорошими новостями о письме профессора, но теперь, видя, как Оливер поник в своем кресле, она заколебалась.

— Что случилось? — спросила она.

— О, — ответил он. — Да ничего. Просто у меня на руках целая грядка саженцев гинкго, уже можно высаживать, да держатели ковенанта мне не позволяют. Говорят, гинкго — потенциально инвазивный вид.

Он снял очки и потер руками лицо. К G. Viloba он относился с особенной нежностью.

— Это абсурд. Это дерево — живое ископаемое. Пережило глобальные вымирания видов сотни миллионов лет назад. Практически вся популяция исчезла, за исключением крошечного ареала в центральной части Китая, где сохранилась горстка выживших. И теперь они умрут прямо у нас на крыльце, если я не высажу их в почву, и очень скоро.

Не похоже на него было настолько отчаиваться или настолько мрачно описывать сравнительно небольшую проблему. Это он из-за кота переживал.

— А нельзя ли устроить питомник на нашем участке?

Он тяжело вздохнул, уперев взгляд в пустые руки, сложенные на коленях.

— Да, так и сделаю. Не понимаю только, к чему вообще напрягаться? Никто не понимает, чего я пытаюсь добиться...

Похоже, он сильно переживал из-за кота. Она решила рассказать новости об имейле профессора как-нибудь попозже, но когда она уже повернулась, чтобы уйти, он поднял глаза.

— Ты что-то хотела? — спросил он.

И она ему рассказала. Она изложила ему содержание письма Лейстикю, удивительное откровение профессора, что отец Нао, оказывается, был человеком совести и за свои убеждения был уволен, а

потом она начала пересказывать свой ответ, но остановилась, заметив, что Оливер как-то странно на нее смотрит.

— Ну? — спросила она. — Что это за взгляд? Что не так?

— Ты сказала ему, что это срочное дело?

— Конечно. У девочки суицидальные намерения. Как и у ее отца. Весь дневник — это крик о помощи. Так что, да. Это срочно. Я бы сказала, это исчерпывающее описание ситуации. — Она понимала, что говорит обвиняющим тоном, но поделаться с собой ничего не могла. — Ты все еще смотришь.

— Ну...

— Ну, что?

— Ну, смысла в твоих действиях немного. То есть это же не прямо сейчас происходит?

— Не понимаю. К чему ты клонишь?

— Посчитай. Доткомовский пузырь лопнул в марте 2000 года. Ее папу уволили, они уехали обратно в Японию, прошла пара лет. Нао было шестнадцать, когда она начала вести дневник. Но это было больше десяти лет назад, и мы знаем, что дневник плавал в океане еще, по крайней мере, несколько лет после этого. Я к тому, что, если она собиралась покончить с собой, то, скорее всего, уже это сделала, как ты думаешь? А если она себя не убила, значит, ей уже далеко за двадцать сейчас. Так что я просто пытаюсь понять, каким образом «срочно» — это правильное слово для описания ситуации, вот и все.

Рут почувствовала, как под ней качнулся пол. Она вцепилась в косяк, чтобы сохранить равновесие.

— Что такое?

— Ничего, — сказала она, с трудом сглотнув. — Я... Конечно, ты прав. Глупо. Я просто... забыла.

Она чувствовала, как горят щеки, а в носу было такое щекочущее ощущение, как бывает, когда собираешься чихнуть или заплакать.

— Ты забыла? — повторил он. — Ты серьезно?

Она кивнула, медленно отступая. Ей хотелось убежать куда-то и спрятаться.

— Вау, — сказал он. — Это безумие.

Она повернулась, пересекла холл и направилась вниз.

— Я не имел в виду, что *ты* сумасшедшая, — крикнул он вслед.

Далеко она не ушла. Только до спальни. Забралась в кровать, натянула одеяло до подбородка и лежала там, часто дыша. Снаружи в оконное стекло стучали побеги бамбука. Высокие папоротники-нефролеписы копиями торчали из-за подоконника. Лезвия бамбуковых листьев, томившиеся в колючих объятиях роз, заслоняли почти весь свет. Она глядела на спутанную массу листвы и думала об имейле, который только что отослала профессору. Почувствовала, как кровь ударила ей в лицо. Как можно было быть настолько глупой?

И нельзя сказать, что она забыла, это было бы неточностью. Проблема была, скорее, в сбое фокусировки. Бывало, она писала роман, целиком погрузившись в выдуманный мир, дни перемешивались друг с другом в полном беспорядке, и целые недели, а то и месяцы, даже годы, подчинялись неровной поступи сновидения. Счета оставались без оплаты, имейлы и телефонные звонки — без ответа. У вымысла было свое собственное время, своя собственная логика. Это и было его силой. Но письмо, которое она написала профессору, вымыслом не было. Оно было реальностью, как был реальностью и дневник.

Оливер постучал в дверь и чуть-чуть приоткрыл ее.

— Можно я зайду? — спросил он в щелку. Она кивнула. Он подошел и встал у кровати.

— Ты в порядке? — спросил он, изучая ее лицо.

— Я запуталась, — сказала она. — У меня в голове ей до сих пор шестнадцать. Ей всегда будет шестнадцать.

Оливер присел на край матраса и положил ей руку на лоб.

— Вечное «сейчас», — сказал он. — Она хотела поймать «сейчас», помнишь? Удержать. В этом и был смысл.

— Писать?

— Или совершить самоубийство.

— Я всегда думала, что творчество — это противоположность суициду, — сказала она. — Что писательство — это своего рода бессмертие. Победа над смертью или, по крайней мере, способ ее оттянуть.

— Как Шехерезада?

— Да, — сказала она. — Плести истории, чтобы отложить казнь...

— Только Нао приговор вынесла себе сама.

— Хотелось бы мне знать, привела ли она его в исполнение.

— Продолжай читать, — сказал Оливер. — Ты не знаешь, пока не доберешься до конца.

— Или нет... — Она подумала, каким будет на вкус неведение. Не слишком приятным. Тут она вспомнила еще кое о чем.

— Ох! — сказала она, вскакивая в кровати. — Она же не знает!

— Не знает что?

— Почему ее папу уволили! Она не знает, какой он человек! Про его совесть! Мы должны...

Вот оно. Опять она это делает. Она рухнула обратно на подушку. По крайней мере, на этот раз она поймала себя сама.

— Слишком поздно, — мрачно сказала она.

— Слишком поздно для чего?

— Чтобы помочь ей? — сказала она. — Так какой смысл? Дневник — это только способ отвлечься. Какая разница, буду я его читать или нет.

Оливер пожал плечами.

— Никакой, наверное, но все ж таки тебе надо закончить. Она писала до самого конца, так что уж это — твой долг перед ней. Таков уговор, и в любом случае, мне хочется знать, что там случилось дальше.

Он встал и повернулся, чтобы идти. Она потянулась и взяла его за руку.

— Я сумасшедшая? — спросила она. — Иногда я чувствую себя именно так.

— Может быть, — ответил он, поглаживая ее по лбу. — Но не дергайся из-за этого. Тебе необходимо быть немножечко сумасшедшей. Сумасшествие — та цена, которую ты платишь за воображение. Это твоя суперсила. Способность прикасаться к снам. Это хорошая штука, а не плохая.

Зазвонил телефон, и он направился к двери, чтобы ответить, но на пороге вдруг остановился.

— Я очень переживаю насчет Песто, — сказал он.

Бенуа сидел в потрепанном кресле перед дровяной плитой, курил и смотрел в огонь. Когда вошла Рут, он поднял взгляд. Глаза у него были красные, будто он плакал, и он явно пил. Приторный аромат канадского виски мешался с запахом сигарет, и дыма, и мокрых носков.

Его жена стояла в дверях гостиной. Вид у нее был не слишком довольный. Это она звонила, когда Оливер поднял трубку. Муж закончил перевод французского дневника, сказала она. Не могла бы Рут, пожалуйста, заехать и забрать рукопись. Сегодня. Повесив трубку, Оливер забросил в кузов бензопилу и предложил ее отвезти. Поднимался ветер; высокие деревья начинало качать. Надвигался еще один шторм, и этот шел прямо на них.

Бенуа протянул ей стопку линованной бумаги; листы дрожали у него в руке.

— *Le mal de vivre*, — сказал он. — Вы спрашиваете, что это означает. Ответ — вот *это*. Зло, страдание, печаль. Как в мире может быть столько боли?

Рут взяла у него бумаги.

— Спасибо, — сказала она, глянув вниз, на страницы перевода.

— И это тоже заберите, — сказал он. Он протянул ей тонкую тетрадь с оригиналом дневника, обернутую в ту же вощеную бумагу.

— Я очень вам благодарна... — начала она, но он только потряс головой и опять воззрился на огонь.

В этот момент его жена ступила вперед и притронулась к ее руке. Она вывела Рут из комнаты и проводила до дверей.

— Он пил.

Рут не знала, что и сказать.

— Мне страшно жаль...

Выражение лица у жены Бенуа смягчилось.

— Это не ваша вина, — сказала она, понижая голос. — Его собаку прошлым вечером утащили волки. Они выслали вперед молодую суку, и он пошел за ней. Глупый пес. Стая ждала на той стороне оврага. Они набросились на него и убили, вот так, запросто. Порвали на части и съели.

Она оглянулась в сторону гостиной, где все так же сидел ее муж.

— Он видел, как это случилось. Звал его, погнался за ним, но не смог перебраться через овраг. Он слишком большой. Слишком

медленный. К тому времени, как он туда добрался, там только клочки  
шкуры остались. Он любил этого песика.

Она открыла дверь на улицу и склонила голову набок,  
прислушиваясь.

— Вам лучше ехать. Поднимается ветер. Дурной будет шторм.

## Тайный французский дневник Харуки № 1

1

10 декабря 1943 года — Мы спим все вместе в одном большом помещении, люди из моей роты и я; мы лежим рядами, как мелкая рыбешка, которую вывесили сушиться. Только при полной почти луне и если небо чистое, мне достаточно света, чтобы писать. Я украдкой достаю эти страницы из-под подкладки формы, где я их прячу, так, чтобы они не шуршали. Я отвинчиваю колпачок вечного пера, и меня охватывает страх, что чернила могли кончиться и мысли мои исчезнут без следа. Мои последние мысли отмеряны каплями чернил.

Нас проинструктировали вести дневник тренировок и записывать свои чувства перед лицом неизбежной смерти, но другой солдат из студентов предупредил меня, что старшие офицеры будут инспектировать эти дневники, как они читают наши письма, — безо всякого предупреждения, так что я должен быть осторожен и не писать откровенно то, что у меня на сердце. Лицемерие не входит в число лишений, которые я готов сносить, так что я решил вести записи дважды, одни — напоказ и эти, тайные, для Вас, хотя у меня мало надежды на то, что Вы когда-либо их прочтете. Я буду писать на французском, *ma chère Maman*, следуя хорошему примеру Вашего кумира, Канно-сан, которая продолжала прилежно учить английский до той минуты, как ее повели на виселицу. Как и она, мы должны продолжать свои занятия, даже когда цивилизация рушится вокруг нас.

2

Сожми зубы. Закуси покрепче! — приказывает наш командир, офицер *le Marquis de Ф.* Он бьет К. в лицо кулаком, пока у того не подкашиваются ноги, а потом, когда тот падает, пинает его ногами. На прошлой неделе он вышиб у К. два задних зуба, но К. вел себя, будто не чувствовал ничего, он только моргал и улыбался своей милой растерянной улыбкой, пока кровь текла у него изо рта.

К. — мой старший товарищ по факультету философии, и это меня обязывает. Вчера, когда избиение достигло особой степени жестокости, я встал перед К., чтобы принять на себя предназначавшиеся ему удары. Маркиз де Ф. был необычайно доволен. Он бил меня кулаками по лицу с обеих сторон и пинал каблуком сапога. После этого мой рот изнутри напоминал фарш, и даже маленький глоток супа-мисо вызывал слезы на глазах — соль разъедала раны, и было ужасно больно.

Chère Maman, я заворачиваю эту тетрадь в промасленную бумагу и прячу под рисом в моей коробке для бэнто. Постараюсь передать Вам тетрадь до того, как умру. Я не могу быть откровенным в письмах к Вам, но надежда на то, что Вы когда-нибудь узнаете всю правду об этом имбецильном линчевании, приносит мне утешение. Сколько бы они ни издевались над моим телом, пока у меня есть эта надежда, я смогу снести любую боль.

### 3

Прошлой ночью, во время игры в веселый квартал, я почувствовал, как в К. произошла перемена, пока он смотрел на мое унижение. Следуя указаниям Маркиза, я скорчился за стойкой для винтовок, просунул руки между планками и делал ими призывные жесты, вроде как ночная бабочка, и увидел, как К. отвернулся — в первый раз — будто не мог больше выносить это зрелище.

Le Marquis, заметив этот жест К., снова и снова заставлял меня повторять. Он подсказывал мне реплики. «Привет, солдатик», — призываю я. Подобно режиссеру, он внимательно следит за моим представлением, склонив голову набок. Говорит мне, что мой голос должен звучать выше и нежнее. В его внимательности есть настоящая серьезность, почти невинность. «Почему бы тебе не зайти, чтобы поразвлечься со мной?» — вскрикиваю я, и его согласие — только вопрос времени. Игры не прекращаются еще долго после сигнала горна к отбою. Иногда ночью я слышу, как плачет К.

*Tu marches sur des morts, Beauté, don't tu te moques;  
De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant...* [145]

Знал ли Бодлер о подобных вещах, Матап? Это ли не темные лепестки с *les fleurs du mal*?

4

Песенка камышовки так красива. Но я никогда больше не смогу слушать ее без того, чтобы не вспоминать о Ф. — и не жаждать убить его. Мы слышим истории, их рассказывают шепотом, о ненавидимых офицерах, застреленных в спину или забитых до смерти собственными подразделениями в сумятице боя или во время перестрелки. Я считаю удары, полученные мною от Маркиза. На сегодня их 267.

Я не против смерти. Все мы понимаем, что смерть для нас — единственный возможный исход. Я только надеюсь, что не умру, пока не изведаю сладкий вкус смерти.

5

Нет смысла. Нет смысла. К. сбежал на рассвете, и потом нам сказали, что он совершил самоубийство, бросившись под поезд снабжения, но один из тех, кто видел его тело, сказал мне, что ему выстрелили в спину. В ту ночь я обнаружил у себя принадлежавший ему потрепанный томик «Сёбогэндзо» — он был засунут ко мне в тюфяк. Я лежу здесь и жажду горячих слез, которые проливал, бывало, но сердце мое замерзло. Я заморожен, внутри и снаружи. Я перестал чувствовать. Даже удары Маркиза не имеют эффекта и не вызывают у меня больше гнева. Как торпеды, они пролетают мимо цели. Когда-то в жизни я научился думать. Я знал, как чувствовать. На войне подобные уроки лучше забыть.

6

Во время Вашего визита, Матап, я собирался найти способ незаметно передать Вам эти страницы, но ужас, выразившийся у Вас на лице при виде меня, заставил меня переменить решение. Я солгал Вам, сказав, что мои синяки — следствие случайного происшествия во время рутинной тренировки. Не думаю, что Вы поверили мне, но в тот

момент эта ложь сделала невозможным мой план передать Вам этот дневник, содержащий пространные пассажи, исполненные жалости к себе, описывающие рутинную и вполне банальную жестокость военной жизни. В итоге, благодаря отсутствию у меня выдержки и самодисциплины, вот я опять здесь, пишу при лунном свете совсем один. Но я не жалею о своей лжи. Я бы сделал все что угодно, чтобы утешить Вашу печаль.

И на самом деле, мои чувства к Маркизу начали меняться. Сначала, когда он бил меня, я боялся. Я признаю это без смущения. Как я мог не бояться? Меня же никогда раньше не били! Немногим мальчикам повезло, как мне, вырасти и стать мужчиной, слыша только самые добрые слова, самые мягкие уговоры, зная только самую нежную ласку, при матери, которая ограждала нас от всех жестокостей мира, от всех его уродств. Я был избалован и совершенно неподготовлен к жестокости, и, должно быть, это звучит, будто я жалею, но это не так! Вы не должны думать, будто я виню Вас. Боюсь, эти слова могут прозвучать, будто я — самый неблагодарный в мире сын, но на самом деле все ровно наоборот. Более чем когда-либо я благодарен сейчас за то, как Вы растили нас, научив ценить доброту, образование, независимость мышления и либеральные идеи перед лицом фашизма, поразившего нашу страну. Самые жестокие наказания бессильны выжать из меня слезу, но мысль о трудностях, пережитых Вами во имя своих идеалов, заставляет меня рыдать, как младенца.

Ну вот, теперь я испортил слезами целую страницу — едва могу разобрать слова. Бумага — это драгоценность, хотя слова эти едва ли стоят истраченных чернил или бумаги, на которой написаны.

На чем я остановился? Ах да. Я рассказывал Вам о трансформации моих чувств к Ф. После первых недель наказаний и тренировок я начал замечать, что мой первоначальный страх и жалость к себе трансформируются в ненависть, а потом из ненависти — в ярость. Когда он вызывал меня по имени, вместо тревоги и страха я ощущал, как предвкушение разливается во мне, подобно наркотику, и я принуждал себя опускать взгляд, я был уверен, что, если я взгляну в его ненавистное лицо, он увидит добела раскаленную ярость у меня в глазах. Собственный гнев пугал меня больше, чем некогда страх.

Но в последнее время мои чувства изменились опять. На прошлой неделе он вызвал меня, чтобы указать мне на какую-то мелкую провинность, — должно быть, я уронил зернышко риса, когда подавал ему обед, или оставил пылинку на ботинке, или он просто страдал от несварения, а может быть, плохо спал ночью. Я не помню; но он приказал мне встать на колени на пол, подсунув под себя ладони, и начал избивать меня ремнем по лицу и по туловищу.

Обычно я держал глаза опущенными, уставясь в одну точку на полу, пока они еще открывались или пока их не заливало кровью и больше уже ничего не было видно, но в тот день по какой-то причине поднял взгляд. Я посмотрел на Ф. — прямо в глаза, что против правил, потому что мы никогда не должны смотреть в глаза старшему по званию, и когда я это сделал, сердце мое вдруг смягчилось. Я знаю, это звучит странно, но чувство было именно таким. В первый раз я заметил лихорадочное выражение его близко посаженных глазок и жирный блеск пота на лбу, и меня переполнила жалость, и даже после десятка ударов я искренне мог его простить. Конечно, это было не слишком правильным ходом, потому что мой упорный взгляд и непокорство разозлили его еще больше, десять ударов стали двадцатью, потом тридцатью. Когда я потерял сознание, я потерял счет. Так или иначе, избивание каким-то образом закончилось. Кто-то, должно быть, отнес меня обратно в барак и накрыл одеялом. Когда я проснулся, наверное, у меня все болело, но я не чувствовал боли. Вместо этого я был охвачен ощущением тепла и покоя, какое приносит сознание внутренней силы.

Вот он, подумал я, источник улыбки, которую я видел на лице К., когда его избивали, до того, как я выступил вперед, чтобы принять наказание вместо него. Он мог вынести свою боль, но боль, которую я терпел за него, — это было больше, чем он способен был выдержать. Меня до сих пор мучит сознание, что я мог быть причиной его смерти, но в этом мире, где причины и следствия настолько перепутаны, точно знать невозможно.

С тех пор, несмотря на то, что карательные процедуры состоялись еще раз или два, похоже, что Ф. я наскучил, или, может быть, он испуган. Быть может, это только мое воображение, но, кажется, он делает это уже без прежнего огонька.

Должен ли я быть ему благодарен? Я потерял счет полученным ударам, но я больше не стремлюсь их вернуть. Быть может, это значит, что я перерос это детское чувство. Быть может, я вырос и стал мужчиной.

## 7

3 августа 1944 года — Вот о чем я не мог написать в письме. Ходят слухи, Маман. Война идет не слишком хорошо. Наши силы отступили из Северной Бирмы, и американские войска высадились на Гуаме. Если так будет продолжаться и дальше, все может закончиться вторжением США в Японию, и ввод наших частей в действие может стать последней попыткой повернуть вспять течение войны. Я глубоко обеспокоен Вашим описанием визита военной полиции, я боюсь, Вы подвергаетесь риску из-за своей политической деятельности. Умоляю Вас, будьте осторожны. Как бы я хотел, чтобы Вы передумали и, забрав сестер, уехали бы в эвакуацию за город.

## 8

Я написал Вам о моем решении умереть. Вот то, о чем я Вам не сказал. Вокруг вздыхают и стонут мои товарищи, охваченные беспокойным сном, а снаружи кричат насекомые, но единственный звук, который я слышу, — это тиканье часов. Секунда за секундой, минута за минутой... тик, тик, тик... тихий, сухой звук заполняет тишину до краев. Я пишу это в темноте. Я пишу это при лунном свете, напрягая уши, чтобы услышать теплые живые звуки ночи поверх холодного механического шума, но все мое существо настроено только на одну вещь: на беспощадный ритм времени, марширующий к моей смерти.

Если бы я только мог разбить часы и остановить наступление времени! Сокрушить адскую машину! Раздробить ее равнодушное лицо и вырвать проклятые стрелки из замкнутого круга жестокости! Я почти могу видеть, как прочный металлический корпус сминается у меня в руках, как идет трещинами стекло, разламывается циферблат и пальцы погружаются в деликатные внутренности, рассыпая пружинки и шестеренки. Но нет, это бесполезно, нет способа остановить время, и

вот я лежу здесь в оцепенении, и слушаю, как тикают мимо моменты моей жизни.

Я не хочу умирать, мама! Я не хочу умирать!

Я не хочу умирать.

\* \* \*

Простите. Это я с луной говорил.

\* \* \*

Глупо. Количество чернил, которое я трачу на неуместные излияния, мысленно разбивая часы, выкрикивая что-то у себя в воображении. Забудьте о часах. У них нет власти над временем, но она есть у слов, и теперь я ощущаю искушение порвать эти страницы. Хочу ли я, чтобы меня вспоминали вот так? По этим вот словам? Вы?

Но нет, пока я их оставляю, потому что Вы их не увидите никогда. Я пишу их исключительно ради себя, чтобы вызывать Вас у себя в воображении. Они предназначены только для меня.

«Изучать Путь — значит изучать себя», — так сказал Догэн. Я дал обет сидеть в дзадзэн, дотошно изучая собственные мысли и чувства, как препарирует труп ученый, чтобы усовершенствовать себя, насколько возможно, за те короткие недели, которые у меня остались. Я поклялся полностью Вам открыться, даже если Вы никогда это не прочтете. Разорвав страницы, я не смогу изгнать трусость из собственного сердца, как не смогу остановить время, вырвав стрелки из циферблата.

На самом деле, я счастливчик. Я получил образование, у меня натренированный ум. У меня есть возможности продумать всё должным образом.

«Философствовать — значит учиться умирать».

Так написал Монтень, перефразируя Цицерона, но, конечно, мысль была не нова — ее истоки можно проследить до Сократа на Западе и Будды на Востоке... однако, «философствовать», естественно, означало там и там разные вещи...

«Изучать Путь — значит изучать себя. Изучать себя — значит забывать себя. Забыть себя — значит быть просветленным всеми бесчисленными явлениями».

\* \* \*

В письме к Вам я упомянул свои надуманные соображения относительно «Вороньих Войн» Миядзавы и теперь чувствую себя довольно глупо. Хороший из меня капитан Ворона, что поднимается на крыло, бросаясь в бой! Но правда в том, что я не могу отрицать собственной любви к полетам. И как бы глупо это ни звучало, та сказка продолжает жить у меня в голове, и позднее я поймал себя на том, что вспоминаю сцену, в которой капитан Ворона хоронит своих врагов и молится звездам. Вы помните этот отрывок? Там говорится что-то вроде этого:

*Благословенные звезды, пожалуйста, превратите мир в такое место, где нам никогда больше не придется убивать врага, которого мы не можем ненавидеть. Если бы могло такое сбыться, я бы согласился, чтобы тело мое терзали на клочки, снова и снова.*

Я верю в эти прекрасные слова, и теперь, когда я знаю, что уйду, их значение наполняется для меня глубоким смыслом. Я вспомнил тот отрывок за обедом, и это вызвало слезы у меня на глазах. К несчастью, когда я утирал их, я уронил миску с соленьями прямо на пол. Похоже, однако, что мой новый ранг ограждает меня от наказаний, и Маркиз просто делает вид, что ничего не замечает.

9

Теперь, когда времени у меня так немного, предмет этот живо меня интересует. Я сижу в дзадзэн или перебираю пальцами дзюдзу, отсчитывая — бусина за бусиной, вдох за выдохом — моменты до

моей смерти. Где-то Догэн называл количество моментов, содержащихся в одном щелчке пальцами, не помню точную цифру, только что она была несуразно большой и казалась случайной и абсурдной, но думаю, что в кабине самолета, нацелившего нос в борт американского корабля, каждый и единственный из них будет для меня отчетлив и ясен. Я предвкушаю, как в момент смерти буду, наконец, по-настоящему жить и сознавать себя.

Догэн еще писал, что единственный момент — это все, что нам нужно для изъявления собственной человеческой воли и постижения истины. Никогда этого раньше не понимал, потому что представление о времени было у меня неточным и смутным, но теперь, перед лицом неизбежной смерти, я могу, наконец, вникнуть в смысл его слов. И жизнь, и смерть являют себя в каждом моменте существования. Наше тело, человеческое тело, непрерывно исчезает и появляется, момент за моментом, и эта непрерывная цепь возникновений и угасаний и есть тот опыт, который мы переживаем, будучи временем и существом. Они нераздельны. Они — это единая сущность, и у нас есть возможность даже за долю секунды совершить выбор и повернуть ход событий, который может либо привести нас к постижению истины, либо увести от нее. Каждое мгновение значит неизмеримо много для всего нашего мира.

Когда я думаю об этом, мне одновременно и радостно, и печально. Меня радует мысль о множестве будущих мгновений, которые принесут возможность творить добро. Печалят меня все те неправильно потраченные моменты прошлого, что, скопившись, привели нас к этой войне.

Какая же воля возобладает во мне в самом конце? Буду ли я храбро выдерживать курс, зная, что в момент контакта тело мое взорвется огненным шаром, убив столь многих «врагов», никого из которых я ранее не встречал и ненавидеть не могу? Или трусость (или лучшая сторона моей человеческой природы) возобладает в последний раз ровно настолько, чтобы подтолкнуть руку на штурвале и сбить самолет с курса? И, выбрав окончить жизнь в пучине позора вместо пламени героизма, в то же самое мгновение я навеки изменю судьбу вражеских солдат на корабле, а также судьбы их матерей, сестер, братьев, жен и детей?

И в ту же самую частицу времени еле заметное движение моей руки определит судьбы всех японских солдат и граждан, которых эти самые американцы (враги, чьи жизни я спасу) убьют, потому что выживут. И так далее, и так далее, можно договориться до того, что исход всей этой войны будет решен одним моментом и одним миллиметром, являя собой внешнее проявление моей воли. Но как я могу знать?

О, сколь грандиозными мы кажемся себе перед лицом смерти! Но у меня нет ни малейшего желания становиться героем. В *Sein und Zeit* Мартин Хайдеггер затрагивает идею Героя в контексте дискуссии о темпоральности, историчности и сущности-в-мире, и, если раньше я самым прилежным образом принялся бы анализировать мое нынешнее положение в терминах Хайдеггера, то теперь я нахожу большее удовлетворение в дзэне Догэна, в моем собственном японском наследии, что, должно быть, только доказывает правоту МХ. «Язык — это дом сущности», написал он как-то, и Догэн (сам человек слова!), без сомнения, согласился бы с этим. Но тевтонский лабиринт МХ я в своем нынешнем горячечном состоянии нахожу утомительным, и вместо того меня тянет в тихие и пустые покои Догэна. Между словами Догэн познал тишину.

\* \* \*

На базе зацвели вишни, потом лепестки облетели, а я все еще не разделил их судьбу.

«Завтра я погибну в битве», — сказал капитан Ворона.

Монтень писал, что смерть сама по себе ничего не значит. Это наш страх перед смертью придает ей смысл. Боюсь ли я? Конечно, и все же...

Que sais-je?<sup>{29}</sup> — спрашивал Монтень. Ответ: ничего. В действительности, я не знаю ничего.

И все же по ночам я лежу у себя на койке и отсчитываю бусины на четках, по одной за каждую любимую мною вещь на земле, снова и снова, по бесконечному кругу.

Вчера мы прибыли на Кюсю. К нашему отряду были приписаны двое солдат-ветеранов с Китайского фронта, которым было дали увольнительную, но потом вновь призвали на службу. Это были жесткие люди, дикие и поджарые, в их много видавших глазах поблескивала жесткость, и даже Ф., казалось, стушевался в их присутствии. Настроение в бараке изменилось в ту же минуту, как они вошли. Прошлой ночью после ужина они сидели с нами, окруженные юными нежными лицами наших свежих рекрутов из студентов, ковыряли в зубах и хвастали о тех временах, как они служили в провинции Шаньдун.

Я едва сдерживаю тошноту, вспоминая сейчас их рассказы, как они смеялись, вспоминая о старых китайских бабушках, которые прятались в хижине со своими внуками и которых они обнаружили. Одну за другой они вытаскивали старых женщин на середину хижины и насиловали, а потом штыками разворачивали им половые органы. Продолжая похохатывать, они изображали, как смешно старые женщины умоляли пощадить их внуков. Одного за другим они подбрасывали младенцев в воздух и накалывали на штыки.

Как блестяли у них глаза, когда они рассказывали о китайцах, которых подвешивали вверх ногами, будто готовя мясо на открытом огне, а потом смотрели, как горящая плоть отваливается с их еще живых тел, а руки их дергаются, как щупальца у жареного кальмара. Когда те люди умирали, они разрезали их обугленные трупы и скармливали собакам.

Как глумливо они посматривали на нас, описывая юных японских рекрутов, неискушенных мальчишек, как я и К., которым приказали отрабатывать штыковые удары на живых пленниках-китайцах, чтобы укрепить боевой дух. Они привязывали пленников к столбам и рисовали мишень поверх сердца. «Коли везде, кроме как здесь», — командовали им офицеры, указывая на круги. Смысл был в том, чтобы пленники оставались живыми как можно дольше, и мальчишки-солдаты дрожали так, что у них тряслись штыки, и испражнялись прямо в штаны. Наши двое храбрых солдат посмеивались, вспоминая их ужас. К концу упражнения, заверяли они нас, когда пленники были мертвы, а их искромсанные тела истекали кровью, те японские мальчишки были мужчинами.

Свои деяния они описывали так же, как совершали, — безо всякого стыда. Они выполняли приказ, сказали они, им велено было преподать китайцам урок, и те убийства совершались перед целыми деревнями, и дети жертв, их родители, соседи и друзья — все должны были смотреть. А пересказывая все это, они давали урок нам, чтобы ожесточить нас и подготовить к тому, что ждало нас в будущем.

«Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage», — писал Монтень. — «Каждый зовет варварством то, к чему он непривычен».

К счастью, я не проживу достаточно, чтобы привыкнуть к этому, и в одном я благодарен этим двум дьяволам: их чудовищное варварство представляет мои собственные незначительные страдания в совершенно новом свете. Мне мучительно стыдно, что я потратил столько чернил на жалобы. Настало время закрыть книгу моей жизни. Матан, мой вылет назначен на завтра, так что это — прощание. Тэцунэ Амэ<sup>[146]</sup> началась, и сегодня у нас с товарищами, студентами-офицерами, будет праздник. Мы будем пить сакэ, писать завещания и официальные прощальные письма. Командование ВМФ перешлет Вам эти пустые слова вместе с моим личным имуществом — дзюдзу, которые дали мне Вы, моими часами и томиком Сёбогендзо, принадлежавшим К. Однако же этого дневника среди вещей не будет. Должен признаться, я переменял решение, и теперь мне хотелось бы каким-то образом передать его Вам, но я не смею. Его содержание бросает тень на этот помпезный патриотический спектакль, который мы все так мрачно разыгрываем, и я боюсь, это может поставить под угрозу ту компенсацию, которая причитается Вам в обмен на жизнь единственного сына. Не знаю, что я сделаю с тетрадью. Может, сожгу ее сегодня, когда буду пьян, или возьму с собою на дно океана. Этот дневник был моим утешением, и — я не считаю, что это пустые мечты, — я всем сердцем верю, что, хотя Вы никогда не видели этих страниц, Вы все же читаете каждое написанное мною слово. Вы, дорогая мама, знаете мою истинную душу.

Теперь я хочу сказать Вам то, что не смогу сообщить ни в каком официальном документе, который могут прочесть или перехватить. Я принял решение. Завтра утром я крепко перевяжу голову лентой с символом Восходящего солнца и полечу к югу от Окинавы, где отдам жизнь за свою страну. Я всегда верил, что эта война несправедлива. Мне всегда была отвратительна алчность капитализма и имперская

гордыня, которые ее породили. И теперь, зная то, что я знаю о бесчеловечной жестокости этой войны, я полон решимости повернуть самолет прочь от цели и направить в море.

Лучше сражаться с волнами — они еще могут меня простить.

Я не чувствую себя человеком, которому завтра умирать. Я чувствую себя человеком, который уже мертв.

Она прочла последнюю переведенную Бенуа страницу и положила на диван рядом с собой, поверх стопки. Поглядела в окно, на горизонт. Штормовые облака струились по темному небу, такие густые, что, если бы не крошечные белые точки взбитых ветром гребней, усеявшие поверхность воды, различить границу между темным небом и темным океаном было бы невозможно. Отсюда, с дивана, волны выглядели такими маленькими. Трудно себе представить. Вблизи они должны бы казаться гораздо больше. Не промахнешься.

*Он влетел в волну, подумала она.*

Порывистый ветер сотрясал дом; скрипели старые балки. Снаружи стонали и шатались деревья. Живая древесина.

*Нао об этом еще не знает. Она все еще думает, что ее двоюродный дед врезался на самолете во вражеский корабль. Она думает, он умер героем, выполняя задание. Она не знает, что он его провалил. Как это может быть?*

Электричество все еще было, но свет мигал и гас уже несколько раз. Где-то на провода упало дерево. Генератор до сих пор пребывал в мастерской, в Кэмпбелл-Ривер. Они висели на волоске.

*Она прочла его письма на японском — то, официальное, которое она нашла под рамкой, и другие, которые дала ей Дзико, — но она ничего не говорит о тайном дневнике на французском. Знает ли она о нем вообще? Где он? Если Харуки № 1 напился и сжег дневник, или взял с собой на задание, тогда бумага должна была бы уже давным-давно превратиться в пепел, развеянный ветром, или в целлюлозу, растворившуюся в море.*

Она взяла в руки сверток воценой бумаги с тетрадь, который Бенуа вернул вместе с переведенными страницами. Перевернув сверток, она внимательно его осмотрела.

*Дневник существует в реальности, но как он сюда попал? Каким образом он оказался в пакете для заморозки и здесь, у меня в руках?*

Ей хотелось обсудить это с Оливером, задать все эти вопросы вслух, но его не было дома — он искал Песто. Она развернула вощеную бумагу, разглядила тетрадь. Провела пальцами по странице. Бумага была дешевая. Чернила потускнели, но было видно, что когда-то они были цвета индиго. Он прятал их в коробке для бэнто, под рисом. Он прятал их в шинели, на груди. Она закрыла глаза и поднесла тетрадь к лицу, глубоко вдохнув, но пахло только воском и морем.

*Нао должна прочесть это, и ее отец тоже. Им нужно знать правду.*

Она открыла глаза, вновь сложила дневник и завернула в бумагу. Снаружи становилось темно. Она взглянула на часы небесного солдата, посмотреть, сколько времени. Часы все так же тикали. Где же Оливер?

*Харуки № 1 сражался с глубочайшими моральными и экзистенциальными проблемами, касающимися геноцида, войны и последствий собственной неизбежной смерти, а мы из-за пропавшего кота расстраиваемся? Как это вообще возможно?*

Но это было возможно, и это было правдой. Нельзя было сосредоточиться ни на чем с тех пор, как сбежал кот, и беспокойство их еще больше возросло, когда они узнали про собаку Бенуа, как ее съели волки. Каждый раз, как Оливер слышал шум снаружи, он бросал любое дело, шел к двери, открывал и прислушивался. Он с равной тревогой вслушивался в уханье сов, в волчий вой, даже в карканье воронов.

— Уверен, с ним все в порядке, — сказал он, пытаюсь приободриться. — Такой мелкий парень. Горстка костей на один укус. Да кто его есть станет?

Но они оба знали, что в лесу полно хищников, которые с удовольствием съели бы на ужин маленького кота. Наконец, он больше не мог уже этого выносить и, когда поднялся ветер, отправился на поиски.

Рут была расстроена. Она была виновата, что разозлилась, напугав Песто, так что он сбежал из их кровати и ушел на улицу ночью. Она жалела о том, что не могла сдержаться. Она жалела о том, что Оливер с самого начала ее рассердил.

Дождь зарядил как следует, и она решила спуститься вниз, подбросить в огонь дров. Спустившись, она обнаружила, что дров осталось маловато. Надев дождевик и резиновые сапоги, подхватив налобный фонарик и слинг для дров, она отправилась к поленнице. Ветер поднялся нешуточный, и ветви кедра неистово метались. Где же он? При таком ветре в лесу было небезопасно. Деревья стонали и трещали под ударами бури. При огромной высоте корни у них уходили на удивление неглубоко, а почва размякла от дождя. На секунду в голову пришла мысль, что ей надо бы пойти поискать его, но она тут же поняла, как это было бы глупо. Она стала вытягивать из штабеля поленья и складывать их в кожаную перевязь, и тут сверху раздался хриплый крик. Она подняла голову. Это была джунглевая ворона, она сидела на своем обычном месте среди кедровых ветвей. Ворона взглянула вниз, на нее, похжим на бусину глазом. «*Kap!*» — крикнула она настойчиво, и это прозвучало как предупреждение. Рут оглянулась на дом. Окна были темными. Электричество отключилось. Внезапно ей стало страшно.

— Что же мне делать? — дождь ударил ей в лицо, когда она повернулась обратно к вороне. — Лети, — сказала она. — Пожалуйста, лети и найди его.

Ворона продолжала внимательно на нее глядеть.

Какая глупость, подумала она. С птицей разговаривать. Но вокруг никого не было, и звук собственного голоса почему-то помог ей успокоиться.

Ворона вытянула шею, встряхнула перьями. Рут взвалила на плечо тяжелый слинг с дровами и направилась к дому. «*Kap!*» — опять закричала ворона, и, обернувшись, она увидела Оливера, как он выходит из-за раскачивающихся деревьев, весь мокрый от дождя. Увидев ее с дровами на плече, он развел руками. Его мокрые ладони были пусты. Кота не было.

# Нао

## 1

Решение покончить с жизнью реально улучшило мне настроение, и внезапно все те штуки, которые Дзико говорила о времени, обрели смысл. Самый лучший способ научиться ценить жизнь — осознать тот факт, что жить тебе осталось недолго. Звучит, конечно, банально, но я реально начала впервые переживать вещи во всей полноте, ну, например, красоту слив и вишен в цвету на аллеях парка Уэно. Я пропадала там целыми днями, бродя туда и сюда по длинным пушистым тоннелям, сотканным из розовых облаков, глядя вверх на мохнатые от цветов ветви с крошечными искорками света и кусочками синего неба, сквозящими между ними. Время исчезало, это было все равно что заново родиться в этот мир. Все было совершенным. Стоило подуть ветерку, и лепестки дождем сыпались мне на задранное к небу лицо, и я останавливалась — у меня дыхание перехватывало от такой красоты и такой печали.

Впервые в жизни у меня был проект и цель, на которой следовало сосредоточиться. Мне нужно было понять, чего я хочу добиться за оставшееся мне время, и вот так я пришла к пониманию того, что хочу записать историю жизни старой Дзико. Дзико была такой мудрой и интересной, и теперь, как я подумаю о том, что провалила свой проект — рассказать ее историю, мне хочется плакать.

## 2

Причина, по которой я проводила дни в парке Уэно, затерявшись в вишневом цвету, состояла в том, что Бабетта все еще злилась на меня и, естественно, в школу я не ходила. Я так там и не была с тех пор, как обрила голову и обрела суперпауэр, и, по большей части, я чувствовала по этому поводу только огромное облегчение, но теперь, когда учебный год был практически окончен, мне стало еще и немножечко грустно. Я ходила сдавать вступительные экзамены в старшую школу, как и обещала маме, и с треском их провалила. В ту же минуту, как я

села за парту, я поняла, что влипла. В классе, где проводились экзамены, было ужасно жарко, и туда битком набились подростки в форме, и вся эта масса тряслась в мандраже, воняла подростковым потом и полиэстром. В воздухе стояло густое облако феромонов — их практически пощупать можно было, и мои сочные, такие интересные мозги превратились в свинец. Тяжелые, тупые, инертные. Все, чего мне хотелось, — положить голову на парту и заснуть.

Оказалось, добрая часть материала была-таки мне хорошо знакома, особенно раздел по английскому, но на большинство вопросов я даже отвечать не стала. Оценки у меня были такие низкие, до смешного, будто я умственно отсталая или еще что, но я, такая, ну и что, плевать. Сильно меня это не беспокоило, ну, немного только, потому что теперь я знала, что никогда не попаду в старшую школу и не узнаю все те вещи, которые знал мой двоюродный дед Харуки № 1 до того, как умер. То есть, конечно, ты можешь сказать, какой смысл что-то учить, если все равно собираешься покончить с собой, и это правда, но ведь были же люди, и они все равно старались, и в этом есть что-то ужасно благородное.

Вот, например, супергероиня старой Дзико Канно Сугако — она продолжала учить английский и вести дневник до того самого дня, как ее повесили. Мне кажется, она — хороший образец для подражания, хотя, конечно, она императора собиралась бомбой убить.

Короче, теперь я знала, что время мое на земле ограничено, и не хотела тратить больше ни одного драгоценного момента на дурацкие свидания, и это серьезно взбесило Бабетту. Она сказала, я занимаю ценный рабочий столик у «Фифи», и что мое царапанье ручкой создает занудную атмосферу. Я попыталась убедить ее, что писатель — как раз аутентичная деталь, как в настоящем французском кафе, но она не согласилась и наконец предъявила мне ультиматум. Или иди на свидание, или выметайся.

Ладно. Плевать.

Это было вчера.

Она резко отвернулась, а я продолжала писать, следя за ней краешком глаза. Она заговорила с клиентом за одним из соседних столиков, и тот повернулся на меня посмотреть, и я просто поверить не могла, это был тот противный хентай, которого я описывала в самом начале. Тот, с сальными волосами и нездоровым цветом лица,

которому нравилось смотреть, как я подтягиваю носки? Он тут постоянно торчит, но мне казалось, он скорее из тех, что только пялятся, не похоже, чтобы он смог наскрести денег на свидание. Бабетта рассыпалась перед ним, настоящий менеджер по продажам, а это я нахожу несколько оскорбительным, если хочешь знать правду. То есть я такая, в общем-то, симпатяшка шестнадцати лет в школьной форме. Казалось бы, он кипятком должен писать, что у него есть шанс пойти со мной на свидание, правда? Наконец он достал бумажник и вручил Бабетте какие-то деньги. Бабетта свернула купюры в трубочку и запихала между грудями, а потом посмотрела на меня.

— Свидание, — произнесла она одними губами.

Вздыхнув, я захлопнула дневник и пошла за ней в гардероб, где она выудила из декольте тощую пачку купюр, отслюнила несколько штук и вручила мне.

Я глядела на нее с удивлением.

Она пожала плечами.

— Рио тебя избаловал, — сказала она. — Пора тебе реалистичнее взглянуть на мир.

— Я не собираюсь делать это за столько! — сказала я, пихая ей деньги обратно. — У меня, знаешь ли, самоуважение есть.

Улыбка на ее хорошеньком кукольном личике медленно раздвинулась, стала опасной. Она толкнула меня к стенке и схватила за подбородок, глубоко запустив костяшки пальцев в мякоть под подбородком, где кости сходятся буквой «V», прямо над горлом. Я подавилась от боли — она была такой сильной, что меня чуть не стошнило.

— Это забавно, — сказала она. — Такие, как ты, самоуважения не заслуживают. Так что ты просто перебьешься.

Она взяла меня за щеки обеими руками и ущипнула так сильно, что у меня слезы навернулись на глаза. Потом потянула за щеки так, что мы практически касались лбами, и два ее глаза стали одним ужасным глазом, темным и блестящим среди оборочек и кружев.

— Тебе повезло, что я такая добрая, поделилась с тобой хоть чем-то, — сказала она. — Проблема с тобой в том, что ты слишком американка. Думаешь только о себе. Ленишься. Тебе бы преданности поучиться, и стараться надо побольше.

Она в последний раз хорошенько меня ущипнула и отпустила.

Я откинулась на висевшие за спиной пальто и сползла по стенке. Склонив голову набок, она внимательно меня оглядела, потом наклонилась и потрепала по горячей щеке.

— Такая розовенькая, — сказала она. — Такая хорошенькая, — а потом дала мне пощечину. Выловила пальто моего кавалера и бросила мне.

— Хорошо повеселиться, — сказала она, изящно повернувшись на каблуках так, что взлетели юбки, и с того места, где я сидела на полу, мне были видны оборочки на ее трусиках, когда она процокала к двери.

Не помню, как звали того хентая. Может, я вообще так этого и не узнала. Он ждал меня у ресепшена рядом с голой дамой в фонтане. Я отдала ему пальто. Он взял, даже не посмотрев мне в глаза. Пробормотал что-то, я так и не поняла что, и вышел, явно ожидая, что я последую за ним. Крошечный лифт был совсем пуст, и мы стояли там в неловком молчании, наблюдая, как закрываются двери, не зная, что сказать и о чем вообще тут можно разговаривать. Через пару этажей двери открылись опять, и в лифт ввалилась большая веселая компания, и внезапно я оказалась прижатой к нему. Я почувствовала у себя на шее его кислое дыхание, когда он начал лапать меня под юбкой, наваливаясь сзади. Я хотела закричать: «ЧИКАН!»<sup>[147]</sup>, как, предполагается, надо делать, когда в метро к тебе лезет какой-нибудь извращенец, но не стала. В конце концов, он заплатил, и если ему хотелось начать немного заранее, что я могла сказать? Когда лифт остановился и все вышли, он с помощью пальто замаскировал спереди штаны и, спотыкаясь, направился вниз по улице, оглядываясь через каждые пару шагов, чтобы посмотреть, иду ли я за ним. Я могла бы убежать, но не сделала этого. Я просто шла за ним, потому что он заплатил и смыться было бы бесчестно. Я просто поверить не могла, каким ничтожеством он был, но самоуважения у меня не было, так что это было не важно. Социальные навыки у него начисто отсутствовали. Он не предложил мне купить симпатичный свитерок или кейтай. Он не предложил мне выпить, и в отеле, куда он меня отвел, не было даже мини-бара. Ни шампанского, ни бренди, только автомат в холле, торгующий пивом и сакэ в стаканчиках. Эти стаканчики напомнили мне о папе, потому что именно из таких он и пил в тот вечер, перед тем, как свалиться на рельсы под скоростной экспресс до Чуо. Ужасно

депрессивно, но по-любому мой кавалер был чересчур прижимист, чтобы покупать мне сакэ.

Если ты не против, я лучше опущу детали того, что случилось после, потому что от одной мысли об этом мне делается грустно и тошно, а я еще даже ванну принять не успела. Давай просто скажем, что кровать не была круглой и покрывало было не «под зебру», но в остальном мое воображение описало все довольно точно. Когда мы добрались до номера, времени он терять не стал, и пока он делал с моим телом разные вещи, я просто ушла в замороженное пространство тишины у себя в голове — чистое, холодное и очень далекое.

И я реально помню не слишком много, только что в середине процесса мой кейтай начал звонить, и мир притянул меня обратно, не совсем, ровно настолько, что я задумалась, кто же мне звонит. Я подумала, может, это Дзико, и из глаз у меня потекли слезы, потому что я знала, как опечалилась бы она, увидь меня сейчас, и я так по ней скучала, мне так сильно хотелось ее увидеть. И тут мне пришло в голову, может, она знала, что я влипла в неприятности, и поэтому звонит, и, может, прямо сейчас она перебирает четки и молится о том, чтобы у меня все было хорошо. И, может, звук телефона реально меня спас, потому что я поняла, что не хочу кончить как те девушки, которых полиция находила на полу через несколько дней, — это разбило бы ей сердце, и если тебе довелось дожить до ста четырех, ты не заслуживаешь, чтобы сердце тебе разбила неосторожная правнучка. И как раз в этот момент мой кавалер сделал с моим телом что-то настолько болезненное, что шок загнал меня обратно в реальность, и я услышала собственный крик и среагировала. Я смогла столкнуть его с себя ровно настолько, чтобы успеть вывернуться. Рию научил меня, что иногда мужчина может получить удовольствие от чуточку идзимэ, так что я призвала свою суперпауэр, толкнула хентая обратно на спину, оседлала его и стала с силой хлестать по лицу. И что бы вы думали, он был в восторге. Я связала ему запястья его собственным ремнем, и мне даже не пришлось делать ему особенно больно, чтобы удовлетворить. Просто поразительно, как быстро человек может превратиться из садо в мазо. Знаю, что сказала бы старушка Дзико. Садо, мазо, одно и то же.

Как только он заснул, я встала и проверила телефон, и точно, звонок был от нее. Она знала, и она меня спасла! Но когда я прочла

смску, то поняла, что все же это была не Дзико. Это была Мудзи. Всего несколько слов. Я прочла их, но понять не могла. Я прочла опять.

先生の最期よ.早くお帰り

[148]

Я стояла посреди убогого номера с зеркальными стенами, уставясь в экран телефона. Мой так называемый кавалер храпел в кровати. Я подняла глаза и увидела голую девушку, бесконечно отражавшуюся в зеркалах. Тело ее было покрыто ссадинами и казалось нелепым и несуразным. Я обхватила себя руками, и девушка в зеркале сделала то же самое. Я начала плакать, и остановиться мы не могли. Я отвернулась от нее, тихо собрала свою школьную форму и надела. На цыпочках я подобралась к кучке одежды, принадлежавшей моему кавалеру, и быстро обшарила карманы. Я опустошила кошелек, забрав последние оставшиеся там банкноты. Собрал его одежду в тугий шар, я заставила себя на время прекратить плакать, пока поворачивала дверную ручку. Я выскользнула из комнаты, и дверь закрылась за мной со щелчком, и я услышала, как он меня зовет. Я бросилась бежать. Представила, как он лихорадочно ищет одежду, и бросила шар в лестничный колодец в конце коридора. Можно было бы взять с собой и выкинуть на улице, но мне это было не нужно. Наверно, у меня просто доброе сердце.

Выбравшись на улицу, я продолжала бежать, расталкивая людей на запруженных толпами переулках Города Электроники. Акиба на закате — это что-то, невероятная пульсирующая галлюцинация, сотканная из неона и гигантских героев манга-боевиков, — они нависают у тебя над головой, будто готовясь раздавить. Плюс шум, безумный перезвон, несущийся из залов пачинко и игровых аркад, неистовые вопли уличных торговцев и кьякухики<sup>[149]</sup>, взывающих к пьяным саларименам, и туристам, и отаку, которых несет мимо и кружит в водоворотах, как планктон в океане.

Обычно мне это нравится. Обычно меня подпитывает вся эта энергия, но настроение для этого должно быть правильным, а это был не тот случай. Все, чего мне хотелось, — поскорее добраться домой, к папе. Мне нужен был папа. Мне нужно было сказать ему, что Дзико умирает, чтобы он бросил все и отвез меня на станцию, и мы бы вместе сели на ближайший экспресс до Сендай, и, поскольку было бы уже поздно и автобусы бы уже не ходили, мы бы взяли на станции

такси до храма. Можно было добраться туда так быстро. Может, часов за пять-шесть. А когда бы мы приехали, все было бы так тихо и мирно, и Мудзи выбежала бы к нам навстречу сказать, что с Дзико все в порядке, ложная тревога, и она так виновата, что вызвала нас и заставила беспокоиться ровно ни из-за чего, но теперь, раз уж мы здесь, как насчет ванны?

Вот чего мне хотелось. Найти папу, узнать, что Дзико в порядке, и принять ванну. На этих мыслях я и концентрировалась в поезде по дороге домой, все время, пока не доехала до своей станции; голову я держала опущенной и вытирала нос рукавом школьной формы.

Когда я пришла домой, в квартире было тихо.

— Тадайма, — тихо сказала я. Голос у меня был хриплый от плача.

Ответа не было, но в этом не было ничего странного, если папа сидел в интернете и меня не слышал. Я подумала, может, мама до сих пор на работе. Позвонила ли им Мудзи? Может, они уже уехали в Сендай без меня.

— Пап?

Я услышала шум спущенной воды в туалете, а потом полоска света рассекла полутемную прихожую — открылась дверь ванной. Я сняла ботинки и ступила в прихожую. На полу лежал пакет из местного супермаркета, там, куда мы клали вещи, которые не хотелось забыть. Я открыла пакет и поглядела внутрь, потом закрыла и пошла на свет.

Я обнаружила его в спальне; на нем был его темно-синий костюм, он был чисто выбрит и натягивал носки.

— Пап?

Его ступни были костлявыми и бледными до тошноты. Он поднял глаза.

— О, — сказал он. — Наоко. Я не слышал, как ты вошла.

Он глядел прямо сквозь меня, и голос у него был глухим и безжизненным. Он нагнулся, чтобы поправить носок.

— Ты рано пришла домой, — сказал он. — Ты сегодня не гуляешь с друзьями из школы?

Вау. Он все еще верил, что у меня в школе есть друзья. Это демонстрирует степень его наивности. Я наблюдала за ним из дверей.

Был он какой-то странный, даже более странный, чем обычно, будто превратился в зомби.

— Где мама? — спросила я.

— Дзангье<sup>[150]</sup>, — ответил он, вставая и разглаживая ладонями брюки.

— Ты идешь куда-то, или что?

— Да, — сказал он; голос у него был немного удивленный. Он даже галстук надел. Это был галстук, который я купила ему в то первое Рождество, когда он притворялся, что ходит на работу. Не шелковый, но с симпатичным принтом в виде бабочек.

— Куда идешь?

— У меня встреча с одним другом, — сказал он. — Еще по университету. Собираемся выпить, прошлое повспоминать. Я ненадолго.

Говорил он так, будто записал слова на бумажке, а потом выучил наизусть. Он что, правда считал, что я в это поверю?

Зомбопапа надевал пиджак.

— Никто не звонил? — спросила я.

Он помотал головой.

— Нет. — Положил кошелек в карман пиджака, потом, нахмурившись, притормозил. — А что? Ты ждешь звонка от кого-то?

Ну конечно. Мудзи такая растяпа, и потом, она знала, что он никогда не подходит к телефону.

— Нет, мне просто интересно. — Пока он стоял так, я его рассматривала. Он ничего так выглядел в этом своем костюме. Это был дешевый уродский костюм, но все же это было получше, чем старые грязные треники, которые он обычно носил дома.

Я пошла за ним в прихожую и смотрела, как с помощью рожка для обуви он натягивает ботинки.

— Пакет свой не забудь, — сказала я.

Он машинально к нему потянулся, потом замер.

— Какой пакет? — Притворяется, будто ничего не понимает. Будто не знает ничего.

— Вот этот, — сказала я, показывая пальцем на пакет у дверей.

— О. Ну да. Да. Конечно. — Он подхватил пакет, глянул на меня, и было ясно, он пытается понять, смотрела ли я внутрь. Я повернулась и пошла на кухню.

— Иттекимасу... — крикнул он, но голос у него замер, будто он не был уверен.

*Иттекимасу* — это то, что ты говоришь, когда знаешь, что вернешься. Буквально это оно и значит: я уйду и я вернусь. Когда кто-то говорит тебе «иттекимасу», тебе надо ответить «иттерасяй», это значит: да, пожалуйста, уходи и возвращайся.

Но я этого сказать не могла. Я стояла рядом с раковиной, прижавшись спиной к двери, и представляла, как он стоит там с пакетом из супермаркета, набитым угольными брикетами и дисками Ника Дрейка. Время сказало мне. *С днем покончено.*

Он, похоже, подумал, что в первый раз я его не услышала, потому что сказал опять:

— Иттекимасу!

Да что же он просто не уйдет! В следующий момент я услышала, как захлопнулась дверь.

*Лжец*, прошептала я очень тихо.

Это было прошлым вечером.

В конце концов, папа мне так и не понадобился. Я успела на последний поезд до Сендай, потом пересела на местную линию и добралась-таки до ближайшего к храму городка. Автобусов ночью не было, и даже с деньгами хентая мне не удалось наскрести на такси до побережья, в деревню Дзико, поэтому я села на скамейку на занюханной маленькой станции и стала ждать. Подумала позвонить в храм. Я представила, как звонок телефона разрывает глубокую тишину ночи, и это казалось каким-то неправильным, поэтому я просто послала смску. Я знала, никто не ответит, но мне очень нужно было с кем-то поговорить, так что я исписала для тебя все эти страницы. Я знала, ты тоже не ответишь. Думаю, потом я заснула.

Небо уже серело, когда станционный смотритель разбудил меня и показал, где садиться на автобус. Я раздобыла банку горячего кофе в торговом автомате, и теперь вот сижу здесь и жду, когда появится первый автобус. Пыталась позвонить в храм, но никто не отвечает, и я не знаю, что там происходит. Надеюсь, с Дзико все о'кей. Надеюсь, она еще не мертва. Надеюсь, она меня ждет. Я молюсь. Ты слышишь, как я молюсь?

Знаю, это глупо. Знаю, тебя нет, и никто никогда это не прочтет. Я просто сижу здесь на этой дурацкой автобусной остановке, пью чересчур сладкий кофе из банки и притворяюсь, будто у меня есть друг, которому можно писать.

Но на самом деле ты — вранье. Ты просто еще одна дурацкая фантазия, которую я выдумала на пустом месте, потому что мне было одиноко и нужно было кому-то излить, блин, душу. Умирать я была не готова, и нужен был какой-нибудь *raison d'être*. Я не права, что злюсь на тебя, но что я могу поделать! Потому что теперь и ты меня бросаешь.

На самом деле я совсем одна.

...Поделом мне. Я же знала, когда начинала дневник, что долго продолжаться это не сможет, потому что где-то глубоко внутри я никогда не верила в твое существование. Да и как я могла? Все, в кого я верила, умирают. Моя старушка Дзико умирает, папа уже, наверное, мертв, и в себя я тоже больше не верю. Я не верю, что существую, и скоро я перестану. Я — временное существо с истекшим сроком годности.

Бабетта была права. Я ленива и думаю только о себе. О своей дурацкой жизни, прямо как папа, который только и думал, что о своей дурацкой жизни, и теперь я взяла и извела впустую все эти прекрасные страницы, так и не добившись цели, а именно — написать о Дзико и ее удивительной жизни, пока у меня было время, до того, как она умерла. И теперь слишком поздно. Вот вам и «там пердю». Прости меня, милая моя старушка Дзико. Я тебя люблю, но я облажалась.

Холодно. Цветы на деревьях перед станцией почти все уже опали, а те, что все еще цепляются за ветви, стали такого уродского коричневого цвета. Старик в сине-белом тренировочном костюме сметает лепестки с тротуара перед своей лавочкой с соленьями. Меня он не видит. Станционный смотритель открывает двери станции. Он знает, что я здесь, но на меня не смотрит. Через дорогу грязно-белая собачонка лижет себе яйца. Старушка-фермерша в сине-белой тэнугуи катит мимо на велике. Никто меня не видит. Может, я невидима.

Так я понимаю, это оно и есть. Вот так и ощущается «сейчас».

# Рут

## 1

Шторм налетел на закате, с востока, обогнув Алеуты, скользнув вдоль побережья Аляски, и, завывая, устремился в воронку пролива Джорджии. Ураганной силы ветер вмиг погасил электричество, задув целый остров, как свечу. Только что остров был здесь — его присутствие отмечали скопления мигающих огоньков, — но в следующую минуту исчез, проглоченный тьмой, проглоченный бурей и морем. По крайней мере, именно так это выглядело бы сверху.

В следующие несколько часов ветер продолжал свои атаки на рощицу среди высоких деревьев. Домик на рощице, обычно сиявший далеко в ночи, теперь был различим только по тусклому мерцающему квадратику окна спальни.

## 2

— ...это оно и есть, — прочла Рут, с трудом различая буквы в тусклом свете керосиновой лампы. — Вот так и ощущается «сейчас».

Голос ее звучал так слабо и тихо в завывающей пустоте исхлестанной ветром ночи, но на единственный долгий момент эти слова заставили замереть все. Мигнула лампа. Мир затаил дыхание.

— Она догнала себя, — сказал Оливер в тишину.

Так они и сидели в кровати, бок о бок, и думали о том, что написала Нао, сознавая, что ждут, когда вновь поднимется ветер, но тишина все не отступала, и, наконец, Оливер сказал:

— Не останавливайся.

Рут перевернула страницу и почувствовала, как сердце пропустило удар.

Страница была пуста.

Она перевернула следующую. Пусто.

И следующую страницу после этой. Пусто.

Она пролистнула еще несколько страниц. В книге оставалось еще около двадцати листов, и все они были пусты. Ветер задул опять,

нахлестывая деревья и полосую тонкую жесьь крыши полотнищами дождя.

В этом не было никакого смысла. Она знала, что страницы были исписаны, потому что, по крайней мере, два раза, мельком проглядывая всю книгу целиком, она проверяла, продолжала ли девочка свои записи до самого конца, и да, записи там были. Раньше слова здесь были, она была в этом уверена, но теперь они исчезли. Что с ними случилось?

Она быстро схватила налобник, висевший на столбике кровати, включила его и натянула на голову ремешок. Светодиод был ярким, как луч маяка. Она осторожно приподняла книгу и заглянула под нее, на покрывало, внимательно осмотрев крошечные холмы и долины, наполовину ожидая увидеть буквы, ушмыгивающие в тень.

— Что ты делаешь? — спросил Оливер.

— Ничего, — пробормотала она, еще раз лихорадочно проглядывая страницы, на случай, если слово-другое, отбившееся от других, осталось в книге, зацепившись за строку или застряв в переплете.

— Что значит — ничего? — спросил он. — Продолжай читать. Я хочу знать, что там дальше.

— Дальше там ничего. Это и значит. Все слова исчезли.

Он мягко выдохнул.

— Что значит — исчезли?

— Это значит, что слова там были, а теперь их нет. Испарились.

— Ты уверена?

Она подняла книгу и показала ему.

— Конечно, я уверена. Я проверяла. Несколько раз. Раньше записи продолжались до самой последней страницы.

— Слова не могут так просто взять и исчезнуть.

— Ну, эти исчезли. Это необъяснимо. Может, она передумала, или еще что.

— Ты немного преувеличиваешь, как тебе кажется? Не может же она пробраться в книгу и забрать их назад?

— Но я думаю, именно так она и поступила, — сказала Рут. Она выключила фонарик. — Будто ее жизнь просто стала короче. Время утекало у нее между пальцами, страница за страницей...

Он не ответил. Может, он размышлял. Может, уснул. Она еще долго лежала, вслушиваясь в шторм. Теперь дождь шел горизонтально, стуча в окно, будто некое существо, пытающееся проникнуть в дом. Керосиновая лампа на столике у кровати все еще горела, хотя фитиль явно пора было подрезать — он ужасно плевался и сыпал искрами. Надо было потянуться и задуть лампу, но она не любила запах керосина и дыма и потому тянула время. Керосиновые лампы и светодиоды. Новые и старые технологии, схлопывающие время в одно парадоксальное настоящее. Запах китового жира — был ли он хоть немного приятнее? В неровном свете фигура лежащего рядом Оливера была едва различима: тусклый, неверный силуэт то гас, то снова выныривал из темноты. Когда он, наконец, заговорил, голос его прозвучал так близко, что она вздрогнула.

— В таком случае, — сказал он, — под угрозой не только *ее* жизнь.

— Что ты имеешь в виду?

— Наше существование теперь тоже под вопросом, тебе не кажется?

— Наше? — сказала она. Это он так шутил?

— Ну да, — сказал он. — То есть, если она прекратит нам писать, может, мы тоже перестанем существовать.

Теперь его голос, казалось, звучал издалека. У нее с ушами что-то не в порядке, или это шторм? Тут ей в голову пришла другая мысль.

— Мы? — повторила она. — Она писала мне. Это я — ее «ты». Это меня она ждала. С каких это пор «я» стала «нами»?

— Мне она тоже небезразлична, знаешь ли, — сказал он. Голос его опять звучал близко, у самого уха. — Я слушал, как ты читаешь ее дневник, так что, думаю, я теперь могу считаться частью тебя. И потом, откуда ты знаешь, что она не обращалась ко мне с самого начала?

Сквозь рев ветра трудно было разобрать, но ей почудилось, будто она уловила в его голосе некую нотку, легкий оттенок скрытой усмешки. Она включила налобник и направила луч ему прямо в лицо.

— Ты думаешь, это *забавно*?

Он поднял руку, защищаясь от слепящего света.

— Совсем нет, — сказал он, моргая. — Пожалуйста...

Вняв его просьбе, она отвернулась.

— Я серьезно... — сказал он, исчезая во мраке. — Может, мы больше не существуем. Может, с Песто именно это и случилось. Он просто свалился с нашей страницы.

### 3

Снаружи, среди ветвей высокого кедра, что рос у поленницы, джунглевая ворона нахохлилась под тяжелыми каплями дождя. Ветер хлестнул меж ветвей, взъерошив блестящие черные перья. *Ке-ке-ке*, — сказала ворона осуждающе, но ветер не расслышал ее сквозь неумолчный гул, и ничего не ответил. Ветка качнулась, и ворона крепче сжала когти, приготовившись сорваться вперед и взлететь.

### 4

— Да ты еще более сумасшедший, чем я, — сказала она.

— Совсем нет, — ответил он. — Напротив. Нам нужно просто подойти к этой проблеме логически. Шаг за шагом.

Было в этой тираде что-то чересчур рассудочное, вкрадчивое, что заставило ее насторожиться.

— Ты меня заманиваешь, — сказала она. — Прекрати это.

— Если ты так уверена, что слова там были, — продолжал он. — Значит, ты должна отправиться на поиски.

— Это просто смешно...

— Слова там были, — сказал он. — А потом потерялись. А теперь подумай, куда деваются потерянные слова?

— Мне-то откуда знать?

— Потому что это твоя работа? — До того он обращался в основном к потолку, но теперь повернулся и посмотрел прямо на нее. — Ты же *писатель*.

Это, была, наверное, самая жестокая вещь, какую он только мог сказать.

— Но я *не* писатель! — вскрикнула она, и голос ее взмыл над ревом бури. — Раньше — да, была, но не теперь! Слова просто исчезли...

— Хм, — сказал он. — Может, ты слишком стараешься. Или ищешь не там.

— Что ты имеешь в виду?

— Может, они здесь.

— Здесь?

— Почему нет? — он вновь обратил взгляд к потолку. — Подумай об этом. Откуда берутся слова? Они приходят к нам от мертвых. Мы получаем их в наследство. Временно вызываем мертвых к жизни с помощью слов. — Он перекатился на бок, приподнявшись на локте. — Древние греки верили, что, когда ты читаешь вслух, на самом деле это говорят мертвецы твоими губами, чтобы вновь обрести голос.

Он наклонился, потянувшись к лампе на столике у кровати; его длинное тело нависло над ней. Он придержал ладонью стеклянную трубку лампы, чтобы задуть огонь, и на секунду свет, идущий снизу, одел его глазницы в глубокие тени, сделав его лицо похожим на череп.

— Остров Мертвых. Где же еще искать потерянные слова?

— Ты меня пугаешь...

Он рассмеялся, потом дунул в лампу. Комната погрузилась во тьму, и в воздухе призраками повисли едкие запахи керосина и дыма.

— Сладких снов, — сказал он.

## 5

*А если я так далеко зайду во сне, что не успею вернуться, когда надо будет проснуться?*

*— Тогда я приду за тобой и приведу обратно.*

На что похоже расставание? На стену? На волну? На поверхность воды? Световая рябь, мельтешение разбегающихся элементарных частиц? Каково это — пробиться, протолкнуться насквозь? Пальцы ее шарят по шероховатой поверхности сна, осязая и узнавая сплетение волокон, понимая, что это — бумага, что вот-вот прорвется, но она хранит еще память об упругости, о течении соков в сосудах, о высыхающем стволе. Дерево было прошлым, бумага — настоящим, и все же всеми фибрами бумага помнит о том, как быть единым, неразделимым телом. Она помнит свои соки, как сон.

Но она не ослабляет давления, пока волокна не поддаются, как камбий под топором, как плоть под ударом ножа...

Перед ней расступаются ветви, и вот она идет по тропинке, что вьется и кружит, и становится все уже и уже, заводя в густеющий лес.

Дождь прекратился. Поют кузнечики. Аромат храмовых благовоний — кедр и сандал — висит в воздухе.

Что-то привлекает ее внимание, там, вдалеке — кластер пикселей, очертание, фигура? Трудно сказать. Оно мечется от дерева к дереву. Птица? Пиксели смыкаются, темнея, образ становится размытым и исчезает. Она напрягается, пытаясь вновь его различить, тянется к нему, и тут вспоминает. *Может, ты слишком стараешься.* Она прекращает стараться.

*Иногда сознание уже здесь, а слова — еще нет.*

*Иногда ни сознания, ни слов.*

Откуда взялись эти слова? Она уже и не идет больше. Она сидит на мягкой лесной подстилке у корней гигантского кедра. Мшистый дерн образует что-то вроде подушки, прохладной и сырой, но сидеть вполне удобно.

*Сознание и слова — это временная сущность. Наличие и отсутствие — это временная сущность.*

Паучок свешивает серебряную нить с ветки у нее над головой. Легкий ветерок качает верхушки деревьев. Туман и влага после дождя льнут к травам и папоротникам лесной подстилки. Каждая капля содержит в себе полную луну.

Какое-то движение на периферии зрения. Она поворачивает голову и видит пятку. Пятка в темном носке, а рядом с ней — вторая, такая же, и они болтаются, в метре или около того, над парой дешевых ботинок без шнурков, аккуратно выставленных рядком на изумрудно-зеленом ворсе мха. Она глядит вверх, на молчаливые тела, свисающие в тених между ветвей, и знает, что все не так, но встать и бежать она больше не может. Тело ее стало тяжелым и беспомощным, как у этих повешенных, оно медленно вращается в густых, как грязь, потоках воздуха.

Или это вода? Да, теперь она плывет. Ей холодно, и она плывет; и море — черное и густое; и вокруг полно мусора. Она начинает тонуть, и густая жижа смыкается над ней.

Звуки сливаются и разделяются, гармонируют и диссонируют. Слова мерцают, они мечутся под поверхностью воды, как стайка рыбешек. Неуловимо. Мы спим все вместе в одном большом помещении, лежим рядами, как мелкая рыбешка, которую вывесели сушить...

Но что-то у слов пошло не так со временем — слоги продолжают звучать, отказываясь раствориться, упасть в тишину — и теперь звуки громоздятся друг на друга, как машины, столкнувшиеся на скоростном шоссе, обращая смысл в какофонию, и, поначалу даже не сознавая, она вносит свою лепту в общий шум — бессловесный, беззвучный крик поднимается у нее в горле и длится, и длится, бесконечно. Время вздымается, накрывая ее с головой. Она пытается не впасть в панику. Пытается расслабиться и отдаться на волю событий, противясь инстинктивному напряжению и желанию бежать. Но куда бежать? Она вспоминает лифт Дзико. *Когда верх глядит вверх, верх — это низ...* Но здесь нет верха. Нет низа. Нет «внутри». Нет «снаружи». Нет ни «вперед», ни «назад». Только эта холодная, всепоглощающая волна, этот безымянный континуум, растворяющий и объединяющий все и вся. Она теряет почву под ногами, отчаянно пытается выбраться на поверхность.

Чувства лижут край сознания, как волны — прибрежный песок. Дзико протягивает ей очки, и Рут берет их и надевает, потому что знает: иначе нельзя. Мутные линзы размывают мир, и сквозь нее струятся фрагменты прошлого монахини: призрачные картинки, запахи и звуки; мельком — женщину вешают за измену родине, шея ломается в петле; траурный плач юной девушки; вкус крови во рту, вкус сломанных зубов сына; вонь охваченного пламенем города; облако в форме гриба; парад марионеток под дождем. Мгновение она колеблется. Вот они, слова, на кончиках пальцев. Она чувствует их очертания, она может ухватить их и вытянуть, но она также знает, что ей осталось здесь недолго. За долю секунды она принимает решение, раскрывает кулак сознания и отпускает. Она не сможет удержать прошлое старой монахини и одновременно найти Нао.

*Нао, —* думает она. — *Нао, now, nooo...*

Взмах хвоста, и рыба уплывает, ускользает прочь, но она упорно преследует ее, руки и ноги движутся под водой в такт далекой музыке, как у пловчихи-синхронистки в ролике из старого фильма, пока ее не охватывает изнеможение, раскалывая мир, превращая в калейдоскоп фракталов — бесконечно ветвятся стволы, рябь на волнах — что, вращаясь, складываются в комнату с круглой кроватью «под зебру». Прекрасно, думает она; я, верно, уже близко. Она ищет взглядом Нао в

зеркале — это логично, но видит только собственное отражение, которое ей не знакомо.

— Кто ты? — спрашивает она.

Отражение смотрит на нее в ответ и пожимает плечами, отчего зеркальное стекло идет рябью, как поверхность пруда, куда кинули камень. Волны утихают, и отражение в зеркале уже другое, немного не такое, как было, но все равно это не она.

— Я тебя знаю? — спрашивает она.

*Я тебя знаю?* — беззвучно передразнивает ее отражение.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает она.

*Что ты здесь делаешь?* — немым эхом отзывается отражение.

— Ты насмехаешься надо мной? Почему? — спрашивает она.

Отражение отвечает, выдернув челюсть из суставов. Его рот, кроваво-красный, истекающий слюной, зияет жутким провалом. Вот он расплывается в улыбке, и из недр горла, как из тоннеля, выползает длинный раздвоенный язык и, извиваясь, вздымается вверх, как змея, готовая ужалить.

— Прекрати! — кричит она и тут замечает стоящую позади себя в зеркале юную девушку. Девушка обнажена, за исключением накинутой на плечи мужской рубашки. Галстук небрежно повязан вокруг шеи. Глаза их встречаются, и девушка начинает застегивать рубашку, но когда Рут поворачивается, девушка уже исчезла, и кровать «под зебру» пуста.

*Не дай себя провесту!* — завывает ее отражение, и комната взрывается водоворотом света и зеркал.

— Подожди! — кричит она, но когда ее границы начинают уже растворяться в ослепительном свете, краем глаза она замечает что-то — что-то черное, быстро движущееся, дыру, промежуток, скорее отсутствие, чем присутствие. Затаив дыхание, она ждет, не смея повернуться и посмотреть прямо. Маленькая черная дыра начинает чистить перышки, пиксели сливаются, и вот она слышит тихое, но знакомое карканье.

Ворона?

Слово появляется на горизонте, черное на фоне невыносимого сияния, и, приближаясь, оно начинает вращаться и менять очертания, удлиняя свои «О», образующие спину и гладкое брюшко, поворачивая «А», которое превращается в голову, широко раскрывая клюв, «Р»

уплощается, становится хвостом, «Н» поджимает лапки. «В» расправляет крылья, взмахивает ими раз, другой, третий, и вот, уже совершенно оперившись, она летит.



Это джунглевая ворона прилетела ее спасти! Вновь собравшись с духом, она бросается за вороной, которая перелетает с ветки на ветку, но ей приходится бежать по земле, и тропа усеяна камнями. Каждый раз, как она спотыкается или замедляет бег, ворона садится на ветку и поджидает, склонив голову набок и наблюдая за ней черной бусиной глаза. Она, похоже, куда-то ее ведет. Издалека доносятся звуки большого города; вот она взбирается по каменистому склону и оказывается посреди широко раскинувшегося городского парка, над искусственным озером. Края водоема заросли лотосами и камышом, но середина чиста. Уже закат, но несколько прогулочных лодочек пастельных цветов в форме длинношеих лебедей все еще скользят по зеркальной поверхности воды, оставляя за собой V-образные следы, пестрящие мазками розового, желтого, голубого. Пруд замыкает в кольцо широкая асфальтированная дорожка с расставленными через равные интервалы скамейками, будто цифры на часах.

На одной из скамеек, под плакучей ивой, сидит человек. Он бросает кусочки хлеба шайке задрипанных ворон, которые скачут, хлопают крыльями и склочничают друг с другом. Ворона приземляется у ног человека, подняв облако пыли; остальные отскакивают. Рут идет следом и садится на скамейку рядом с ним.

— Вы — участник? — спрашивает он.

— Участник?

— Клуба?..

— Не думаю.

— Ох. — Он явно падает духом. Смотрит на часы.

Она замечает пластиковый пакет у его ног.

— Брикетты? — спрашивает она, и видит, как он испуганно съезживается. — Странное время для барбекю.

Она глядит на пастельные лодочки, рассекающие озерную гладь. У них длинные, изящные шеи в форме вопросительных знаков и проникновенные лебединые глаза.

Человек прочищает горло, будто там что-то застряло.

— Вы уверены, что вы — не та, кого я жду?

— В общем, да.

— Может, вы здесь тоже с кем-то встречаетесь?

— Да, — говорит она. — С вами.

— Со мной?

— Да. Вы — Харуки № 2, верно?

Он глядит на нее во все глаза.

— Как вы узнали?

— Мне сказала ваша дочь. — Она бросается в разговор очертя голову, на честном слове и на одном крыле.

— Наоко?

— Да. Она, ммм, сказала, вас можно найти здесь.

Теперь он преисполнился подозрений.

— Откуда вы знаете мою дочь?

— Я ее не знаю, — отвечает она. Ее мысль лихорадочно работает. — То есть мы... подруги по переписке.

Он оглядывает ее.

— Вы немного староваты, чтобы быть ее подругой по переписке, — ляпает он.

— Ну, спасибо.

— Я не имел в виду... — начинает он, но тут ему в голову приходит другая мысль. — Вы с ней в интернете познакомились? Вы — из этих интернет-маньяков?

— Конечно, нет.

— Ну, слава богу, — отвечает он, расслабляясь. — Интернет — это просто отхожее место. Простите за выражение, — он бросает кусочек хлеба воронам. Вновь погружается в себя. — Никогда мы не думали, что все так получится...

— Ничего страшного, — говорит она. — Вообще-то, я ее на пляже встретила. На прогулке. Это было после шторма.

— А, — говорит он, кивая. — Это хорошо. Ей бы нужно побольше бывать на свежем воздухе. Мы часто бывали на пляже, когда еще жили в Калифорнии. Я беспокоюсь за нее. Знаете, она учебу бросила.

— В школе?

Он кивает, потом бросает воронам еще крошек.

— Я ее не виню. Ей приходилось сносить издевательства. Они страшные вещи про нее в интернет выкладывали.

Повесив голову, он вздыхает.

— Я программист, но сделать ничего не могу. Как только что-то туда попадает, оно там и остается, понимаете? Навсегда к человеку прилипает.

— Вообще-то у меня противоположенный опыт, — говорит она. — Иногда я ищу что-то, и в одну минуту информация здесь, вот она, а в следующую — *пфффф!*

— Пфффф?

— Уничтожена. Стерта. Вот так, — она щелкает пальцами.

— Уничтожена, — говорит он. — Хммм. И где же вы получаете такие результаты?

— Ну, в основном на острове, где я живу. Мы немного отстаем от остального мира во времени, и связь с большой землей у нас не слишком надежная.

Он поднимает брови.

— Интересная идея, — говорит он. — Мне самому всегда казалось, что время — штука не слишком надежная.

Приятно сидеть с ним на скамейке в парке и болтать, но мозг внезапно сводит судорогой, и она понимает, что время ее на исходе. Она встряхивается и пытается сосредоточиться.

— Вы хотите выслушать послание дочери или нет?

Она видит, как его перекашивает, но потом он кивает.

— Конечно.

— Хорошо, — она поворачивается на скамейке лицом к нему, чтобы он понял — это всерьез. — Она говорит: «Пожалуйста, не делай этого».

— Не делай чего? — спрашивает он.

Она указывает на пакет у его ног.

Его взгляд следует за пальцем, и плечи у него опускаются.

— О. Это.

— Да, это, — говорит она сурово. — Она беспокоится о вас, знаете ли.

— Правда? — В глазах у него вдруг загорается искорка какого-то чувства, но так же быстро угасает. — Что ж, потому-то лучше и покончить с этим как можно скорее, чтобы ничто не мешало ей жить своей жизнью.

Этот ответ ее бесит.

— Вы уж простите, что я вам это говорю, но нельзя быть таким эгоистом.

У него удивленный вид.

— Эгоистом?

— Конечно. Она — ваша дочь. Она любит вас. Как вы думаете, каково ей будет, если вы ее бросите? Это не то, что она сможет пережить. Она знает, что вы задумали, и если вы доведете дело до конца, она тоже намеревается покончить с собой.

Его бросает вперед; скорчившись, уперев локти в колени, он прячет в ладонях лицо. воротник белой рубашки влажен от пота; сквозь ткань просвечивают контуры майки без рукавов. Тощие лопатки дергаются, как крылья у только что вылупившегося птенца — толку от них немного.

— Вы всерьез верите, что это правда? — спрашивает он сквозь пальцы.

— Да. Я уверена. Она сказала мне. Она собирается покончить с собой, и вы — единственный, кто может ее остановить. Вы ей нужны. И она нужна нам.

Он медленно качает головой из стороны в сторону, потом трет ладонями лицо. Глядит на пруд. Так они сидят долгое время, разглядывая веселые лодочки. Наконец, он заговаривает вновь:

— Я не понимаю, — говорит он, — но если то, что вы говорите, — правда, я не могу рисковать. Я еду домой, я поговорю с ней...

— Дома ее нет. Она на автобусной остановке в Сендай. Ваша бабушка...

— Да? — он поворачивается к ней, но ожидание у него на лице быстро сменяется тревогой. — Вы в порядке? — спрашивает он. — Вы так побледнели.

Ей еще столько всего хочется ему сказать, но слова не приходят. Мозг сводит судорогой, время ее почти истекло, но что-то еще она обязательно должна сделать, вспомнить бы... Она встает, и ее накрывает волной головокружения. Облезлые вороны каркают и ссорятся у ее ног, требуя добавки. Озираясь, она ищет взглядом джунглевую ворону, но та, похоже, исчезла.

— Ворона! — вскрикивает она, и тут гравитация подводит ее, и мир разжимает объятия, ускользая из-под ног, и ее сдувает куда-то назад.

Цветочная метель в лунном свете. Ночное кладбище при храме. Ветер терзает древнюю вишню, срывает цветы с ветвей, и сумрак полнится бледным хаосом лепестков, что кружат у ее плеч, опускаясь на древние каменные плиты. Деревянные таблички на могилах стучат и трещат, точно гнилые зубы призраков, и сквозь ветер она слышит голос, не голос даже, а, скорее, впечатление. Кажется, он произносит: *«Только при полной почти луне...»*, этот голос, который даже не голос, а, скорее, вздох ветра в горлышке пустой бутылки. Почему здесь? — спрашивает она. Бросает взгляд вниз и видит, что сжимает в руках старую тетрадь, тщательно обернутую в измятую вощеную бумагу, и вдруг она вспоминает. Ей известен путь через храм к алтарю в кабинете. Ей известно, где лежит коробка, высоко на полке, и ей совсем недолго развернуть белую ткань, поднять крышку и вложить внутрь сверток с тетрадью. Она слышит шум и видит, что старая монахиня стоит в дверях, наблюдая. На ней черная ряса; она протягивает руки, охватывая мир, и рукава вздуваются. Они все больше, все шире, и вот они уже широки, как ночное небо, и, когда они уже могут вместить в себя все, Рут, наконец, может расслабиться и упасть в эти объятия, в это молчание, в эту темноту.

Буря ушла ночью, и в холодном свете дня она стояла у кухонной стойки в ожидании, когда закипит чайник. Было уже поздно, технически еще утро, но на деле ближе к полудню. Оливер проснулся

раньше и ушел посмотреть, много ли повалило деревьев и не объявился ли Песто, но теперь он вернулся, и сидел на своем табурете у стойки, где сидел всегда, как правило, с котом на коленях. Он пил чай и проверял почту на айфоне, пока Рут пыталась рассказать ему о своем сне. Кот так или иначе ощущался где-то около него, но, скорее, своим отсутствием, такой котообразной дырой.

— Так и не смогла найти ее слова, — говорила Рут. — Я все искала, искала, но найти не смогла. Вернулась с пустыми руками.

Растопырив пальцы, она принялась разглядывать свои такие бесполезные ладони.

— Ну, — сказал он, — по крайней мере, ты попыталась.

— Вообще-то, в какой-то момент мне показалось, я что-то ухватила, прямо на кончиках пальцев, но потом поняла, что это — история старой Дзико, не Нао, так что я отпустила. Не хотела отвлекаться, понимаешь?

Оливер кивнул. Отвлекаться он умел, как никто. Она услышала характерный звук отосланного сообщения, потом он отложил телефон и отхлебнул остывшего чая.

— «Друзья Плейстоцена» спрашивают, когда будет готова моя монография, — угрюмо сказал он. — У меня уже должна бы быть готова рукопись. Почему я не могу сосредоточиться? Почему они так спешат?

Вопросы были риторические, и отвечать она не стала. Подлила ему кипятку в чашку, потом налила чаю себе.

— Единственные слова, которые я там нашла, принадлежали Харуки, — сказала она. — Те, из его тайного французского дневника, но их мы уже читали, так что я оставила их там.

— В том-то и сложность с плейстоценом, — сказал он. — Вечно им надо скорей, скорей, скорей. Хотят, чтобы все было готово еще вчера.

— Я положила их в коробку с его останками, прямо перед тем, как проснуться. Мне показалось, это было правильно — так поступить.

— Но они не виноваты, — сказал он. — Я знаю. Все из-за меня. Я просто не могу сосредоточиться без Песто.

— Ты слышал хоть слово из того, что я сказала?

Он поднял на нее взгляд.

— Конечно, слышал. Ну и сон у тебя был. Ты уже проверяла дневник?

Она отставила чашку.

— Ох, — сказала она. — Думаешь, надо?

## Часть IV

Книга — это огромное кладбище, и на многих могилах уже не прочтешь стершиеся имена. Напротив, иногда очень хорошо вспоминается имя, но не знаешь, вошло ли что-то от существа, его носившего, в эти страницы.

*Марсель  
Пруст,  
«Обретенное  
время»*

## Нао

Ты еще здесь? Честно, я бы нисколечки не обиделась, если я задолбала тебя настолько, что пришлось на меня забить. Я и сама на себя забила. И разве я вправе ожидать, что ты все еще здесь? Но если ты здесь (и я правда, правда надеюсь, что это так и есть), я хочу сказать тебе «спасибо» за то, что ты до сих пор хранишь в меня веру.

Так на чем мы там остановились? Ах да. Я сидела на скамейке на автобусной остановке и ждала автобуса, который отвез бы меня в храм, чтобы я могла посмотреть, как умирает моя Дзико, и еще там был старикашка в трениках, который сметал с тротуара лепестки, и грязная белая собачонка, лизавшая себе яйца, и станционный смотритель открывал двери станции. Начали прибывать первые пассажиры, ехавшие на работу, потом подошел поезд, и пара людей сошла, как оно обычно бывает на маленькой станции ранним утром. Ничего особенного, верно? Но через пару минут опять показался станционный смотритель в сопровождении какого-то типа в костюме, повертел головой, увидел меня и тыкнул пальцем. Тип, который был с ним, поклонился в знак благодарности, а когда он выпрямился, я поняла, что это был мой папа.

Я глазам не могла поверить. Я думала, он мертв. То есть, я старалась вообще не думать, потому что каждый раз, как я начинала этим заниматься, он представлялся мне в машине где-то в лесу, со своими суицидальными приятелями, задыхающимся под музыку Ника Дрейка.

Но он этого не делал. Он шел прямо ко мне, так что я быстро отвела взгляд, притворяясь, что не заметила его. Подойдя к скамейке, он стал рядом, а я продолжала наблюдать, как собака выкусывает блох. Он знал, что я знаю, что он здесь, но сказать нам друг другу было особо нечего, и разговор, когда он, наконец, состоялся, был довольно убогим и звучал примерно так:

- Привет, — сказал он.
- Привет, — сказала я.
- Ты здесь давно?
- Э-э, да? Типа, всю ночь?

— А...Ты не против, если я присяду?

— Как хочешь.

Я подвинулась, чтобы освободить ему место, потому что прикасаться мне к нему не хотелось. Он сел, и мы стали вместе смотреть на собаку, пока она не закончила свое дело и не удалилась.

— Ты приехала Обаачама повидать?

Я кивнула.

— Она больна?

Я кивнула.

— Она умирает?

Я кивнула.

— Почему ты мне не сказала?

Я засмеялась, не так, типа, «хи-хи», а, скорее, вроде: «Ага, конечно, и какого хера это бы дало?»

Он меня понял и заткнулся.

Тут из-за угла вывернул автобус, и мы оба встали. Мы были единственные пассажиры, но по-любому мы вежливо встали в очередь, я — впереди, папа — за мной, будто мы были незнакомы. Когда автобус затормозил, я сказала:

— Я думала, ты умер.

Это вышло вроде как я со стенкой автобуса разговариваю, и я не была уверена, что он меня расслышал. Слова были у меня в голове и просочились наружу, прежде чем я успела их остановить. Мне страшно не хотелось устраивать с ним разборки, так что, не получив ответа, я почувствовала облегчение. Автобус открыл двери, и мы вошли. Папа заплатил за билеты, и я пошла и села на самое заднее сиденье, а он пошел за мной. Секунду он колебался, потом сел рядом. Глубоко вздохнул, будто мы совершили чего-то глобальное, потом протянул руку и погладил меня по голове.

— Не, — сказал он. — Пока не умер.

Когда мы приехали в храм, Дзико была еще жива, но вокруг тусовалась куча народу в ожидании, когда она умрет. Кто-то из данка, несколько монахинь и священников и даже пара репортеров из газет, которые явились из-за ее возраста — она была, типа, даже немного знаменитость.

Поскольку мы были родственниками, статус VIP-ов нам был обеспечен, и нас даже сразу пустили внутрь с ней повидаться. Мудзи

нас провела. Старушка Дзико лежала на своем футоне. Выглядела она такой крошечной, как очень старый ребенок. Кожа у нее стала почти прозрачной, и под ней легко можно было различить красивые округлые кости ее скул. Она глядела прямо в потолок, но когда я стала на колени рядом и взяла ее за руку, она повернула голову и уставила на меня свои молочно-голубые цветы пустоты.

— Йокката, — прошептала она. — Ма ни атта нэ<sup>[151]</sup>.

Пальцы у нее были, как тонкие сухие палочки, только очень горячие. Мне показалась, я ощутила, как она сжала мне руку своими горячими пальцами. Добиться, чтобы у меня изо рта появились хоть какие-то слова, у меня не получалось, потому что я пыталась не заплакать. Да и что тут было говорить? Она знала, что я ее люблю. Иногда, чтобы сказать, что у тебя на сердце, слова не нужны.

Но ей было что сказать нам. Думаю, она ждала нас. Подняв руки, она попыталась сесть. Я хотела помочь ей, но она была лишь хрупкими косточками в оболочке из кожи, и мне было страшно причинить ей боль.

— Мудзи, — прошептала она.

Мудзи была рядом, и папа тоже.

— Сэнсей, — умоляюще сказала Мудзи, — пожалуйста, вам надо лечь. Вам не нужно...

Но старую Дзико было не переубедить. Она хотела сесть в сэйза<sup>[152]</sup>, и они подняли ее на колени, поддерживая за подмышки, и, честно, я думала, руки у нее отвалятся, или усилие ее убьет. Видно было, насколько это ей трудно, но наконец они смогли усадить ее прямо, так, что она не падала. Мудзи поправила ей воротник. Старушка Дзико посидела так некоторое время с закрытыми глазами, отдыхая, потом подняла руку. Мудзи знала. У нее уже были наготове кисть и тушь на маленьком столике, она перенесла их к футону Дзико и осторожно поставила перед ней.

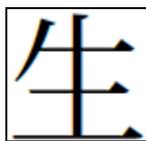
На всякий случай, если вдруг ты не знаешь, это такая старая традиция среди учителей дзэн, писать последнее стихотворение на смертном одре, так что все это было не так уж странно, как кажется, но меня, вообще-то, слегка напугало, потому что вот только что, клянусь, она явно готовилась испустить последний вздох, а в следующую минуту — сидит в кровати с кистью в руке.

Она не открывала глаз, пока Мудзи все не подготовила — положила перед ней на столик чистый лист рисовой бумаги, потом тщательно растерла тушь о чернильный камень. Закончив, она положила палочку туши обратно в футляр и поклонилась.

— Хаи, сэнсей. Додзо... [\[153\]](#)

И тут Дзико открыла глаза. Она обмакнула кисть в густую черную тушь, то нажимая, то слегка постукивая ей по чернильному камню, будто у нее было все время на свете, а оно у нее было, потому что время замедлилось, чтобы дать ей все моменты, какие ей понадобятся. Отдавая должное ее усилиям и сверхъестественной способности замедлять время, мы все выпрямились — мы с папой, сидевшие на коленях прямо перед ней, и Дзико, немного в стороне, и в комнате стало очень тихо, только постукивала кисть. Потом, когда кончик кисти стал точно таким, каким надо, Дзико сделала глубокий вдох и подняла кисть над бумагой. Рука ее была совершенно неподвижна. На кончике кисти начала набухать капля, но прежде чем капля успела упасть, кисть взлетела, как черная птица по бледно-серому небу, и в следующий момент на бумагу влажно легло пять темных уверенных мазков.

Это было не стихотворение. Это был один-единственный иероглиф.



Пять черт. Сей. Икиру. Жить.

Все еще сжимая в руке кисть, она посмотрела на нас с папой.

— Это пока, — сказала она нам обоим. — На время.

Многие мастера дзэн предпочитали умирать сидя в дзадзэн, но старушка Дзико прилегла. Это не так уж и важно. Можно спокойно быть учителем дзэн и умереть лежа. Будда сам умер лежа, а вся эта возня с сидением — просто такой дополнительный мачизм. Дзико умирала совершенно правильным способом. Она аккуратно отложила кисть на подставку, а потом очень медленно завалилась на правый бок, прямо как старина Шака-сама. Колени у нее до сих пор были сложены

в сэйза, и она не стала даже суетиться и расправлять их. Когда ее голова коснулась подушки, она подложила руку под щеку, чтобы было помягче, и закрыла глаза, словно собиралась вздремнуть. Было видно, что ей очень удобно. Она сделала долгий дребезжащий вздох, потом еще один, а потом целый мир выдохнул вместе с ней. А потом она остановилась. Вот так, просто. Мы ждали, но ничего больше не случилось. Она ушла вся целиком.

Мудзи встала рядом с ней на колени и омочила ей губы водой мацуго-но-мидзу<sup>[154]</sup>, и совершила перед ней поклоны райхай, и мы с папой тоже поклонились так несколько раз. Потом они перекатали ее крошечное тело на спину и выпрямили колени, а Мудзи зажгла благовония и накрыла ей лицо белым платком. У нее уже заранее был приготовлен алтарь со свежими свечами, благовониями и цветами, и теперь она вышла оповестить всех тех, кто ожидал снаружи.

Я просто сидела там, пытаюсь осознать произошедшее. Я поверить не могла, что старая Дзико была мертва, и меня все тянуло заглянуть под белый платок. Я боялась, что она может под ним задохнуться, но платок был совершенно неподвижен, так что я знала, она не дышит. Тоненький дымок поднимался к потолку от палочки благовоний, но ничего больше не двигалось.

Время все еще вело себя как-то медленно и странно, и сложно было сказать, проходят минуты, часы или дни. Слышно было, как в других частях храма происходят разные вещи. Из комнаты исчезли маты-татами. В какой-то момент какие-то люди внесли большую деревянную ванну. Мудзи наполнила ее сакамидзу<sup>[155]</sup>, потому что, когда человек умирает, все надо делать вверх ногами и в обратном порядке. Когда ванна была наполнена, она осторожно раздела тело Дзико и спросила, хочу ли я помочь ее обмыть. Я видела, что папа обо мне беспокоится, и он сказал, что я могу этого не делать, но я ответила, конечно, хочу. Понимаешь, мы с Дзико столько раз принимали ванну вместе, и я столько раз скребла ей спину, ну я же знала, как это делается, верно? Я точно знала, насколько сильно нужно тереть, и это не казалось чем-то странным только потому, что она умерла. Это казалось вполне нормальным.

После ванны мы с Мудзи одели ее в особое белое кимоно, которое ей сшила Мудзи, не завязав на нитках ни единого узелка, чтобы старушка Дзико не оказалась привязана к этому миру. Правую сторону

кимоно мы запахнули поверх левой — живой человек носит кимоно ровно наоборот — и положили ее так, чтобы голова смотрела на север, а не на юг. Мудзи положила ей на грудь маленький ножик, чтобы она смогла рассечь оставшиеся узы с миром. Так старушка Дзико лежала весь следующий день, пока данка и другие монахи приходили поклониться ей и отдать дань уважения. Потом ее положили в гроб.

Я думала, я разбираюсь в японских похоронах из-за той панихиды, которую мне устроили одноклассники, но похороны Дзико были совершенно не похожи на мои. Они были очень пышными, и служба состоялась в главном святилище храма, и там была огромная куча народу из разных мест, и священники и монахини из главного храма. Появилась, наконец, моя мама, вся такая чинная и в черном. Привезла для папы черный костюм, а мне — чистую форму, чтобы мы могли их надеть. Священники и монахини спели множество сутр, и все по очереди подходило к алтарю, чтобы воскурить благовония. Мне досталось идти второй, сразу после папы, и от этого я нервничала, но казалась себе такой важной. После этого все остальные гости могли поклониться ей и поставить благовония, ведь нам нужно было проститься с ней, прежде чем гроб заколотят. В гроб ей клали цветы и другие вещи, которые могли ей пригодиться в посмертной жизни, например, ее книжечку с сутрами, и тапочки, и очки для чтения, и шесть монет, которые понадобятся ей, чтобы перебраться через реку Трех Перекрестков на горе Страха. Убедившись, что никто не смотрит, я сунула ей в руку немножко Melty Kisses. Как правило, учителя дзэн не берут с собой в Чистую землю шоколад, но я знала, как старушка Дзико любила шоколадки, и подумала, что правила можно иногда и нарушить. Прикоснувшись к ее пальцам, я почувствовала, какими они стали холодными и негнушимися. Она уже так сильно изменилась с тех пор, как умерла. Еще накануне, когда мы обмывали ее тело, ощущение было такое, будто она еще там, но теперь тело было пустым. Футляр. Кожаный мешок. Холодный предмет. Совершенно не Дзико.

Гроб закрыли и заколотили камнем, и все это время священники и монахини читали сутры. Воспоминания, как маленькие волны, лизали край моего сознания. Я вспоминала свои собственные похороны, и печальный голос Угавы-сэнсея, и слова, которые он читал нараспев. *Форма — это пустота, а пустота — это форма.* Теперь эти слова

обрели для меня смысл, потому что в один момент Дзико была формой, а в следующий — уже нет. Потом я вспомнила караоке-вечеринку, которую мы устроили, когда Дзико спела Impossible Dream. Каким-то образом эта песня у меня в голове увязалась с ее клятвой спасти всех существ, и, глядя, как она тут лежит, мне стало грустно за нее, потому что ей не удалось, потому что мир до сих пор был полон хентаев и моральных уродов. Но потом в голову мне пришло кое-что еще, а именно, может, ее неудача не значила ничего, потому что она до самого конца была верна своей невозможной мечте. Я задумалась, было ли у нее на сердце легко и покойно, когда она прилегла, или она все еще тревожилась о чем-то. Я задумалась, тревожилась ли она из-за меня. Эгоистично, конечно, но я вроде как надеялась, что так оно и было. То есть, понимаешь, одно дело — не суметь спасти всех живых существ, но меня-то, по крайней мере, она могла подождать. Свою собственную правнучку. Но не подождала. Просто ушла вперед и по-любому попала в лифт.

Ушли, ушли.

Ушли за пределы...

В роскошном катафалке мы свезли ее тело с горы, и дальше, в город, в крематорий при главном храме. Священники и монахини спели еще несколько сутр, пока гроб Дзико укладывали на металлический поднос, а потом гроб скользнул в печь, как пицца. Дверцы печи закрылись, и тут вдруг я забеспокоилась, что Melty Kisses, в соответствии с названием, растают и запачкают ее снежно-белое кимоно, но делать что-то по-любому было слишком поздно. Мы пошли ждать на улицу, и мне было видно, как дым поднимается к безоблачному синему небу. Папа тоже вышел, стал рядом и взял меня за руку, и я не возражала. Мы не говорили, вообще. Когда все закончилось, мы пошли обратно и выдвинули поднос из печи. Следов шоколада не было. Все, что от нее осталось — крошечный скелетик, груды теплых белых косточек. Она была такая маленькая, поверить невозможно.

Служитель крематория взял специальный молоточек и разбил кости покрупнее, а потом мы встали вокруг подноса с деревянными палочками, которыми нужно было брать кусочки костей. Делать это полагается вдвоем, каждая пара сообща подбирает кость и кладет в

погребальную урну. Начинаешь с костей ног и двигаешься дальше по направлению к голове, потому что нельзя же, чтобы она вечность пребывала вверх ногами. Мы с папой были в одной команде, и пока мы этим занимались, Мудзи объясняла про каждую кость, что это. О, это ее лодыжка. Это бедро. Это локоть. О, смотрите, это же ее нодоботокэ.

Все ужасно обрадовались, потому что найти нодоботокэ — это хороший знак. Мудзи сказала, это самая важная кость, мы ее называем кадыком, но на японском она зовется «горловой Будда», потому что она треугольная и по форме немного похожа на человека, сидящего в дзадзэн. И если тебе удалось найти горлового Будду, значит, умерший достигнет нирваны и вернется в океан вечной безмятежности. Горлового Будду кладут в урну последним, на самый верх, а потом урну запечатывают.

По дороге назад большой катафалк нам был уже не нужен, потому что теперь Дзико была такой маленькой, что могла сидеть у меня на коленях, и так я ее и держала всю дорогу до самой горы. Приехав домой, мы пошли в комнату Дзико и поставили ее, вместе с ее фотографией, на семейный алтарь, рядом с портретом Харуки № 1.

Мудзи пошла в главное святилище и принесла оттуда написанный Дзико



. Кто-то во время похорон уже поместил его на свиток, и теперь Мудзи повесила его у семейного алтаря, рядом с похоронным портретом Дзико. Репортеры устроили шумиху вокруг ее последнего слова, шлялись вокруг, приставая к шишкам из главного храма и выдаивая из них глубокомысленные высказывания. К единому мнению они прийти не смогли. Кто-то из них сказал, что это было только начало стиха, который она так и не смогла закончить. Другие говорили, нет, это было завершённое высказывание, и оно показывает, что даже после ста четырех лет она все еще цеплялась за жизнь, и, значит, не достигла истинного осознания. А третьи с этими не соглашались, утверждая, что если она написала *жизнь* в момент смерти, это показывает, что она осознала: жизнь и смерть — одно и то же, так что умерла она просветленной, освободившись от цепей дуализма. Но факт есть факт — никто не понял, что она на самом деле имела в виду, кроме меня и папы, а мы в объяснения пускаться не собирались.

Мама пошла помочь Мудзи и другим дамам из данка прибраться на кухне, и вдруг перед семейным алтарем остались сидеть только мы с папой, совсем одни, впервые с тех пор, как он нашел меня на автобусной остановке. Было очень тихо. До сих пор вокруг царило сплошное безумие, все эти монахини, и священники, и данка, и службы, и песнопения, и репортеры и их вопросы, но теперь были только я и папа, и все те невысказанные слова, которые висели между нами, как призраки. И самым страшным из них было одно большое слово, написанное Дзико.

Это была довольно неловкая ситуация. С кухни неслись приглушенные расстоянием голоса, звон посуды и стрекотание насекомых в саду. Была весна, и снова становилось тепло.

— Интересно, что в этой коробке, — сказал папа.

Я подумала, он просто ведет разговор из вежливости, но он указывал на полку, где стояла коробка с останками-которые-были-не-настоящими-останками Харуки № 1, и я почувствовала такое облегчение, что вот он что-то спросил, и я, представь, знаю ответ, что тут же вывалила ему всю историю. Конечно, большую часть он уже знал, но мне было плевать. Я гордилась, потому что история была хороша, и потому, что ее рассказала мне Дзико, и теперь я могла рассказать ему, и разогнать призраков невысказанных слов. И вот я ему рассказала, как Харуки № 1 призвали в армию, и про военный праздник под дождем, и про все эти тренировки, и про наказания, и про издевательства, которые ему приходилось сносить, и как, несмотря на все эти трудности, он храбро завершил самоубийственную миссию, влетев на самолете во вражескую цель. И поскольку он был героем войны, и выполнил задание, и исполнил свой долг, командование послало Дзико не-то-чтобы-пустую коробку с останками.

— От него ничего не осталось, — объяснила я. — Так что они просто сунули внутрь листок бумаги, на котором написано «икоцу». Хочешь посмотреть?

— Конечно, — сказал папа.

Я подошла к алтарю и взяла коробку. Сняла крышку и посмотрела внутрь, ожидая увидеть единственный листочек бумаги. Но внутри что-то было. Небольшой сверток. Я его вынула.

Завернут он был в старую маслянистую вощеную бумагу, покрытую пятнами плесени и изъеденную насекомыми. Я повернула

сверток в руках, и бумага начала крошиться. Я смахнула пыль.

— Что это? — спросил папа.

— Не знаю, — ответила я — Раньше здесь этого не было.

— Открой.

Так я и сделала. Я отогнула внешний слой маслянистой бумаги, стараясь ее не порвать. Внутри была тоненькая тетрадь, сложенная в четыре раза. Она была вся исписана выцветшими синими чернилами, и слова маршировали по странице слева направо. Не вверх-вниз, как в японском. Как на английском, только понять я ничего не могла.

— Не могу прочесть.

Папа протянул руку.

— Давай посмотрю.

Я передала ему тетрадь.

— Это французский, — сказал папа. — Интересно...

Я была удивлена. Не думала, что он что-то знает про французский.

Папа наклонился над тетрадью, осторожно перелистывая хрупкие страницы.

— Думаю, это могло принадлежать дяде Харуки, — сказал он. — Дзико-Обаачама как-то говорила мне о дневнике. Сказала, что Харуки всегда вел дневник. Она думала, записи были потеряны.

— Так как он сюда попал? — спросила я.

Папа потряс головой.

— Может, он у нее был все это время?

Мне это показалось маловероятным.

— Ну нет, — ответила я. — Она бы нам сказала.

— Он даты надписал, видишь? — сказал папа. — 1944, 1945. В это время он должен был служить на флоте. Интересно, почему он по-французски писал.

Здесь я тоже знала ответ.

— Так безопаснее, — объяснила я. — Если бы те, кто над ним издевался, нашли это, они не смогли бы прочесть.

— Мм, — сказал папа. — Ты, наверно, права. Это тайный дневник.

Мне стало приятно.

— Дядя Харуки был ужасно умный, — сказала я. — Он на французском мог говорить, и на немецком, и на английском тоже.

Не знаю, почему я расхвасталась, будто это я могла делать все эти вещи.

Он поднял на меня глаза.

— Может, нам это с собой взять, домой? Тебе не интересно, о чем там говорится?

Конечно, мне было интересно! Я так обрадовалась, потому что мне очень хотелось знать, что дедушка Харуки написал в своем тайном французском дневнике, но еще и потому, что у нас с папой уже очень давно не было общего проекта. Я взглянула на него — вот он сидит перед алтарем, шурясь, разглядывает страницы, пытается разобрать французский. Выглядел он как старый добрый папа-ботаник, папа-заучка, счастливо затерявшийся где-то в другом мире. Но тут у меня в голове возникла картинка, как он уходит из дома с пакетом, набитым угольными брикетами, и сердце у меня подпрыгнуло и упало. Мы уже были на середине незаконченного проекта. Нашего последнего проекта. Проекта нашего самоубийства.

Он, наверно, почувствовал, что я на него смотрю, потому что поднял глаза, и я быстро отвернулась, чтобы он не заметил, как я пытаюсь не заплакать. Я как раз представила себе наши пыльные урны, как они стоят рядышком на семейном алтаре, и позаботиться о наших останках некому. Уже недолго осталось.

— Нао-чан?

— Что.

Я знала, это прозвучало грубо, но мне было плевать.

Он подождал, пока не убедился, что я и вправду слушаю, а потом тихо продолжил:

— Это как бабушка Дзико написала, Нао-чан. Надо нам постараться изо всех сил!

Я пожала плечами. То есть, ну да, конечно, звучит прекрасно, но как я могла ему доверять?

— *Икиру шика най!* — сказал он наполовину про себя, а потом поднял взгляд и повторил, с силой, на этот раз на английском, будто для того, чтобы я уж точно поняла:

— Мы просто обязаны жить, Наоко! Выбора другого нет. Как храбрые солдатики!

Я кивнула; я едва смела дышать, пока рыба у меня в животе кувыркалась в воздухе и хлестала своим невероятным хвостом.

Потом, с оглушительным всплеском, она вновь плюхнулась в воду и уплыла. Вода постепенно успокоилась.

Икиру шика най. Моя рыба будет жить, и мы с папой тоже, как и написала моя старушка Дзико.

Папа вновь принялся читать. Чибичан мяукал у веранды, так что я поднялась и впустила его. Когда я приоткрыла раздвижные двери, он пулей влетел в щелку и пронесся между моими лодыжками, будто его преследовали адские собаки-призраки. Сильный теплый ветер ворвался за ним из сада, и бумажные двери застучали в своих рамах. Точь-в-точь, как смешок Дзико. Папа поднял глаза от записок своего дяди.

— Ты что-то сказала?

Я потрясла головой.

Мама уехала на следующий день, потому что ей пора было на работу, но мы с папой задержались, помочь Мудзи привести в порядок вещи Дзико. Не то чтобы у нее было много имущества. Не владела она практически ничем, кроме нескольких старых философских книг, принадлежавших когда-то Харуки № 1, про которые папа сказал, что он их заберет. Единственное, что по-настоящему заботило Дзико, — судьба Дзигэндзи, но маленький храм ей не принадлежал. Он принадлежал главному храму, и они все еще надеялись продать его под застройку, но, к счастью, рынок недвижимости рухнул после того, как лопнул экономический пузырь, и перевозить могилы было дорого, так что они решили подождать. Это значило, что Мудзи могла остаться, по крайней мере, на время, и наш семейный алтарь мы тоже могли держать здесь. Мудзи обещала заботиться о нем, как о своем собственном, а это, по моему мнению, так и было, потому что она стала нам вроде как тетушка, и я пообещала ей, что буду приезжать в храм летом, и в марте тоже, каждый год, чтобы помогать ей с поминальными службами по Дзико. Так что все неплохо устроилось, по крайней мере, на время.

Маленькое уэйлтауновское кладбище было не так уж далеко от дома, но у Рут руки не доходили ездить туда так часто, как надо бы. На могиле родителей она посадила кизилковое деревце, но в то первое лето у них была засуха, и поливать его она забывала, так что, хотя деревце и выжило, части ветвей оно лишилось, потеряв вместе с тем приятную симметрию. Ей было стыдно.

— Прости, мам, — сказала она, щеткой сметая зимние напластования палых листьев и пыли с маленькой гранитной таблички, на которой значилось имя матери. — Плохо это у меня получается.

Конечно, мать ничего ей не ответила, но Рут знала, что ее эти вещи не трогали. Масако никогда не видела смысла в ритуалах, никогда не помнила дней рождений и не отмечала никаких дат, и, в общем, считала подобные события поводом для излишней суеты. И Рут в целом была с ней согласна, но, прочитав у Нао описание похорон Дзико, вдруг поняла — ей жаль, что в свое время она так мало сделала для того, чтобы отметить уход матери.

Смерть матери стала весьма скромным событием. В последние годы жизни у нее развился рак челюсти, но к тому времени, даже если забыть об осложнениях, вызванных Альцгеймером, она была чересчур слабой и хрупкой, чтобы пережить хирургическое вмешательство, которое потребовало бы изъять половину челюстной кости. Ее онколог порекомендовал паллиативное облучение, которое не вылечило бы рак, но помогло бы облегчить страдания. И оно помогло. Опухоль отступила, очаг зажил, но к тому времени ей требовалось больше ухода, чем Рут с Оливером могли предоставить ей на острове, и они перевезли ее в санаторий в Виктории, где она провела последние два года жизни. Когда опухоль вернулась, они попробовали повторить серию облучений, но к тому времени у ее матери не было уже ни сил, ни воли для выздоровления, и она впала в кому.

Смерть пришла быстро. Это случилось поздно ночью, когда санаторий был погружен в тишину. Рут с Оливером были рядом, оба

читали. Внезапно глаза матери широко раскрылись, слепые, невидящие, и она попыталась сесть. Дыхание у нее стало частым, прерывистым. Рут обхватила руками маленькое напряженное тело матери. Оливер прикоснулся ко лбу. Она расслабилась. Веки ее затрепетали, и свет будто отхлынул от лица. Еще немного она держалась, едва ощутимо, на грани, а потом выдохнула один последний раз — и ушла.

Они побыли с ней еще, не желая оставлять ее в одиночестве, на случай, если ее дух был еще где-то здесь. Они держали ее за руки и разговаривали с ней, пока тело ее не остыло.

Это было ночью во вторник. Кремация состоялась в пятницу. Прошло несколько дней, и Рут тревожилась, как будет выглядеть ее мать, но, когда их провели в небольшой вестибюль крематория, где тело Масако лежало под белой простыней в коричневом картонном гробу, Рут почувствовала только радость от того, что видит ее вновь. Они принесли кое-что из ее любимых вещей, чтобы отправить с ней: фотографии, письма и открытки от родных и друзей; вязаный крючком пледик из «Фристора», который особенно ей понравился; ее любимые варежки и кроссовки; пара шоколадных батончиков. Календарь, чтобы лучше помнить о датах. Пилочки для ногтей. Катюшка скотча. Акварелька. Цветы. Оливер хотел, чтобы это были тропические цветы с Гавайев, потому что она там выросла, поэтому купил антуриумы из Хило и листья растения ти на удачу, цвет имбиря и яркую райскую птичку. Они наполнили подарками ее картонный гроб и посидели с ней еще немного, потом, не зная, что еще делать, они поцеловали ее на прощание. Рут подумалось, как хорошо она выглядит в этой коробке со всеми своими вещичками. Удобно. Распорядитель похорон опустил крышку на коробку, и его помощники перевезли ее в зал крематория и подкатили к устью печи. Ворота открылись, и коробка скользнула внутрь. Рут повернула выключатель. Ваша мама такая маленькая, сказал распорядитель, всего около семидесяти четырех фунтов. Долго это не займет. Пару часов. Можно будет зайти забрать прах после двух.

Они отправились погулять в мемориальный сад при погребальном комплексе. Было чудесное утро. Тихоокеанское небо пересекали полосы облачков, но сквозь них пробивалось солнце, и все вокруг было в золотистых сверкающих каплях. Огромные дугласовы ели, любимицы ее матери, окружали сад. Все лиственные деревья сменили

краски; желтая и оранжевая осенняя листва светилась на фоне темной хвои. Трава была усыпана яркими опавшими листьями. Они шли по тропинке, огибающей пруд, пока не добрались до места, откуда было видно трубу крематория. Некоторое время они смотрели. Дыма не было, но над трубой стояло марево — оттуда поднимался столб горячего воздуха — все, что оставалось от ее матери. Оливер сказал, что в этой эфирной форме она сможет добраться до Хило с пассатом — практически мгновенно. Рут сказала, что маме бы это понравилось.

Прах они привезли с собой обратно в Уэйлтаун, и Рут поговорила с Дорой, которая, будучи секретарем общины, отвечала также и за кладбище.

— Да где угодно, — ответила Дора. — Просто выберите местечко и выройте яму, но постарайтесь не выкопать кого-нибудь еще.

— Нам много не надо, — сказала Рут. — Только ее прах, и папин тоже. Но мне бы хотелось дерево посадить, если можно. Японский кизил. Они оба любили эти деревья.

— С этим тоже проблем быть не должно, — сказала Дора. — Пока тень не мешает соседям. Поливать только не забывайте.

Маленький кривоватый кизил не слишком вырос за годы, прошедшие со смерти матери, но каждую весну ухитрялся выпустить несколько соцветий, хотя редко кто оказывался рядом, чтобы обратить на это внимание. Ее мать не хотела похорон, и отец тоже. Оба они пережили большинство знакомых, и, поскольку до острова добраться было совсем непросто, вряд ли приходилось рассчитывать, что кто-то из выживших друзей станет посещать их могилы. Но иногда Рут находила рядом с камнем матери увядшую розу или плюшевую игрушку, а это значило, что время от времени кто-то туда заглядывал. Она догадывалась, что розы были от Доры, но плюшевые игрушки стали для нее загадкой, хотя она знала, маме бы это понравилось.

— Надеюсь, вам не слишком тут одиноко, — сказала Рут, в последний раз пройдясь щеткой по камню отца. Она с сомнением оглядела окружавшие ее могилы. Самые старые были в основном просто провалившимися кусками дерна, отмеченными подгнившими деревянными крестами. Могилы с каменными плитами распознать было легче. Один или два камня были выполнены в морской тематике, в память о рыбаках и капитанах судов, погибших в море. Более свежие могилы украшали грубоватые ступы или деревянные тотемные

изваяния, вырезанные шаманствующими хиппи. Несколько могил выглядели, будто за ними ухаживают, но большинство пребывало в небрежении. Тут и там лежали как придется старые подношения — раковины и камешки, оплывшие свечи, ловцы снов из макраме. С ветви кедра свисал драный тибетский молитвенный флаг. Одинокое это было место. Мама Рут любила одиночество, она была бы не против, но отец ее был человек общительный.

Рут сунула щетку обратно в рюкзак и вынула маленькую ручную косу, которой дома подрезала высохшую траву. Осмотрела кизилковое деревце. Оно было все таким же кривым, но явно пустилось в рост. На кончиках ветвей завязались почки, и она пообещала себе вернуться сюда весной, чтобы посмотреть, как оно цветет. В местном магазинчике здорового питания она купила благовоний; достав одну палочку из рюкзака, она подожгла ее пластиковой зажигалкой. Воткнув палочку в дерн, она села на землю перед могилами, чтобы... Чтобы что? Она не знала. Земля была еще сырой после дождя. Тоненький завиток дыма поднимался в воздух над палочкой. Небо над головой было синим, в перистых полосках облаков. Она думала о фальшивых похоронах Нао и о настоящих похоронах Дзико и жалела, что не знает какого-нибудь песнопения, чтобы спеть прямо сейчас. Как это там было?.. Ушли, ушли, ушли вовне, пробуждены, ура...

Как-то так.

## 2

— Японцы очень серьезно относятся к похоронам и поминальным службам, — сказала Рут.

— Твоя мама так к ним не относилась, — ответил Оливер.

Они стояли вместе с Мюриел на открытой террасе; они проводили испытания нового окуляра для наблюдения за птицами, который Оливер заказал для своего айфона. Мюриел надеялась еще раз увидеть джунглевую ворону, а Рут хотела, чтобы Оливер сделал фото, намереваясь послать его вместе с координатами GPS в лабораторию орнитологии университета Корнелл, для их базы гражданских исследований.

— Да, мама была чудачкой. Типичной японкой ее не назовешь.

— Тебя тоже, — он поднял длинный телеобъектив, к которому случайным довеском лепился айфон, и, сканируя ветви дугласовой ели, внимательно изучал экран. Деревья выделялись темным на фоне светлого неба, и у него были сложности с контрастом.

— Знаю, — сказала Рут. — Но я стараюсь. Хорошо было побывать сегодня утром на кладбище. Кизиловое дерево выглядит уже не таким кривобоким.

Он навел камеру на группу кедров.

— Он должен был бы уже хорошо укорениться. Вполне может пережить еще несколько лет небрежения и засухи.

Он стал возиться с объективом, пытаясь найти фокус. Мюриел принесла с собой собственный мощный бинокль. Прислушиваясь к разговору, она сканировала ветви.

— Мне не кажется, что твоя мама была чудачкой, — сказала она. — Мне она правда нравилась. На острове многие ее любили. У нее здесь были друзья, хотя она не всегда могла вспомнить, кто они такие. Жалко, что вы хотя бы скромных поминок не устроили. Если не для нее, так ради всех остальных.

— Да знаю, знаю...

— Ты знала, что Бенуа навещает ее могилу? Приносит ей маленькие игрушки из «Фристора».

Рут примолкла. Бенуа. Ну конечно. Мюриел права, это было жалко. Она поменяла тему.

— На самом деле, это я насчет Нао и Дзико. Японцы исключительно серьезно относятся к мемориальным службам. Дзико умерла в марте, верно? Нао обещала каждый год возвращаться в храм, чтобы помогать. Храм находился на севере Сендай, рядом с побережьем и эпицентром землетрясения. В общем, вопрос в том, находилась ли она там 11 марта в 2011? Мне кажется, факты говорят в пользу этого варианта. Она была там, она знала, что идет волна, схватила несколько пакетов Мудзи и засунула внутрь самое ценное, что у нее было — ее дневник, письма Харуки и часы...

— Какой смысл гадать? — спросил Оливер. — Ты даже еще читать не закончила.

Мюриел опустила бинокль. Остолбенев, она уставилась на Рут.

— Ты не закончила читать?

— Нет, — сказала Рут. — Еще несколько страниц осталось.

Мюриел покачала головой.

— Я тебя не понимаю, — сказала она. — Я бы села и не вставала, пока не прочла бы всю эту чертову штуку с начала и до конца, прежде чем искать подтверждения каким бы то ни было спекуляциям. Я бы дочитала до конца во что бы то ни стало.

Рут разглядывала пушистые облака над головой и думала, как лучше на это ответить.

— Ну, — сказала она, — я понимаю, что ты хочешь сказать, но я пыталась соразмерить темп чтения с дневником. Я чувствовала, что это мой долг перед Нао. Мне хотелось читать с той же скоростью, с какой она жила. Теперь это кажется глупым.

Она остановилась, не зная, стоит ли продолжать.

— А еще есть проблема с концом... — сказала она наконец.

— А что случилось с концом?

— В общем-то, ничего. Просто он постоянно... меняется.

— Меняется?

— Отступает, — сказала Рут.

— Интересно, — сказала Мюриел. — Может, попробуешь объяснить?

И Рут попробовала. Она рассказала, как пролистнула страницы до самого конца, чтобы убедиться, что они заполнены, а потом обнаружила, что эти же самые страницы вдруг опустели, как раз когда она собиралась их прочитать. Она взглянула на Оливера в поисках поддержки. Он поднял брови, одновременно пожав плечами.

— Странновато, — сказала Мюриел. — Простите, ребята, за вопрос, но не курили ли вы травку?

— Конечно, нет, — сказала Рут. — Ты же знаешь, травку мы не употребляем.

— Просто хотела убедиться, — сказала Мюриел. Она сидела на рассохшемся шезлонге, который вдруг издал до того зловещий скрип, что Оливер нервно вскинул глаза. Мебель на террасе, как и сама терраса, как и весь дом, если уж на то пошло, была в довольно жалком состоянии, и он все ждал, что истерзанные погодой доски провалятся и кто-то упадет вниз.

— Интересные вещи ты описываешь, — сказала Мюриел, накручивая на палец кончик косы. — Читатель, столкнувшийся с пустой страницей. Это как писательский ступор, только наоборот.

Рут поразмыслила над этим.

— То есть ты имеешь в виду, я, будучи ее читателем, впала в ступор, и поэтому слова исчезли? Мне это не нравится. И потом, в этом нет никакого смысла.

— Трудно сказать. Свобода воли — штука сложная. О чем она писала, когда страницы вдруг стали пустыми?

— Она как раз догнала саму себя. Добралась до *сейчас* ее истории. Она сидела на автобусной остановке в Сендай, и последними словами были «так вот как ощущается “сейчас”». А потом ничего. Пусто. У нее больше не было слов, пока...

Тут она заколебалась. История со сном была еще более странной, и у нее не было уверенности, стоит ли рассказывать об этом Мюриел или нет, но Мюриел смотрела на нее с таким концентрированным вниманием, что она продолжила рассказ о том, как джунглевая ворона привела ее к скамейке в парке Уэно, где у отца Нао было назначено свидание с товарищами по самоубийству, и как они говорили о Нао, и как он уехал в Сендай, чтобы отыскать ее.

— А потом, на следующее утро, я проверила дневник, и оказалось, она написала еще целый большой кусок про смерть Дзико и про похороны, и как они помирились с отцом, и как она обещала Мудзи каждый год в марте приезжать в храм.

— Звучит, в общем, как счастливый конец, — сказала Мюриел.

— Ну, — сказала Рут, — наверное, так бы оно и было, вот только до конца я так и не добралась. Каждый раз, как я открываю дневник, там добавляется несколько страниц, это как отступающая волна. Кажется, вот-вот дотянешься, но не выходит. Никак не могу догнать.

— Все страньше и страньше, — сказала Мюриел. — Ладно, у меня есть еще две теории. В местной мифологии вороны — довольно могущественные существа. Теперь давай предположим, что ворона — твой дух-помощник, каким был кот у Оливера. — Тут она прервалась и повернулась к Оливеру.

— Мне очень жаль насчет Песто. Я слышала. Ты ведь знаешь, что Бенуа тоже потерял своего песика?

— Да, — отрывисто бросил он, не поворачиваясь к ним лицом. — Это отстой.

Он еще надеялся, что Песто все-таки к ним вернется — видно было, как у него спину сводит от надежды — но дни шли и шли, и

подобный исход казался все менее вероятным. Мюриел, у которой любимого кота украл кугуар, глубоко вздохнула и будто сдулась, целиком утонув в дряхлом расшатанном шезлонге.

— Действительно, отстой, — сказала она. — Я все говорю себе, как нам повезло жить в экосистеме, настолько нетронутой, что она может поддерживать крупных хищников, но я так скучаю по моему Эрвину.

Некоторое время она неподвижным взглядом смотрела себе на колени, потом сделала глубокий вдох и рывком поднялась на ноги.

— В общем, — продолжила она, — моя теория состоит в том, что эта ворона из мира Нао явилась сюда, чтобы отвести тебя в сон, где ты могла бы изменить конец ее истории. Приближавшийся конец должен был быть одним, но тут вмешалась ты, и это создало предпосылку для совершенно иного исхода. Появилось новое «сейчас», которое Нао все еще не совсем догнала.

Явно довольная собой, Мюриел села обратно в кресло.

Рут рассмеялась.

— И ты еще зовешь себя антропологом?

— В отставке, — ответила Мюриел.

— Понятно. Так какая у тебя вторая теория?

— Эта может тебе не понравиться.

— А ты попробуй.

— Ну, это в русле все той же теории «читательского ступора». Это все ты сама сделала. Это уже не про Нао. Это про тебя. Ты сама пока еще не догнала себя, «сейчас» *твоей* истории, и до конца ее истории тебе не добраться, пока ты не доберешься до своего конца.

Рут поразмыслила над этим.

— Ты права, — сказала она. — Мне это не нравится. Мне не нравится иметь столько свободы воли по отношению к чужому нарративу.

Мюриел рассмеялась.

— Хорошенькое дело, услышать такое от писателя!

— Я не... — начала Рут, как вдруг Оливер ее прервал.

— Смотрите! — сказал он, нацеливая объектив на клен. — Вон там. На нижней ветке. Это не твоя ли ворона?

Мюриел наклонилась вперед и поднесла к глазам свой бинокль.

— Похоже на джунглевую ворону, — сказала она. — Красивая птица. Что скажешь?

Она передала бинокль Рут.

Рут понадобилось несколько мгновений, чтобы разобраться в путанице ветвей и бледных завитков испанского мха, но потом она увидела — черное блестящее крыло выделялось на фоне зеленого мшистого покрова. Она подкрутила фокусировку. Ворона была далеко, но функция стабилизации изображения позволяла все прекрасно разглядеть.

— Да, это она. Узнаю этот орлиный профиль. Я почти уверена.

Ворона вытянула шею и повернула голову.

— Она нас видит, — сказала Рут. — Смотрит прямо на нас.

Оливер щелкнул еще пару кадров.

— Не слишком хорошо выходит, — сказал он. — Но, может, сойдет для идентификации. Хотелось бы мне сделать кадр получше.

Он опять навел объектив, но пока он этим занимался, ворона нахохлилась, расправила крылья и взлетела.

Рут опустила бинокль.

— Куда это она?

— Сюда, — ответила Мюриел, указывая вверх.

Ворона уже вылетела из гущи ветвей и теперь, набирая высоту, пересекала лужайку в их направлении. Оказавшись прямо над их головами, она что-то выпустила из когтей. Маленький круглый предмет промелькнул в воздухе и отскочил от деревянного пола у их ног, немного откатился и замер в щели между двумя подгнившими досками.

— Странно, — сказала Рут. — Что это было?

— Орех, — ответил Оливер, нагибаясь, чтобы его поднять. — Застрял в трещине.

— Орех? — Рут ощутила разочарование. А чего она ожидала?

Оливер опустился на колени.

— Похоже на лесной орех, — сказал он. Он вытащил складной нож и вытянул лезвие. — Наверно, с одного из наших деревьев, еще с осени.

Он выковырял орех и повертел в пальцах.

Рут взглянула вверх. Ворона кружила над головой, взлетая все выше и выше с каждым оборотом. Она подумала о Харуки и его

капитане Вороне.

— Ты думаешь, она нас бомбить пыталась?

— Сомневаюсь, — сказала Мюриел. — Вороны сбрасывают орехи и ракушки на камни, чтобы разбить.

Ворона все еще была прямо над ними, но уже гораздо выше — просто черточка на фоне огромного неба.

— Думаешь, она ждет, чтобы мы разбили орех?

— Не похоже, чтобы она чего-то ждала, — сказала Мюриел. — Похоже, что она улетает. Может, это прощальный подарок.

— Держи, — сказал Оливер, вложив орех в руку Рут. — Если у кого шариков не хватает, это к тебе.

— Ой, ну спасибо тебе, — сказала она, перекатывая маленький твердый предмет в ладони. — Постараюсь не принимать это на свой счет.

Оливер еще стоял на коленях, складывая нож, как вдруг что-то под полом террасы зацепило его взгляд. Дом был выстроен на пологом склоне холма, терраса смотрела под уклон, и под полом образовалось пространство, куда можно было подползти.

— Там внизу что-то шевелится, — сказал он. Наклонившись, он заглянул между подгнившими досками, прижавшись лицом к трещине, в которой застрял орех.

— Слишком темно. Можешь передать мне телефон?

Рут открыла приложение-фонарик и передала ему. Он направил луч в темноту под досками.

— Что это? — спросила она, но Оливер не ответил.

Он вскочил на ноги и побежал к крыльцу. Соскочив со ступенек, ожесточенно топая ногами и размахивая руками, он продрался сквозь густые заросли папоротника, опустился на четвереньки и исчез под террасой. Сверху им был виден огонек его фонарика, пока он нащупывал путь в грязи под верандой, потом они услышали тихий звук, что-то среднее между писком и всхлипом, и крик Оливера:

— Да что ж ты делаешь *здесь*?

— Это Песто, — сказала Рут, сжимая локоть Мюриел. — Вернулся из мертвых.

На кота явно кто-то напал, и он был страшно изранен. Случилось это, должно быть, еще несколько дней назад, потому что раны уже закрылись и в них развилась инфекция. Хвост, которым он так гордился и который обычно стоял торчком, теперь уныло свисал вниз, волочаясь по земле. Он был ужасно истощен. Шерсть пропиталась запекшейся кровью вперемешку с пылью, взгляд был отстраненным и тусклым, будто он укрылся где-то в недоступном кошачьем месте, где не чувствовал боли. Оливер вынес его из-под террасы и держал на руках, пока Рут отыскивала коробку и выстирала ее полотенцем. Когда они положили его в коробку, он попытался встать, но тут же упал. Задние ноги у него не работали.

— Плохо дело, — сказал Оливер. — Раны такие глубокие. И нарываю.

Он сделал глубокий вдох и провел рукой по боку кота. Когда он прикоснулся к израненному хвосту, кот приподнялся и попытался угрожающе завывать, но даже это было ему не по силам, и он опять шлепнулся на полотенце.

— Боль слишком сильная, — сказал Оливер. Голос у него звучал тонко и напряженно. Он выпрямился и встал над коробкой, глядя внутрь.

— Глупый кот. Он не выживет.

— Откуда ты знаешь? Может, он...

— Нет, — резко прервал он. — Инфекция уже распространилась по всему организму. Нам надо его усыпить.

— Хочешь, я позвоню Доре? — спросила Мюриел.

— Нет, — сказала Рут. — Нам надо отвезти его в город. Нам надо отвезти его к ветеринару.

— Да какой смысл, — сказал Оливер. Он резко повернулся и отошел к перилам террасы. — Я знал, что это случится. Глупый кот. Вечно сбегает. В драки лезет. Это был только вопрос времени.

— Поедем прямо сейчас — успеем на двухчасовой паром, — сказала Рут.

— Да не стоит это того, — сказал он. — Он умирает. Это просто глупый дворовый кот.

— Можно будет ветеринару с парома позвонить.

— Нет. Ветеринар — это дорого. Мы проделаем весь этот путь, а им придется его усыпить...

Так он и стоял, повернувшись спиной, судорожно сжимая перила. Рут поглядела на его сведенную спину. Как же он был зол. Зол на нее, на кота, на весь мир за то, что сердце его было разбито. Она пошла в дом, взяла ключи от машины. Вышла опять, подхватила коробку с котом, отнесла к хетчбэку и поставила внутрь. Подала машину назад и опустила окно.

— Давай скорей, — позвала она.

Он повернул голову, но еще колебался.

— Иди, — сказала Мюриел, подталкивая его к машине.

На пароме он уставился из окна на волны и только глядел все вперед, пока Рут звонила в клинику, сказать, что они едут. «Глупый кот, — все повторял он, — глупый кот». Но когда они прибыли на место, он сам нес коробку и придерживал Песто на столе, пока ветеринар выбривал шерсть и вскрывал раны, чтобы их прочистить. Раны плохие, согласился ветеринар, хуже он, пожалуй, не видел, разрывы от когтей и зубов, должно быть, это был енот или стая енотов. Песто пытался убежать, поэтому сзади травмы были особенно сильными, но настоящей опасностью стала распространившаяся инфекция. Прогноз был неутешительным. Нужно будет держать раны открытыми, вскрывать их снова и снова, если они начнут заживать, чтобы не было нагноения. Нужно будет давать ему антибиотики, не давать двигаться и три раза в день купать в теплой воде с сульфатом магния. Оливер задавал вопросы, все записывал, а потом попросил у ветеринара скальпель. Рут сидела на стуле и чувствовала, что близка к обмороку, слушая наставления ветеринара, как вскрывать раны и выпускать гной. Вид у Оливера был мрачный, но к нему вернулась решимость. Он собирался спасти своего кота.

Когда они ушли, ей все еще было не слишком хорошо, так что вел он. Песто, еще не отошедший от анестезии, спал сзади в коробке. В очереди на паром, втиснув затылок между дверцей и подголовником, она слушала Оливера. В нем шел процесс. Он наматывал круг за кругом у себя в голове, пытаясь проникнуть в смысл произошедшего.

— По крайней мере, мы знаем, — повторял он. — Даже если Песто не выкарабкается, по крайней мере, мы знаем, что произошло. Это-то и сводило меня с ума. Не знать, куда он исчез, жив он или мертв. Но, по крайней мере, теперь мы знаем. Мы сделаем все, чтобы

спасти его, но даже если нам не удастся, по крайней мере, мы будем знать: мы попытались. Глупый кот. Ничего нет хуже неизвестности...

4

Дорогая Рут!

Мои усилия принесли некоторые плоды, хотя, может быть, результаты не столь хороши, как нам бы хотелось. С тех пор, как мы списывались в последний раз, мне удалось восстановить некоторые файлы, исчезнувшие с моего компьютера, и я обнаружил старый имейл, который Харри, должно быть, послал мне, но про который, вынужден признаться, я совершенно не помню, чтобы я его получал. Я написал ему немедленно и надеюсь вскоре получить ответ. Я взял на себя смелость послать ему адрес Вашей электронной почты, описав ему Вашу обеспокоенность и срочный характер дела, поэтому, возможно, он напишет Вам лично, но опять же, может, и нет. Я пересылаю Вам его имейл; прочитав его, Вы поймете, что я имею в виду.

Конечно, это письмо было написано еще до землетрясения и цунами, и поэтому я сомневаюсь, что оно будет особенно Вам полезно или даст ответ на Ваши вопросы о сегодняшнем местонахождении моего загадочного друга и его семейства, но у меня такое ощущение, что в этом письме есть вещи, которые могут показаться Вам интересными. Мне кажется, по меньшей мере, что Вы должны быть в курсе нашей переписки, несмотря на то, что этому последнему письму уже несколько лет.

5

Дорогой Рон!

Спасибо Вам, что не забыли старого друга, который так долго пренебрегал перепиской. Прежде всего, позвольте ответить на Ваши любезные вопросы. У моей семьи все

хорошо. Жена продолжает работать в издательстве учебной литературы, а в последнее время у нее появилось новое хобби — глубоководный дайвинг. Я очень благодарен ей за поддержку в трудные времена, и моей дочери Наоко тоже. Когда мы только вернулись в Токио из Саннивэйла, ей тоже пришлось пережить много трудных времен, и какое-то время она даже не ходила в школу. Но потом она усердно трудилась, чтобы сдать экзамены, и смогла получить стипендию в хорошей международной школе в Монреале, где она очень заинтересовалась изучением французского языка и культуры.

Что касается меня, несколько лет назад я смог запустить собственный стартап — интернет-компанию, которая занимается онлайн-шифрованием и системой безопасности под названием «Мю-Мю<sup>[156]</sup> — Базовая Гигиена». Подробности поведать я Вам не могу, поскольку связан соглашением о неразглашении, но идею подала мне Наоко. Когда она училась в средней старшей школе, она стала жертвой серьезных издевательств со стороны своих одноклассников, в том числе, видео ее позора было выложено в интернет. Когда я увидел это, я плакал многими слезами. Я был очень зол! Мой долг как ее отца — безопасность дочери, но я не выполнил этот долг. Я был как слепой, слишком много думал о себе, потому что ничего не видел, и единственной моей заботой был я сам.

Но когда я, наконец, пробудился, я начал исследование и смог создать маленького паучка, который мог ползать по базам поисковых программ и вычищать все упоминания имени моей дочери, все ее личные данные, а также фотографии и грязные видео, пока от ее позора не осталось и следа. Все снова стало чистым. «Супер-мупер чисто!» — как сказала Наоко, и она была очень счастлива начать новую жизнь в Монреале, Канада.

Можно сказать, это был хороший исход, но потом у меня появилась идея, что, быть может, мой милый паучок, которого я назвал Мю-Мю Уничтожитель, будет полезен и другим людям тоже. Например, существует множество людей, которые сделали ошибку и хотели бы ее исправить, и мой маленький Мю-Мю может помочь. Или, многим людям хотелось бы исчезнуть, и Мю-Мю может сделать так, чтобы никто их не нашел. Например, если Вы — знаменитая персона, и Вам это надоело, и Вы хотите стать обычным человеком.

Для этой цели мы создали два Мю-метода. Метод № 1 — квантовый, и мы назвали его Кью-Мю, и здесь Мю ищет все возможные упоминания о Вас в интернетах множественных миров, а потом заменяет все упоминания на нули. Не умею это объяснить, разве что, это похоже на игру в оригами со временем. Это наиболее сложный и дорогой метод, потому что Кью-Мю должен работать во множественных мирах и заменять одно прошлое на другое, потому что этот метод практичен только для состоятельного человека, и даже при этом некоторые люди так знамениты, что окончательно достичь состояния Супер-Мупер Чистоты для них невозможно, потому что они слишком знамениты в слишком многих мирах.

Метод № 2 проще, и он механический, потому что здесь Мю изменяет только настоящее и будущее. Этот метод называется МехаМю, и он более постепенный, но со временем достигает такого же успеха. В этом методе Мю воздействует только на поисковые системы и съедает Ваше имя так, чтобы Вас невозможно было найти. И когда никто не может Вас найти, Вы перестаете быть знаменитым довольно быстро и скоро исчезаете совсем. Это как постепенно превращаться в шапку-невидимку, и это самый эффективный метод с точки зрения соотношения «цена-качество».

У меня много знаменитых клиентов, о которых Вы уже ничего не слыхали! (Это шутка, но и правда тоже.)

Видите ли, Рон, теперь я осознал, что самоубийство — это ретроградное мышление из старых материалистских дней. Кроме того, самоубийство — неопрятная вещь, и без него можно обойтись. Теперь с моим Мю-Мю никому не нужно думать о подобных неопрятностях, потому что мои маленькие паучки могут аккуратно превратить Вас в ничто, если таково Ваше желание. Наоко придумала забавную теорию, которую она называет Мийю<sup>[157]</sup>. Она говорит, Мийю — это новый Йю<sup>[158]</sup>. Это новое мышление. Она говорит, анонимность — это новая известность. Она говорит, новая крутизна — это отсутствие кликов по Вашему имени.

Нет кликов — это показатель, насколько Вы не-знамениты, потому что истинная свобода — это быть неузнанным.

Не знаю, правда это или нет, но, возможно, доля истины в этом есть, поскольку дела у моего Мю-Мю идут совсем неплохо, и, впервые с тех пор как лопнул доткомовский пузырь, я снова могу обеспечивать своей семье комфортный уровень жизни.

Надеюсь, у Вас все тоже хорошо. Я следил за Вашими работами на Вашем сайте, и похоже на то, что мои услуги Вам не нужны, но если они понадобятся Вам в будущем, я надеюсь, что Вы ко мне обратитесь.

Ваш друг,  
«Харри»

## Нао

Вау. Правда буду по тебе скучать. Безумно звучит, я знаю, потому что ты пока даже не существуешь. И если ты не найдешь эту книгу и не станешь читать, может, тебя никогда и не будет. Ты — мой воображаемый друг, по крайней мере, пока.

И все же мне кажется, я узнала бы тебя, пройдя мимо по улице, или поймав твой взгляд в «Старбаксе». Странно, правда? Пусть я сачкану, пусть не решусь оставить книгу там, где ты сможешь ее найти, пусть я решу, что будет лучше, если ты так и останешься моим воображаемым другом, уверена, я все равно бы узнала тебя вот так, сразу, за секунду. Я знаю, что ты только понарошку, но ты — настоящий друг, и без тебя я бы не справилась. Правда.

Ну, в общем, как тебе уже, наверно, ясно, страницы у меня кончаются, так что пора бы нам закругляться. Я просто хотела рассказать тебе о том, что случилось после похорон Дзико и как дела у меня и у моей семьи, а то ты, наверно, переживаешь. По пути домой из Сендай папа взаправду взял и отвел меня в Диснейленд, хотя странновато как-то идти в Диснейленд прямо с похорон, да и стара я уже приходить в неистовый восторг от возможности пожать руку Микки-чан. Но все равно было очень здорово, особенно наблюдать за папой во Фьючерленде, как он гоняет на скорости света среди кратеров ледяного астероида в погоне за Звездой Смерти.

И, кстати, о звездах — однажды ночью, спустя где-то месяц после приезда домой, мы с папой пошли погулять в тот маленький парк у реки Сумида, и сидели на качелях, и смотрели на звезды над головой, и на темную воду реки, текущую мимо. Бродячие кошки шныряли в тенях и ели что-то в помойке. Как просто говорить о сложных вещах в темноте, раскачиваясь туда-сюда на качелях. Мы говорили о звездах, и о размерах космоса, и про войну. Мы только что закончили читать тайный французский дневник Харуки № 1, ровно в тот день. Папа подговорил одного знакомого, аспиранта, который изучал французскую поэзию в университете, перевести для нас дневник, и мы читали вместе, и впервые в жизни я узнала, насколько злыми могут быть люди. Я думала, о жестокости я знаю все, но оказалось, ничего я

не понимала. Моя старушка Дзико понимала. Поэтому-то она всегда носила с собой четки-дзюдзу, принадлежавшие Харуки № 1, и молилась, чтобы помочь людям быть менее жестокими друг к другу. После похорон Мудзи отдала дзюдзу мне, и теперь я тоже ношу их, не снимая. Это очень сильные четки, темные, гладкие и тяжелые, впитавшие все молитвы Х. № 1 и Дзико. Молитв никаких я не знаю, так что просто пропускаю их между пальцами, круг за кругом, прокручивая в голове благословения всем вещам и людям, которых я люблю, а когда они кончаются, я перехожу к вещам, которые ненавижу не слишком сильно, и иногда вдруг получается, что я могу любить вещи, которые, как мне казалось, я ненавижу.

В конце тайного французского дневника, в ночь перед смертью, мой двоюродный дед написал правду о своей самоубийственной миссии, и мы с папой очень удивились, узнав, что он все же принял решение не врезаться на своем самолете во вражеский авианосец. Не полететь на задание он не мог, и решил вместо этого врезаться в волны. Конечно, это было абсолютно «топ-сикрет». Он знал, что командиры уничтожат его за измену Родине, если узнают о его плане нарочно пролететь мимо цели, а он хотел, чтобы мать и сестры получили деньги, компенсацию, которую правительство должно было выплачивать семьям погибших пилотов, отдавшим жизнь за страну. Для меня в этом был глубокий смысл. Он был как капитан Ворона. Он не хотел помогать войне, которую ненавидел, и не хотел причинять еще больше страданий, даже так называемому врагу. Когда я это прочла, мне, если честно, стало немного стыдно. Я вспомнила, как нападала на Дайсукэ-куна, как била его, и как в виде живого призрака преследовала моего врага Рэйко и ткнула ее ножиком в глаз. Мне стало настолько неловко из-за всего этого, что я решила — обязательно попрошу у них прощения, если когда-нибудь встречу, что вряд ли случится. Дайсукэ с мамой куда-то переехали, и поскольку в школу ходить я перестала, Рэйко я тоже больше не вижу.

Короче, когда мы прочли о решении Харуки влететь в волны, папа совершенно расклеился. Мы были дома, сидели за котацу, и он читал мне вслух перевод, и когда он добрался до этого места, то отложил страницу, сделал носом такой сморкательный звук, вроде очень сильного чиха, только это был не чих. Это был взрыв печали. Он встал, пошел в ванную и закрыл дверь, но все равно мне было слышно, как

он там плачет, сильно, давясь, навзрыд. Странно, правда? Слышать, как твой папа разваливается на куски? Я не знала, что и сказать, и, конечно, меня это напугало, потому что, когда твой папа уже кучу раз пытался покончить с собой, такое несколько напрягает. Но, в конце концов, он вышел и принялся готовить ужин, будто все опять в норме, и я не стала поднимать эту тему, но потом, когда мы были в парке и качались в темноте на качелях, я спросила, с чего это он так, и он мне рассказал.

Оказалось, это было связано с его работой в Саннивэйле, с тем, как его уволили. Когда это случилось, я была еще довольно маленькой и ничего не понимала. Все, что я знала, — что он проектирует интерфейсы для компании, делающей компьютерные игры, что, как мне тогда казалось, было довольно круто.

— Мои интерфейсы были очень хорошими, — сказал он. — Такими увлекательными. Всем нравилось с ними играть.

У него на лице было это его выражение — отстраненное и печальное.

— Мы создавали прототипы геймов с перспективой от первого лица. Они называли меня пионером POV. Потом моя компания подписала соглашение с американским военным подрядчиком. Они собирались использовать мои интерфейсы для создания дистанционных контроллеров оружия, которые применяли бы солдаты.

— Вау, — сказала я. Это тоже звучало довольно круто. Я этого не сказала, но он все понял по моему голосу. Зарыв носок шлепки в песок под качелями, он резко остановился.

— Это было неправильно, — сказал он, навалившись плечами на цепи качелей. — Эти мальчики должны были людей убивать. Убивать людей не должно быть увлекательно или забавно.

Я тоже прекратила раскачиваться и просто повисла рядом с ним. Сердце у меня стучало, толкая кровь к щекам. Я чувствовала себя такой маленькой и глупой, но в то же время что-то внутри меня треснуло и раскрылось, или, может, это мир треснул, чтобы показать мне что-то реально важное внутри. Я знала, что вижу только маленький кусочек, но этот кусочек был больше, чем что-либо, виденное или осознанное мною раньше.

Он встал с качелей и пошел. Я пошла за ним. Он рассказал, как впал в глубокую депрессию и перестал спать по ночам. Пытался найти

кого-то, с кем можно было бы поговорить о своих чувствах. Пошел даже к одному калифорнийскому психологу. На работе он тоже постоянно поднимал эту тему, пытался убедить коллег-разработчиков позволить ему встроить в интерфейс какой-нибудь инструмент возвращения в реальность, чтобы несчастные пилоты могли очнуться и понять то безумие, которое они творят. Но военному подрядчику идея совершенно не понравилась, а его компании и товарищам по команде надоело слушать про его чувства, и они его уволили.

Он уселся на бетонную панду и спрятал лицо в ладонях.

— Мне было так стыдно, — сказал он.

Я просто не могла в это поверить. Я глядела на него во все глаза, как он сидел на этой панде, и думала, что сердце мое вот-вот разорвется от гордости. Мой папа был реальный супергерой, и это мне должно было быть стыдно, потому что все это время, пока он страдал из-за своих убеждений, я злилась на него за то, что его уволили, и за то, что он потерял все наши деньги, за свою разбитую жизнь. Вполне типично, показывает, сколько я знала тогда.

Он все продолжал говорить:

— ...поэтому я и плакал сегодня, когда прочел дневник дяди Харуки. Я так его понимал, его чувства, знаешь? Харуки Номер Один принял решение. Он направил самолет в волну. Он знал, что это глупый, бессмысленный жест, но что еще он мог поделать? Я принял похожее решение, тоже бессмысленное и глупое, вот только в самолете была вся моя семья. Я был так виноват перед тобой, и перед мамой, и перед всеми, из-за своих поступков.

Когда случилось 9/11, стало ясно: войны не избежать. Они готовились все это время. Новое поколение американских пилотов будет использовать мои интерфейсы, чтобы охотиться и убивать людей в Афганистане, и в Ираке тоже. И это будет моя вина. Мне было так жаль арабов и их семьи, но я знал, что американские пилоты тоже будут из-за этого страдать. Может, не сразу. Эти мальчики будут оторваны от реальности, когда они будут выполнять задания, и им будет весело, и так интересно, потому что наш интерфейс нацелен именно на это. Но потом пройдут месяцы, может, годы, и та реальность, которую они сотворили, вылезет на поверхность, и тогда боль и гнев сломают их, и они сорвутся, отыграются на себе или на своих родных. И это тоже будет моя вина.

Не в силах больше сидеть, он вскочил с панды и поплелся к цепочке, которая служила ограждением. Я пошла следом. Маленькие воротца вели к бетонной набережной, полого спускавшейся к реке. Мы сели на откосе и стали смотреть, как мимо движутся быстрые темные воды. Я знала, он думал утопиться в этих водах. Я знала, он думает о том, как приходил сюда раз за разом, чтобы умереть. Он потянулся и взял мою руку.

— Я тебя подвел, — сказал он. — Позволил чувству вины сломать себя. Меня не было рядом, когда я был тебе очень нужен.

Я затаила дыхание. Он собрался говорить об Инциденте с Трусиками. Собрался признаться, что делал на них ставки. Я попыталась убрать руку. Мне ужасно не хотелось об этом говорить, но как было этого избежать? Все ж таки я задала ему крайне неловкий вопрос, и он дал на него правдивый и честный ответ. Я была у него в долгу. Так что, когда он спросил у меня, как мои трусы попали на тот хентайный бурусера-сайт и что происходит на видео, я сделала глубокий вдох и все ему рассказала. Я знаю, они с мамой говорили о моем идзимэ, но я не думаю, что он когда-либо понимал, насколько все было плохо. Видно было, что это его расстроило, но и нереально разозлило тоже.

— Спасибо, что рассказала мне, — сказал он, когда я закончила. Голос у него был жестким, но я знала, что он не был на меня сердит. Звучало это, скорее, будто он принял какое-то решение. Он встал и поднял меня на ноги, а потом мы пошли домой в молчании, остановившись только раз, чтобы он мог купить мне «Палпи» в торговом автомате. Вид у него был реально сосредоточенный. Не знаю, что он там задумал, но с того самого вечера он опять принялся работать на компьютере как одержимый, который только что обрел *raison d'être*.

Он совершенно прекратил читать «Великих умов» и все время проводит за программированием, а это и есть его суперпауэр, и, может, я свою тоже нашла — писать тебе. И прежде чем у меня кончатся страницы, мне бы просто хотелось сказать тебе, что у нас с папой все о'кей, теперь, когда я наконец поняла, что он за человек, и хотя тему самоубийства мы не обсуждали, я, в общем, уверена, что никто из нас больше об этом не думает. Ну, про себя-то я знаю точно. Когда я закончу эти последние страницы, я собираюсь сразу же пойти и купить

новую пустую книгу и сдержать обещание — а именно, написать историю жизни старушки Дзико, всю целиком. Правда, конечно, что она уже умерла, но истории ее до сих пор живы у меня в голове, по крайней мере, пока, так что мне надо поскорее записать их, пока не забыла. Память у меня неплохая, но воспоминания — тоже существа временные, как вишневый цвет или листья гинкго; некоторое время они прекрасны, а потом увядают, и вот уже они мертвы.

И, может, тебе приятно будет узнать, что впервые в жизни мне правда не хочется умереть. Бывает, я просыпаюсь среди ночи и проверяю, тикают ли еще часы небесного солдата, принадлежавшие Х. № 1, а потом проверяю, жива ли я сама, и, ты не поверишь, иногда я ужасно пугаюсь, типа, *О боже мой, что, если я мертва! Какой это будет ужас! Я же еще не написала историю жизни Дзико!* А иногда иду я по улице и ловлю себя на мысли: *О, пожалуйста, пусть этот дурацкий «лексус» проедет мимо, а не потеряет управление, и не врежется прямо в меня, или вот этот сумасшедший бурусера-хентай-саларимен с начесом через лысину, только бы он меня ножом не пырнул, или этот тип, одетый во все белое, похожий на сектанта-террориста, только бы он не швырнул пакет с зарином в моем вагоне... по крайней мере, пока я не закончу писать историю жизни Дзико! Я не могу умереть, не сделав этого. Я должна жить! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!*

Вот на таких мыслях я себя иногда ловлю. По крайней мере, пока я не допишу ее историю, я умирать не хочу. Мысль о том, что я могу подвести Дзико, вызывает у меня слезы, и, думаю, ты можешь отметить, что это большой для меня прогресс, вот так реально беспокоиться насчет смерти — прямо как нормальный человек.

И еще одно — напоследок. Я тут только что узнала нечто крайне позитивное. Я узнала, что старина Марсель Пруст написал не просто одну книгу под названием *À la recherche du temps perdu*. На самом деле он написал целых семь! Круто, правда? *À la recherche du temps perdu* оказалась дико долгой историей в несколько тысяч страниц, и ему пришлось публиковать ее в виде нескольких отдельных томов. И самый последний том называется *Le temps retrouvé*, а это значит «Найденное время». С ума сойти, правда? Так что теперь мне надо держать ушки на макушке и постараться найти старое издание *Le temps retrouvé*. Я отнесу его в магазинчик хэнд-мейда на Харадзюку, и

посмотрим, может, мне удастся уговорить даму, которая там работает, послать томик той хакерше, чтобы она сделала для меня еще одну книгу-концепт, и тогда я напишу в ней историю старушки Дзико.

Хм. Знаешь что? Я тут подумала, может, и не стоит. Может, я постараюсь немного выучить французский, чтобы почитать книгу Марсея, вместо того, чтобы выкидывать страницы. Вот это будет круто. А что касается истории жизни моей Дзико, думаю, я просто куплю обычную пачку старой доброй бумаги и начну писать.

Она захлопнула книгу.

Добралась до конца. Это последняя страница. Она закончила.

Что теперь?

Она взглянула на часы. Красные светящиеся цифры: 3:47. Почти четыре. Дровяная плита в гостиной остыла, и в доме было зябко. Будь она в храме у Дзико, она бы сейчас вставала, чтобы часок посидеть в дзадзэн. Она поежилась. Снаружи на окно спальни тяжело навалилась холодная черная ночь, и удерживала ее лишь крошечная светящаяся точка, дрожащее отражение фонарика в стекле. Слышно было, как ветер шумит в бамбуках, как поскрипывают гигантские стволы. Рядом крепко спал Оливер, издавая губами тихие «пу-пу-пу». Кота, лежавшего в коробке на полу со стороны Оливера, не было слышно. Должно быть, он тоже спал.

Она проснулась непонятно от чего час назад и, полежав некоторое время без сна, поняла, что уснуть так и не удастся, и взялась за дневник. И вдруг обнаружила, что читает предпоследнюю страницу. Осталась всего одна. Она заколебалась, ожидая, что страницы размножатся опять, но этого не произошло. Сомнений не было. Слова кончились, и не было больше страниц.

Книги заканчиваются. Почему она так удивилась?

Мысли ее вновь обратились к загадке пропавших слов. Она каким-то образом нашла их и вернула обратно? Не так уж это было безумно, как могло показаться. Иногда, когда она писала, она настолько полно погружалась в историю, что наутро, открыв файл и взглянув в написанное, обнаруживала, что разглядывает абзацы, которые — она могла поклясться — видит в первый раз, а иногда всплывали целые сцены, о которых она совершенно не помнила, как писала. Как они сюда попали? У нее захватывало дух, а затем следовал краткий приступ паники — *кто-то вломился в мою историю!* — которая часто перерастала в радостное волнение, когда она продолжала читать, склонившись к монитору, будто прикинув к

источнику света или тепла, пытаюсь уловить, к чему ведут странные новые фразы, скользящие по экрану. Смутно, очень смутно она начинала припоминать, — подобно тому, как в памяти иногда всплывает хрупкий, как мотылек, образ из сна, — сознание осторожно цеплялось за самый краешек, обиняками, едва смея прямо взглянуть на слова из страха, что вот-вот они упорхнут за грань, в небытие, за пределы пикселей, и исчезнут там навсегда. С глаз долой — из сердца вон.

Но в этот раз все было совсем по-другому. Она не писала; она читала. Уж конечно, читателю подобная ловкость рук — вытягивать слова из бездны — была не под силу? Но, вполне очевидно, сделала она именно это, или же она сошла с ума. Или...

*Вместе мы будем творить волшебство...*

Кто кого вызвал из небытия?

Ей припомнилось, что Оливер уже как-то делал подобное предположение, но в тот момент она не оценила по-настоящему всей серьезности вопроса. Была ли она сном? Или Нао словами вызвала ее к существованию? Свобода воли — сложная штука, сказала Мюриел. Рут всегда ощущала себя достаточно материальной, но, может, она ошибалась? Может, она отсутствовала, как намекало ее имя — бездомный, призрачный конструкт из слов, собранный этой девчонкой. У нее никогда не было повода подвергать сомнению собственные ощущения. Эмпирические познания о самой себе как о существе из плоти и крови, как о неотъемлемой части реального мира ее воспоминаний, казались ей достаточно надежными, но теперь, в четыре утра, в темноте, былой уверенности она не ощущала. Она поежилась, и внезапно движение позволило ей ощутить все места, которыми ее тело соприкасалось с кроватью. Уже лучше. Сосредоточившись, она ощутила кожей тепло и вес покрывала, прохладу воздуха на лице и руках, биение сердца.

И дневник тоже — он все еще отдавал теплом у нее в ладонях. Она пристально поглядела на красную ткань обложки. Это ей только кажется, или вид у обложки стал более потрепанный, чем когда она ее впервые увидела? Она перевернула книгу. Вот темное пятно, в том месте, где кот напустил на книгу слюней. Она поднесла томик к носу. Горький запах кофейных зерен и фруктовая сладость шампуня почти исчезли. Теперь от книги пахло дымком и кедром, и едва уловимо

пылью и плесенью. Она обвела пальцем золотое тиснение на обложке, потом открыла, очень быстро, последнюю страницу, словно пытаясь застигнуть ее врасплох.

Страница не изменилась. Конечно, нет. О чем она думала? Что несколько лишних слов пробрались под обложку, пока книга была закрыта, пока она не смотрела? Это просто смешно.

И все же пара лишних слов были бы совсем не лишними. Она вновь захлопнула книгу и принялась теревить погнутый уголок, как шатающийся зуб. Теперь обложка казалась холоднее. Это она тоже себе вообразила?

Хватит.

Она положила дневник на столик у кровати и выключила свет. Утром, когда она вновь за ним потянулась, обложка на ощупь была совершенно холодной.

## 2

— Теперь, когда ты закончил, — сказала она, — мне нужно знать, сошла я с ума или нет.

Они сидели за стойкой на кухне и пили утренний чай. Песто, обритый, весь в открытых ранах и увенчанный Конусом Позора, лежал в полотенце у Оливера на коленях, и вид у него был одновременно прибалдевший и крайне раздраженный. Оливер только что прочел последние страницы дневника и, услышав вопрос, предостерегающе поднял руку.

— Мне уже ясно, что этот разговор ни к чему хорошему не приведет, так что давай не будем, пожалуйста.

Она проигнорировала его протесты.

— Тем вечером, когда слова исчезли и ты сказал, что это моя работа — искать слова, ты ведь на самом деле не поверил, что страницы стали пустыми. И что конец продолжал отступать, ты тоже не верил. Не верил же, — это не было вопросом.

Он взглянул ей прямо в глаза, даже не моргнув:

— Милая моя, — сказал он. — Я никогда *не* не верил тебе.

— Но ты позволил мне распространяться об этом при Мюриел, и теперь она тоже думает, что я сошла с ума.

— А, — сказал он с явным облегчением, — так вот о чем ты беспокоишься. Да на этом острове все сумасшедшие. Я уверен, Мюриел вообще не придавала этому значения.

Этот ответ не слишком ее успокоил, но, учитывая количество вопросов, требовавших ответа, она не стала цепляться за эту тему.

— Ладно, — сказала она. — Предположим, что каким-то образом теория Мюриел оказалась верной, и во сне я смогла последовать за джунглевой вороной в парк Уэно, и найти отца Нао, и послать его в Сендай...

Он отложил дневник в сторону и теперь перелистывал свежий номер «Нью-Йоркера».

— Оливер!

— Что? — он поднял глаза. — Я слушаю. Ты последовала за вороной в парк, и нашла отца, и послала его в Сендай.

— Ладно, ну и, что это вообще значит?

— Что это значит — «что это значит»?

— Это значит, ты говоришь, что джунглевая ворона отвела меня назад во времени? Что если бы мне не приснился тот сон, отец Нао мог бы не остановиться, встретился бы, с кем договаривался, и покончил бы с собой? Что Нао никогда бы не узнала, что значила для ее отца совесть, ей никогда не открылась бы правда о ее двоюродном дедкамикадзе?

— Я ничего не говорю, — сказал Оливер. — Честное слово.

— Если бы я не положила тайный дневник Харуки Номер Один в коробку с его останками на алтаре, тогда как она туда попала?

Тут он поднял взгляд — он удивился.

— Ты положила его туда?

— Да. Я тебе говорила. Уже в самом конце сна. Я обнаружила тетрадь у себя в руках и вот-вот должна была проснуться, так что я сунула его в коробку.

— Классный ход, — сказал он с восхищением.

Но ее было не убедить.

— Не знаю, — сказала она, чувствуя, как ее уверенность слабеет. — Если бы я такое от себя услышала, я бы тоже решила, что я — сумасшедшая. Наверняка существует простое, рациональное объяснение, ну, например, дневник туда положила Дзико. Может, все это время тетрадь была у нее. Может, Харуки Номер Один каким-то

образом смог-таки послать ей дневник, прежде чем отправиться в полет, но по какой-то причине она не хотела, чтобы об этом стало известно. Может, она втайне была за войну и стыдилась принятого сыном решения не выполнять суицидальную миссию. Может, она считала его трусом...

— Стоп, — сказал Оливер. — Вот это — абсолютно безумные речи. Нет ни единого свидетельства в пользу этой гипотезы. Судя по тому, что пишет Нао, все в ее дневнике говорит о том, что Дзико была пацифистом и радикалом, пусть даже ей было сто четыре года. Так что не надо притягивать за уши надуманные объяснения или заниматься историческим ревизионизмом только для того, чтобы почувствовать себя нормальной. Если для того, чтобы Дзико оставалась тем, кто она есть, тебе надо быть сумасшедшей — то так тому и быть. И это касается каждого.

Рут замолчала. Он, конечно, был прав. Оливер вновь принялся за «Нью-Йоркер», но она пока не была готова оставить этот разговор.

— Ну ладно, — сказала она. — А как насчет имейла Харуки Номер Два? Как насчет Кью-Мю и МехаМю, и всей этой фигни насчет квантовых вычислений? Ты серьезно во все это веришь? Звучит даже еще безумнее, чем я сама.

Оливер поднял взгляд от журнала.

— Квантовая информация — это как информация из сна, — сказал он. — Мы не можем показать ее другим, а когда мы пытаемся ее описать, мы меняем память о ней.

— Вау, — сказала она. — Красиво как. Это ты придумал?

— Нет. Это цитата из какого-то знаменитого физика. Не могу вспомнить, как его зовут<sup>[159]</sup>.

— Вот именно так я себя и ощущаю, когда пишу, — вот он, этот прекрасный мир у меня в голове, но когда я пытаюсь вызвать его в памяти, чтобы записать, я изменяю его, и больше уже не могу заставить его вновь появиться. — Она грустно уставилась в окно, думая о заброшенных мемуарах. Еще один разрушенный мир. Это было так грустно.

— И все же я не понимаю. Какое отношение квантовая информация имеет к этому всему?

Оливер подвинул кота у себя на коленях.

— Хорошо, — сказал он. — Вот ты рассуждала о разных возможных исходах, верно? Существование разных исходов подразумевает множественность миров. Ты не первая, кто об этом задумался. Квантовая теория множественности миров существует уже около полувека. Ей, по крайней мере, столько же, сколько и нам.

— Ну, это практически древность.

— Я имею в виду, что это не ново. Ничто не ново, и если ты принимаешь множественность миров, а это одна из интерпретаций квантовой механики, это значит, все, что может случиться, — случается или, может, уже случилось. И, если это так, возможно, что в одном из этих миров Харуки Номер Два придумал, как сделать этого своего КьюМю, и смог заставить объекты того мира взаимодействовать с нашим. Может, он придумал, как использовать квантовую запутанность, чтобы параллельные миры смогли общаться друг с другом и обмениваться информацией.

Рут мрачно смотрела на кота.

— Что-то я не понимаю. Это мне надо носить Конус Позора. Интеллекта мне не хватает.

— Ну, мне тоже. Чтобы это понимать, нужно, по меньшей мере, знать математику, а это большинству из нас недоступно. Ты ведь знаешь про кота Шредингера, правда?

### 3

Конечно, она знала про кота Шредингера. В конце концов, их кот был назван в честь Шредингера, хотя имя так и не прижилось. Но если бы ее спросили, ей пришлось бы признать, что имя Шредингер всегда вызывало у нее какую-то смутную неловкость, очень похожую на то чувство, которое появлялось у нее при мысли о Прусте. Она всей душой верила, что обязана знать о коте первого и прочесть опус последнего, но руки как-то не доходили ни до того, ни до другого.

Она знала, что кот Шредингера являлся участником мысленного эксперимента, поставленного, собственно, ученым, давшим ему имя, и имел какое-то отношение к жизни, смерти и квантовой физике.

Она знала, что квантовая физика описывала поведение материи и энергии на микроскопическом уровне, где атомы и субатомные

частицы ведут себя по-другому, нежели повседневные объекты макроскопического мира, например, коты.

Она знала, что Шредингер предложил поместить теоретического кота в теоретический ящик с летальным токсином, который должен был высвободиться при определенных условиях.

— Ну да, все правильно, — сказал Оливер. — Я тоже подробностей не помню<sup>[160]</sup>, но основным его предположением было, что если бы коты вели себя, как субатомные частицы, кот был бы жив и мертв одновременно, пока ящик оставался бы закрытым и мы не знали, соблюдены ли условия. Но в тот момент, как наблюдатель открыл бы ящик, чтобы посмотреть внутрь и проверить условия, он обнаружил бы кота либо живым, либо мертвым.

— То есть он мог убить кота, посмотрев на него?

— Нет, не совсем. Шредингер, собственно, пытался проиллюстрировать так называемый парадокс наблюдателя. Эта проблема возникает, когда ты пытаешься измерить поведение очень маленьких объектов, таких, как субатомные частицы. Квантовая физика — странная штука. На субатомном уровне одна-единственная частица способна существовать как множество возможностей, сразу в нескольких местах. Эта способность существовать во многих местах одновременно называется суперпозицией.

— К слову о суперспособностях, — сказала Рут. — Нао это бы понравилось.

Ей это тоже понравилось. Если бы она была субатомной частицей, она смогла бы быть и здесь, и в Нью-Йорке.

— Квантовое поведение частицы в состоянии суперпозиции с точки зрения математики описывается волновой функцией. Парадокс в том, что частицы пребывают в суперпозиции, только пока никто не смотрит. В ту минуту, как ты начинаешь наблюдать частицу в суперпозиции, волновая функция коллапсирует и частица существует уже только в одном месте из всех возможных, и только как единственная частица.

— Множество частиц коллапсирует в одну?

— Да, или, скорее, была такая теория, одна из. Что единого исхода не существует, пока исход не будет измерен или не подвергнется наблюдению. До момента наблюдения существует множество возможностей, следовательно, кот существует в так называемом

«размазанном» состоянии существования. Он и жив, и мертв одновременно.

— Но это бессмыслица какая-то.

— Именно. Это-то Шредингер и имел в виду. У этой теории коллапса волновой функции имеется пара проблем. Она утверждает, если вкратце, что в любой момент частица находится там, где покажут измерения. Объективной реальности для нее не существует. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что никто до сих пор не смог подвести математическое основание под теорию коллапса волновой функции. Так что Шредингер на самом деле на нее не купился. Вся эта история с котом была призвана показать абсурдность ситуации.

— Что, у него была идея получше?

— Нет, но она появилась потом, хотя и не у него. Это был Хью Эверетт, он подвел математическое обоснование под альтернативную теорию, что так называемый коллапс не происходит вообще<sup>[161]</sup>. Совсем. Вместо этого квантовая система продолжает существовать в суперпозиции только в случае, если ее наблюдают, она расщепляется. Нельзя сказать, что жив кот или мертв. Он и жив, и мертв, вот только теперь он существует в виде двух котов в двух разных мирах.

— То есть в реальных мирах?

— Да. Дико звучит, правда? Его теория, основанная на том, что он называет универсальной волновой функцией, состоит в том, что квантовая механика существует не только на субатомном уровне. Она существует для всего, для атомов и для котов. Все целиком, вся Вселенная работает на квантовой механике. И вот здесь-то и начинается настоящая засада. Если существует мир мертвого кота и мир живого кота, это касается и наблюдателя тоже, потому что наблюдатель тоже существует *внутри* квантовой системы. Стоять в стороне не получится, так что ты тоже разделяешься, как амеба. Так что теперь существуешь ты, который наблюдает мертвого кота, и еще один ты, наблюдающий кота живого. Кот был единым, стал множественным. Наблюдатель был единым, стал множественным. Ты не можешь взаимодействовать или как-то общаться с другими «ты», или даже знать о других своих существованиях в других мирах, потому что не можешь вспомнить...

Могло ли это быть объяснением ее паршивой памяти?

Она глядела на кота, неловко ерзавшего на коленях у Оливера. Кот уставился на нее в ответ — долгий, неприязненный взгляд; потом он закрыл глаза. Кто кого наблюдал? В настоящий момент Песто было трудновато заниматься наблюдениями из-за Конуса Позора на шее, но до Инцидента с енотами он предпочитал быть скорее субъектом, нежели объектом наблюдения. Мог ли Песто наблюдать сам себя? Он, бывало, задирает заднюю лапу, чтобы поизучать собственную задницу. Не похоже было, что эти наблюдения заставляли его расщепляться на множество котов с множественными задницами.

Тут ей припомнились слова Нао — или они принадлежали Дзико? *Изучать Путь — значит изучать себя.* Нет, это Харуки написал. Он цитировал Догэна и говорил о дзадзэн. Смысл, в общем, в этом был. Насколько она понимала, дзадзэн являлся последовательным помоментным наблюдением самого себя, что, очевидно, должно было вести к просветлению. Но что это вообще значило?

*Изучать Путь — значит изучать себя. Изучать себя — значит забывать себя.* Может, если достаточно много сидеть в дзадзэн, собственное «я» перестанет ощущаться как нечто единое, цельное, начнет размываться, и ты сможешь о нем забыть. Какое облегчение. Можно будет просто висеть счастливо в пустоте, в неопределенности, являясь частью квантовой суперпозиции.

*Забывать себя — значит быть просветленным всеми бесчисленными явлениями.* Горами и реками, травами и деревьями, воронами и котами, волками и медузами. Это было бы здорово.

Осознавал ли Догэн это все? Он написал эти слова за много столетий до квантовой механики, до того, как Шредингер засунул своего загадочного кота в метафорический ящик. К тому времени, как Хью Эверетт подвел математическое основание под теорию множественных миров, Догэн умер — был мертв уже более восьми веков.

Или нет?

— Так вот, понимаешь, — говорил Оливер, — мы теперь в мире, где Песто жив, но существует также и другой мир, где его убили и съели эти подлые еноты, которых, кстати говоря, я собираюсь изловить

и утопить, таким образом расщепив мир еще раз, на тот, где еноты сдохли, и тот, где они живут.

— У меня голова болит, — сказала Рут.

— У меня тоже, — сказал Оливер. — Да не переживай ты так.

— Мне кажется, тебе не стоит убивать енотов, — сказала Рут. —

По крайней мере, не в этом мире.

— Я, наверное, и не стану, но мир от расщепления это не уберезет. Каждый раз, как возникает возможность, все равно это происходит.

— Ой-ой. — Она поразмыслила над этим. Может, это не так уж и плохо. В других мирах она закончила мемуары. Мемуары, а может, еще и роман-другой. Эта мысль ее приободрила. Если она была настолько продуктивна в других мирах, может, в этом она сможет стать хотя бы немножко усидчивей. Может, настало время вернуться к работе. Но вместо этого она осталась сидеть на месте.

— Ты правда веришь в это? — спросила она. — Что существуют другие миры, где Харуки № 1 не умер в волнах, потому что Второй мировой не было? Где никто не погиб от землетрясения и цунами? Где Нао жива, и с ней все в порядке, и, может, она заканчивает уже писать книгу о жизни Дзико, и мы с тобой живем в Нью-Йорке, и я заканчиваю свой следующий роман? Где нет ни подтекающих ядерных реакторов, ни мусорных континентов в море...

— Как тут можно знать, — сказал Оливер. — Но если бы Второй мировой не было, мы никогда бы с тобой не встретились.

— Хмм. Это было бы грустно.

— Это трудно — не знать. От землетрясения и цунами погибли 15 854 человека, но еще тысячи просто исчезли, погребенные заживо или смытые в море отступающей волной. Тела их так и не были найдены. Никто никогда не узнает, что с ними случилось. Такова была жестокая реальность, по крайней мере, этого мира.

— Ты думаешь, Нао жива? — спросила Рут.

— Трудно сказать. Возможна ли смерть вообще во Вселенной множественных миров? На каждый мир, где ты совершаешь самоубийство, приходится другой, где ты этого не делаешь, в котором ты продолжаешь жить. Множественность миров гарантирует своего рода бессмертие...

Тут она потеряла терпение.

— Мне плевать на остальные миры. Мне важен этот. Мне важно, жива она или мертва в этом мире. И я хочу знать, каким образом ее дневник и все остальное попало сюда, на этот остров. — Она вытянула руку и ткнула пальцем в часы небесного солдата. — Эти часы реальны. Послушай. Они тикают. Они сообщают мне время. Так как они сюда попали?

Он пожал плечами:

— Я не знаю.

— Я правда думала, что уж к этому времени буду знать все, — сказала она, поднимаясь на ноги. — Я думала, как я закончу читать дневник, ответы придут сами собой, или я смогу додуматься до них сама, но они не пришли, и я не додумалась. Это ужасно бесит.

Но поделаться с этим она ничего не могла, и пора уже было идти наверх приниматься за работу. Она просунула руку в конус, почесать у Песто за ухом, и тут ей пришла в голову мысль.

— Этот кот Шредингера, — сказала она. — Он напомнил мне тебя. В каком квантовом состоянии ты пребывал, сидя в ящике из-под холодильника?

— О, — сказал он. — Это. Определенно в размазанном. Полужив, полумертв. Но если бы ты меня нашла, я бы точно умер.

— Ну, значит, хорошо, что я тогда не пошла тебя искать.

Он рассмеялся.

— Правда? Ты это серьезно?

— Конечно. Ты что, думаешь, я хочу, чтобы ты умер?

Он пожал плечами.

— Иногда я думаю, тебе было бы без меня лучше. Ты бы вышла замуж за какого-нибудь флагмана индустрии и вела бы приятную жизнь в Нью-Йорке. Вместо этого ты застряла со мной на этом богом забытом острове с паршивым котом. Лысым паршивым котом.

— Вот теперь ты сам занимаешься историческим ревизионизмом, — сказала она. — Есть ли какие-либо свидетельства в пользу этой гипотезы?

— Да. Есть масса свидетельств в пользу того, что кот крайне паршивый. И крайне лысый.

— Я говорю о том, что без тебя мне было бы лучше.

— Не знаю. Думаю, нет.

— Ну и прекрасно. Тебе надо Конус Позора надеть только за то, что ты вообще об этом подумал. Потому что вот только что ты взял и приговорил меня к другой жизни в Нью-Йорке с каким-то подозрительным олигархом в качестве мужа. Спасибо тебе большое.

Она напоследок погладила кота по носу.

— Да ладно, не беспокойся, — сказал он. — Ты давно уже обо мне забыла.

Он шутил, конечно, но эти слова задели ее за живое. Она убрала руку.

— Нет, не забыла.

Он потянулся через стойку и взял ее за запястье.

— Да я шутил, — сказал он и придержал ее руку еще немного, так, чтобы она не могла ее отдернуть.

— Ты счастлива? — спросил он. — Здесь? В этом мире?

Удивленная, она некоторое время просто стояла и размышляла над этим вопросом.

— Да, думаю, счастлива. По крайней мере, пока.

Этот ответ, видимо, его устроил. Он легонько сжал ее запястье напоследок, потом отпустил.

— Ладно, — сказал он, возвращаясь к «Нью-Йоркеру». — С меня этого достаточно.

## Эпилог

Ты думаешь обо мне.

Я думаю о тебе.

Кто ты, и что ты сейчас делаешь?

Я представляю себе тебя сейчас, юную женщину двадцати... Погоди-ка, мне надо подсчитать... шести? Двадцати семи лет? Что-то около того. Может, в Токио. Может, в Париже, в настоящем французском кафе, и ты поднимаешь глаза от страницы, подыскивая нужное слово, и смотришь на идущих мимо людей. Не думаю, что ты мертва.

Где бы ты ни была, я знаю — ты пишешь. Это занятие ты точно оставить не могла. Я так и вижу, как ты сжимаешь ручку. Ты все еще пишешь фиолетовыми чернилами, или ты это уже переросла? Ты все еще обкусываешь ногти?

Я как-то не представляю тебя на корпоративной работе, но фриттером ты тоже, кажется, быть не можешь. Подозреваю, что ты можешь заканчивать аспирантуру и пишешь сейчас диссертацию о женщинах-анархистках демократии Тайсё или о нестабильности женского «Я» (в какой-то безумный момент я подумала, что та монография, которую я нашла в интернете, могла быть написана тобой, но она исчезла прежде, чем я успела узнать, кто автор). В любом случае, я надеюсь, ты закончила книгу о жизни старой Дзико. Хотелось бы мне ее когда-нибудь прочесть. И «Я-роман» старушки Дзико мне тоже очень хотелось бы почитать.

На самом деле не знаю, зачем я это пишу. Я знаю, что найти тебя я не смогу, если только ты сама захочешь, чтобы тебя нашли. И я знаю, если ты захочешь, ты будешь найдена.

В своем дневнике ты цитируешь высказывание Дзико — что-то насчет незнания, вроде незнание сближает людей сильнее, чем что бы то ни было еще, или мне это просто приснилось? В общем, я много об этом думала, и мне кажется, так оно и есть, хотя, в принципе, я не любитель неопределенности. Я бы предпочла *знать*, но опять же, незнание оставляет все возможности открытыми. Оставляет в живых все миры.

При всем этом я хочу сказать: если ты когда-нибудь передумаешь и решишь, что хочешь, чтобы тебя нашли, — я буду ждать.

Потому что мне очень хочется когда-нибудь с тобой встретиться. Ты тоже — временное существо моего типа.

Твоя Рут

P. S. У меня действительно есть кот, и он сидит у меня на коленях, и лоб у него пахнет кедром и свежим морозным воздухом. Как ты догадалась?

# Приложения

## Приложение А: Моменты дзэн

Дзико Ясутани, монахиня дзэн, сказала мне как-то во сне, что нельзя понять, что значит жить на этой земле, пока не поймешь, что такое временное существо, а понять, что такое временное существо, можно, если понять, что такое момент.

Во сне я спросила ее: *Да что же это такое — момент?*

*Момент — это крайне маленькая частица времени. Она такая маленькая, что один день состоит из 6 400 099 980 моментов.*

Потом я решила проверить, и оказалось, что именно это число называет учитель Догэн в своем главном труде — «Сёбогэндзо» («Сокровищница глаза истинной дхармы»).

Цифры сопротивляются глазу, так что, с твоего разрешения, я напишу это словами: шесть миллиардов четыреста миллионов девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят. Именно столько моментов, по утверждению учителя Догэна, содержится в одном дне, и, выпалив это число, старушка Дзико щелкнула пальцами. Пальцы у нее ужасно кривые, перекрученные артритом, так что щелчки получаются не слишком хорошо, но донести нужный смысл ей все-таки удалось.

*Пожалуйста, попробуй сама, сказала она. Щелкнула пальцами? Если щелкнула, этот щелчок равен в точности шестидесяти пяти моментам.*

Гранулярность природы времени с точки зрения дзэн становится очевидна, если произвести нехитрые вычисления<sup>[162]</sup>, или можно просто поверить Дзико на слово. Она наклонилась вперед, поправила на носу очки в черной оправе и, внимательно глядя сквозь мутные толстые стекла, заговорила опять.

*Если ты начнешь щелкать пальцами прямо сейчас и продолжишь щелкать до 98 463 077 раз без остановки, солнце встанет и солнце сядет, и небо потемнеет, и ночь будет становиться все глубже, и все будут спать, а ты все еще будешь щелкать, пока, наконец, где-то на рассвете ты не закончишь свой 98 463 077-й щелчок, и тут к тебе придет глубокое, по-настоящему личное осознание — ты в точности*

*будешь знать, как именно тебе довелось провести каждый момент прошедшего дня.*

Она вновь опустилась на пятки и кивнула. Предложенный ею мысленный эксперимент был довольно чудным, но было ясно, что она имела в виду. Во Вселенной все постоянно меняется, и ничто не остается прежним, и мы должны понимать, насколько быстро течет время, если хотим пробудиться и по-настоящему прожить свои жизни.

*Вот что значит быть временным существом, сказала мне старая Дзико, а потом вновь щелкнула своими скрюченными пальцами.*

*А вот так ты умираешь.*

## Приложение В: Квантовая механика

Квантовая механика — временная сущность, но и классическая физика — тоже. Обе объясняют взаимодействие энергии и материи, движущихся во времени и пространстве. Разница — в масштабе. На уровне атомов, в мельчайшем масштабе, энергия и материя начинают играть по иным правилам, за которые классическая физика никакой ответственности не несет. Так что квантовая механика пытается объяснить эти странности, постулировав новый набор принципов, которые могут быть применимы для атомных и субатомных частиц, а именно:

— суперпозиция: принцип, согласно которому частица может находиться одновременно в двух и более местах (например, учитель Догэн жив и мертв одновременно?);

— запутанность: принцип, согласно которому две частицы могут синхронно менять свойства, будучи разделенными пространством и временем, и вести себя, как единая система (например, учитель Догэн и его ученик; персонаж и автор; старая Дзико и Нао — и Оливер и я?);

— проблема измерения: принцип, согласно которому акт измерения или наблюдения изменяет то, что наблюдают (например, коллапс волновой функции; пересказ сна?).

Если бы учитель Догэн был физиком, думаю, ему бы понравилась квантовая механика. Он естественным образом воспринял бы идею суперпозиции с ее бесконечным множеством возможностей; ему была бы интуитивно понятна мысль о взаимосвязанности запутанных частиц. Мыслитель и человек действия, он был бы заинтригован концепцией, что внимание способно изменять реальность, в то же время понимая, что сознание человека — не более (но и не менее) чем облака и вода или сотни травинки. Ему пришлось бы по душе безграничные возможности незнания.

## Приложение С: Мысли-скитальцы

День, наконец, пришел движенья гор,  
Иль то слова мои — никто им не поверит.  
Дремота лишь на время их сковала.  
Но за века, бывало, горы танцевали — как в пламени.  
И если ты не веришь — прошу, не верь,  
Поверь мне лишь в одном,  
Сейчас, в мгновенье это, приходят женщины  
в сознание после сна.

О, если б могла писать я лишь от первого лица.  
Я, женщина.  
Если б могла писать я лишь от первого лица.  
Я, я.

*Ёсано Акико*

Это первые строки поэмы Ёсано Акико «Содзорогато» («Мысли-скитальцы»), впервые опубликованной в самом первом выпуске феминистского журнала «Сэйто» («Синий чулок») в сентябре 1911 года.

## Приложение D: Названия храмов

Разобравшись до некоторой степени в номенклатуре японских храмов, я поняла, что *Дзигэндзи* — это название храма, а *Хиюзан* — это так называемое «имя горы», или *санго*

(山号)

. По древней, еще китайской традиции, учителя дзэн удалялись куда-нибудь на вершину уединенной горы, подальше от соблазнов городов и деревень, где они, как правило, строили хижину для медитации и посвящали себя духовным упражнениям. Через некоторое время слухи об их духовных достижениях начинали распространяться, и на гору начинали карабкаться ученики, ищущие наставника, и вскоре образовывалась община, строились дороги, возводились обширные храмовые комплексы — и все под названием некогда уединенной горы. (Каким образом слухи распространялись? Как это вирусный маркетинг и управление репутацией могли действовать до появления интернета?)

С приходом учения дзэн в Японию традиция давать храму название в честь горы продолжила существование на новой почве вне зависимости, присутствовала ли на месте гора или нет. В результате даже храмы, выстроенные на прибрежных равнинах, в Токио, носят горные имена, и это, похоже, никого не напрягает.

Существует несколько вариантов кандзи для названия Дзигэндзи, но самая вероятная комбинация —

慈眼時

, которая состоит из иероглифов «милосердный», «глазное яблоко» и «храм». Иероглиф «глазное яблоко» здесь тот же, что и в Сёбогэндзо, Сокровищнице глаза истинной дхармы учителя Догэна.

Самые вероятные кандзи для *Хиюзан*, похоже, —

秘湯山

(Скрытая гора Горячего источника); однако же, когда я впервые прочла название, в сознании всплыла следующая комбинация иероглифов:

比喻山

, что можно перевести, как «гора Метафора». И тут я не могла не вспомнить великолепный роман Рене Домалея «Гора Аналог: Роман об альпинистских приключениях, неевклидовых и символически

достоверных». Предметом поисков Домая была необыкновенная и географически вполне реальная гора, вершина которой была недоступна, в отличие от подножия. «Дверь в невидимое, — пишет он, — должна быть видима». Именно на горе Аналог находится пердам — необычайный кристаллический объект, который показывается только тем, кто его ищет.

Все это может показаться досужим отклонением от темы, совершенно не относящимся к делу, но когда стало понятно, что храм старой Дзико продолжает от меня ускользать, только мысль о горе Аналог придала мне надежды.

## Приложение Е: Кот Шредингера

Эксперимент представляет собой следующее.

Кота сажают в непроницаемый стальной ящик. Вместе с котом в ящике находится дьявольский механизм: стеклянная колба с синильной кислотой, небольшой молоточек, нацеленный на колбу, и пусковое устройство, которое может либо высвободить молоток, либо нет. Фактор, контролирующий пусковое устройство, — поведение небольшого количества радиоактивного материала, которое измеряется счетчиком Гейгера. Если в течение, скажем, часа один из атомов вещества распадется, то счетчик Гейгера среагирует, спустив молоток, который разобьет колбу и высвободит кислоту — и кот умрет. Существует, однако, равная вероятность, что ни один атом не распадется за час, а в этом случае молоток останется недвижим, и кот будет жить.

Кажется, достаточно просто; но цель этого мысленного эксперимента не в том, чтобы истязать несчастного кота. Смысл не в том, чтобы убить его или спасти, и даже не в том, чтобы подсчитать вероятность обоих исходов. Смысл в том, чтобы проиллюстрировать ставящий в тупик парадокс, так называемую проблему измерения в квантовой механике: что происходит с запутанными частицами в квантовой системе, которую наблюдают и где проводят измерения.

Кот и атом олицетворяют собой запутанные частицы<sup>[163]</sup>. Запутанность означает, что у них могут быть общими некие определенные характеристики или поведение, в нашем случае — их судьба в ящике: *распавшийся атом = мертвый кот* и *нераспавшийся атом = живой кот*. Два ведут себя как одно. Внутри ящика спутанная пара атом/кот — это часть квантовой системы, измеряемой наблюдателем — скажем, тобой.

Теперь давай сделаем небольшое отступление, потому что, дабы продолжить, нам необходимо разобраться еще в двух фундаментальных квантовых феноменах: *суперпозиции* и *проблеме измерения*. Представь, что вместо запутанной системы кот/атом в ящике находится единственный электрон. До того как ты откроешь коробку, чтобы пронаблюдать его, электрон существует исключительно

как волновая функция, то есть как множество самого себя во всех точках внутри ящика, где он может находиться. Это квантовый феномен, называемый *суперпозицией*: частица способна находиться одновременно во всех возможных состояниях. (Представь фотографию тигра в клетке, сделанную на долгой выдержке, причем затвор срабатывает каждую пару секунд. На проявленной фотографии тигр будет выглядеть как размазанное пятно. В микроскопической квантовой вселенной, управляемой принципом суперпозиции, тигр *и есть* пятно.)

Проблема измерения возникает в тот момент, когда ты поднимаешь крышку ящика, чтобы пронаблюдать за частицей. Когда ты это делаешь, волновая функция коллапсирует в единственное состояние, фиксируясь в пространстве и времени. (Возвращаясь к аналогии тигра, пятно опять становится одним зверем.)

О'кей, теперь давай вернемся к коту, запутанному с радиоактивным атомом. Состояние, которое мы тут измеряем, — это не местонахождение тигра, а, скорее, запутанная система атом/кот. Вместо возможных положений тигра в клетке мы измеряем уровень живости кота, так сказать, его экзистенциальный статус.

Мы знаем, что в соответствии с проблемой измерения в тот момент, как ты открываешь крышку ящика, ты находишь кота либо живым, либо мертвым. В пятидесяти процентах случаев кот будет жив. В других пятидесяти процентах он будет мертв. Каково бы ни было его состояние, оно однозначно и зафиксировано в пространстве и времени.

Однако же, *до* того как ты откроешь ящик, чтобы провести измерения, состояние кота должно быть множественным и размазанным, как размытое изображение тигра. Согласно квантовым принципам запутанности и суперпозиции, пока ты не пронаблюдаешь кота, он должен быть и жив, и мертв *одновременно*.

Конечно, это заключение абсурдно, что и стремился доказать Шредингер. Но его мысленный эксперимент поднял любопытные вопросы: в какой момент времени квантовая система перестает быть суперпозицией всех возможных состояний и становится вместо того единичным, «или/или», состоянием?

И, если копаться глубже, требует ли существование единичного кота — мертвого или живого, неважно, — внешнего наблюдателя, то есть тебя? А если не тебя, то кого? Может ли кот наблюдать сам себя?

Может, мы все существуем во множестве всех возможных состояний одновременно, не имея внешнего наблюдателя?

Было много попыток интерпретировать этот парадокс. Копенгагенская интерпретация, сформулированная Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом в 1927 году, поддерживает теорию коллапса волновой функции. Согласно этой интерпретации, в момент наблюдения квантовая система коллапсирует из состояния суперпозиции, и все возможности сливаются в одну. И коллапс этот *не может* произойти, потому что этого требует реальность макромира. Проблема в том, что до сих пор никто так и не смог подвести под эту интерпретацию математическое обоснование.

Интерпретация множественных миров, предложенная американским физиком Хью Эвереттом в 1957 году, бросает вызов теории коллапса волновой функции, постулируя, что квантовая система в состоянии суперпозиции продолжает существовать, но расщепляется.

С каждым выбором — с каждым дзэновским моментом, как только появляются разные возможности, — происходит расщепление, мир разветвляется, становится множественным.

Каждое мгновение происходит замена *или/или* на *и*. И еще одно *и*, и еще одно, и еще, и еще... и так до бесконечности, включающей в себя все варианты, все миры, которые не обладают совершенно никакими знаниями друг о друге.

...Астрофизик Адам Франк сказал мне, что насчет квантовой механики важно помнить одно: несмотря на множество интерпретаций, включая копенгагенскую и гипотезу о множественности миров, сама по себе квантовая механика — это только расчеты. Это машина для предсказания результата эксперимента. Это палец, указывающий на луну.

Профессор Франк имел в виду один старый буддийский коан про Шестого патриарха дзэн, который был неграмотен. Когда его спросили, каким образом он может понять истину, содержащуюся в буддийских текстах, если не может прочесть ни слова, Шестой патриарх поднял руку и указал на луну. Истина — как луна в небе. Слова — как палец. Палец может указать местонахождение луны, но сам он луной не является. Чтобы увидеть луну, надо смотреть за палец.

Искать истину в книгах, говорил Шестой патриарх, это все равно, что принимать палец за луну. Луна и палец — не одно и то же.

— Не то же самое, — сказала бы старая Дзико, — но это и не разные вещи.

## Приложение F: Хью Эверетт

Хью Эверетт опубликовал свою интерпретацию квантовой механики, позднее прозванную «интерпретацией множественных миров», в 1957 году в журнале «Ревьюс оф модерн физикс», когда ему было двадцать два года. Это были тезисы его докторской диссертации в Принстоне. Приняты они были прохладно. Ведущие физики, его современники, назвали его идеи безумием. Они назвали его глупцом. Совершенно обескураженный, Эверетт бросил квантовую физику и занялся разработкой вооружений. Он работал на Пентагон, в «Группе оценки систем вооружения». Написал статью, посвященную теории военных игр под заголовком «Рекурсивные игры», которая вскоре стала классикой в своей области. Он писал программное обеспечение для военных игр, симулирующих атомную войну, и принимал участие в Карибском кризисе. Белый дом обращался к нему за советами по стратегии и тактике атомной войны, и он написал изначальное программное обеспечение для атомного оружия, имеющего целью поражение городов и гражданского населения на случай, если холодная война станет горячей. К тому времени он уже подвел математическое доказательство под интерпретацию «множественных миров» и верил, что все, что он способен вообразить, должно случиться или уже случилось. Неудивительно, что он сильно пил.

Семейная жизнь у него сложилась неудачно. С детьми он состоял в отношениях холодных и довольно запутанных. Его дочь, Лиз, страдала от маниакальной депрессии и от аддикций и совершила попытку самоубийства, наглотившись снотворного. Ее брат, Марк, нашел ее на полу в ванной и успел отвезти в больницу, где докторам удалось запустить сердце вновь. Когда Марк вернулся из больницы домой, Эверетт поднял глаза от «Ньюсуик» обронил: «Не знал, что она так грустит».

Спустя два месяца Эверетт умер от сердечного приступа в возрасте пятидесяти двух лет. В этом мире он был мертв, но известно, что он верил — во множественных мирах он бессмертен. Жена держала его кремированные останки в картотечном шкафу у них в столовой, пока, наконец, не выкинула их на помойку в соответствии с

его последней волей. Марк сумел зажить своей жизнью, он сделал успешную карьеру в качестве рок-музыканта, но жизнь Лиз покатила под уклон. Когда ей, наконец, удалось покончить с собой — это была передозировка снотворного в 1996 году, она оставила предсмертную записку, в которой говорилось:

Пожалуйста, сожгите меня и НЕ СТАВЬТЕ В ШКАФ



. Пожалуйста, высыпьте меня в какой-нибудь симпатичный водоем... или в помойку, м.б. тогда я попаду в нужную параллельную вселенную и встречу там папу.

## Благодарности

Во-первых, я хотела бы поблагодарить моих учителей: моего наставника дзэн Норманна Фишера, чьи мудрые слова проникли ко мне в уши, расшевелили сознание и, волей-неволей, вылились обратно, на эти страницы; Теа Строчер и Паулу Араи, которые направляли меня в делах, касающихся практики и традиций дзэн; добрых ученых Адама Франка и Билла Монингера, и Тома Уайта, которые отвечали на мои вопросы о квантовой физике и ни разу не засмеялись; Тома Кинга за переводы на изящном французском, и Таку Нишимаэ за его утонченный японский; Карен Джой Фоулер, которая придала мне храбрости в решающий момент времени; Джона Доуэра, который много лет поощрял меня написать о дневниках пилотов-камикадзе; и Мисси Каммингз, которая как-то за чаем в Empress Hotel поделилась со мной размышлениями на тему создания морального буфера в интерфейсе человек-компьютер... Я благодарю всех вас за щедрость и великодушие, за ваши знания и за чуткое руководство, и спешу добавить, что все ошибки и неточности в этой книге — целиком на моей совести.

Во-вторых, я благодарю мою сангху читателей и друзей: Тима Бернетта, Пола Сирона, Гарри Хантела, Шеннона Джонассона, Кейт Мак-Кендлес, Олвина Морински, Монику Науроки, Майкла Ньютона, Рахну Рейко Риццутто, Грега Снайдера, Линду Соломон, Сьюзен Сквайр и Марину Зуркову за то, что смогли, при всей своей занятости, урвать время и почитать ранние наброски, и за бесценные комментарии; Ларри Лейна за мудрые советы в делах дхармы и сюжета; Дэвида Паламбо-Луи, Джона Стаубера и Лору Бергер, и «Друзей плейстоцена», которые великодушно разрешили мне поместить их в этот выдуманный мир; и Куи Дауни, которая как-то сказала, что хотела бы почитать роман, в котором был бы дзэн, и предложила мне такой написать.

В-третьих, я благодарю учреждения и храмы учения, которые оказали мне поддержку: Канадский совет по искусству за гранты как профессиональному писателю в 2009 и 2011 годах, которые дали мне возможность жить и писать; Массачусетскому технологическому

институту и Стэнфордскому университету за поддержку исследований и за разговоры, послужившие источником вдохновения для ключевых элементов этой истории; и любимой моей Хеджбрук за бесценный сестринский дар одиночества и *времени*.

В-четвертых, мне хотелось бы выразить глубочайшую благодарность моей бесценной издательской сангхе: Молли Фридрих, Люси Карсон и Молли Шульман, которые представляют меня миру с несравненным остроумием, благородством и энтузиазмом; моим мудрым и чудесным благодетелям из Viking Penguin: Сьюзен Петерсон Кеннеди, Клейр Ферраро и Полу Словаку за мудрые наставления и непоколебимую поддержку все эти годы, а также Бине Камлане, Полу Бакли, Франческе Беланджер и многим, многим другим энтузиастам, тем, кто так усердно работал, чтобы сделать эту книгу созданием красоты; Джейми Бингу, Элайе Ахмеду и всем моим новым друзьям в Canongate, Великобритания, и во всем мире; и, прежде всего, моя вечная благодарность Кэрол ДеСанتي, моему дорогому другу, редактору, коллеге, однокашнице и читателю, которая вызывает меня к существованию на странице.

В-пятых, мои благодарности острову и его обитателям — за моим выдуманным фантастическим островом стоят их вполне реальные красота, упорство, юмор, знание жизни и желание помочь.

И, наконец, огромная благодарность Оливеру за любовь и товарищество — спасибо тебе за щедрый вклад в эту книгу, за то, что ты — мой партнер и источник вдохновения в этом мире — и во всех остальных.

Мой поклон всем вам.

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

## **Примечания**

**1**

*Хоссу* (яп.) — метелка из конских хвостов, которые носили с собой дзэн-буддийские монахи.

*Чосан риши* (яп.) — буквально «третий сын Жаня или четвертый сын Ли»; идиома, означающая «любой обычный человек». Я перевела это как «любой Дик или Джейн», но с тем же успехом можно было бы сказать «любой Том, Дик или Гарри».

*Эйхэй Догэн Дзэндзи* (1200–1253) — японский учитель дзэн и автор «*Сёбогэндзо*» («Сокровищница глаза истинной дхармы»). «*Существуя во времени*» («*Юдзи*») — выдержка из одиннадцатой главы.

*Отaku*

(お宅)

— одержимый фан или фанатик, компьютерный гик, «ботаник».

5

*Кейтай*

(携帯)

— сотовый телефон.

6

*Хентай*

(変態)

— извращенец, человек с сексуальными отклонениями.

«Новая женщина» — выражение, бытовавшее в Японии в начале 1900-х; описывало прогрессивную, образованную женщину, которая отвергала сковывающие рамки традиционной культуры.

*Эпоха Тайсё* (1912–1926), получила название по имени императора Тайсё; другой термин — «демократия Тайсё», короткий период социальной и политической либерализации, окончившийся, когда власть была захвачена милитаристами правого крыла, что привело Японию к участию во Второй мировой войне.

А. Более подробные комментарии о моментах дзэн см. в приложении

*Гензайчи де хадзимарубеки* — Начни с того места, где ты находишься. Иероглифы *Гензайчи* используются на картах: «ВЫ ЗДЕСЬ».

*Акибахара*

(秋葉原)

— район Токио, знаменитый рынок электроники, центр японской фан-культуры, сложившейся вокруг манги.

*Отaku*

(お宅)

— это также формальная манера обращения.

(宅)

значит «дом», а с приставкой-обращением

(お)

выражение означает буквально «Ваш многоуважаемый дом», подразумевая, что тот, к кому обращаются, — это скорее место, чем человек, с постоянным местонахождением и под крышей. Логично, что современный стереотип отaku — это затворник, одержимый одиночеством; социально изолированный человек, который редко покидает дом.

*Омурайсу*

(オム・ライス)

— омлет, смешанный с рисом для плова, заправленный кетчупом и сливочным маслом.

*Нинки нанба уан!* — что-то самое популярное, номер один по популярности.

*Окайринасаймасе, даннасама!* — Добро пожаловать домой, о мой господин!

...а еще, поскольку слово «отаку» — это почтительное обращение, то, когда его используют как личное местоимение второго лица, это создает своего рода социальную дистанцию между говорящим и *ты/вы*, к которому обращаются. Традиционно эта дистанция носит уважительный характер, но может также обозначать иронию или пренебрежение.

Не могу найти никаких ссылок на медицинские кафе или Бедтаун.  
Она что, это выдумывает?

*Дзуйбун нагаку икасарете итадаите оримасу не* — «Я уж достаточно пожила, разве нет?» Перевести совершенно невозможно, но если вникать в нюансы, получается что-то вроде: «Глубинные побуждения Вселенной позволили моей жизни длиться, за что я глубоко и смиренно благодарна».

*Со дсу не...* — Ммм, да. Полагаю, это...

*Дзюдзу*

(数珠)

— буддийские четки.

*Босацу*

(菩薩)

— бодхисатва, пробужденное существо, буддийский святой.

Пухлый томик небольшого формата, вероятно, crown octavo (13 × 19 см).

Обложка потертая, обтянута тусклой красной тканью. Название оттиснуто потускневшими золотыми литерами на передней обложке и еще раз — на корешке.

*Харадзюку*

(原宿)

— район Токио, знаменитый центр молодежной культуры и уличной моды.

*Пейпакура*

(ペーパー・クラ)

— поделки из бумаги, от английского papercrafts.

*Дзюку*



— подготовительные курсы.

*Kissa*

(喫茶)

— кофейня.

*Ару токи я/Кото но ха мо чири/Очиба ка на.*

*Ару токи я* — в то время, иногда, на время, для сущего во времени

(有る時や)

. Те же кандзи используются для слова «юдзи»

(有時)

.

*Кото но ха* — буквально «листья речи»

(言の葉)

. Те же кандзи используются для слова «котоба»

(言葉)

— «слово».

*Очиба* — упавшие листья. Игра слов вокруг иероглифа *ха*

(葉)

, подразумеваются упавшие слова.

*Ка на* — вопросительная частица, передающая ощущение задумчивости.

Листья гинкго добавляют в чай, чтобы улучшить память. Гинкго часто сажали рядом с буддийскими храмами, чтобы монахам было легче запоминать сутры.

«Я никогда не думал, что кому-то может быть фиолетово, да еще глубоко, — сказал Оливер. — Это разве грустно? Мне не кажется, что это грустно».

*Сеппуку*

(切腹)

— ритуальное самоубийство, совершаемое посредством вспарывания живота; буквально: «живот» + «резать». Те же кандзи используются в слове *харакири*

(腹切り)

*Кикокусидзё*

(帰国子女)

— дети-репатрианты.

*Идзимэ*

(いじめ)

— издевательство, травля в школе.

*Бэнто*

(弁当)

— упакованный в коробку завтрак (обед, ужин).

*Ийада! Гайдзин кусай!* — Гадость! Она воняет, как иностранка!

*Бимбо кусай!* — Она воняет, как нищяя!

*Кураге*

(水母)

— медуза; буквально «вода» + «мать».

*Осечи рёри*

(おせち料理)

— особый холодный новогодний ужин; готовится заранее и подается в многослойных коробках.

Японское «сэцуна»

(刹那)

, от санскритского «ксана» (приложение А).

Некоторые соображения насчет Догэна и квантовой механики можно найти в приложении В.

41

*Хикикомори*

(引きこもり)

— затворник, человек, который отказывается покидать дом.

*О эру* — OL, сокращение от английского office lady в японском произношении.

*Сэнтó*

(洗湯)

— общественные бани.

*Окусан*

(奥さん)

— жена. Иероглиф

(奥)

означает «то, что внутри» (дома). С суффиксом «-сан» образует формальное обращение к замужней женщине.

*Буцубуцу*

(ぶつぶつ)

— прыщи, сыпь.

*Тондемонай* — это ничего.

*Ясутани-кун ва русу дэсу йо* — Ясутани отсутствует.

*Эноки*

(えのき)

— мелкие грибы белого цвета с круглой маленькой шляпкой на длинной нитевидной ножке; растут колониями в темных местах, никогда не видя солнечного света.

*Котау* — низкий стол с обогревателем под столешницей с одеялом, чтобы удерживать тепло.

*Сорэ! Сорэ да йо!* — Вот! Вот оно!

*Фришитаа* — фрилансер, от английского free + немецкое arbeiter.

Вероятно, *кароси*

(過勞死)

— «смерть от переутомления на работе» — японский феномен 1980-х годов, во время расцвета японского экономического пузыря.

Синиа Кешитаи

(シニア決死隊)

Куугэ

(空華)

— буквально «пустота» или «небо» + «цветы»; идиома для катаракты; также название главы 43 из *Сёбогэндзо* Догэна, учителя дзэн. Кандзи ку

(空)

имеет несколько значений, в том числе «небо», или «пространство», или «пустота», как в

空兵

(небесный солдат). Выражение *небесные цветы* относится к помутнению зрения от катаракты, но в традиционном буддийском понимании *цветы в небе* означают иллюзии, кармические препятствия на пути личности. Догэн, похоже, интерпретирует выражение заново как «цветение пустоты», другими словами — состояние просветления. Все вещи в мире, говорит он, — это вселенское цветение пустоты.

*Котодама*

(言霊)

— буквально «речь» (*кото*) + «дух» или «душа» (*тама*).

Гигантский жук-олень.

*Дзэн-ин сикато*

(全員しかと)

— буквально «всех людей остракизм» или «все игнорируют».

*Байкин*

(ばい菌)

— микроб.

*Нанка кусай йо! — Что-то воняет!*

*Гэнкан*

(玄関)

— вестибюль, фойе.

*Урусай йо! Табако катте койо ка?* — Нельзя ли потише! Ты хочешь, чтобы я сходила за сигаретами?

*Наками о мисеро!* — Покажи, что внутри!

*Сукэбан*

(スケ番)

— девушка-босс, девушка-хулиган.

*Кагомэ*

(籠目)

— способ плетения корзин и клеток из бамбуковых стеблей.

*Они*

(鬼)

— демон, людоед.

*Ринчи* — от английского *линчевать*.

*Усоцукэ! — Лжец!*

Центральный текст для буддизма ветви Махаяна.

Форма — это пустота, а пустота — это форма.

Санскृत.

*Канашибари*

(金縛り)

— буквально: «металл» + «стягивание». Что-то вроде паралича во время сна.

*Косплей*(コスプレ)

— переодевание в костюм, в особенности касается переодевания в любимых персонажей манги и анимэ, японский сленг, образовано от costume (костюм) + play (игра).

*Икисудама*

(生き船魅)

— живой призрак.

*Татари*

(崇り)

— нападение потусторонних сил.

*Шитамачи*

(下町)

— старые районы города.

*Kanna*(河童)

— буквально «речное дитя». Озорное создание из мифов, вроде водяного; на ногах и руках у него перепонки, кожа чешуйчатая, как у рептилии, зеленая, синяя или желтая. У него есть панцирь вроде черепашьего, а на голове — углубление в форме чаши, которое постоянно должно быть наполнено водой. Если вода проливается, каппу охватывает паралич.

*Дзори*

(草履)

— ВЪТНАМКИ.

*Нана-чан дэсу нэ?* — Ты дорогая Нана-чан, верно?

*Охисасибури* — Мы очень давно не виделись.

*Оокику натт нэ* — Большая ты выросла, правда?

*Обаачама* — уважительное, но допустимое только между близкими обращение к бабушке.

*Сицурей итасимасу* — Прошу прощения за вторжение.

*Данка*

(檀家)

— прихожане храма.

*Хомусику*

(ホームシック)

— от английского homesick (тоскующий по дому).

*Ниююгакусинкэн*

(入学試験)

— вступительные экзамены.

*Мочи*

(もち)

— сладкие рисовые колобки.

Мяги... Сендай в Мяги!

«Риторика признания», Эдвард Фуллер.

«Общество синего чулка».

«Общество красной волны».

Это название, похоже, восходит к поэме Йосано Акико «Скитающиеся мысли», которая была опубликована в первом номере журнала «Сэйто». См. приложение С.

Искала в Google эти названия, но не нашла ничего. Нао записала имена в ромадзи, так что мне известно только произношение. Попыталась угадать кандзи, но так и не смогла подобрать комбинацию, которую смогла бы найти на карте. Варианты кандзи для *Хиюзан* и *Дзигэндзи*, а также информацию о японской храмовой иерархии — см. приложение D.

Криптомерии.

*Обэнтó ва икагадэсу ка? Оча ва икага дэсу ка?* — Не желаете ли отведать бэнтó? Не желаете ли отведать чаю?

*Тэнугуи*

(手ぬぐい)

— кусок тонкой хлопковой ткани, который используют как головной платок или полотенце.

*Каккоши*

(かっこいい)

— стильно, круто, модно.

*Минминземи?*

(ミンミンゼミ)

— *Ocotymrana maculaticollis*, японская цикада.

*Нацу но ото*

(夏の音)

— звук лета.

*Татары!* — Нападение призраков!

*Ofuro*

(お風呂)

— ванна.

*Юката*

(浴衣)

— ХЛОПКОВОЕ КИМОНО.

*Гэта*

(下駄)

— деревянные сандалии.

*Наттчан, иссё ни офуро ни хайроу ка?* — Наттчан, примем ванну вместе? (Наттчан — допустимая между близкими, ласковая сокращенная форма имени *Нао-чан*).

*Ямамба*

(山姥)

— горная ведьма, горная карга.

*Саша*

(14)

— лет (имеется в виду возраст).

*Дай Хи Шин Дхарани* — Дхарани Великого Сострадания. Эзотерическая мантра или заклинание, которое, как считается, имеет магическую силу и защищает от злых духов.

*Хондо*

(本堂)

— СВАТИЛИЩЕ.

*Манджушири* (санскрит) — бодхисаттва, ассоциирующийся с мудростью и медитацией.

*Райхай*

(礼拜)

— полный земной поклон. Поднятые ладони символизируют, что совершающий поклон поднимает над собой весь мир.

**110**

*Дзафу*

(座蒲)

— круглая черная подушка для дзадзэн.

*Хэйвабокэ*

(平和ぼけ)

— оглупевшие от мирной жизни; буквально: «мир» + «протухший».

*Хоккай дзё-ин*

(法界定印)

— космическая мудра.

*Янки* — хулиган, от английского *Yankee*. Распространенный образ янки — несовершеннолетний хулиган с выбритыми бровями, одетый в длинный, ярко раскрашенный, с аляповатой вышивкой халат, который называется токко-фуку. Слово *токко-фуку* означает «форма специального назначения»; так называлась форма Токкотай, отрядов специального назначения — камикадзе во время Второй мировой войны.

*Манко* — матерное обозначение женских половых органов.

*Чинчин* — пенис.

*Дамэ да йо, Обаачама! Ико Йо!* — Нет, не надо, бабушка!  
Пойдем!

*Намэтэн но ка! Чутохампа нан да йо. Чанто одзиги мо декиней но ка?! — Ты что мне тут, шутки шутишь? Это халтура. Поклониться по-нормальному не можешь?!*

*Омацури*

(お祭り)

— праздник.

Недуалистичная — *фун*

(不二)

, буквально: «не» + «два».

*Cëdzu*

(掃除)

— уборка.

*Маа, сё кашира* — Да, интересный вопрос...

*Энгава*

(縁側)

— узкая деревянная веранда, идущая по периметру традиционного японского дома.

*Сэгаки*

(施餓鬼)

— голодные призраки; также пренебрежительное обозначение бездомных.

*Бака-нэ, Чиби-чан!* — Ну не дураки ли мы, милый Чиби!

*Тэнгу*

(天狗)

— сверхъестественные существа, краснолицые демоны с длинными фаллическими носами; часто одеваются как буддийские монахи. Тэнгу могут быть и злыми, и добрыми; они — защитники гор и лесов.

*Ясутани Харуки-сама дэ гозаймасу ка?* — Вы — многоуважаемый господин Харуки Ясутани?

«Дзинсей но Итами» — Боль жизни.

Жить — это храбрость?..

*Ихай*

(位牌)

— духовная табличка, мемориальная табличка.

*Сэмпай*

(先輩)

— старший по работе или в школе; кто-то главный.

*Харуки Одзисама ва иррасяймасу ка?* — Дядя Харуки, Вы здесь?

*Харуки Ичibanсама?* — Господин Харуки Номер Один?

*Мерикен*

(メリケン)

— Американцы.

*Икоцу*

(遺骨)

— кремированные станки; буквально: «оставленные-позади» + «кости».

*Караоке*(空オケ)

— буквально: «пустой» + «оркестр» (*оке* — сокращение от «окесутора»).

*Гёкусай*

(玉碎)

— акт суицида, массовое самоубийство. Буквально — «разбитый бриллиант», от китайской пословицы седьмого века, гласящей: «Лучше погибнуть, как разбитый бриллиант, чем жить, как целый камень».

*Икоцу* — останки.

*Ямато данси*

(大和男子)

— буквально: «человек из Ямато». Мужской архетип истинного японского мужчины.

*Со даро на* — Мм, ты, наверно, права.

*Бурусера*

(ブルセラ)

— фетиш на школьную форму; буквально: *буру* (сокращение от bloomer — форменные плавки) + *sera* (сокращение от sailor — здесь: матроска).

*Сибуи*

(渋い)

— круто, шикарно.

*Моз*

(萌え)

— почка, бутон. Сленговое обозначение для хорошенькой, сногшибательной девушки в стиле манга.

*Бисёнэн*

(美少年)

— красивый юноша, красивый мальчик.

Клуб или бар, в котором бисёнэны подают напитки и развлекают женщин-клиентов.

Красота, ты идешь по телам мертвецов, ты смеешься над ними. /  
Среди сокровищ твоих ужас не будет последним... *(фр.)*

*Тэцу-но Амэ*

(鉄の雨)

— «Стальной Тайфун» — битва за Окинаву, сражение, результатом которого стало наибольшее число жертв в Тихоокеанском театре военных действий за Вторую мировую войну. Более 100 000 японских солдат были убиты или взяты в плен, или совершили самоубийство. Потери союзников насчитывали более 65 000. От 42 000 до 150 000 мирных жителей также были убиты, ранены или совершили самоубийство (между одной десятой и одной третью местного населения Окинавы).

*Чикан*

(痴漢)

— приставала, извращенец. Мужчина, который сексуально домогается женщины на публике.

*Сэнсей но сайо ё. Хаяки окайри.* — Последние моменты сэнсея.  
Приезжай скорее.

*Къяхуики*

(客引き)

— зазывала; буквально: «клиент» + «тянуть».

*Дзангъё*

(残業)

— сверхурочная работа.

*Йокката. Ма ни атта нэ. — Я рада... Вы успели добраться.*

*Сэйза*

(正座)

— формальная поза, сидя на коленях.

*Хаи, сэнсей. Додзо* — Вот, сэнсей. Пожалуйста...

*Мацуго-но-мидзу*

(末期の水)

— вода последней минуты.

*Сакамидзу*

(逆さ水)

— вода-вверх-ногами. Как правило, в ванну сначала наливают горячую воду, потом добавляют холодную.

*Мю-мю*

(無 無?)

— нет, ноль, ничего, не-, ни-.

*Мийю*

(無有?)

— небытие.

*Йю*

(有?)

— существование, бытие, антоним «мийю».

Чарльз Беннет. Позднее Оливер посмотрел, откуда цитата, и оказалось, это из статьи про квантовые вычисления Ривки Галчен, напечатанной в «Нью-Йоркере» 2 мая 2011 года.

Подробнее о мысленном эксперименте Шредингера с котом см. в приложении Е.

Подробнее о Хью Эверетте см. в приложении Е.

1 щелчок пальцами = 65 моментов, а 6 400 099 980 моментов = один день, значит  $6\,400\,099\,980 : 65 = 98\,463\,077$  щелчков в день.

Эрвин Шредингер придумал термин «запутанность» в ходе своего мысленного эксперимента. Позднее Эйнштейн назвал запутанность «неким жутким дальнодействием».

## **Примечания переводчика**

# 1

С точки зрения английского (и, видимо, японского), это выражение — *for a time being* — имеет несколько смыслов: «существуя во времени», «существуя на время». И даже «для временного существа».

Речь идет о носках, которые носят школьницы в Японии, — длинные, до колена, собираются в гармошку на щиколотках.

*Лавотель* (японцы произносят это как «рабухо») — типично японское явление: отель, где можно снять комнату на час или два с вполне определенной целью. Ресепшен часто полностью автоматизирован или устроен так, чтобы лиц клиентов никто не видел.

*Десолейшн-Саунд (Desolation Sound)* — пролив в Британской Колумбии, буквально: «Пролив Запустения», но также может переводиться как «Звук Отчаяния».

*Флотсем* и *джетсем* — термины морского права.

*Кьюти* (от *англ.* cupid — купидон) — популярные куклы-пупсы, придуманные художницей Розы О'Нейл в 1909 году.

*Яны* (*Japs*) — пренебрежительное обозначение японцев в англоязычной традиции.

«*Ключевые деньги*» (рейкин) в Японии — обязательный разовый платеж хозяину при съеме квартиры обычно в размере аванса, но сумма может доходить и до полугодовой арендной платы. Деньги считаются подарком и не возвращаются при расторжении договора.

*Энвайронменталист* от английского *environment* — «окружающая среда».

*Море деревьев* — буквальный перевод названия Аокигахара с японского.

Здесь и далее Марсель Пруст цитируется по переводу Алексея Година, «Амфора», 2006.

*Пьюрити (англ.) — purity, чистота.*

*BC Hydro and Power Authority* — Управление гидроэнергетики и электросетей Британской Колумбии.

*Литтлнек* (англ. *littleneck*) — почти самый мелкий сорт, с точки зрения добычи, двустворчатых моллюсков, меньше только каунтнеки (*countnecks*). Следующие по размеру — топнеки (*topnecks*).

*Speed Tribes* — термин из одноименного сборника рассказов Карла Таро Гринфилда, посвященного жизни японской молодежи 1990-х после обвала японского «экономического пузыря». Термин получил распространение в связи с байкерской культурой в Японии.

*Raison d'être* (франц.) — СМЫСЛ ЖИЗНИ.

*Carhartt* — знаменитая американская марка рабочей одежды.

*Les fleurs du mal* (франц.) — цветы зла.

*La joie de vivre* (франц.) — радость жизни.

*Mais, j'adore Barbara* (франц.) — Но я обожаю Барбару.

*Serenity prayer* — общепринятое название безымянной молитвы, придуманной американским теологом Рейнгольдом Нибуром (1892–1971). Задействована в программе «Анонимных алкоголиков» и других программах «12 шагов».

*Ma bibliothèque et galerie (франц.)* — Моя библиотека и галерея.

*Аригато* (яп.) — спасибо.

Аллюзия на сериал *Fantasy Island*, транслировавшийся каналом ABC в 1977–1984 годах в США. *Остров Фантазия* — место, где любой может осуществить свою мечту с помощью загадочного хозяина острова, мистера Роарка, и его ассистентов.

*I Believe I Can Fly* — я верю, что могу летать; *I Bereave I Can Fry*  
— Я лишаю, чего могу жарить. В японском звук «л» отсутствует.

*Crème de la crème* (франц.) — лучшие из лучших; буквально: сливки сливок.

*Месье Рёскин* — Джон Рёскин, английский писатель, художник и критик, идейно близкий прерафаэлитам. «Жалкая ошибка» — введенный им термин в отношении антропоморфизмов в описаниях природы; Рёскин считал их недопустимыми. Однако полностью цитата звучит так: *All violent feelings have the same effect. They produce in us a falseness in all our impressions of external things, which I would generally characterize as the pathetic fallacy.* — Насилие в чувствах всегда имеет один и тот же эффект. Его следствие — фальшивые впечатления ото всех внешних вещей, что я в целом характеризую как жалкую ошибку.

Отрывок в переводе Т. Щепкиной-Куперник. К сожалению, ни в одном классическом переводе на русский название плода не сохранилось. В оригинале отрывок выглядит так:

*If love be blind, love cannot hit the mark.  
Now will he sit under a medlar tree,  
And wish his mistress were that kind of fruit  
As maids call medlars, when they laugh alone*

Если в точности придерживаться смысла оригинала, это будет звучать примерно так:

*Коли любовь слепая, то в цель ей не попасть,  
Теперь под мушмулой сидит он и мечтает,  
Вот милая его была бы плодом,  
Что девы мушмулой зовут, смеясь.*

*Que sais-je? (франц.)* — Что я знаю?